90 коп. Индекс 70331

В КОНЦЕ 1989 и в 1990 гг. В «ЗНАМЕНИ» ЧИТАЙТЕ:

Ф. ИСКАНДЕР. Око. Повесть

А. ПРИСТАВКИН. Рязанка. Роман

В. КАРПОВ. Маршал Жуков

А. ТВАРДОВСКИЙ. Из рабочих тетрадей (1953—1960)

Н. С. ХРУЩЕВ. Мемуары

Д. ШЕПИЛОВ. На трудном пути. Воспоминания

Р. ГУЛЬ. Азеф. Роман

Г. БЕЛЛЬ. Из наследия

В. НЕКРАСОВ. Из ненапечатанного

Подробнее об основных публикациях в конце 1989 и в 1990 г. см. стр. 239—240.

ISSN 0130-1616. Знамя, 1989, № 9, 1—240.

ЗНАМЯ 9 1989

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1989

Сентябрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

9

СЕНТЯБРЬ
1989

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Н. С. Хрущев

ВОСПОМИНАНИЯ

Предлагаемая вниманию читателя публикация — отрывки из воспоминаний моего отца, бывшего Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР. В период его активной деятельности, завершившейся, как известно, в октябре 1964 года, у него недоставало времени на размышления о прошедших годах, все поглощали проблемы сиюминутные. В отставке времени оказалось в избытке, и отца все больше занимали мысли о его молодости, особенно о тридцатых годах, когда он формировался как политический деятель. Именно здесь он искал ответы на вопросы о причинах наших неудач и истоках побед. Очень много внимания он уделял личности Сталина, старался понять и оценить мотивы его поведения для себя и для нас, сегодняшних. В начале работы над мемуарами отец хотел ограничиться только записями о Сталине. И хотя его отношение к Сталину противоречиво, тем не менее главной его мыслью было: не разоблачив преступлений того времени, не осмыслив их причин, мы не сможем двигаться вперед.

Большое внимание в своих заметках отец уделил и периоду Великой Отечественной войны, особенно ее началу.

Рефреном по всему этому разделу проходит ответ Г. М. Маленкова на его просьбу прислать винтовки для красноармейцев:

— Куйте пики, все винтовки мы отослали в Ленинград.

Трагедия войны осталась в нем навсегда. До последних дней отец не мог и не хотел читать о войне, выключал телевизор, когда начиналась военная передача. Его чувство было двойственным: с одной стороны, раздражала неправда, прилизанная и причесанная война, с другой,— он не мог без содрогания вспоминать о том, как все происходило на самом деле.

Первая половина воспоминаний заканчивается драматичным повествованием о голоде на Украине, возобновлении репрессий, смерти Сталина и аресте Берия.

Вторая часть посвящена периоду, когда Н. С. Хрущев встал во главе нашего Правительства и Партии. Он рассказывает о международной деятельности, укреплении обороноспособности страны, целине, ракетах, конвертерах, но прежде всего — о людях, с которыми он встречался. Именно они нашли отражение, часто очень своеобразное, в его памяти.

Тут Королев и Капица, Насер и Ареф, Тито и Кадар, Мао Цзэдун и Эйзенхауэр.

Вспоминает он и о «шумно известных» встречах с интеллигенцией. Заново осмысливает происшедшее.

В настоящей публикации освещаются довоенный и послевоенный периоды.

Работа над мемуарами отца продолжается и сейчас. Они существуют на магнитофонных пленках, и все свое свободное время я отдаю переложению устной речи на бумагу, приведению ее в удобочитаемый вид.

При жизни отец не видел законченного текста, он успел просмотреть только первые несколько сотен страниц. Остальное осталось в первозданном виде, и свою задачу я вижу в сохранении этого наследия.

Ведь тут важны не только факты, их можно восстановить и по другим источникам, а отношения людей, его непосредственный взгляд на события и новое осмысление их по истечении десятилетий.

Не могу не поделиться с вами радостью в связи с выходом воспоминаний. Отец не дождался этого дня, а я шел к нему долгие годы.

С. Н. ХРУЩЕВ

2 июля 1989 года.

Понимаю заботу моих товарищей, которые мне настоятельно рекомендовали взяться за перо. Пройдет время, и буквально каждое слово людей, живших в наш период времени, станет «на вес золота». Тем более людей, которым выпала доля близко стоять у руля корабля общественно-политической жизни нашей страны.

Я должен работать, не пользуясь архивным материалом. Это слишком сложно, да и в моем положении сейчас, видимо, малодоступно. Но я хочу быть правдивым и ссылаться на факты так, чтобы будущее поколение (а я пишу для него) могло их проверить.

По вопросам, которые я считаю особенно интересными, все факты проверены. Сейчас эти архивные материалы недоступны. Но они станут достоянием всех, когда не будут уже закрытыми. Считаю, что в большинстве эти материалы не секретны.

Кроме того, я считаю своим долгом высказать свое мнение по ряду вопросов, заранее зная, что нет такого мнения, которое бы всех удовлетворяло. Но среди мнений, которые будут в той или иной форме зафиксированы и останутся от нашего поколения, я хотел бы, чтобы и мое мнение было известно. Истина рождается в спорах. Даже в одной партии, стоящей на принципиальной марксистско-ленинской позиции, у людей может быть разное понимание одних и тех же фактов и материалов. Судить о нашей правоте или неправоте будет народ. Я только этого хочу.

Глуп тот, кто хотел бы все подстричь под свою гребенку, а все, что не подходит под его гребенку, считает ересью, а может быть, даже и преступлением. Пусть судит история, пусть судит народ. Я не хочу приспосабливаться, не хочу умалчивать, не хочу замазывать, не хочу приглаживать, не хочу лакировать действительность. Она не требует лакировки. Мне посчастливилось жить в такое переломное время, когда старый сложившийся уклад жизни мы сломали, сбросили его и строим новую жизнь.

Нам пришлось на основе самой прогрессивной марксистско-ленинской теории прокладывать путь практике. Это очень сложно, и этот период не исключает ошибок и промахов, вольных или невольных.

Первый опыт всегда дается труднее. Пусть и судят нас с учетом условий, в которых мы жили, творили.

Заниматься воспоминаниями полезно, чтобы не упустить того хорошего, что создано партией, рабочим классом и трудовым крестьянством, и не повторить ошибок, и, я бы сказал, преступлений, которые были совершены якобы во имя партии и для партии.

Сейчас видно, что это было злоупотребление властью. Причины этого злоупотребления освещались в докладах на XX съезде и затем в какой-то степени на XXII съезде. Я считаю, все было там сказано правильно. Я и сейчас стою на этих позициях и с этих позиций последовательно буду освещать прошлое и излагать свои мысли о нем.

* * *

В 1929 году мне стукнуло 35 лет. Это был последний год, когда я еще имел право поступить в высшее учебное заведение. А меня очень тянуло в вуз; я ведь только рабфак окончил. Поэтому стал добиваться направления на учебу.

Тут я встретил сопротивление. К этому времени Каганович уже уехал в Москву в ЦК, а вместо Кагановича к нам на Украину был прислан товарищ Косиор. В Киеве меня считали близким Кагановичу человеком, а это так действительно и было, и, мол, Хрущев теперь не хочет с Косиором дело иметь, не хочет его поддерживать. Это было неверно. Я Косиора мало знал, но относился к нему с уважением.

Косиор был довольно мягкий, приятный человек. Я бы сказал, что в отношениях с людьми он был выше, чем Каганович, но как организатор он, конечно, уступал Кагановичу. Каганович — более четкий и более деятельный. Это — буря. Он может и наломать дров, но непременно решит задачу, поставленную Центральным Комитетом. Он был более пробивной, чем Косиор.

Я посчитал необходимым поехать в Харьков, объясниться с Косиором. Сказал ему по-человечески:

— Вот мне уже 35 лет. Хочу учиться. Прошу ЦК понять и поддержать меня и чтобы ЦК меня рекомендовал в Промышленную академию; хочу быть металлургом.

Косиор меня понял и согласился. Впрочем, когда стало ясно, что я ухожу, то есть, когда я попросил отпустить меня на учебу, решение об этом было принято не сразу. После бюро некоторые товарищи мне говорят: «Ты действительно хочешь учиться или у тебя с Демченко не выходит? Ты нам скажи открыто». Намекали, что поддержат меня, если у меня с секретарем окружкома Демченко плохо складываются отношения. Я отвечал, что с Демченко готов бы работать в Киеве и дальше, но хочу учиться. «Ну, тогда другое дело, мы тебя поддержим».

В Москве я встретил другие трудности, потому что у меня не было достаточного стажа руководящей хозяйственной работы. В Промышленной академии товарищи говорили, что я им не подхожу. Рекомендовали идти на курсы марксизма-ленинизма при ЦК. А здесь для управляющих, для директоров учебное заведение.

Пришлось мне побеспокоить Лазаря Моисеевича Кагановича, он был секретарем МК. Каганович поддержал, и таким образом я стал слушателем Промышленной академии.

Поселился в общежитии на Покровке, 40. Оно сейчас стоит. По тому времени это было хорошее общежитие: коридорная система, отдельные комнаты. Учебное здание Промышленной академии помещалось на Ново-Басманной — тоже недалеко. Я не пользовался трамваем, ходил пешком.

В академии люди были очень разные. Многие окончили сельскую школу и знали только четыре действия арифметики, но некоторые имели и среднее образование. У меня был рабфак, считалось — законченное среднее образование.

Осенью 1930 года Промышленная академия была уютным уголком, где могли отсиживаться люди, которые, собственно, не особенно хотели учиться, но в сложившихся политических условиях вынуждены были оставить хозяйственную, партийную, профсоюзную деятельность. Вот они и расползались главным образом по учебным заведениям.

В Промакадемии стипендия была приличная, столовая хорошая, общежитие хорошее: у каждого — комната, а некоторые маститые хозяйственники имели возможность получить две комнаты и устроиться с семьей.

Шефствовал над академией В. В. Куйбышев — Председатель Госплана.

Это был период острой борьбы с правыми. Развернули свою деятельность Рыков, Угланов. Руководство партийной ячейкой было в руках правых. Секретарем ячейки был Хахарев, довольно влиятельный партиец с дореволюционным стажем, кажется, с 1906 года. Сам он из Нижнего Новгорода, подполье прошел. Вокруг него группировалась старая гвардия.

Но она была против генеральной линии партии, она поддерживала Бухарина, поддерживала Угланова, поддерживала Рыкова против Сталина и против Центрального Комитета.

Наше довольно крупное землячество донбассцев, днепропетровцев, луганчан, артемовчан, харьковчан было на позициях Центрального Комитета. Завязалась борьба, и я был втянут в эту борьбу. Главным образом, меня тогда поддерживал Табаков. Он тоже после погиб, его расстреляли. Он был еврей, очень хороший коммунист. Я узнал его, когда он в Донбассе был директором треста, а потом объединения по производству керамики для металлургии. Он там опирался на нашу Юзовскую организацию, и вот в академии мы с ним снова сошлись. Другие товарищи нас поддерживали, например, Аллилуев с Дальнего Востока. Он еще, кажется, жив. Этот Аллилуев ничего общего с Аллилуевым — тестем Сталина — не имеет, только однофамилец.

В Промышленной академии вовсю развернулась борьба за генеральную линию Центрального Комитета против правых и зиновьевцев, а потом против право-левацкого блока Сырцова — Ломинадзе. Все было на виду у Центрального Комитета. Моя фамилия всплывала часто, поскольку я возглавлял группу коммунистов, воевавшую в академии с углановцами, рыковцами, зиновьевцами и троцкистами.

Политическая борьба была очень острой. Там ведь большинство было членов партии с дореволюционным стажем и среди них очень влиятельные люди. Например, я помню товарища Макарова, который был директором Юзовского завода, а сам из Нижнего, член партии с 1905 года. Очень умный и уважаемый человек. Он против правых нигде не заикался, видимо, договорился с правыми, что будет вести себя несколько скрытно, не выявляя себя сторонником оппозиции. Считалось, что Макаров стоит на позиции генеральной линии партии, а на самом деле он способствовал усилению групп Угланова, Бухарина, Рыкова.

Остроту борьбы можно показать на таком примере. Выборы президиума общего собрания партийной организации однажды заняли целое заседание, и само собрание было открыто только на следующий день. Помню, товарищи выставляли и мою кандидатуру в этот президиум, но я раза два или три проваливался. Все кандидаты в президиум должны были выйти на трибуну и рассказать свою биографию. Кандидат с послереволюционным стажем в партии был заранее обречен. Вот такая борьба...

А уж в бюро ячейки как выбирали! Переизбрания были частые. Меня несколько раз выдвигали, но моя кандидатура не проходила.

Часто выступала против правых «Правда», и, как правило, после очередного выступления «Правды» собиралось общее собрание, а общее собрание переизбирало бюро. Но правые так приладились, что, когда Хахареву уже нельзя было оставаться секретарем партийной организации Промышленной академии, то выдвинули Левочкина. Левочкин, сам из Брянска, был менее заметной фигурой, но по существу — тоже правый.

Поэтому линия на поддержку правых продолжалась и после каждых перевыборов.

После одного из выступлений «Правды» на очень бурном партийном собрании я был в конце концов избран в президиум и стал председателем этого общего собрания. Собственно, собрание партийной организации академии и общее собрание академии не отличались, потому что тут все были коммунистами.

Коротко расскажу предысторию партсобрания, на котором мне пришлось председательствовать.

Партия готовилась к XVI съезду. Чтобы устранить меня от участия в дискуссии перед выборами делегатов на районную конференцию, бюро партийной ячейки послало меня представительствовать в подшефный колхоз, находившийся в Самаре. Этому колхозу мы собрали деньги на сельскохозяйственные машины. Надо было вручить деньги. Вместе со мной посланцем Промакадемии был Саша Здобнов — сам с Урала, хороший товарищ. Видимо, он погиб в мясорубке 1937 года.

Колхоз был чувашский. Мы прожили в этом чувашском колхозе несколько дней. Тогда-то только я и узнал действительное положение на селе. Раньше я его не представлял, потому что мы жили в Промышленной академии изолированно и чем жила деревня, не знали. Мы увидели голод. Все в один голос просили, чтобы мы им дали хлеба, а не машины. Люди буквально голодали, они были как осенние мухи. Нас поместили к какой-то вдовушке. Мы что в дорогу с собой взяли, только этим и кормились и еще делились с этой вдовушкой, у нее и хлеба не было.

Когда мы вернулись в Москву, уже шли районные партийные конференции. Наша организация избрала человек 10 или 13. Норма представительства была небольшая, потому что Московская партийная организация по сравнению с теперешней была малочисленная, а в академии много коммунистов.

От Промышленной академии на районную конференцию избрали Сталина, Рыкова, Бухарина. Не помню насчет Угланова... Мы считали, что правые сделали обдуманный и ловкий ход, когда предложили избрать от нашей партийной организации на районную конференцию вождей партии товарища Сталина, товарища Рыкова, товарища Бухарина. В то время Бухарин и Рыков еще были членами Политбюро. Поддерживать Сталина, а отводить Рыкова и Бухарина было нельзя, это не встретило бы поддержки в Политбюро. Вместе с ними на партконференцию послали нескольких слушателей, которые поддерживали правых.

И вот поздно вечером меня вызывают к телефону. Это было редкостью, потому что в Москве я мало с кем был знаком.

— Говорит Мехлис, редактор «Правды». Можете приехать в редакцию? Тогда подготовьтесь, пришлю свою машину. У меня к вам дело.

Через несколько минут машина была около общежития, и я поехал в «Правду». Это было мое первое знакомство с Мехлисом. Он мне прочитал письмецо, где рассказывалось о политической махинации, подстроенной для избрания от Промышленной академии делегации правых.

Это был для всей партии какой-то сигнал. Все знали, что в Москве в Промышленной академии учатся в основном старые большевики, бывшие директора заводов, фабрик, объединений; известные стране люди, они повышают там свои технические знания.

Мехлис спрашивает: «Вы согласны с содержанием этой корреспонденции?» — «Полностью согласен. Она отражает действительность». — «А вы можете подписать?» — «Как же я могу подписать? Не я же писал, и автора я не знаю». — «Нет, нет, — говорит. — Ваша фамилия не будет фигурировать и автора не будет. Я слышал о вас, о вашей позиции. Если вы подпишете, значит в заметке правдиво отражена обстановка, которая сложилась в Промышленной академии».

Я подписал.

Назавтра вышла «Правда» с этой корреспонденцией. Это был гром в ясную погоду. Забурлила вся академия, были сорваны занятия, парторги потребовали собрания.

Это собрание было самое бурное. На нем меня и избрали в президиум и я стал его председателем. Тут уже активизировалась наша группа, которая стояла на позициях Центрального Комитета и вела борьбу с правыми, то есть с руководством нашей организации, так как оно в основном было правым.

Не помню уже, сколько времени шло заседание. Закончилось тем, что были отозваны все наши делегаты, кроме Сталина. Мы отозвали и Рыкова, и Бухарина, и представителей нашей партийной организации, а избрали новых, в том числе и я был избран на Бауманскую районную партийную конференцию.

Настолько это было спешно сделано, что нам передали мандаты прежних делегатов. Я шел с мандатом, принадлежащим уже не помню кому. И вот стали проверять документы, а фамилия не сходится. Впрочем, партийная организация Бауманского района все знала.

Инцидент с мандатами кончился, и мы, новые делегаты от Промакадемии, договорились между собой, что я должен выступить и изложить нашу позицию, чтобы не считалось, что академия выбрала правых. Я вы-

ступил. Но конференция встретила меня довольно прохладно. Бауманская организация в целом занимала недостаточно четкую позицию, но правых она не поддерживала.

Собственно, мне пришлось выступить еще и потому, что в академии меня избрали секретарем партийной организации.

Помнится, когда я вышел на трибуну, раздались неодобрительные голоса: мол, знаем мы Промышленную академию. Пришлось доказывать, что наша новая делегация твердо стоит на партийных позициях.

Моя фамилия стала еще более известной Московской партийной организации и Центральному Комитету. Это, собственно говоря, и предрешило мою судьбу как партийного работника.

Она была предрешена и тем, как я позже узнал, что в Промышленной академии со мной училась Надя Аллилуева, жена Сталина. До того, как стал секретарем партячейки, я ее и не знал. Она была парторгом одной из академических групп. О том, что это жена Сталина, мы никогда не думали, — она скромно вела себя.

По-видимому, она рассказывала дома о том, что делается в академии, и Сталин получал информацию «из первых рук».

Сначала на Бауманской партконференции, которая была очень бурной, я не присутствовал. А там было много всякого. Например, выступала Надежда Константиновна Крупская, и ее выступление приняли плохо, как не отвечающее генеральной линии партии. Многие осуждали ее, особенно в кулуарах.

У меня, как и у других, было двойственное чувство: с одной стороны, уважение к Надежде Константиновне — соратнику, сподвижнице Ленина, а с другой стороны, получалось, она не поддерживает Сталина. Потом я уже по-другому стал все это оценивать, главным образом после смерти Сталина. Видимо, Надежда Константиновна по-своему была, безусловно, права, но партийная организация ее не понимала, не принимала и выступление ее осудила.

Так началась в Москве моя деятельность партийного работника.

Вскоре я был избран в Бауманский районный партийный комитет. Это произошло в январе 1931 года.

Позже я стал встречаться со Сталиным и сначала ничего не понимал, когда однажды Сталин упомянул какие-то факты из моей деятельности в Промышленной академии. Я молчал и не знал: радоваться мне или ежиться. Думаю, откуда он знает?.. Потом, смотрю, он вроде улыбается: приятное хочет сделать. Тогда я понял: видимо, Надежда Сергеевна информировала его о жизни нашей партийной организации очень подробно и мою роль как секретаря партийной организации представила в хорошем свете.

Видимо, Сталин и сказал Кагановичу, чтобы он меня взял на работу в МК.

Перспектива работы с Кагановичем мне импонировала, потому что я к нему относился с очень большим доверием и уважением. Потом я лучше узнал его характер, и его грубости у меня вызывали антипатию.

Таким образом я был приобщен к Московской партийной организации — это была большая честь, но было мне нелегко.

Как-то Каганович спросил: «Как вы себя чувствуете?» Я говорю: «Очень плохо». Он удивился: «Почему?» — «Во-первых, я не знаю городского хозяйства». — «Как у вас с Булганиным отношения?» — «Формально отношения даже очень хорошие, но я думаю, что он не признает мое право руководить городским хозяйством, а это первое дело». — «Вы переоцениваете его и недооцениваете себя», — сказал Каганович. Потом я согласился с этим. Это действительно было так, хотя вспоминать это, может быть, нескромно. Да, когда мы пожили, поработали, я увидел, что Булганин очень поверхностный, легкий человек. Он глубоко не лез в хозяйство, а что до политики — это был человек аполитичный.

Когда-то он работал в железнодорожной ЧК, воевал с мешочниками, потом был выдвинут в директора завода. Директором был, видимо, по

тому времени неплохим. Он ведь со средним образованием, а тогда директорами, как правило, были рабочие. Каганович его называл «бухгалтер». Верно, по стилю это был бухгалтер.

В то время я считал, что я придан в поддержку Булганину. Сталин, бывало, нас всегда вместе вызывал или приглашал на семейные обеды. Приглашая, шутил: «Приходите обедать, отцы города».

Каганович хоть и оставался секретарем МК, но, видимо, Сталин уже его в этой роли не признавал, а считал его за секретаря основного ЦК. А мы, отцы города, представляли Москву. По существу, так и было, потому что Каганович просто физически не имел возможности заниматься делами города. Каганович был загружен делами ЦК по уши. Он работал очень добросовестно, как говорится, ни дня, ни ночи не видел.

Посещение домашних обедов у Сталина было особенно приятно, пока была жива Надежда Сергеевна. Она была принципиальным партийцем и в то же время чуткой и хлебосольной хозяйкой.

Я очень сожалел, когда она умерла.

Накануне ее кончины, в Октябрьские или Первомайские торжества, я сейчас не помню этого, я стоял возле Мавзолея в группе актива. Шла демонстрация. Аллилуева была рядом со мной, мы разговаривали. Было прохладно, Сталин на Мавзолее, как всегда, в шинели. Крючки шинели были расстегнуты, полы распахнулись. Дул ветер.

Надежда Сергеевна глянула и говорит:

— Вот м о й не взял шарф, простудится и опять будет болеть.

Вышло очень по-домашнему и никак не вязалось с представлениями о Сталине, о вожде, уже вросшими в наше сознание.

Кончилась демонстрация, разошлись... На следующий день Каганович собирает секретарей райкомов и говорит, что скоропостижно скончалась Надежда Сергеевна. Я подумал: «Как же так? Я же с ней вчера разговаривал. Цветущая, красивая женщина».

Через день или два Каганович опять собирает нас и говорит:

— Передаю поручение Сталина. Сталин велел сказать, что Аллилуева не умерла, а застрелилась.

Вот и все. Причин, конечно, не разворачивали. Застрелилась, и все. Ее похоронили. Сталин провожал ее на кладбище. По его лицу было видно, что он очень переживал, оплакивал ее.

Потом, уже после смерти Сталина, я узнал причину смерти Надежды Сергеевны. Ну, на это есть документы. Мы спросили Власика, начальника охраны Сталина:

— Какие причины побудили Надежду Сергеевну к самоубийству?

Вот что он рассказал.

После парада все, как всегда, пошли обедать к Ворошилову. В Кремле у него большая квартира была. Туда пришли прямо с Красной площади командующий парадом (по-моему, Корк) и некоторые члены Политбюро, самые близкие Сталину. Тогда демонстрации надолго затягивались. Там они пообедали, выпили, как полагается и что полагается в таких случаях. Надежды Сергеевны там не было.

Все разъехались, уехал и Сталин. Уехал, но не домой. Было уже поздно. Надежда Сергеевна стала беспокоиться, стала его по телефону искать. Прежде всего позвонила на дачу. Они жили тогда в Зубалове. На звонок ответил дежурный. Надежда Сергеевна спросила, где товарищ Сталин.

«Товарищ Сталин здесь», — сказал дежурный. «Кто с ним?» — «С ним жена Гусева». Утром, когда Сталин приехал, Надежда Сергеевна уже была мертва, сказал Власик.

Гусев был военный, и он тоже был на обеде у Ворошилова. Когда Сталин уезжал, он взял жену Гусева с собой. Я Гусеву не видел никогда, но Микоян говорил, что это очень красивая женщина.

Когда Власик рассказывал эту историю, то комментировал так:

— Черт его знает. Дурак неопытный этот дежурный: она спросила, а он прямо и сказал.

Тогда еще ходили глухие сплетни, что убил ее сам Сталин. Были такие слухи. Видимо, и Сталин об этом знал: чекисты записывали и докладывали. Потом еще говорили, что Сталин пришел-де в спальню, где обнаружил мертвую Надежду Сергеевну, не один, а с Ворошиловым. Так ли это было, трудно сказать. Почему в спальню нужно ходить с Ворошиловым? Взял с собой свидетеля, значит, знал, что ее уже нет. Словом, эта история до сих пор черная.

Вообще-то я мало знал о семейной жизни Сталина. Я только могу об этом судить по обедам, где мы бывали, и по отдельным репликам. Сталин, когда был под хмельком, другой раз вспоминал, что вот он, бывало, запрется в своей спальне, она стучит и кричит: «Невозможный ты человек, жить с тобой невозможно». И еще рассказывал, что когда маленькая Светланка сердилась, то повторяла слова матери: «Ты невозможный человек» и добавляла: «Я на тебя жаловаться буду». — «Кому же ты жаловаться будешь?» — «Повару». Повар у нее был самый большой авторитет.

После смерти Надежды Сергеевны я некоторое время встречал у Сталина молодую красивую женщину, типичную кавказку. Она старалась нам не попадаться. Только глаза сверкнут и — исчезает. Потом мне сказали, что эта женщина воспитательница Светланки. Но это продолжалось недолго. По некоторым замечаниям Берии я понял, что это была его протеже. Ну, Берия «воспитательниц» умел подбирать.

Мне нравился Сталин в быту, когда я бывал у него на обедах, где еще хозяйничала Надежда Сергеевна. Другой раз в домашней обстановке Сталин шутил. Я боготворил его, и любая его шутка мне казалась необычной: будто шутит человек не от мира сего.

Мне вообще очень нравилась эта семья. У Сталина встречал старика Аллилуева, его жену, тоже старуху. Там бывали и Реденс со своей женой — старшей сестрой Надежды Анной Сергеевной, и брат ее, молодой, красивый командир — не то артиллерист, не то танковых войск. По-теперешнему он был полковник.

Это были такие непринужденные семейные обеды, с шутками и прочее. И Сталин на этих обедах был очень человечным. Я еще больше проникался к нему уважением и как к политическому деятелю, которому равного в его окружении не было, и как к простому хорошему человеку.

Я ошибался. Теперь вижу, что я не все понимал. Сталин действительно был велик, во всяком случае, в своем окружении выше всех на много голов. Но он был и артист, он был иезуит. Он способен был на игру, чтобы показать себя в определенном качестве.

Одна встреча со Сталиным на меня произвела особенно сильное впечатление. Это было, когда я еще учился в Промышленной академии.

Первый выпуск слушателей академии состоялся в конце 1930 года. Тогда директором у нас был Каминский, старый большевик, хороший товарищ. Он обратился к Сталину с нашей просьбой принять делегатов Промышленной академии в связи с выпуском ее слушателей. У нас был запланирован вечер в Колонном зале, и мы хотели, чтобы Сталин выступил на этом торжественном заседании.

Нам сообщили, что Сталин примет человек шесть или семь. В том числе был и я, как секретарь партийной организации. Остальные уже кончили академию.

Пришли к Сталину. Он заговорил о том, что надо овладевать знаниями, но не разбрасываться, а узнать свое дело глубоко и в деталях. Наш специалист, сказал Сталин, наш русский инженер обычно очень образован и всесторонне развит. Он может поддерживать беседу на любые темы и в обществе дам, и в своем кругу. Он сведущ в литературе, искусствах и других делах, но если, к примеру, остановилась машина, то он пошлет людей, которые бы ее исправили, а вот немецкий инженер снимет пиджак, засучит рукава, возьмет ключ, сам разберет, исправит и пустит машину. Зато в обществе, может быть, этот немец будет более скучным. Вот нам нужны люди не с общими широкими знаниями — это очень хорошо, но не главное, а главное, чтобы они знали свою специальность и умели учить людей.

Нам это понравилось. Я такое слышал, еще когда учился на рабфаке. Тогда проводили идею, что, конечно, нужны институты, но главным образом нужно иметь больше техникумов, чтобы готовить не столько людей, знающих ту или другую отрасль в целом, сколько специалистов, если так можно сказать, — ремесленников, которые освоили бы узкие специальности лучше, чем инженеры.

Мы всецело были на стороне такой точки зрения. Я и сейчас считаю, что она правильная. Поэтому слова Сталина тогда на меня произвели сильное впечатление: вот человек, который знает дело и умно направляет нашу энергию на решение коренных задач индустриализации страны, подъема промышленности и укрепления обороны нашей Родины.

В Колонный зал Сталин прийти не смог, а сказал, что нас поприветствует Михаил Иванович Калинин.

Прибыли мы из Кремля в Колонный зал, когда уже кончился доклад. Но к выступлению Михаила Ивановича Калинина мы успели и внимательно его слушали.

Он говорил как раз обратное тому, о чем говорил Сталин. Тоже о том, что надо учиться, стать квалифицированными руководителями промышленности, но вместе с тем подчеркнул:

— Вы кадровые командиры и должны знать не только свою специальность, а быть всесторонне развитыми, то есть сделаться не только знатоками своих машин и приборов, но и литературы, искусства, истории и прочее.

Мы, которые были у Сталина, переглядывались. Я лично был на стороне Сталина, считал, что он конкретнее ставит задачу.

В январе 1931 года была очередная партийная конференция: тогда районные партийные конференции проводились через шесть месяцев или через год. На этой конференции я был избран секретарем партийного комитета Бауманского района, а Коротченко — председателем районного совета. Заворгом стал товарищ Трейвас — очень толковый; агитмассовым отделом заведовал, если не ошибаюсь, товарищ Розов, тоже деятельный человек.

Трейвас в двадцатые годы был широко известен как комсомольский деятель. Это был дружок Саши Безыменского. Они оба активно работали в Московской организации. Но Каганович меня предупредил, что, мол, у Трейваса имеется политический изъян: в свое время, когда шла острая борьба с троцкистами, он, в числе так называемых 93-х комсомольцев, подписал декларацию в поддержку Троцкого. Безыменский, кстати, ее тоже подписал. И хотя Трейвас сейчас полностью стоит на партийных позициях, не вызывает никаких сомнений и рекомендован заведовать орготделом, нужно иметь в виду его прошлое.

Сейчас, когда прошло столько лет, я должен сказать, что Трейвас трудился преданно и активно. Это был умный человек, и я им был очень доволен. Я с ним работал, впрочем, только полгода, а потом меня избрали секретарем Краснопресненского райкома. По партийной лестнице это было повышение, потому что Красная Пресня занимала более высокие политические позиции, чем Бауманский район. Она была ведущей партийной районной организацией в Москве. Трейвас же остался в Бауманском районе.

Жизнь его кончилась трагически, он был избран секретарем Калужского горкома партии и там хорошо работал. Но, когда началась мясорубка 1937 года, он не избежал ареста. Я встретился с Трейвасом, когда он сидел в тюрьме. Сталин выдвинул идею, что секретари обкомов должны ходить в тюрьмы и проверять правильность действий чекистских органов. Я тоже ходил.

Реденс, женатый на Анне Сергеевне Аллилуевой, был тогда начальником управления ОГПУ Московской области. Он тоже кончил трагически, был арестован и расстрелян, несмотря на то, что они были со Сталиным свояки.

Вот с этим Реденсом мы проверяли тюрьмы. Ужасная картина. Помню, зашел в женское отделение: жарища, лето, камера переполнена. Ре-

денс предупредил, что можно встретиться с такой-то и такой-то — там все знакомые.

Действительно, вижу там очень активную и умную женщину, которая до ареста была директором Парка культуры и отдыха имени Горького. Она фактически и создавала этот парк. Очень уважаемая женщина, активный член партии. Происходившая из буржуазной семьи, она знала этикет, и Литвинов ее всегда приглашал представлять наше государство на приемах иностранцев. И вот она в камере, полуголая, как и другие, потому что жарища.

И говорит: «Товарищ Хрущев, ну какая же я враг народа? Я честный человек, я преданный человек».

Зашли в мужское отделение. Там я встретил Трейваса. Он — то же самое. Обращаюсь к Реденсу, а тот поясняет: «Они все так говорят. Они все отрицают. Они врут».

Я понял, что положение секретарей обкомов довольно глупое: материалы следствия в руках чекистов, и они допрашивают, они пишут протоколы дознания и формируют мнение, а мы, собственно говоря, жертвы этих органов, поскольку вынуждены смотреть их глазами. Получался не контроль, а фикция, ширма, которая прикрывает деятельность органов. Я потом уже спрашивал себя, почему Сталин так сделал?

Сталин это сделал сознательно, он продумал это. Когда нужно, он мог сказать: «Там же партийная организация. Они же следят, они обязаны следить».

Ну, а что значит следить? Как следить? Чекистские органы не подчинены партийной организации и, следовательно, кто за кем следит? Фактически следили не партийные организации за чекистскими органами, а чекистские органы за партийной организацией, за всеми партийными руководителями.

Я несколько отвлекся, на эту тему я специально буду говорить.

Когда меня избирали на Красную Пресню, я отказывался. И раньше отказывался, когда предложили Бауманский район. Я просил Кагановича, который в ЦК занимался оргвопросами: «Что вы делаете? Я хочу закончить Промышленную академию, а мне опять не дают». «Нет, — говорит, — надо. Сейчас острая борьба в партии. Это главный участок, а вы определились как партийный работник».

Одним словом, было сказано, чтобы я ориентировался на партийную работу и не возвращался бы к вопросу учебы. После Бауманского района я стал работать секретарем райкома Красной Пресни, а еще через полгода на городской партийной конференции меня выбрали вторым секретарем Московского городского партийного комитета. Я очень болезненно пошел на это. Я еще не распростился со своими надеждами получить высшее образование. Кроме того, Московская организация была сложной, и я не сомневался, что будет трудно.

Так или иначе, я стал вторым секретарем Московского городского партийного комитета, а, наверное, через год вторым секретарем Московского областного комитета, после Рындина. В 1935 году меня избрали первым секретарем: это была большая честь и большая ответственность.

Тут я уже стал довольно часто встречаться со Сталиным и другими членами Политбюро. После XVII съезда я был избран членом ЦК, а став первым секретарем Московского партийного комитета, я был избран кандидатом в члены Политбюро. Я тут уже ходил почти на все заседания Политбюро.

Тогда еще в какой-то степени соблюдались ленинские традиции. Члены ЦК, которые жили в Москве или приезжали в Москву, имели право присутствовать на заседаниях Политбюро и, как говорится, сидеть смирно, слушать разбор дел, не мешая работе Политбюро. Я этим правом пользовался; было интересно следить за тем, как разбирают вопросы, как их решают. Это была большая школа.

Секретные решения, которые принимало Политбюро, тогда изымали из протоколов, рассылаемых по партийным организациям, но они были доступны всем членам ЦК. Каждый член Центрального Комитета имел право прийти к заведующему секретным отделом, и ему сейчас же давали полные протоколы. Это было очень хорошо. Потом все это изменилось. В конце концов Сталин даже перестал проводить систематические заседания.

Фактически с 1930 года Л. М. Каганович был, как известно, первым секретарем горкома и первым — Московского областного комитета партии. Одновременно он был секретарем Центрального Комитета. Главные его силы поглощала работа в Центральном Комитете, практически он был вторым секретарем ЦК, замещая Сталина. Поэтому на меня возложили большую работу в Москве. Это требовало предельного напряжения с моей стороны, тем большего, что знаний и соответствующего опыта у меня не было. Приходилось брать, как говорится, усердием, старанием.

Отношение ко мне в Московской партийной организации было, насколько я могу судить, очень хорошим.

В то время мне приходилось очень часто встречаться со Сталиным и слушать его: на заседаниях, на совещаниях, на конференциях, у него на квартире и в обстановке Политбюро Центрального Комитета. На общем фоне Сталин резко выделялся четкостью своих формулировок. Меня это подкупало.

Я всей душой был предан ЦК партии во главе со Сталиным и Сталину в первую очередь. Раз я был на совещании узкого круга хозяйственников. Это было в 1932 году, когда Сталин формулировал свои великие «шесть условий». Я тогда работал еще секретарем Бауманского райкома. Мне позвонили, чтобы я прибыл в Политбюро — там будет выступление Сталина. В ЦК, когда я приехал, уже было полно людей. Зал, вмещавший максимум 300 человек, был набит. Слушая, я старался не пропустить ни одного слова и насколько мог записал выступление Сталина. Потом оно было опубликовано. Повторяю, краткость, четкость формулировок меня подкупали, и я все больше и больше проникался уважением к Сталину и признавал за ним особые качества руководителя.

Когда Сталин шел в театр, он поручал позвонить мне, и я туда приезжал один или с Булганиным. Обычно он приглашал нас, если у него бывали какие-то вопросы и он, используя пребывание в театре, хотел обменяться с нами мнениями по делам города Москвы.

Мы очень внимательно слушали его и старались сделать, как он советовал. А он именно советовал в товарищеской беседе.

Однажды, по-моему, перед XVII партийным съездом, мне передали, чтобы я позвонил по телефону на квартиру Сталина. И вот он мне говорит:

— Товарищ Хрущев, до меня дошли слухи, что у вас в Москве неблагополучно с уборными. Даже по маленькому делу люди бегают и не знают, где бы освободиться. Создается нехорошее, неловкое положение. Вы подумайте с Булганиным, как создать в городе хорошие условия.

Казалось бы, мелочь, но меня это подкупило: даже о таких мелочах Сталин находит время заботиться.

Мы, конечно, развили, как говорится, бешеную деятельность, обследовали с товарищем Булганиным все дворы, поставили милицию на ноги. А Сталин не забывал спросить, как идет дело. Потом он поставил задачу: сделать культурные платные уборные. Это тоже осуществили. Были построены отдельные уборные. И все это — Сталин.

Помню, на совещании или конференции, куда съехались товарищи из провинции, Эйхе — он тогда, кажется, в Новосибирске был секретарем — очень попросту спросил:

— Товарищ Хрущев, правильно люди говорят, что вы по поручению Сталина занимаетесь уборными в Москве?

— Да, верно, — говорю. — Я занимаюсь уборными и считаю это заботой о людях, потому что в таком большом городе люди не могут «обходиться» как-нибудь.

Однажды на Политбюро стоял необычный вопрос о поведении за рубежом некоего сотрудника, командированного Внешторгом в какую-то латиноамериканскую страну. Пришел человек, с виду очень растерянный,

лет тридцати пяти. Сталин обращается к нему: «Расскажите нам, пожалуйста, все, как было». Он рассказывает, что приехал в эту страну делать какие-то заказы. И вот зашел в ресторан пообедать, а там к нему подсел какой-то молодой человек и спрашивает: «Вы из России?» Они разговорились. Наш командированный, отвечая на вопросы, поведал, что собирается закупать такое-то оборудование и что, вообще-то, когда-то он служил в армии, а именно в кавалерии, и любит лошадей до сих пор, похвастал, что и стреляет неплохо... А назавтра, когда ему перевели, что написано о нем в газетах, он за голову взялся. Оказывается, с ним говорил газетчик, но не представился, а ловко выудил у неопытного в этих делах человека разные сведения. И вот написал, что приехал такой-то и будет-де размещать заказы на такую-то сумму (это он выдумал), что русский коммерсант любит лошадей — настоящий джигит, хороший стрелок, спортсмен, стреляет так-то и попадает туда-то на таком-то расстоянии и так далее. Столько было написано чепухи, что наш командированный ужаснулся, но сделать уже ничего не мог. Через некоторое время посольство предложило ему вернуться на родину. Вот он вернулся и докладывает все, как было.

Когда он рассказывал, все хихикали, подшучивали. Мне было жаль этого человека: он поплатился за свою простоту и наивность. Как-то к этому Политбюро отнесется?..

Вдруг Сталин говорит: «Ну, что ж, доверился человек и стал жертвой разбойников, пиратов. Больше ничего не было?» — «Ничего». — «Ну, давайте считать, что вопрос исчерпан. Смотрите, в дальнейшем будьте осторожны». Мне очень понравился такой исход.

Кончилось обсуждение этого дела, и все вышли на перерыв в другой зал, где нам подавали чай с бутербродами. Тогда было голодно, и даже такие, как я, занимавшие довольно высокое положение, жили более чем скромно, не всегда ели досыта. Поэтому при случае наедались этих бутербродов с колбасой, ветчиной, пили сладкий чай, пользуясь благами служебных буфетов, где тоже не бывало, кстати, изысканной еды.

Так вот, когда все перешли в «обжорку», как мы в шутку называли это помещение, тот, из Внешторга, даже не встал, а продолжал сидеть в зале заседаний и не двигался с места, пока ему кто-то не подсказал, что все уже кончилось. Так он был потрясен. Видимо, он уже считал себя обреченным, раз поставлен этот вопрос.

Думаю, было какое-то донесение Сталину, и Сталин сам вынес этот вопрос на Политбюро. А поведение Сталина при обсуждении дела было человечное, нестандартное и очень импонировало всем нам.

В 1932 или 1933 году возникло движение, как тогда его называли, «отличников».

Спортсмены — рабочие Электрозавода, а этот завод тогда был ведущим в Москве, — совершили лыжный поход в Сибирь или на Дальний Восток. Благополучно они возвратились и были представлены к наградам. Их наградили каким-то значком или даже почетными орденами. Много шума было... Потом вдруг туркмены прискакали на своих конях из Ашхабада в Москву. Их встретили с почетом, одарили, тоже наградили... Движение охватило другие города и области.

Но тут Сталин сказал, что надо прекратить это, иначе конца не будет. Если начнем поощрять, а мы уже начали, так все будут стараться чем-нибудь таким отличиться и оторваться от производства. «Мы, — заметил он, — в бродяг превратимся, и бродяжничество это будем публично поощрять, даже вознаграждать за него. Надо прекратить». Положили конец этим делам. Мне это очень понравилось: во-первых, прекратили ненужную шумиху, а потом совершенно перекрыли неверное направление — действительно, поощрение бродяжничества. Сталин все это понял и подошел по-хозяйски.

Примерно в 1932 году в Москве голодуха была, и я, как второй секретарь, много усилий затрачивал, изыскивая способы прокормить москвичей, рабочий класс. И мы энергично занялись кроликами. Сталин поддержал эту идею, и я увлекся: с большим рвением проводил указание Сталина развивать кроличье хозяйство. Каждая фабрика, каждый завод, где возможно и, к сожалению, где было невозможно, разводили кроликов.

Потом занялись шампиньонами: строили погреба и траншеи.

Некоторые заводы хорошо поддерживали свои столовые, но вместе с тем получались и неприятные курьезы. Не всегда эти хозяйства окупались, не все директора их поддерживали. В народе стали называть грибницы — гробницами.

В делах распределения продуктовых карточек обнаруживалось много жульничества. Плодились воры.

Помню, Каганович мне сказал: «Вы приготовьтесь к докладу на Политбюро о борьбе в Москве за упорядочение карточной системы. Надо лишить карточек тех людей, которые незаконно, воровским способом их добыли».

Карточки были разные для работающих и неработающих. Для работающих — тоже разные, и это толкало людей на всякие ухищрения, злоупотребления и даже на воровство. Мы привлекли к работе и профсоюзы, и милицию, и чекистов. Сотни тысяч карточек удалось сэкономить, отобрав у тех, которым не полагалось их иметь. Задача была — кормить людей, обеспечивающих выполнение пятилетки.

Настал день, когда нас должны слушать на Политбюро. Каганович предупредил, что я буду докладывать. Меня очень обеспокоило, что придется выступать на таком авторитетном заседании и Сталин будет оценивать мой доклад. Председательствовал Молотов. Я доложил, что мы сделали, каких успехов добились. Сталин бросил реплику: «Не хвастайте, не хвастайте, товарищ Хрущев. Воров много, очень много осталось, а вы думаете, что вы всех выловили».

На меня это очень сильно подействовало: я действительно считал, что мы всех воров разоблачили, а вот Сталин, не выходя за пределы Кремля, видел, что их еще очень много. По существу так и было; и тон его реплики мне понравился, она была вроде родительского наставления.

Через небольшое время такой же доклад делали ленинградцы. А у нас было гласное и негласное соревнование с ленинградцами по всем вопросам. Поэтому я с интересом слушал секретаря ленинградского городского партийного комитета. Первым там был Сергей Миронович Киров, но не он делал доклад, а один из секретарей, помню лишь, что у него была латышская фамилия. Судя по его докладу, ленинградцы хорошо поработали, экономию обеспечили и много карточек сократили.

В перерыв весь народ повалил в «обжорку», а я что-то задержался и стал невольным свидетелем мимолетного разговора Сталина с Сергеем Мироновичем Кировым. Речь шла об этом секретаре обкома. Сталин спросил, что он за человек. Сергей Миронович сказал ему, видимо, что-то положительное. Сталин отозвался репликой, унижающей и оскорбляющей этого секретаря.

Для меня это было тогда страшным моральным ударом. Не допускал, что Сталин — вождь партии, вождь рабочего класса может так неуважительно относиться к товарищу по партии. В те времена я смотрел так: если он настоящий коммунист, а не жулик, то это брат мой, даже больше, чем брат. Я считал, что нас связывают невидимые нити идей строительства коммунизма, что-то такое возвышенное, святое. Каждый убежденный партиец для меня был, если говорить языком религии, вроде апостола, который во имя идеи готов пойти на жертвы.

Тогда действительно коммунистам приходилось жертвовать многим, а не блага получать. Не то, что сейчас, когда среди коммунистов наряду с идейными людьми есть и масса чиновников, подхалимов и карьеристов. Получилось, что ныне членство в партии, партийный билет — это надежда лучше приспособиться в нашем социалистическом обществе. Пока идут борьба и строительство, вознаграждение зависит от количества и качества труда. Но не секрет, что ловким людям удается получать значительно больше, чем остальным, хотя они вкладывают меньший труд в строительство нового. Это факт. Это является большим бичом в наше время.

В начале тридцатых годов такое уже проявилось, хотя в первые годы революции, в гражданскую войну все еще было наоборот. Помню, когда мы заняли город Малоархангельск, ко мне пришел местный учитель, человек невеликого ума-разума, и спросил, что ему дадут, какой пост, если он вступит в компартию. Меня это возмутило, но я сдержался и сказал: «Самый ответственный пост дадут».— «А какой?» — «Дадут винтовку и пошлют бить белогвардейцев. Это пост сейчас самый ответственный: быть или не быть Советской власти. Что может быть более ответственным?» — «О, если так, тогда я не пойду».— «Самое лучшее. Не ходите».

И вот Сталин, вождь, от которого я впитывал и хотел дальше впитывать примеры доброго отношения и понимания людей, выдал оскорбительную для товарища реплику. Прошло столько лет, а она все еще у меня в памяти. Засела осколком. Было в его словах и пренебрежение к простым людям. Этот латыш, этот секретарь был простой человек, видимо, из рабочих.

Тогда латышей среди актива было очень много. И на партийных постах, и в хозяйстве, и в Красной Армии. Я с большим уважением к ним относился.

Да вообще тогда и в мыслях у нас не было делить людей по национальности. Деление было по преданности: коммунист или не коммунист, за революцию или против. Это было главное. Потом уже нас стало разъедать мелкобуржуазное внимание к тому, кто какой нации. А тогда только социальное положение имело значение: из рабочих он, из крестьян или он из интеллигенции. Интеллигенция была, как говорится, на подозрении, и на это были причины. В первые годы революции очень мало людей интеллигентного труда было в рядах компартии. А в общем подход наш был классовый.

Приходилось мне, уже в пору, когда работал секретарем Московского горкома партии, участвовать в обсуждении вопросов реконструкции Москвы. Напомню, что председателем Моссовета тогда был Булганин. А главным архитектором, если память не изменяет мне, был тогда Чернышев, очень умный человек. Он автор здания Института Маркса — Энгельса — Ленина. Этот архитектор на меня производил впечатление человека очень скромного.

Однажды мы пришли на площадь у Моссовета и осматривали здания, которые окружают Моссовет. Каганович взглянул на Институт Маркса — Энгельса — Ленина и говорит: «Черт его знает, и кто это построил такое уродливое здание?» Оно в форме куба и покрашено было в серый цвет бетона. Действительно, выглядело мрачно. Архитекторы несколько смутились, и особенно Чернышев. Он сказал: «Лазарь Моисеевич, это я проектировал». Тот улыбнулся, извинился и постарался как-то смягчить свое замечание.

Докладывали мы о реконструкции Москвы в Политбюро. Доклад сделал Каганович, а может быть, и Чернышев, главный архитектор. Мне понравились указания Сталина. Не помню, что он говорил конкретно, но впечатление осталось хорошее.

В это время начинали строить метрополитен. Мы очень слабо представляли, что это будет, какое-то виделось чуть ли не сверхъестественное сооружение. Сейчас проще смотрят на полеты в космос, чем мы тогда представляли строительство в Москве метрополитена. Но было другое время.

Лучшим строителем считался Павел Павлович Ротерт, по происхождению русский немец. Его считали крупнейшим авторитетом. Перед этим Ротерт построил в Харькове дом украинского Правительства на площади Дзержинского, по тем временам — грандиозное сооружение. Его реконструировали после войны.

Вначале я к делам метрополитена не касался. Это было специальное строительство, хотя и в городе.

Но через какое-то время Каганович говорит: «Со строительством плохо, и вам придется как бывшему шахтеру заняться им основательно. На первых порах предлагаю вам оставить всю работу в горкоме партии. Идите на одни шахты, а Булганин пойдет на другие. Вы там несколько дней и ночей сидите, смотрите, изучайте, чтобы можно было по существу руководить и знать все это дело».

Правильное было решение. Приняли его с восторгом.

Тогда к Кагановичу я относился с большим уважением, и он действительно был человеком, преданным партии и делу. Не жалел ни сил, ни здоровья. Работал очень упорно.

Я пошел в шахты. Спустился, посмотрел все. Стал понимать, что такое метрополитен. Раньше это слово для меня ничего конкретно не значило. Но вот увидел, что это простые штольни, каких я много видел, работая в шахтах. Правда, в шахтах все делалось вручную, но по сравнению с метро было все-таки больше порядка и там работали более квалифицированные люди.

Булганин в шахтах простудился и заболел ишиасом. Он долго лежал в постели, потом его послали в Мацесту. Он вышел из строя на много времени, на месяц или больше.

Таким образом, я стал ответственным за строительство метрополитена и регулярно докладывал Кагановичу о ходе работ.

Прежде всего я понял, что нужны кадры, иначе нам не построить метрополитен.

Там люди были очень слабой квалификации. Они и работали, и учились — это похвально, но они совсем не знали горного дела. А тут горные работы приходилось вести в тяжелых московских грунтах, часто плывунных, очень насыщенных водой. Кроме того, на поверхности были городские сооружения, которые легко могли разрушиться в результате подземных обвалов и прочего. Короче, Кагановичу я предложил пригласить настоящих горных инженеров на смену тем, кто возглавлял шахты в первый период работ. Начали искать инженеров.

Потом вдруг, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В Донбассе случилась заминка в добыче угля. Росли потребности, а подготовительные работы и закладка новых шахт отставали. Туда был послан Молотов. Молотов поехал, но не разобрался, конечно, в сути, потому что он совершенно не знал горного дела.

А возглавлял тогда все работы в Донбассе Егор Трофимович Абакумов, старый шахтер, хорошо знающий шахтное дело. Он был моим другом. В 1912, 1913, 1914 годах мы работали на одной шахте, а в 1917 году вместе с ним революцию встречали. После гражданской войны мы вместе восстанавливали шахты. Он был управляющий рудниками, а меня партийная организация назначила к нему заместителем, когда я вернулся из армии. Я просто восхищался его знанием дела. Человек он был простой, рабочий. Но показал себя и хорошим администратором.

На Политбюро, докладывая о своей поездке в Донбасс, Молотов, судя по всему (я там не был), предложил снять Абакумова с работы. Каганович мне позвонил по телефону, говорит: «Вы знаете Абакумова?» «Да, я хорошо знаю Абакумова». «Я договорился в Политбюро. Абакумов, видимо, будет снят с поста, и сейчас решается, где его использовать. Как смотрите, если Абакумова взять заместителем управляющего строительством метрополитена к Ротерту? Ваше мнение?» Я говорю: «Если Абакумова отдадут нам на эту должность, лучшего заместителя искать не нужно. Это может быть и замечательный управляющий». «Нет, — говорит, — тут Ротерт».

За Ротертом слава инженера, а Абакумов не инженер, не строитель — он из рабочих, хотя экстерном окончил штейгерское училище. Штейгер-практик. Такие были в капиталистическое время. Это были люди, знающие дело, но без классической штейгерской школы.

Когда Абакумов пришел к нам, мне стало легче, потому что мы друг друга знали, друг другу верили. Сейчас же стали приглашать горных инженеров. Пригласили инженера Вишневецких копей Александра Ивановича Шолохова и еще целую группу хороших инженеров из Донбасса и из других мест. Когда создали кадры, работы в метрополитене пошли уже по-иному, уверенно.

Еще до прихода Абакумова Каганович предложил мне стать начальником строительства метрополитена. Я сказал, что не хотел бы этого. «Ну, вы показали свои знания, умение,— говорит он.— Собственно, сейчас уже мы рассматриваем вас как руководителя строительством». «Если будет такое решение, я буду делать все, что в моих силах, но тогда прошу меня освободить от должности секретаря горкома, потому что совмещать невозможно». «О, нет»,— говорит Каганович.

Каганович мне не сказал, но, видимо, Сталин предложил назначить меня начальником стройки по совместительству. Когда я сказал, что это для меня невозможно, все было оставлено как было.

Я, собственно, 80 процентов времени отдавал метрополитену и на работу в горком и с работы ходил через шахты. То есть сначала в метро, а уж потом вылазил из шахты и — в Московский комитет. В конце рабочего дня — наоборот, а какой у нас был рабочий день, сказать трудно, не знаю, сколько мы спали. Минимум времени тратили на сон.

Строительство продолжалось. Как-то пришел ко мне молодой инженер: красивый парень, из первых специалистов уже нашего советского времени. Маковский, по-моему, была его фамилия. Он в проектном отделе работал, но я его раньше не знал. И вот говорит, что мы строим метрополитен немецким способом, то есть открыто, траншеями, городу это очень неудобно, а есть другие методы строительства, например, закрытый, с применением проходческих щитов — это английский. Тогда надо уходить глубже под землю, и это дороже, но если принимать во внимание опасность войны, то надо учесть, что метро может служить и убежищем. Кроме того, закрытым способом можно строительство вести, не придерживаясь транспортных магистралей, а работать и под домами. Он готов был и доклад сделать на эту тему, если будет поручение. Еще он добавил, что вот, мол, Павел Павлович Ротерт уже готовит заказы на лифты для эвакуации пассажиров из-под земли. А почему бы не эскалаторы сделать?

Признаться, я услышал впервые слово «эскалатор» и не мог не спросить, что оно значит. Инженер объяснил.

Я обещал доложить соображения молодого инженера Кагановичу и тогда уже сообщить наше мнение. Он, в свою очередь, просил меня Павлу Павловичу ничего не говорить, потому что тот очень строг и ревнив: «Я пошел к вам без его ведома, зная, что он осудит меня, не выслушав».

Далее у меня был разговор с Кагановичем, и Каганович поручил мне выяснить все об эскалаторах раньше, чем заказывать лифты.

Павел Павлович доказывал, что лифты мы в своей стране построить не можем, а надо их заказать в Англии или в Германии. Для этого нужно было золото. А золота у нас было очень мало и его расходовали очень скупо (считаю, что это было разумно). Добиться золота на строительство метрополитена долго было нашей мечтой. Мы считали ее несбыточной. Золото шло на более важные нужды.

И вот Маковский доложил мне более подробно. Теперь следовало послушать Павла Павловича Ротерта и других специалистов. Я пригласил всех, объяснил в чем дело. Надо было видеть эту картину. Маковский — совсем молодой человек, изящный, хрупкий, я бы сказал, красавец, буквально рекламной внешности, а Ротерт — огромный старик. Он глянул из-под нависших бровей на Маковского. Прямо, знаете, как крокодил на кролика. Тот смутился, но не растерялся. Молодой был, однако зубастый. Стал доказывать Павлу Павловичу — уважительно, корректно — свою точку зрения; говорил, что мы используем устаревший метод. Ссылался на Англию: тоннели глубокого заложения, станцию Пиккадилли с эскалаторами, а это лучшая станция в аристократическом районе Лондона.

Ротерт с презрением посмотрел, назвал Маковского мальчишкой, обвинил в безответственности. Но тот семена посеял. Я был на стороне этого Маковского, и когда после обсуждения мы подготовили доклад в ЦК, то, хотя о строительстве с глубоким заложением и об эскалаторах в этом докладе не говорили, но рассудили, что преждевременно ставить вопрос и о золоте для покупки лифтов.

Смущало, что при работах по-новому могут быть несколько растянуты сроки в сравнении с утвержденным планом окончания метрополитена и неминуемо некоторое удорожание строительства. Все эти дела надо было решать в Правительстве, в Политбюро.

Сначала Каганович собрал совещание, и мы слушали Ротерта в Московском комитете. Ротерт был довольно упрям, для инженера это похвально: он имел свою точку зрения и отстаивал ее до конца. Так он и не согласился с нами.

Каганович чувствовал себя неважно: надо идти в Политбюро к Сталину, а Ротерт — против. Сталин может нас не поддержать. Но выхода не было: Сталин уже подготовлен, ему говорили, уже назначено заседание. Пошли. Ротерт доложил первым, потом мы начали выступать, завязался спор.

Когда Ротерт сказал: «Дорого»,— Сталин ответил резко: «Товарищ Ротерт, что дорого, что дешево — решает Правительство. Я ставлю вопрос о технике. Можно технически делать то, что предлагает этот молодой инженер Маковский?» «Технически это можно сделать, но дороже». «А дороже — Правительство отвечает за это. Мы принимаем глубокое заложение».

Так сразу и решили. Тут Сталин действовал дальновидно и смело: дороже, но сразу решался и вопрос обороны. Метрополитен, как мы знаем, сыграл свою роль не только как транспортное средство, но во время войны это были убежища. Первое время узел связи и некоторые другие помещения Ставки размещались на станции «Кировская».

Период до 1935 года был, я бы сказал, периодом большого подъема в партии и в стране. Индустриализация, строительство предприятий в Москве и в других городах: Шарикоподшипниковый, Нефтегаз, Авиационный, развитие Электрозавода. Потом и реконструкция Москвы. Строительство по сегодняшним масштабам мизерное, но не было других возможностей и все давалось трудно. Начали строить канал Москва — Волга, перестраивать мосты через Москву-реку...

План реконструкции Москвы слушали на Пленуме Центрального Комитета. Я не помню, выступал ли там Сталин, но это не столь важно. Основы плана были доложены ему еще до Пленума. На заседании Политбюро Сталин высказал свою точку зрения по конкретным вопросам, и она была полностью отражена в Генеральном плане реконструкции Москвы.

Москва того времени — крупный город с отсталым хозяйством: улицы неблагоустроены, нет канализации, водопровода, водостоков; мостовая, как правило,— булыга, да и булыга эта не везде; транспорт в основном конный.

Пленум Центрального Комитета положил начало реконструкции. Это был шаг вперед, и большой шаг. Мы видели в этом «внимание и заботу товарища Сталина о Москве и москвичах». Особенно Лазарь Моисеевич Каганович любил такие подхалимские формулировки, их подхватывали все, и получался гулкий отзвук, прокатывающийся эхом.

Все эти восхваления накапливались.

Вспоминаю XVII съезд ВКП(б). На этом съезде я был избран членом Центрального Комитета.

Какой была техника голосования в члены ЦК? На меня произвел сильное впечатление ее демократизм. Были названы кандидаты, составлен список, и бюллетени раздали делегатам съезда. Правда, возможностей для выбора и тогда было мало. Кандидатов занесли в список ровно столько, сколько необходимо было избрать в члены и кандидаты ЦК, в Ревизионную комиссию, ни на одного больше или меньше. Предоставлялась только возможность выразить свое отношение к тому или другому кандидату, то есть оставить его в списке или вычеркнуть. После получения бюллетеней делегаты разбредались и штудировали списки: решали, кого оставить, а кого вычеркнуть.

Некоторые, я видел, усидчиво занимались этим. Сталин же демонстративно, на глазах у всех, получив списки, подошел к урне и опустил

бюллетень, не глядя в него! Потом я понял, что без благословения Сталина в эти списки не попало ни одной кандидатуры и поэтому и читать их у него не было никакой необходимости.

Одна деталь произвела на меня тогда удручающее впечатление. Перед голосованием Каганович инструктировал нас, молодых. Он доверительно, чтобы никто не знал, рекомендовал вычеркнуть из списков тех или иных кандидатов, в частности Ворошилова и Молотова. Мотивировал тем, что заботится, как бы Сталин не получил меньше голосов, чем Ворошилов, Молотов и другие члены Политбюро. Говорилось, что все это делается из высших соображений политики, и мы относились с пониманием. Но все-таки как же так? Член Политбюро, секретарь Центрального Комитета и секретарь Московского комитета, для нас очень большой авторитет, вдруг рекомендует вот так недостойно вести себя при выборе членов ЦК.

Техника была такая: объявляли количество голосующих и количество голосов за каждого кандидата. Помню, Сталин не получил всех голосов: шестеро голосовали против. Почему я хорошо это запомнил? Потому что, когда объявили «Хрущев», у меня тоже шести голосов не хватало. Я чувствовал себя, как на небе.

Я считал тогда, что подсчет голосов верен и объективен. Другие имели против по нескольку десятков и даже по сотне голосов. Порядок был такой: получивший абсолютное большинство считался избранным.

Работа нас увлекала. Могу сказать, со вкусом и наслаждением работали. Лишали себя буквально всего остального. Отдыха не бывало. В выходные, когда они еще были (потом исчезли), назначали какие-либо заседания или массовки. Партийные, профсоюзные работники много бывали на заводах, на фабриках. Работали с воодушевлением, а жили скромно, больше даже, чем скромно. Я материально был лучше обеспечен, когда был рабочим до революции, чем когда стал секретарем Московского городского партийного комитета и обкома партии. Времена, о которых я вспоминаю, были времена романтиков. Сейчас, к сожалению, проник в партийную среду налет мелкобуржуазности. В то время никто и мысли не допускал, чтобы, к примеру, иметь личную дачу — мы же коммунисты! Не знаю, у кого из нас были две пары ботинок. Гимнастерка, штаны, пояс, кепка, косоворотка — вот, собственно, вся одежда. Сталин был в этом хорошим примером. Он носил летом белые штаны, белую косоворотку с расстегнутым воротником. Сапоги у него были простые. Каганович ходил в военной гимнастерке, Молотов во френче. Внешне вели себя скромно и все силы отдавали партии, стране, народу. Некогда даже было читать художественную литературу. Помню, Молотов меня спросил: «Товарищ Хрущев, вам удается читать?» Я ответил, что, увы, очень мало. «У меня тоже так получается. Засасывают неотложные дела, а читать надо. Понимаю, что надо, а возможности нет».

И я его понимал. С таким трудом в 1922 году вырвался из армии учиться на рабочий факультет. Не дав его закончить, послали на работу.

Позже вымолил у Центрального Комитета разрешение учиться в Промышленной академии. И опять... Как будто мы были вне закона, не могли жить для себя. Если кто-то увлекался литературой, его упрекали: «Вместо того, чтобы работать, читаешь». А уж если он учился, чтобы получить среднее образование или, боже упаси, высшее, считали его бездельником, который не хочет работать для укрепления Советского государства.

Помню, когда-то Сталин сказал, что вот получилось так, что троцкисты и правые взяли себе привилегию учиться. Центральный Комитет им не доверяет, сместил их с партийных постов, и они устремились в высшие учебные заведения. Закончив вузы, они идут в науку. А люди, которые стояли твердо на позициях генеральной линии партии, которые занимались практической работой, те не имеют возможности получить высшее образование, повысить свой уровень знаний и свою квалификацию.

Он даже назвал некоторые имена для примера.

Но никто из нас не считал, что приносит себя в жертву. Нет! Работали, повторяю, с удовольствием.

Мы из Москвы «ситцевой» строили Москву индустриальную. Тут вопрос связывался еще и с тем, что «ситцевая» Москва, мол, порождает правые настроения и что отражали идеологию «ситцевой» Москвы Угланов, Уханов и другие оппозиционеры.

1934 год. Первое декабря. Вечером телефонный звонок. Каганович говорит: «Я звоню из Политбюро, прошу вас, срочно приезжайте сюда». Приезжаю в Кремль, захожу в зал. Каганович меня встречает. Страшный вид у него, какой-то настораживающий: «Несчастье. Кирова убили в Ленинграде. Потом расскажу подробнее. Сейчас Политбюро обсуждает эти вопросы. Туда намечается делегация: Сталин поедет, видимо, Ворошилов, Молотов и от Московской организации, от московских рабочих, человек 60. Делегацию Москвы вам нужно возглавить. Вы постоите там в траурном Почетном карауле и потом будете сопровождать тело из Ленинграда в Москву».

Я тут же уехал в Московский комитет партии, где был вторым секретарем. Составили делегацию и тотчас выехали в Ленинград.

Сталина, Ворошилова и Молотова я не видел, ни когда мы садились в вагоны, ни когда прибыли, потому что они ехали отдельно, в специальных вагонах. Ленинград был в глубоком трауре. Мы видели переживания людей, секретарей горкома и обкома партии. Встретил я там и старых знакомых, например, симпатичного, всеми уважаемого Чудова — второго секретаря Ленинградского обкома, и других. Все разводили руками, толком не знали, что происходит. Знали только, что убил Кирова Николаев. Нам сказали, что Николаев не то был исключен из партии, не то не исключен, а имел взыскания за участие в троцкистской оппозиции, и поэтому, мол, это дело рук троцкистов; что, по-видимому, они организовали убийство. В нас это вызывало искреннее возмущение и негодование.

Не помню уже, сколько мы пробыли в Ленинграде. Когда ленинградцы прощались с телом Сергея Мироновича Кирова, мы тоже стояли в карауле, даже по нескольку раз. Потом перевоз тела в Москву, похороны. Как переживали смерть Кирова Сталин и другие, я не могу сказать. Каганович был потрясен и, по моему мнению, даже напуган. Сталина я видел, когда он стоял в карауле в Ленинграде, но он умел владеть собой, и лицо его было непроницаемо. Да и думать я тогда не мог, что он может быть занят чем-то, кроме переживаний, вызванных потерей Кирова.

В 1935 году москвичи отпраздновали окончание первой очереди строительства метрополитена. Многие в связи с этим получили правительственные награды. Я был удостоен ордена Ленина — это мой первый орден. Булганин получил орден Красной Звезды. Это мотивировали тем, что он уже награжден орденом Ленина за успешное руководство работой Электрозавода, директором которого он был. Помнится, у Булганина был орден Ленина номер десять. Это тогда очень подчеркивалось. У меня был орден Ленина с номером около 110. Мы пышно отпраздновали завершение строительства. Метрополитен был назван именем Кагановича. Тогда было модно среди членов Политбюро, да и не только членов Политбюро, «приобретать» заводы, фабрики, колхозы, районы, области. Прямо-таки соревнование. Эта нехорошая тенденция родилась при Сталине.

В 1935 году Каганович был назначен Наркомом путей сообщения и освобожден от обязанностей первого секретаря Московского комитета партии. Меня выдвинули на пост первого секретаря Московского областного комитета и первого секретаря Московского городского комитета партии. На ближайшем Пленуме ЦК я был избран кандидатом в члены Политбюро.

До этого я еще хранил свой личный инструмент. Как у всякого слесаря, были у меня кронциркуль, метр, керн, чертилка, угольнички... Мысленно я тогда еще не порывал связи со своей профессией: партийная работа — выборная, и в любое время, считал, могу вернуться к своей основной деятельности слесаря. Но я превратился уже в профессионального партийного работника.

По своему положению секретаря Московского комитета я должен был наблюдать за деятельностью Московского Управления НКВД, о чем я уже упоминал. И вот я читал донесения о происшествиях в городе и области — довольно страшные сводки, если речь шла об уголовщине. А политическое положение было, на мой взгляд, спокойное. Партийная организация была сплоченная, хотя появлялись другой раз меньшевистские листовки, случались «волынки» и даже забастовки, что объяснялось очень тяжелым материальным положением рабочих. Рабочих вербовали из деревни, селили в бараки, там люди жили в немыслимых условиях: грязь, клопы, тараканы и, главное, плохое питание, плохое обеспечение производственной одеждой. Вообще с одеждой было трудно, не купишь. Все это, естественно, вызывало недовольство. Раздражали людей и пересмотры коллективных договоров, связанные с пересмотром норм выработки, расценок. К примеру, была такая-то норма, а потом после нового года вдруг на 10—15 процентов выше при тех же расценках или даже меньших. Это легче проходило там, где умный директор и хорошая партийная организация. Они изыскивали технические возможности поднять выработку, объясняли рабочим создавшееся положение. Чаще же ничего не делали, а прикрывались авторитетом партии и интересами государства, а это вызывало «волынки» цеха, другой раз и какого-то завода в целом. В таких случаях мы в открытую, по-честному разъясняли, где рабочие правы, а где нет. Если видели ошибки, исправляли их и наказывали тех, кто допустил злоупотребления. Рабочие хорошо понимали, что мы на более низком уровне по выработке, чем западные капиталистические страны, и нужно подтягивать пояса, чтобы соревноваться со своим противником и его догонять. Тогда мы еще редко употребляли слово перегнать, боялись, потому что слишком большой был разрыв. Это давило на нас.

В сводках по городу и прежде много приводилось нелестных отзывов о партии, оскорбительных выражений о вождях. Агенты доносили о конкретных людях, недовольных партией, с фамилиями, адресами... Но против них не принималось никаких мер, кроме воспитательных. Мы знали, что если настроение плохое, то, следовательно, надо усилить общественную работу, партийную работу, воздействовать через профсоюзы, через комсомол, через пропагандистов, использовали все средства, кроме административных, я имею в виду аресты, суды. Если это и было, то в виде исключения, в случае каких-то конкретных действий антисоветского характера.

После убийства Кирова все изменилось.

Начальником Московского Управления НКВД был, как я упоминал, товарищ Реденс. Он был в партии, кажется, с 1914 года. Сам он поляк, в прошлом рабочий-электрик. По-моему, он был хорошим товарищем. Вдруг он говорит мне, что получил задание «почистить» Москву. Действительно, Москва была засорена: много было неработающих, паразитических элементов, спекулянтов. Их и надо было «вычистить». Для этого и составлялись списки на высылку из Москвы. Но это был только первый этап репрессий после убийства Кирова, направленный против уголовников. Куда их высылали, не знаю, потому что тогда придерживались правила говорить человеку только то, что его касается: это, мол, дело государственное, и чем меньше людей об этом знает, тем лучше.

Потом начался политический террор.

Как гром в ясную погоду, поразили всех аресты Тухачевского, Якира и Уборевича, аресты других военных. Это был психологический удар и для меня.

Я тогда, конечно, негодовал, клеймил изменников. Сейчас самое выгодное было бы сказать: «В душе я им сочувствовал». Нет, наоборот, я раздражен был и негодовал, потому что Сталин, тогда мы были убеждены, не мог ошибаться.

Не помню, с чего начались дальнейшие аресты. Они сопровождались казнями. Этого нигде не объясняли и не объявляли, и многого мы даже не знали. Нас только информировали, что люди сосланы или осуждены на какие-то сроки заключения.

Московская областная и городская партийные организации продолжали свою деятельность. Другой раз нам сообщали об аресте тех или иных

крупных людей, мол, такой-то оказался тоже врагом народа. Мы информировали об этом районные и первичные парторганизации, комсомол и общественные организации. Осуждали арестованных. Ведь если арестованы, значит, разоблачены, выявлена их провокаторская и подрывная деятельность. Все формулировки, осуждающие и клеймящие позором этих лиц, были пущены в ход.

В Москве был секретарь обкома комсомола — не помню фамилию, который мне очень всегда нравился: молодой, задорный, энтузиаст. Человек был на месте и по образованию, и по подготовке, да и характер хороший. И вдруг утром, только я пришел на работу, мне говорят, что секретарь обкома комсомола поехал на охоту и там застрелился. Очень сожалея, я сейчас же позвонил Сталину, вот, мол, какое несчастье, такой хороший парень застрелился.

Сталин спокойно ответил: «А, застрелился! Это нам понятно. Он застрелился потому, что мы арестовали Косарева (секретаря ЦК комсомола) и другие его дружки арестованы».

Я был поражен. Косарев для меня был человеком, который не мог вызывать сомнения. Парень из рабочей семьи, сам рабочий и вдруг — враг народа. Как же это могло быть, как же это он мог стать врагом народа? Но опять не возникало недоверия. Если это сделал ЦК, сделал Сталин, следовательно, это необходимо. Но все ложилось на душу камнем. Получалось, что корни вражеской разведки глубоко внедрились в нашу почву, злодеи проникли в партийную, комсомольскую среду, и болезнь поразила верхушку.

События следовали одно за другим. Арестовали Рудзутака, кандидата в члены Политбюро, который часто выступал на заводах по просьбе Московского комитета партии. О нем шла хорошая слава: твердый партиец. В дискуссии по профсоюзам в 1921 году, которая потрясала партию, Рудзутак выступил с платформой, которую Ленин предложил взять за основу. На этой платформе сумели объединиться основные силы партии, и так было выработано решение, затем принятое всей партией. Это характеризовало Рудзутака наилучшим образом.

Хотя я был уже кандидатом в члены Политбюро, о положении дел в стране я был плохо информирован — во всяком случае, многие подробности до меня не доходили. А только общее.

Знал, например, что на Украине сложилось тяжелое положение. Туда послали Кагановича, он пробыл несколько дней, и в результате этой поездки Постышева опять вернули на Украину. Каганович говорил, что Косиор, тогдашний первый секретарь ЦК на Украине, хороший политический деятель, но как организатор слаб, отсюда и распущенность и ослабление руководства; надо дисциплинировать, подтянуть, и лучше всего послать туда секретарем ЦК Постышева на подкрепление Косиору.

Постышев вернулся на Украину. А тем временем арестовали Варейкиса, который был тогда секретарем крайкома. Варейкис, оказывается, был в свое время агентом охранного отделения.

И опять какая-то заминка в руководстве Украины. После пленума ЦК Украины застрелился Любченко, крупный украинский работник, за которым числились политические грехи. Когда-то он, собственно, был петлюровцем. Я сам видел его фотографию в компании самого Петлюры. Это знали, и на всех украинских съездах Донбасская делегация выступала с отводом Любченко при выборах в Центральный Комитет. Но я считал, что Любченко очень способный человек и, отойдя от петлюровцев, твердо стоит на партийной почве.

Был объявлен перерыв в заседаниях пленума, он поехал домой и уже не вернулся. Решили проверить, почему Любченко нет на пленуме ЦК. Обнаружили такую картину: в постели лежат его убитая жена и он. Предположили, что он с согласия жены застрелил ее и себя. Это был большой удар. Объясняли так: он бывший петлюровец; видимо, к нему подобрала ключи вражеская разведка и он работал на нее. Много не распространялись, потому что было слишком много «врагов».

Каганович выехал в Киев и привез оттуда информацию не в пользу Косиора и Постышева. Рассказал, что собрал актив в Киевском оперном

театре и буквально вызывал: «Выходите, докладывайте, кто что знает о врагах народа». Устроил народный суд такой. Выходили и говорили... Просто сейчас стыдно и позорно вспоминать, но это было.

Кагановичу доложили, что есть некая Николаенко, работает на культурном фронте и энергично борется с врагами народа, но не находит поддержки. Каганович рад стараться, сейчас же послал за ней. Николаенко, придя, тут же начала разоблачать «врагов народа». Страшная, говорят, картина была. Каганович доложил, видимо, Сталину об этом, и в одном своем выступлении Сталин говорил, что вот, бывает, небольшие люди оказывают неоценимую помощь партии. Такой небольшой человек, как Николаенко, оказала на Украине партии большую помощь, разоблачив врагов.

Николаенко сразу подняли на пьедестал.

Позже, когда я готовился выехать на Украину, Сталин меня предупредил, что вот там есть такая Николаенко и она, мол, может помочь в борьбе против врагов народа. Я сказал, что фамилию эту помню из его выступления.

Как только я приехал на Украину, Николаенко пришла, я ее принял, выслушал. Молодая, здоровая женщина, окончила какой-то институт, была директором народного музея, что ли, этого точно не помню. Но, в общем, имела дело с народным украинским искусством и поэтому общалась с интеллигенцией. То, что она стала мне говорить о врагах народа, это был просто бред сумасшедшей. Всех украинцев она считала националистами, все были в ее глазах петлюровцами и их надо всех арестовывать. Я насторожился. Я ее начал осторожно поправлять; требовалась осторожность, потому что тогда с такими людьми было небезопасно беседовать, они сейчас же обвиняли любого, кто с ними не соглашался. Мы расстались. «Я,—говорит,—буду к вам заходить». «Пожалуйста, заходите, охотно вас выслушаю».

Она в самом деле вскоре опять пришла и приходила еще много раз. Я уже видел, что это больной человек, верить ей никак нельзя. Начала она обсуждать со мной и свои личные дела—мол, к ней плохо относятся в активе. Раньше (она была незамужняя) с ней охотно поддерживали знакомство командиры Красной Армии. Теперь они перебегают через улицу, если заметят, что она идет навстречу. Говорит: «Вот меня отравят за то, что я веду борьбу с врагами народа». Я ей сказал, что она должна более трезво оценивать отношение людей. Они избегают вас, сказал я, потому что всех, кто с вами знаком, как правило, арестовывают.

Как только я приехал в Москву, Сталин меня спрашивает о Николаенко. Я не скрыл свое впечатление о том, что ей доверять нельзя, это больной человек, она обвиняет людей в украинском национализме совершенно незаслуженно. Сталин вскипел, он очень рассердился. Напал на меня: «Вот у вас недоверие к такому человеку, это неправильно». Повторял свое: «10 процентов правды—это уже правда, это уже требует от нас решительных действий, и мы поплатимся, если не будем так действовать». Одним словом, он побуждал меня отнестись к рассказам Николаенко с доверием.

Я рассказал, что она обижается на отношение к ней командиров. Сталин начал шутить: «Что ж, подыскать ей мужа надо». Я говорю: «Такой невесте подыскать мужа—это очень опасно, потому что муж заранее будет готов через какое-то время садиться в тюрьму, она и его, безусловно, оговорит».

Вернулся я в Киев. Приходит Николаенко и убежденно докладывает, что возглавляет националистическую контрреволюционную организацию Коротченко. Он националист и прочее.

«Знаете,—я говорю,—с Коротченко я много лет знаком, и его знает Сталин. Коротченко украинец, но по-украински по-настоящему он и говорить-то не умеет. Язык его—суржик (мешанина из слов украинского, русского и белорусского языков). Поэтому никак, никак я не могу с вами согласиться». Она очень тут стала нервничать и уже на меня косится. Вижу, уже и ко мне недоверие: ведь я покрываю националистов. Заплакала. Я говорю: «Успокойтесь. Подумайте. Так нельзя говорить о людях, которых не знаете. Коротченко вы, конечно, не знаете, а уж данных у вас никаких нет». Она ушла, но я был уверен, что она напишет Сталину. Через какое-то время Поскребышев звонит: Николаенко прислала письмо Сталину, разоблачает Коротченко и кого-то еще. Я говорю, что этого ожидал. Теперь она напишет, что и я украинский националист.

Действительно, через какое-то время Николаенко пришла, я опять не стал соглашаться с ней, и она написала заявлеине, где обвиняла меня, что я покрываю врагов народа и украинских националистов. Поскребышев звонит: «Ну, уже есть следующее зявлеиие, она пишет о вас».

Я ответил, что так и должно быть.

После этого письма Сталин поверил мне, что Николаенко сумасшедшая, больная, а Каганович ошибся. Кончилось тем, что Николаенко стала проситься с Украины в Москву. Она в Москве договорилась с руководителем Комитета по культуре и уехала. Мы вздохнули с облегчением. Сталину я сказал, что наконец-то она уехала. Он шутил: «Ну что ж, выжили». Я говорю: «Выжили».

Через какое-то время ее послали, кажется, в Ташкеит. Но она стала осаждать меня телеграммами и письмами, чтобы ее вернуть на Украину. Тут я сказал: нет, забирать ее на Украину мы не будем, пусть там устраивается.

Сталин согласился и даже шутил. Он, видимо, и сам уже разобрался. Такой же случай был в Москве. На пленуме ЦК комсомола выступила Мишакова с разоблачением Косарева и его друзей. Косарев был арестован, а Мишакова стала одним из секретарей ЦК ВЛКСМ, была поднята на щит, как борец, с которого надо брать пример. Сейчас многим известно, что это были ненормальные. Мишакова была безусловно с психическим дефектом, но честный человек, а Николаенко просто психически больная. Это я узнал, уже когда был на пенсии. Она мне прислала новогоднее письмо, на основании которого и неспециалист мог бы заключить, что она душевнобольная.

Однажды я был у Сталина в Кремле, в его кабинете. Там были и другие. Раздался звонок, он подошел к телефону, но так как расстояние было порядочное, плохо было слышно, что он говорил, тем более что Сталин, как правило, говорил тихо.

Закончив разговор, он повернулся к нам и спокойно пояснил: «Звонил Чубарь: плачет, говорит, что не виноват, что он честный человек». И сказал он это с таким сочувствием. Мне Чубарь нравился. Этот простой честный человек, старый большевик, вышел из рабочих. Я его знал по Донбассу. Он был председателем Центрального комитета профсоюза каменноугольной промышленности, где сменил Пятакова. В Москве я с ним поддерживал хорошие отношения.

Я был обрадован, что Сталин сочувственно разговаривал с ним и, следовательно, не верит материалам, которые, видимо, имеются; и, таким образом, Чубарю арест не угрожает. Но я ошибся: теперь могу сказать, что я совершенно не знал Сталина. На следующий день выяснилось, что Чубарь арестован, а потом уже, как говорится, ни слуху и ни духу, он как в воду канул.

После смерти Сталина я попросил чекистов найти тех, кто допрашивал Чубаря. Меня интересовало, в чем же именно его обвиняли. Прокурор Руденко сказал, что Чубарь ни в чем не был виноват, никаких материалов, которые могли бы служить обвинением, сейчас не имеется. Тогда разыскали следователя, который вел дело Чубаря. Я предложил членам Президиума ЦК послушать его, посмотреть, что это за человек. Хотелось узнать, как это он заставил Чубаря сознаться в «преступлениях». И что было основанием для расправы с ним. На заседание пришел еще не старый человек и очень растерялся, когда его стали спрашивать, он ли вел дело Чубаря. «Да, я»,—говорит. Спрашиваем, в чем Чубаря обвиняли и как он сознался в своих «преступлениях». Следователь объяснил: «Меня вызвали и сказали—будешь вести следствие Чубаря. Дали директиву бить его, пока не сознается. Вот я его и бил, и он сознался».

Как просто! Услышав это, я не знал даже, как реагировать. Решили расследовать действия этого следователя и осудить его самого по закону.

Судили этого следователя и осудили, но потом я пришел к выводу, что фактически этот человек был слепым орудием. Ему сказали, что перед ним враги народа, и он поверил партии, Сталину. Враги народа, предупредили его, нипочем не сознаются в преступлениях, надо выбивать из них признания, вот он и выбивал, уже палкой. Такие методы следствия применяли в этот период ко всем и каждому.

Настал 1937 год, самый тяжелый. Как раз в 1937 году надо было провести перевыборы в первичных и местных партийных организациях, вплоть до обкомов. Начались собрания. Проходили они очень бурно. Партия была деморализована. Ниже ЦК руководители не чувствовали себя руководителями.

Тогда было такое устное указание, что обязательно все кандидатуры, выдвигаемые в руководящие партийные органы, надо проверять, не связаны ли эти люди с арестованными врагами народа. То есть чекисты должны их апробировать.

Всех работников проверяли.

Состав руководящих партийных комитетов зависел уже не от коммунистов, а от чекистских органов: какую характеристику дадут там. Кандидатуры были, собственно, подставные, внутрипартийная демократия нарушалась, потому что воля партийных организаций была ограничена. Чекистские органы стали контролировать партию и творили, что хотели.

Московская городская партийная конференция, где я делал отчетный доклад, проходила на довольно высоком уровне активности, хотя все сознавали, что положение тяжелое. Но люди верили, что мы находимся на таком этапе, когда враги, не сумев сломить нас в прямом бою, направили все усилия, чтобы разложить партию изнутри, путем вербовки членов партии в шпионы, засылки агентуры и прочее. Сейчас видна несостоятельность этих аргументов. Ведь были выведены из строя наиболее старые кадры, которые прошли подполье или первые годы революции, гражданскую войну, люди, отобранные самой историей борьбы рабочего класса России. Не странно ли было, что именно они прежде всего пошли на предательство и их завербовали иностранные разведки.

Но это я сейчас рассуждаю, тогда так не думал. Я тогда смотрел глазами Центрального Комитета, то есть Сталина, и пересказывал аргументы, которые слышал от Сталина.

Партийные конференции по районам проходили бурно. На выборы только президиумов в Москве тратили по нескольку заседаний, а то и целые недели. Я был обеспокоен... К этому времени, правда, у нас была инструкция, как вести выборы, она предлагала довольно демократичный способ: обсуждение кандидатур, закрытое голосование, отводы. Но эту инструкцию не выполняли.

На городской конференции при обсуждении моего доклада хорошо выступил комиссар Академии имени Фрунзе. Мне запомнилась его черная борода. Он прошел гражданскую, имел высокое воинское звание. Мы его предварительно включили в список кандидатов в горком партии. Перед голосованием, однако, вдруг мне передают, чтобы позвонил Ежову, а Ежов был секретарем Центрального Комитета и Наркомом внутренних дел. У меня были неплохие с ним отношения. И вот Ежов говорит: «Все сделай, чтобы не отводить прямо, а «провалить» этого комиссара, потому что мы его арестуем. Он связан с врагами. Он — хорошо замаскировавшийся враг»... Отвечаю: «Что я могу сделать? Утверждены списки, осталось только раздать бюллетени и голосовать. Это уже от меня не зависит». А Ежов свое: «Надо сделать так, чтобы его не выбрали». — «Ну, хорошо, — говорю, — подумаю, сделаю».

Только закончил этот разговор — на проводе Маленков. Он был заместителем Ежова, а фактически заведующим отделом кадров ЦК ВКП(б). Он говорит: «Надо сделать так, чтобы провалить Ярославского, но только аккуратно». Я ему: «Как же это можно! Ярославский — старый большевик, уважаемый всей партией человек».

Он работал тогда в Партколлегии. Его называли «советским попом», поскольку он поддерживал и охранял в партии моральные устои, занимался разбором выносимых в ЦК персональных дел коммунистов.

Маленков: «Ты должен сделать. У нас данные против Емельяна Ярославского, но надо, чтобы он не знал об этом». Я: «Мы обсудили кандидатуру Ярославского, и против не было ни одного слова». — «Тем не менее сделай так».

Я собрал секретарей партийных комитетов и информировал: вот есть указания относительно того комиссара, насчет Ярославского, и надо все сделать, но сделать осторожно, чтобы делегаты вычеркнули их при голосовании. Роздали списки. Начали голосовать. Счетная комиссия подсчитала и доложила: комиссар не получил большинства, не избран. Он был поражен, да и другие не меньше его были поражены, но так как мы предупредили, что это ЧК отводит, ребята пеняли на себя: как это они не разоблачили замаскировавшегося врага и он всех едва не обвел вокруг пальца.

С Ярославским другое дело. Не было прямой информации, что он враг народа, а только, мол, колеблется и недостаточно активно в свое время боролся против оппозиции, сочувствовал Троцкому. Дошли до Ярославского, подсчитали голоса и видим, что он прошел в состав городского комитета большинством в один или в два голоса. Ну, я и доложил «наверх», что партийная организация не проявила должного понимания вопроса, а я сам, конечно, не справился с поручением Центрального Комитета, то есть Сталина, потому что ни Маленков, ни Ежов в отношении Ярославского не могли давать директиву, если не было указания Сталина.

Тут вдруг возмутилась Землячка, человек особого характера, о ней говорили, что это мужчина в юбке. Она была резкой, настойчивой, прямой и неумолимой. Ну, Землячка обратилась в ЦК, — об этом мне сказали Маленков и Ежов, — с письмом, указывая на ненормальное положение, которое сложилось на партийной конференции в Москве. В делегациях, писала она, велась недопустимая работа против Емельяна Ярославского. Его порочили как члена партии и призывали не избирать в состав городского партийного комитета, хотя при обсуждении кандидатур отвода ему никто не давал.

Письмо попало в ЦК именно к тем, кто передал мне устные директивы провалить Ярославского. Они же меня упрекали, что не справился с поручением. Потом я говорил с Землячкой, объясняя, что было такое-то указание ЦК и право каждого члена партии, каждого делегата, который не выступал на пленарном заседании, в ходе конференции, когда угодно высказать свое мнение среди делегатов. Но ей многое объяснять не потребовалось: сама долго занималась руководящей партийной работой, в свое время была секретарем Московского партийного комитета и знала всю закулисную «кухню» партийных конференций.

Это, конечно, были непартийные методы. Использовались возможности лиц, находившихся в руководящих органах, для борьбы с неугодными им людьми. Если бы за Ярославским была какая-то вина, то можно было выступить открыто на конференции. В свое время его критиковали в печати за недостаточно четкую позицию в борьбе с троцкистами и зиновьевцами, но Ярославский пользовался уважением, доверием в партии, а закулисные махинации преследовали цель просто провести в руководство своих людей, которые смотрели бы в рот, восхищались гениальностью руководства, а мнения не имели бы, только хорошую глотку для поддакивания.

Московская городская партийная конференция стала примером. Начали спрашивать меня, как это мы смогли в такой момент, за 4 — 5 дней провести конференцию? Они, дескать, за это время сумели только президиум своей конференции выбрать, а мы все закончили. Ну, нам это удалось лишь потому, что я советовался со Сталиным, как быть в тех или других случаях. Мы знали, что́ одобряет он в данный момент, а что нет, и это дало возможность уложиться в срок.

Поговорив любезно с человеком и посочувствовав ему, Сталин мог через несколько минут отдать приказ об его аресте. Так он поступил, например, с Яковлевым. Это вероломство было ему свойственно. С дру-

гой стороны, он часто был действительно очень внимательным и чутким.

Помнится, на областной конференции в самом ее начале ко мне подошел завотделом сельского хозяйства Брандт. Он считался очень сильным партийным работником, отлично знал сельское хозяйство, особенно производство льна. Но я получал много писем, главным образом от военных, насчет того, что в Московском обкоме ответственный пост занял-де сын белогвардейца полковника Брандта, который в 1918 году поднял восстание в Калуге. Мы проверяли эти обвинения, они были ложными. И вот Брандт говорит мне довольно спокойно: «Товарищ Хрущев, надоело мне объясняться и оправдываться. Я думаю покончить жизнь самоубийством». Спрашиваю его, в чем дело, почему он так мрачно настроен. Он поясняет, что продолжается путаница. Отец его действительно был полковником царской армии и жил в Калуге, но он умер еще до революции. А восстание в Калуге поднял другой полковник Брандт. Далее следовало довольно-таки подробное изложение обстоятельств жизни его отца, который женился в Калуге на своей кухарке, любил вышивать и даже продавал свои вышивки. После его смерти семья осталась без средств, сам Брандт и его братья пошли работать кто куда. И вот сам он стал партийным работником, братья его командиры Красной Армии, и сколько раз он об этом говорил и докладывал каждой партийной конференции; получается, все время должен бить себя кулаком в грудь и клясться, что он честный человек. Ему это надоело.

Я сказал: «Успокойтесь. Если все в порядке, мы вас возьмем под защиту». Но я знал, что моих слов недостаточно и эта областная партийная конференция может быть для него роковой. Достаточно кому-либо выступить и сказать, а он, конечно, подтвердит, что отец его действительно полковник Брандт из Калуги. Тот ли Брандт или не тот Брандт, уже не имело значения, тогда не разбирались, и, думаю, он не дожил бы до разбора этого дела, его подобрали бы чекисты, и вот судьба его решена.

Я счел нужным обратиться к Сталину. Тогда это было мне доступно. Попросил, чтобы он меня принял, и рассказал ему всю историю Брандта, как сложилась его судьба и что некоторые требуют расправиться с ним за вину другого Брандта, не имеющего никакого отношения к нашему завсельхозотделом.

Сталин выслушал, внимательно посмотрел и спросил: «Вы уверены, что он честный человек?» — «Абсолютно уверен, товарищ Сталин, это проверенный человек, он много лет работает в Московской области». (Тогда Калуга входила в Московскую область.) — «Если вы уверены, что это честный человек, защищайте его, не давайте в обиду». Мне, конечно, было приятно это слышать, я обрадовался. Он еще добавил: «Скажите Брандту об этом». В результате к Брандту никто не придирался, и он беспрепятственно был избран членом МК партии.

В этом весь Сталин. Не поверил в какой-то момент и — нет человека. Удалось убедить его, будет поддерживать товарища.

Перед областной партийной конференцией я также беседовал с товарищем Сталиным и просил его дать указания, как организовать и провести ее, учитывая сложившиеся условия. Об арестах, конечно, не говорили, но это само собой разумелось. Я сказал, что эта конференция будет эталоном для других областей и что многие даже из центральных комитетов союзных республик спрашивают меня, как думаем проводить конференцию. Сказал я и о том, какие сейчас бывают нарушения и извращения инструкции о проведении конференции и выборов. Особенно меня беспокоили крикуны, которые привлекали к себе внимание. Тогда мы подозревали, что это, возможно, люди, связанные с врагами, и они таким образом отводят удар от себя.

Сталин ответил, выслушав все это: «Вы ведите конференцию смело, мы вас поддержим. Строго придерживайтесь Устава партии и инструкции Центрального Комитета».

Областную конференцию мы провели в очень короткий срок, как принято было до массовых арестов.

Когда приступали к выборам нового обкома, я обеспокоился уже за себя. В 1923 году, учась на рабочем факультете, я допускал колебания троцкистского характера. Это дело могло быть поднято на конференции или после нее, и я понимал, что объясняться мне будет трудно. И решил рассказать обо всем Сталину. Но прежде стал советоваться с Кагановичем, поскольку мы давно знали друг друга и он ко мне хорошо относился, покровительствовал.

Каганович сразу на меня: «Что вы? Зачем это вы? Что вы? Я знаю, что это было детское недопонимание». — «Но, — говорю, — все-таки это было и лучше сказать сейчас, чем когда кто-нибудь поднимут этот вопрос и уже я буду выглядеть, как человек, скрывший компрометирующие факты. А я не хочу этого. Я перед партией хочу быть честным». — «Ну, я вам не рекомендую», — говорит Каганович. «Нет, я все-таки посоветуюсь с товарищем Сталиным».

Попросился к Сталину. Сталин сказал: «Приезжайте».

В кабинете он был вдвоем с Молотовым. Я все рассказал Сталину. Он только спросил: «Когда это было?» Я ему пояснил, что перед XIII съездом партии, что меня увлек Харечко. Это был довольно известный троцкист, я о нем как о революционере слышал еще до революции, он был выходец из крестьян села Михайловки, и, когда он приехал в Юзовку, я естественно ему симпатизировал и поддерживал его.

Сталин выслушал меня. «Харечко? А я его знаю. О, это интересный человек был». — «Как же мне быть на областной партийной конференции? — спросил я. — Рассказать все, как вам рассказываю?»

Сталин сказал: «Пожалуй, не следует. Вы рассказали нам, этого достаточно». Молотов возразил: «Нет, лучше пусть обнародует». — Сталин, подумав, согласился с Молотовым: «Да, так будет лучше, а то кто-нибудь может привязаться, и вас завалят вопросами, а нас — заявлениями».

Вернувшись на конференцию, я застал там такую сцену: обсуждали кандидатуры, выставленные в областной партийный комитет, и Маленков давал объяснения. Мне сказали, что он уже час или больше стоит и каждый его ответ рождает новые вопросы о его партийности, о его деятельности во время гражданской войны. Рассказывал он нечетко и не очень связно. Складывалась такая ситуация, что могли Маленкова и провалить. Как только он сошел с трибуны, я выступил в его поддержку, сказав, что нам он хорошо известен и его прошлое не вызывает никаких сомнений: честный человек, отдает все партии, народу, революции. Маленков остался в списках.

Дошла очередь до моей фамилии, которая по алфавиту попадала в конец всех списков. Я рассказал все конференции, как Сталин советовал. На него я не ссылался. Когда кончил, вопросов не было: дружно оставили в списке для голосования, и я тогда был избран абсолютным большинством.

Все это меня располагало к Сталину. Было приятно, что Сталин внимательно отнесся ко мне. Дал хороший совет. Я хотел, чтобы Сталин все знал обо мне, да и нетактично было бы не предупредить его как Генерального секретаря ЦК о каких-то моментах моей биографии. А мое доверие Сталину было полное, и я верил: те, кого арестовывали, действительно враги народа, но они действовали так ловко, что мы не могли этого заметить из-за своей неопытности, политической слепоты и доверчивости. Сталин нам часто повторял, что мы слишком доверчивы.

Сталин же поднимался на еще более высокий пьедестал — все видит, все знает, наши поступки судит справедливо, честных людей защищает и поддерживает, а недостойных доверия, врагов, наказывает.

В связи с тем, о чем я рассказал, меня удивило поведение Кагановича много лет спустя. На июньском Пленуме ЦК (1957 года) одним из основных аргументов против меня в выступлении Кагановича было то, что я — бывший троцкист. Я ему тогда сказал: «Как же тебе не стыдно. Ты в свое время меня убеждал, чтобы я не говорил Сталину о своих ошибках, что они не заслуживают этого, что ты меня знаешь и прочее. При моем разговоре со Сталиным присутствовал Молотов». Я тут же на этом Пленуме обратился к Молотову, а он — при всех его недостатках — человек очень честный. И он подтвердил мой рассказ. Вот где как в зеркале

отразилась подхалимская душа Кагановича. То меня удерживал, а то мою ошибку вытащил против меня как главный аргумент. Но Пленум правильно разобрался и отверг клеветнический выпад.

Интересна судьба Андрея Андреевича Андреева. Он был довольно активным троцкистом, и вместе с тем ему доверял и покровительствовал Сталин. Андрей Андреевич занимал высокие посты Наркома земледелия, Наркома путей сообщения, секретаря ЦК. Выступая против активных троцкистов, Сталин тем не менее брал под защиту Андреева.

Андрей Андреевич сделал много плохого во время чистки 1937 года. Возможно, из-за своего прошлого он боялся, чтобы его не заподозрили в мягком отношении к бывшим троцкистам. Куда он ни ездил, везде погибало много людей. И в Белоруссии, и в Сибири. Об этом свидетельствуют документы. Например, старый большевик Кедров, сидя в тюрьме, написал Андрею Андреевичу пространное письмо, доказывающее, что он ни в чем не виновен. Его письмо осталось без последствий. Дважды его судили: «тройка» и «пятерка». Но даже кровавая «пятерка» не смогла найти достаточных улик для его осуждения, и был он в конце концов в начале войны казнен Берия без приговора. Это стало известно из следственных материалов по делу Берия.

Областную партийную конференцию в 1937 году мы закончили в нормальные сроки. Проект резолюции, который мне дали на просмотр, был ужасен: столько было там накручено о врагах народа. Резолюция требовала продолжать оттачивать нож и вести расправу, как теперь уже ясно, с мнимыми врагами народа. Не понравилась мне эта резолюция, но я был в большом затруднении. Ведь я был первым секретарем обкома, а на первых секретарей ложилась главная ответственность за все, да и сейчас так принято, хотя с точки зрения внутрипартийной демократии это наша слабость, потому что в итоге руководитель подчиняет себе весь коллектив. Но это другой вопрос.

Звоню по телефону Сталину, говорю ему: «Товарищ Сталин, областная партконференция заканчивает работу, проект резолюции составлен, но я хотел бы вам показать его и спросить совета. Ведь резолюцию нашей конференции возьмут за образец другие партийные организации». «Приезжайте, — говорит, — сейчас».

В Кремле был и Молотов. Я показал резолюцию, Сталин ее прочел, взял красный карандаш и начал вычеркивать: «Это надо выбросить, это и это выбросить, и это. А вот так можно принимать». Политическая, оценочная часть резолюции стала неузнаваемой. Все насчет «недобитых врагов народа» было вычеркнуто Сталиным. Остались положения о бдительности, но они по тому времени считались довольно умеренными. Если бы я такую резолюцию предложил конференции, не спросив Сталина, мне бы не поздоровилось. Она не шла в тон партийной печати и как бы смягчала, принижала остроту борьбы, к которой призывала «Правда».

Мы приняли резолюцию, опубликовали ее. После этого меня буквально засыпали телефонными звонками. Например, Постышев позвонил из Киева: «Как это вы сумели провести конференцию в такие сроки и такую резолюцию принять?»

Я ему, конечно, рассказал, что она в проекте была не такой, но я показал ее Сталину, и он своей рукой вычеркнул положения, призывавшие обострять борьбу с врагами народа. Тогда Постышев говорит: «Мы тоже так будем действовать и возьмем вашу резолюцию за образец».

Описанные события тоже выставляли Сталина с лучшей стороны — он вроде бы не хотел ненужного обострения, не хотел лишней крови. Мы не знали, что арестованных уничтожают, а считали, что они просто посажены в тюрьму и отбывают свой срок наказания. Все это вызывало еще больше уважения к Сталину и, я бы сказал, рождало преклонение перед его гениальностью и прозорливостью.

Московская партийная организация была настоящей твердыней и опорой Центрального Комитета в борьбе против врагов народа и за реализацию решений партии о построении социализма в городе и в деревне. А гадости продолжались, люди исчезали. Я узнал, что арестован Межлаук, которого я очень уважал и уверен был, что он заслуженно пользовался доверием и уважением Сталина.

Помню, у нас проводили какое-то совещание и на это совещание приехал из Англии Капица. Сталин решил его задержать, не дать ему вернуться в Англию. Это было поручено Межлауку. Я случайно был у Сталина, когда он объяснял, как можно убедить Капицу остаться: уговорить его, а в крайнем случае отобрать его заграничный паспорт. Межлаук поговорил с Капицей, потом докладывал Сталину. Договорились, что Капица остается у нас, конечно, помимо воли, но с тем, что создадут условия для его работы. Хотели построить ему специальный институт. При этом Сталин довольно плохо характеризовал Капицу, говорил, что он не патриот и тому подобное. А институт для него построили — желтое здание в конце Калужской улицы, неподалеку от Воробьевых (Ленинских) гор.

Итак, Межлаук. Он прежде работал у Куйбышева в Госплане. Его я знал хорошо, так как городское хозяйство Москвы планировалось непосредственно Госпланом и нам часто приходилось иметь дело с товарищем Межлауком. Кроме того, он часто делал доклады на городских и районных активах. И вдруг — Межлаук тоже враг народа.

Стали исчезать другие работники Госплана, потом и Наркомтяжпрома. Петля затягивалась, в нее стали попадать работники Орджоникидзе.

Серго Орджоникидзе пользовался очень большой популярностью и заслуженным уважением. Это был человек рыцарского склада. Я на одном совещании в присутствии Орджоникидзе и Сталина довольно резко выступил, защищая интересы городского строительства, и критиковал Наркомтяжпром и Гинзбурга, хорошего строителя, работавшего вместе с Серго. И вот, помнится, мое сердитое выступление было опубликовано в газете Наркомтяжпрома. Оно очень понравилось Орджоникидзе.

Однажды Серго звонит ко мне в Московский комитет. «Товарищ Хрущев, — он говорил с резким грузинским акцентом, — ну, что вы там не даете покоя Ломинадзе, что критикуете его?» Я говорю: «Товарищ Серго, вы знаете же, что Ломинадзе — активнейший оппозиционер и даже организатор оппозиции, сейчас от него требуют более четких выступлений, а он выступает расплывчато и дает повод для критики. Что я могу сделать — это факт». — «Товарищ Хрущев, слушай, ты что-нибудь сделай, чтобы его меньше терзали». Я ответил, что это очень трудно мне сделать, тем более, я сам считаю, что его правильно критикуют.

Ломинадзе был близок к Серго, и Серго относился к нему с большим уважением.

Позже я узнал от Сталина, уже после того, как умер Орджоникидзе, что вот, мол, Ломинадзе высказывал лично Серго свои несогласия с линией партии. Но он-де взял с Серго честное слово не передавать сказанного Сталину, чтобы, следовательно, это не было обращено против Ломинадзе. И Серго дал слово! Сталин возмущался этим. Как это можно было дать такое слово! Вот какой Серго был беспринципный! В конце концов при каких-то обстоятельствах Серго сам же и сказал Сталину, что он дал Ломинадзе честное слово и говорит об этом при условии, что Сталин не сделает каких-нибудь организационных выводов на основе сказанного Ломинадзе.

Но Сталин никаких *честных слов* не признавал, и в конце концов Ломинадзе был послан в Челябинск, а там его довели до такого состояния, что он застрелился. До этого в Москве он был секретарем парткома на заводе авиационных двигателей.

В один из выходных дней, когда я был на даче, меня известили по телефону, что внезапно умер Серго Орджоникидзе и Политбюро включило меня в комиссию по похоронам...

Прошло много времени, я всегда отзывался об Орджоникидзе очень тепло. Как-то, уже после войны, я приехал с Украины и был на обеде у Сталина; там вели какие-то разговоры, довольно беспредметные, и я заметил: «Серго, вот человек был. Умер безвременно, молодым, жалко такой потери». Тут же Берия отозвался о Серго как-то недружественно,

а больше никто ничего не сказал. Я почувствовал, что сказал не то, что следовало говорить в этой компании. Кончился обед, мы вышли, Маленков говорит: «Слушай, ты что неосторожно так сказал о Серго?» — «А что ж тут неосторожного? Серго — уважаемый деятель». — «Да он застрелился. Ты знаешь?» — Я говорю: «Нет. Я его хоронил, и нам сказали, что Серго — у него, кажется, болели почки — скоропостижно умер в выходной день». — «Нет, — говорит Маленков, — он застрелился. Ты заметил, какая была неловкость после того, как ты назвал его имя?» Я сказал, что заметил и удивлен. То, что Берия подал враждебную реплику, не было для меня неожиданно, потому что я знал, что Берия плохо относился к Серго, а Серго очень не уважал Берия. Серго был связан с грузинской общественностью и, следовательно, знал о Берия больше, чем Сталин.

Кое-что об Орджоникидзе мне после смерти Сталина рассказал Анастас Иванович Микоян. В частности, рассказал, что накануне самоубийства Серго они вдвоем — Микоян и Орджоникидзе — очень долго ходили по Кремлю, разговаривали. Серго сказал тогда, что дальше не может так жить. Сталин ему не верит. Кадры, которые он подбирал, почти все уничтожил. Бороться со Сталиным он не может и жить, сказал, так тоже не может.

Когда меня послали в 1938 году на Украину, то на первом же Пленуме ЦК избрали членом Политбюро. Но к этому времени демократия, прежде существовавшая в ЦК, была уже подорвана.

Например, я, секретарь МК, кандидат в члены Политбюро, не получал материалов заседаний. После 1937 года, собственно, я уже не знал, кому рассылались эти материалы. Я получал только те материалы, которые мне и всем присылали по указанию Сталина. Они прежде всего касались «врагов народа»: показания, кипы безупречных протоколов и документов. Члены Политбюро могли убедиться, что враги опутали, окружили нас. Я читал эти материалы, и у меня не возникало сомнения в правдивости документов: ведь их рассылал Сталин. И мысли не могло появиться, что это ложные показания и фальсификации. Для чего? Кому нужно? Было полное доверие.

Я уже писал, что в начале 30-х годов Сталин был очень прост и доступен. Когда у меня возникал какой-нибудь вопрос, я звонил по телефону Сталину, и сейчас же он принимал меня или назначал время приема.

Бытовая сторона жизни Сталина мне нравилась. Бывало, когда я уже работал на Украине, приезжал к Сталину чаще всего на ближнюю дачу в Волынском, всего-то минут пятнадцать ехать из города. Приедешь, обедает; если летом — всегда на открытом воздухе, на веранде. Сидел он обычно один. Подавали суп — русскую похлебку; графинчик стоял с водкой, графин с водой, рюмочка умеренная. Зайдешь, поздороваешься, а он: «Хотите кушать?.. Садитесь, кушайте». Это значило, бери тарелку — тут же супник стоял, — наливай себе сколько хочешь. Хочешь выпить — бери графин, налей себе рюмочку. Хочешь вторую — твое дело; как говорится, душа меру знает; а не хочешь, можешь не пить.

Это мы потом вспоминали как доброе-доброе старое время. Но вот стало иначе: ты не только не хочешь, тебя воротит, но тебя накачивают, тебе наливают. Да. И это делал Сталин. Правда, мне он не раз говорил: «Вот помните, когда Берия не было в Москве, у нас не было таких питейных дел, пьянства не было».

Я и сам видел, что Берия в этих вопросах был заводилой — но в угоду Сталину. Сталину нравилось, а Берия чувствовал. Когда никто не хотел пить, а он видел, что у Сталина есть такая потребность, он организовывал пьянку, выдумывая предлоги.

К концу жизни Сталина такое времяпрепровождение стало убийственным. У Сталина буквально спаивали людей, они спивались, и чем больше хмелел человек, тем большее получал удовольствие Сталин.

Могут сказать, что Хрущев перебирает «грязное белье». Без грязного не бывает чистого. Чистое на фоне грязного приобретает чистоту и белизну. А эта обстановка тесно переплеталась с работой.

Как известно, после XX съезда партии была создана комиссия для детальной проверки всех дел осужденных «врагов народа». Председателем комиссии был утвержден Шверник. Я предложил включить в состав комиссии Шатуновскую, которая сама отсидела шестнадцать лет и была в моих глазах неподкупным, вернейшим членом партии. Привлекли и Снегова, который отсидел почти двадцать лет. Это была ответственная комиссия, которая должна была разобраться и дать свое заключение о том, как же могло случиться, что вот такое количество людей погибло во времена Сталина, что это за «враги народа»?

Естественно, в первую очередь решили проверить, кто такой был Николаев, как он совершил преступление и что его побудило.

Прежде всего оказалось, что Николаева незадолго до убийства Кирова задержали около Смольного, где работал Киров. Он вызвал какие-то подозрения охраны и был обыскан. У него обнаружили пистолет. В те времена очень строго относились к этому, но, несмотря на это и на то, что он был задержан в районе, который особо охранялся, Николаев был тут же освобожден.

Я особо обращаю внимание и на эти обстоятельства и на то, что ведь Николаев не на улице стрелял в Кирова. Нет. Он проник в Смольный, притом в подъезд, которым пользовался т о л ь к о Киров, и убил его, когда тот поднимался по лестнице.

Это сразу рождало подозрения, что Николаев был подослан для совершения террористического акта людьми, занимающими высокое положение. А задерживали его охранники, которые не были ни о чем информированы и не должны были быть, а просто этот человек показался подозрительным. Они его задержали, но отпустили по указанию сверху. Больше того: затем этот Николаев получил доступ в Смольный, на лестничную клетку обкома партии, где работал Киров. Без помощи людей, обладавших властью, это было сделать нельзя, невозможно, хотя бы потому, что все подходы к Смольному охранялись, а особенно подъезд, которым пользовался Киров.

Стали разбираться дальше. Может быть, кое-что обо всех обстоятельствах знали Молотов и Ворошилов, которые ездили в Ленинград со Сталиным, а кто-то знал все, но скрыл от комиссии. Комиссия доложила, что есть данные о допросе Николаева Сталиным. Об этом рассказал кто-то из старых большевиков, но, конечно, документальных свидетельств на этот счет быть не могло. Якобы когда к Сталину привели Николаева, тот бросился на колени и стал говорить, что убил Кирова по поручению и от имени партии.

Так или иначе, до разговора со Сталиным Николаев отказывался отвечать на вопросы следователей. Он требовал, чтобы его передали представителям центрального аппарата ОГПУ. Он утверждал, что ни в чем не виноват, а почему так поступил, знают в Москве.

Безусловно, он выполнял поручение, но чье это могло быть поручение?..

Конечно, не Сталин лично поручил это Николаеву, но в том, что по заданию Сталина кто-то его подготовил, у меня нет сомнения. Убийство было организовано сверху. Я считаю, что оно технически было подготовлено Ягодой, который мог действовать только по секретному поручению Сталина, полученному с глазу на глаз.

Если принять такую схему, сам Николаев мог надеяться на какое-то снисхождение, но с его стороны всерьез рассчитывать на это было слишком наивно. Этот Николаев выполнил поручение и думал, что ему будет дарована жизнь. Глупец! Как раз для сохранения тайны требовалось уничтожить Николаева. И его уничтожили.

Ворошилов был еще жив, а Молотов и сейчас живет, но мы не были настолько наивны, чтобы спрашивать их об этом. И тот, и другой с возмущением отвергли бы все, потому что рассказать что-то — это признать свое соучастие в заговоре и убийстве Кирова.

Во время пребывания Сталина, Молотова и Ворошилова в Ленинграде в связи с расследованием убийства Кирова, как нам стало известно, Сталин потребовал привести к нему комиссара, который в тот день охранял Кирова. Но, как объявили активу, когда этого комиссара везли на

допрос, то в результате неисправности рулевого управления машина ударилась об угол дома — и он погиб. Везли его в грузовой машине.

Мы поручили комиссии допросить тех, кто вез этого комиссара, чтобы они рассказали, при каких обстоятельствах произошла эта авария и как при аварии был убит комиссар, начальник охраны Кирова. Стали искать людей. Их было трое, фамилии известны. Двое сидели в кузове грузовика с комиссаром, а третий в кабине с шофером. Всех троих не оказалось в живых: они были расстреляны. Это вызвало еще большее подозрение, что все организовано, что и авария автомашины была не случайная.

Я предложил поискать шофера, нет ли его в живых. Надежд на это никаких не питал, потому что видел, как организовано дело и полагал, что шофера чекисты тоже уничтожили как свидетеля.

Но, на счастье, тот шофер оказался живым. Допросили его. Он рассказал буквально следующее: «Рядом со мной сидел чекист и все время меня понукал, чтобы быстрее ехать, скорее доставить арестованного. На такой-то улице при повороте он выхватил у меня из рук руль и направил машину на угол дома, но я крепкий был, молодой и вырвал у него руль, вывернулся и только помял крыло у машины. Никакой аварии не произошло, но я слышал, как раздался наверху какой-то стук. Потом объявили, что в аварии погиб этот комиссар».

Таким образом, показания шофера дали новые подробности заговора с целью убийства Кирова. Подробности того, как старались оборвать нити, которые могли как-то выскочить и обнаружить сам заговор.

Все свидетели убиты, а шофер остался. Я поражался. Убийцы были довольно квалифицированные, а не предусмотрели. Всегда преступление оставляет за собой след, в результате чего оно и открывается людям. Так и с этим шофером. Все предусмотрели. Комиссара убили. Его убийц уничтожили. А, кстати, тот комиссар, видимо, мог многое рассказать. Видимо, имел какие-то указания, потому что он отстал от Кирова, когда вошли в подъезд и Киров стал подниматься по лестнице.

Все предусмотрели, а о шофере забыли.

Потом мы стали искать Медведя, начальника областного ОГПУ Ленинграда. Он был, говорили, ближайшим другом Кирова. Они вместе на охоту ходили, семьями дружили. Может быть, Медведь что-то скажет? Нет, обнаружилось, что Медведь был выслан на Север, а потом расстрелян. Это прерывало еще один след. Он, близкий Кирову человек, видимо, имел свое суждение об убийстве.

Комиссия докладывала, что нашелся какой-то человек, который говорил, что есть женщина — врач из больницы, в которой лежал этот Медведь, и он ей что-то рассказал, чтобы она в будущем передала его рассказ в ЦК. «Я, — говорит, — не доживу, буду уничтожен».

Мы не нашли человека, с которым беседовал Медведь, сам Медведь был расстрелян. Так что его предположения оправдались. Ниточка оборвалась.

Теперь подхожу к главному: почему пал выбор на Кирова? Зачем Сталину была нужна смерть Кирова? Киров был человек близкий Сталину. Киров был послан в Ленинград после разгрома зиновьевской оппозиции и провел там большую работу. Ленинградская организация состояла в большинстве из сторонников Зиновьева, а он повернул ее, и она стала опорой Центрального Комитета, проводником решений ЦК. Все это Сталин ставил в заслугу Кирову.

Киров был очень популярен в партии и в народе. Поэтому удар по Кирову больно отозвался и в партии, и в народе.

Кирова принесли в жертву, чтобы, воспользовавшись его смертью, встряхнуть страну и расправиться с людьми, неугодными Сталину, обвинив их, что они подняли руку на Кирова. О Николаеве тогда говорили, что он когда-то был троцкистом. Возможно, это и правда, но никакими документами подтверждено это не было ни при жизни Сталина, ни после его смерти, хотя комиссия Шверника имела доступ ко всем документам. Она не обнаружила связи Николаева с троцкистами.

Спрашивается, зачем была нужна Сталину расправа со старыми большевиками? Комиссия при расследовании обстоятельств убийства Кирова просмотрела горы материалов и беседовала со многими людьми. При этом выяснились новые факты.

В то время в партии видное место занимал секретарь Северо-Кавказского краевого партийного комитета Шеболдаев. Шеболдаева я знал, но не близко. В 1917 году он находился в царской армии на турецком фронте и активно работал среди солдат.

Как стало известно, этот Шеболдаев, большевик с дореволюционным стажем, во время работы XVII съезда пришел к товарищу Кирову и сказал: «Мироныч (так Кирова называли близкие люди), поговаривают старики о том, чтобы вернуться к завещанию Ленина, реализовать его, то есть передвинуть Сталина, как рекомендовал Ленин, на какой-то другой пост, а сюда выдвинуть человека, который бы более терпимо относился к товарищам. Народ поговаривает, что хорошо бы тебя выдвинуть на пост Генерального секретаря Центрального Комитета».

Содержание этого разговора стало известно комиссии Шверника, о чем она и доложила Президиуму Центрального Комитета. Что ответил Шеболдаеву Киров, не знаю, но известно, что Киров рассказал Сталину об этом разговоре. Сталин якобы сказал Кирову: «Спасибо. Я тебе этого не забуду».

Заявление, характерное для Сталина: в этом «спасибо» нельзя понять, благодарит он Кирова или же угрожает ему. Этот эпизод приоткрывает занавес над причинами организованной позже мясорубки.

Комиссия проявила интерес к голосованию на XVII партийном съезде. Стали искать членов счетной комиссии. Некоторые были еще живы: товарищ Андреасян и другие. Андреасяна я знал хорошо, он работал секретарем райкома партии в Октябрьском районе Москвы, когда я был секретарем на Красной Пресне. Андреасян был близок к товарищу Микояну, они когда-то вместе учились в духовной семинарии. Товарищ Андреасян тоже отбыл срок, просидел не то пятнадцать, не то шестнадцать лет.

Эти члены счетной комиссии XVII партийного съезда рассказали, что против Сталина было подано не шесть голосов, как докладывали на съезде, а 260 или 160. И та, и другая цифра очень внушительны, особенно принимая во внимание положение Сталина, его самолюбие и его характер.

Но съезду было объявлено, что против Сталина голосовало шесть человек.

Кто дал счетной комиссии директиву фальсифицировать результаты выборов? Я абсолютно убежден, что без Сталина никто бы на такое дело не пошел.

Если связать результаты голосования, беседу Шеболдаева с Кировым, о которой узнал Сталин, и учесть предупреждение Ленина, что Сталин способен злоупотреблять властью, все становится на свои места.

Получает логическое объяснение убийство Николаевым Кирова и убийство комиссара, который охранял Кирова, и убийство тех трех чекистов, которые доставляли комиссара к Сталину.

Сразу становится ясным, почему это произошло. Сталин понимал, что если на XVII съезде против него голосовало 260 или 160 человек, то это означает, что в партии зреет недовольство. Кто мог голосовать против Сталина? Только ленинские кадры. Нельзя было предположить, что, например, Хрущев и подобные Хрущеву молодые люди, которые выдвинулись при Сталине, которые боготворили Сталина и ему в рот смотрели, могут проголосовать против него. Этого никак не могло быть.

А вот старые партийцы, которые общались с Лениным, которые работали под его руководством, которые хорошо знали Ленина, чье завещание всегда было в их памяти, конечно, не могли мириться с тем, что Сталин после смерти Ленина набрал такую силу и перестал считаться с ними, проявив как раз те черты своего характера, на которые указывал Владимир Ильич. Вот они, видимо, и решили поговорить с Кировым, проголосовать против Сталина.

Сталин хорошо понял, что старые кадры, которые находятся в руководстве, недовольны им и хотели бы его заменить, если это удастся. Эти люди могли повлиять на делегатов следующего съезда, добиться изменений в руководстве. И вот был убит Киров, затем началась массовая резня.

Были казнены военные. Возможно, военные стали жертвой провокации Гитлера, который подбросил Бенешу документ о их связи с немцами, а Бенеш переслал его Сталину.

Первой жертвой стал, как известно, Тухачевский, очень талантливый полководец. В 27 лет он уже командовал Западным фронтом. Он подавал большие надежды, и, с одной стороны, это радовало, а с другой — настораживало: не хочет ли Тухачевский воспользоваться примером Наполеона, чтобы стать диктатором? Тухачевский пользовался большим доверием Сталина. Фактически строительством армии занимался Тухачевский, а не Ворошилов, потому что был лучше подготовлен и более организован. Ворошилов представительствовал на парадах да на маневрах и главным образом занимался саморекламой.

Я еще раз перечитал воспоминания Крупской о Ленине. Перед моими глазами проходили люди, которые приезжали к Ленину за границу, жили у него, получали директивы. Это были самые близкие к Ленину люди. А где они сейчас? Их нет. Как они закончили свою политическую карьеру? Они оказались в списках «врагов народа». Крупская пишет о Варейкисе, Пятницком — это тоже близкий человек, который занимался связями Ленина с Россией; она называет Петерса. Я Петерса очень хорошо знал, потому что Петерс возглавлял партийную контрольную комиссию Московской области.

Пишет Надежда Константиновна и об одном болгарине. Недавно в «Известиях» о нем опубликована заметка. Там не сказано, как он погиб. Теперь ведь поступают просто: жил — и нет его, будто на небо вознесся. А этот человек, когда Ленину нужно было получить заграничные документы, достал болгарские паспорта Ильичу и Надежде Константиновне. Потом, уже после революции, Ленин пригласил его в Россию, и он тут работал. К моменту окончания своей жизни он был директором треста хлебозаводов. Тоже погиб. Почему? Потому что начиналось уничтожение близких к Ленину людей не только в Центральном Комитете и среди делегатов XVII съезда, но убирали и тех, кто мог быть с ними связан или мог сочувствовать им.

Сколько людей, с кем Ленин общался, оказались врагами народа.

Косиор — член Центрального Комитета, член Политбюро.

Рудзутак — кандидат в члены Политбюро, старый большевик, влиятельный человек, к которому Ленин относился с большим уважением.

Межлаук — крупнейший экономист и организатор. Я уже говорил о том, что он возглавлял Госплан. Считаю, что из председателей Госплана он был лучшим после Куйбышева.

Чубарь Влас Яковлевич, тоже старый большевик, близкий к Ленину.

Петровский. Он умер своей смертью, но он был отстранен и послан на третьестепенную работу. Петровский не считался активным организатором в партии после революции. Он, так сказать, выполнял роль партийной иконы, поэтому Петровский был неопасен для Сталина и было достаточно спрятать его в Музей Революции.

Постышев Павел Петрович — активный человек.

Эйхе — секретарь Новосибирского крайкома, а потом Нарком земледелия. Когда его арестовали, Сталин нам сказал: «Вот считали Эйхе коммунистом, а когда стали его допрашивать, он говорит: «Что вы пристали ко мне, я не коммунист и никогда коммунистом не был». Это сочинялось Сталиным, чтобы через нас распространить эту версию.

Варейкис. О нем тоже сказано было, что он провокатор. Словом, всех людей, которых арестовывали, порочили, объявляя, что это были не коммунисты, провокаторы.

Вот, собственно говоря, истоки мясорубки, которую затеял Сталин, тем самым подтвердив беспокойство Владимира Ильича Ленина о том, что если он остается на этом посту, то он способен злоупотреблять властью. Партия не послушалась Ленина и за это поплатилась.

Уничтожались не только партийные кадры. Косили всех. Если кто под настроение что-то ляпнул, этого было достаточно, чтобы попасть в списки и потом быть высланным или уничтоженным.

Некоторые спрашивают меня:

— Товарищ Хрущев, а как вы теперь считаете: следовало ли рассказывать о сталинском терроре, о том, что не было никаких оснований казнить людей, названных врагами народа, что это были честные люди? Может быть, Сталина понять и простить, принять это как историческую необходимость?..

Я *категорически против этого*. Я поднял эти вопросы на XX съезде, я по поручению руководства партии делал доклад по этим вопросам на XXII съезде, я на митингах и собраниях разоблачал и клеймил Сталина за то, что он учинил расправу над строителями партии и руководителями нашего Советского государства. И горжусь этим, считая, что тем самым я что-то сделал полезное для партии и для своей страны. Зло, которое было причинено Сталиным, нанесло большой вред нашей стране, и такое зло должно быть заклеймено.

Нельзя уповать на то, что, мол, все в прошлом. Нет. История может в какой-то степени и повторяться. От разоблачения злоупотреблений не ослабло наше государство, не ослабло влияние нашей партии, мощь ее, наоборот, она возросла, потому что мы очистились от преступлений, которые были совершены Сталиным, показав, что утверждение Советской власти и идей марксизма-ленинизма не требовало такого кровопролития.

Другое дело — в годы революции, когда стоял вопрос о завоевании власти рабочим классом; тогда жертвы были неизбежны. В гражданскую войну четыре года сражались русский против русского, брат против брата, сын против отца. И это было оправданно. Шла историческая ломка, капиталистический строй ломался, сбрасывался, и утверждались новые законы, новая идеология, к власти приходил рабочий класс, трудовое крестьянство. Это были оправданные жертвы: революционная целесообразность требовала их.

Но во времена Сталина в этом уже не было никакой необходимости. Гражданская война давно закончилась, вредительство тоже. Выросли новые кадры, промышленность была на подъеме. Правда, сельское хозяйство еще не набрало силы, но не по причине вредительства, а из-за отсталости, мы слабы были в вопросах сельского хозяйства.

Я очень обеспокоен, что сейчас проскальзывают статьи, в которых стараются замолчать, забыть об этих фактах. Из истории ничего выбросить нельзя. Можно выбросить людей, которые настаивают на продолжении разоблачений злоупотреблений Сталина, но сам факт не может исчезнуть. Нельзя замолчать XX и XXII съезды.

Я встречаюсь с людьми, и многие мне выражают благодарность, присылают письма, открытки, где благодарят за то, что я поднял эти вопросы. Они пишут: вот у меня тот-то погиб, а я сама сидела или я сам сидел, а теперь вернулся, восстановил свое имя, раньше я был братом врага народа, я была женой врага народа, а теперь мы получили «права гражданства». Ну что может быть приятнее, чем такое признание? Я это охотно принимаю, потому что да, я был инициатором этого процесса, я провел большую работу по разоблачению Сталина. Но тут я был не один, это сделал Центральный Комитет, это сделал XX съезд. Нельзя сказать: Хрущев захотел, Хрущев сделал.

Можно захотеть, но не найти поддержки, и ничего не выйдет. Эти вопросы созрели, и их нужно было поднять. Если бы я их не поднял, их подняли бы другие. И это было бы гибелью для руководства, которое не прислушалось к велению времени.

Яркий пример тому — Чехословакия. Я много раз советовал Новотному (он честный коммунист) поднять занавес, разоблачить злоупотребления, если они были. А они были, я знал, что они были. Я сам был свидетелем того, как Сталин давал поручения чекистам, которые были посланы в Чехословакию советниками.

Методы, отработанные в 1937 году, они применяли во всех социалистических странах. Везде были наши советники.

Новотный сердился и говорил: «Товарищ Хрущев, у нас ничего подобного не было». Я ему говорил: «Если этого не сделаете вы, то это сделают другие, и вы окажетесь в очень незавидном положении». Новотный не послушался меня, и все знают, к чему это привело и его самого, и всю Чехословакию.

Если бы мы не разоблачили Сталина, то у нас, возможно, были бы более острые события, чем в Чехословакии. Мы бы этого не миновали. Надо было сказать народу и партии правду. Что же — это действительно были враги? Враги были и есть, вполне понятно. Но тот удар был направлен Сталиным не против врагов, с которыми тогда уже было в основном покончено и борьба с которыми не требовала массового террора. Нет, уничтожались члены партии и в первую голову верхушка партии, люди, которые закладывали основы пролетарской ленинской партии. Против них был направлен удар, и прежде всего они сложили головы.

Почему же Сталин их уничтожил? Он их уничтожил, повторю, потому что созревали условия для замены Сталина. В жизни пролетарской партии, построенной на основах демократического централизма, надо использовать уставные методы. Всегда может быть поставлен вопрос на съезде или на Пленуме Центрального Комитета о замене одного лица другим. Если не признавать за членами партии права менять людей по своему усмотрению, то я не знаю, во что превращается партия. Такая партия не может привлечь массы, потому что это уже не диктатура класса, а диктатура личности, а фактически так и было при Сталине. Партия не могла высказывать свою волю, Центральный Комитет не работал, не созывались Пленумы, но созывались съезды партии. Сталин что хотел, то и делал: хотел — казнил, хотел — миловал.

...Много раз мы смотрели кинофильмы вместе со Сталиным. И однажды был фильм из жизни колониальной Англии. Суть была в том, что надо доставить ценности из Индии в Англию путем, который контролировали пираты. Тогда обратились к известному пирату, который сидел в тюрьме, и предложили ему взяться за это рискованное дело, а взамен что-то ему было обещано. Он согласился. Но поставил условие, что команду подберет по своему усмотрению из тех, кто сидит вместе с ним в тюрьме. И вот ему дали корабль, он подобрал команду, прибыл в Индию, погрузил ценности и отправился обратно. А в пути начал уничтожать своих сторонников: как наметит жертву, так ставит ее портрет на свой стол. Так постепенно он уничтожил сколько-то этих бандитов.

Кончился просмотр картины, и Сталин, как обычно, предложил ехать обедать к нему на дачу. Маленков и Берия сели в машину со Сталиным, а мы с Булганиным в моей машине поехали следом. Приехали на ближнюю, пошли руки мыть. Как всегда, перебрасывались словами.

Берия говорит: «Слушай, ты знаешь, что Сталин сказал, когда мы ехали? А этот капитан, говорит, неглупый парень, соображал, что делал». Он стал меня подбивать, чтобы я эту тему сейчас поднял и сказал бы, что это мерзавец. Я поколебался, но согласился, и говорю за столом: «Товарищ Сталин, какой мерзавец этот капитан. Ближайших своих друзей погубил».

Сталин посмотрел на меня, ничего не сказал. Я прекратил опасный разговор. Тут видна параллель: он, как тот пират, оставил себе списки, а фотографии ему не были нужны, он командовал своим подручным, чья пришла очередь. Куда до него тому бандиту. Тот — младенец, уничтожил десяток или полтора десятка человек, Сталин-то уничтожил сотни тысяч. Я не могу сказать точно, сколько именно, но когда Сталин умер, в лагерях было до десяти миллионов человек.

Сталин называл себя марксистом, ленинцем, а допускал зверства против своих единомышленников, против своих друзей по партии и по подполью и по великой славной борьбе за переустройство общества на социалистических началах. Когда Сталин разоблачал врагов, я считал, что он прозорлив, он видит врага, а я? Вокруг меня столько было врагов, столько арестовано людей, с которыми я ежедневно общался, и я не замечал, что они враги.

Поэтому у меня вызывают еще больший гнев злоупотребления Сталина. Сколько погибло моих друзей и сколько людей, которых я очень уважал. Такие, как Бубнов, Антонов-Овсеенко, по поручению Ленина арестовавший Временное правительство. Старый большевик Бубнов был наркомом просвещения. Замечательный человек, доступный, простой. И вдруг оказался «врагом народа». Меня угнетало, что я к нему с уважением относился и не замечал, что он враг.

Неужели я и сейчас ошибаюсь, как тогда, когда я себя казнил за то, что плохо вижу врагов, а Сталин их видит хорошо и чувствует на расстоянии. Нет! Нельзя поднимать убийцу. Будущие поколения могут попасть в такое же положение, в каком мы были. Если мы будем прощать, мол, победителей не судят, — то может появиться большой соблазн чинить расправу, прикрываясь высокими идеями.

Нашей страной пройден большой путь, много сделано. Долгое время все заслуги приписывались одному лицу — Сталину. Сам Сталин много раз осуждал такую точку зрения: это эсеровский лозунг, где на первый план выдвигаются герои, а масса — это толпа. Народ — вот вечный герой.

Кто был вождем, когда русский народ сражался против наполеоновского нашествия? Неужели Александр Первый? Нет, нет! Может быть, Кутузов? Нет! Кутузов был главнокомандующим, но если бы народ не поднялся против французского нашествия, никакой Кутузов, никто другой не смог бы спасти Россию. Народ встал грудью, положил тысячи людей, но отстоял свою Родину.

Так же и при нашествии немцев, которые пошли против Советского Союза. Народ поднялся. И, несмотря на то, что Сталин уничтожил кадры, обезглавил Красную Армию, уничтожил верхушку партийного и хозяйственного руководства, несмотря на все трудности, несмотря на то, что были большие упущения в подготовке армии, народ разгромил врага.

Лучшие командные кадры были уничтожены, а другие просто не выросли, у них не было на это времени. Они были выдвинуты на высокие посты, не обладая опытом и умением управлять большими воинскими соединениями. Кроме того, армия была не обеспечена вооружением: не хватало винтовок буквально в первые дни войны, не было пулеметов. Это же немыслимое дело. Мы совершенно справедливо критикуем Николая II за то, что в 1915 году армия осталась без винтовок, а мы же в начале войны были без винтовок.

Кто в этом виноват? Чьи упущения?

Побеждал Сталин! А поражения чьи? Народа? Действительно: солдаты сдают города, а генералы их берут. Нет! Нет! Сталин допустил много ошибок перед войной: ослабил армию, ослабил руководство нашей промышленностью, и это вынудило нашу армию отступать с большими потерями, оставить огромную территорию.

Новые кадры полководцев сложились в процессе боев при отступлении. Если бы были сохранены кадры, которые прошли школу гражданской войны, кадры, которые закладывали индустрию, кадры, которые выковались в процессе нашего хозяйствования на социалистических началах, и если бы должным способом были использованы людские и материальные возможности, то, конечно, врагу бы и нечего было думать достигнуть стен Москвы, занять Северный Кавказ, дойти до Сталинграда.

Кто же за это отвечает? Сейчас кое-кто начинает кричать: «Ура, Сталин!» Все это уже было, и большой кровью заплачено за эти «ура».

Если сейчас не осудить злоупотребления, если не проанализировать наши ошибки, то существует опасность, что история может повториться. Народ должен знать все о своих победах и своих поражениях. Он должен знать своих героев и должен знать причины своих поражений. А причины — это сталинский деспотизм, это злоупотребления властью. Это Сталин, который нетерпимо относился к людям, к руководителям партии, к своим же товарищам, с которыми когда-то он вместе работал под руководством Ленина. А когда эти люди стали претендовать на коллективное руководство, высказывать свое мнение, он их сперва сделал политическими врагами, а потом просто стал казнить.

Я считаю, что XX и XXII съезды приняли абсолютно правильные решения, и как бы кто-то ни хотел приуменьшить и загладить их, ничего из этого не выйдет. Никто не сможет протащить идею, что Сталин ни в чем не повинен, а если повинен, то это не преступления, а ошибки, совершенные в процессе перехода из одной формы общественного уклада к другой: от капитализма к социализму. Нет! Нет!

Продолжение следует.

Юрий Кублановский

С ЮГА НА СЕВЕР

●

Сын, мужавший — за семью замками
от моих речей,
все равно когда-нибудь глазами,
честный книгочей,
пробежишь хоть по диагонали
эти горбыли —
жидкие парижские скрижали
бати на мели,
писанные, точно бороною,
шедшей под углом,
кто там вспомнит — под какой звездою
за каким столом...

Но когда полакомит пороша
горку и межу,
высохшее сердце потревожа,
землю, где лежу,
и упруго в крест ударит ветер,
я пойму, что т а к
ты впервой увидел и приветил
мой словесный знак.
Словно ветка выделила иней
из себя самой.
Потому, чем дольше — тем чужбинней
праху под сырой.

13.X.1983

●

Моя стезя, не столь жестокая,
как ей положено по чину,
планида ровная, убогая,
с всегда попутным ветром в спину...

Как оживающая в озере
плотвица с рваною губою
или трепещущий по осени
клочок осины над тобою,

как в лапе клена перепончатой
крепь сухожилия сурова,
— так и моя судьба не кончена,
хоть вервие ее багрово.

Как в пору темную, мятежную,
раскатанную до молекул,

впрок собирают крупку снежную,
а не мучную по сусекам,

как обо мне воспоминание
в помехах, бьющих в цель и мимо,
— так и мое незабывание
скорее с забытьем сравнимо.

Прощай! Какая сила встречная
у шестибуквенного кода:
обрывная и бесконечная
в него заложена свобода.

. . . .

Пред тем, как будем смертью скручены
или уличены в повторе
— какие токи и излучины
осолонит и примет море?

...Рассыпалась ли безымянная
твоя в одесской душегубке
та бабочка, из шелка тканная
на чесуче широкой юбки,

несут ли волны византийские
разграбленных святынь обломки,
как встарь, на скалы киммерийские
в холодноватые потемки,

и всё ли слышимы уключины
на рубежах — с иного краю,
где были столькие замучены
и не воскрешены — не знаю.

1986

С юга на север

Снега забытых деревень,
Неволей выжженные степи.
И. А.

1

Даром во мне
говорящий проснулся скворец,
словно в окне,
за которое смотрит слепец,
снова бледна
квадратура горы голубой
и вплетена
ночью роза в калитку домой.

Вспомни опять,
как валун гробовой отвали,
каждую пядь
из-под ног уходившей земли
мерой с версту,

где когда-то бровастый дебил,
с кашей во рту
не справляясь, последних споил.

Ци́нговым ртом
заглотнуть бы волну ковыля.
С крымским хребтом
перебитым родная земля
— до Соловок
с их железною данью камням,
и на совок
ты уже не расщедришься нам.

2

В раковины заложена
памятная музы́ка
волн, шелестящих в крошеве
яшмы и сердолика,
хоры и песнопения
гарпий, сирен, эриний,
майского шелест тления
и соболиных пиний.

А в роговицы вкраплены
росы и брызги с весел,
гнавших волну к ослабленным
остовам скрипких сосен.
Огненная на северо-
западе головешка.
Где ни шмеля, ни клевера,
там и моя ночлежка.

Ныне — планида ровная,
музыка безусловная,
ежели не рехнешься,

выйдя в пространство тесное,
новое, нежно-пресное
— в нем и самосожжешься.

3

...Серый мираж
одного из открытых миров:
крашеных барж
и комичных напряг катеров.
Маленький галл,
ощетинивший ежик волос,
с красным бокал
на серебряном блюде принес.

Что ж... Помянуть
не мешает не эдак, дак так
ветер по грудь,
над которым алмазный наждак,
валенок гниль
и кровавый лишайник в пазу.
Как там ковыль
шёлков, к морю
гонимый в грозу?

Гадко сладка
была жизнь, как и должно родной,
издалека
призываемой дудкой немой.
Но не ропщу,
ибо — счастлив и словом зачат.
Но не пущу,
если понову в дверь постучат.

март 1986

[illegible]

В том краю, где моря Белого
заповедный слышен вздох,
где мокра морошка спелая
и горит багрянцем мох,

где потом Петра Баранова
у Секирного холма,
возвращая Богу заново,
бич зарезал задарма,

где водил я в осень лодочку,
запирал покрепче дверь
и в холодной келье водочку
пил, заросший, точно зверь,

— что теперь в том мире деется?
Верно, всё как было встарь!
Водка-дрянь в порту имеется,
часто ленится почтарь.

И душа моя — в то белое
искрометное кольцо
опускает задубелое
постаревшее лицо.

1977

Сверчок

Сверчок в изголовье, что мелешь, скажи?
Бессмысленно песен твоих миражи

встают от жемчужин — до гнили домов,
обмоченных впрок мужиками с углов.

Я весь истаскался, в родимых краях,
как цуцик, живу с нищетой на паях.

На что уж — и то капитальней меня
сверчок супротив темноты и огня.

Никто не пытает: о чем он поет,
как любит, сколь долго на свете живет

и где умирает — все в том же углу?
пока из печи выгребают золу...

Каприз роговицы в минуту труда
словесного, впрочем и то не беда,

светла, что горошина в спелом стручке,
слеза — о сменяемом братом сверчке.

1981

Памяти Беломорья

Длинногривые травы на скользких камнях —
блещут ракушки в космах, моллюски в корнях,
и на кромке отлива
в медовеющих выбросах блесткая слизь.
Как тучна и дородна — проспясь, приглядись —
беломорская нива!

Но какого жнеца молодит зеленца?
И земля под ногами червива.

Вкруг шиповника дикого миг покружу,
заскорузлую руку платком обвяжу,
словно кисть перебита,
брошу розу — под чайки тревожащий зов —
на примятый в тридцатых ногами рабов
пласт прибрежный гранита.

Папироски дрянца. У такого гребца
и такое корыто.

Не спеши относить мою лодку, волна:
может быть, мы не всё получили сполна,
и пока на колени
не поставил в кожáнке запойный паша,
неустанно во плоть одевает душа
неотмщенные тени.

1981

●

1

Словно полукафтанье опричника
проскользнуло меж глянца берез.
За занозистой резкой наличника
наше царство в собачий мороз,
будто зеркало, с маху раздроблено
и в единый кулак сведено,
бочке с квасом хмельным уподоблено,
верно, нашим Всевышним оно.

За картофеля выцветшим ситчиком
сжатый в копны пожух сенокос.
Плесневеет над спелым черничником

крест на кладбище — брусья вразброс.
Словно хлебное месиво квасится,
меж осклизлых камней солона,
заиграет, застонет, окрасится
кверху вспоротым брюхом — волна.

2

Жемчужная отмель в спиральках червей
запала в гранитную гальку,
где в куколе черном отшельница-ель
пригрела залетную чайку.
Как в беглую цель,
когда белый ветер пускает пращу
бухому вослед экипажу,
я руку по локоть в волну опущу,
осклизлую гриву поглажу
и вдруг
ухвачу ее наверняка
малькам и моллюскам в угоду,
как труп пощаженного Богом зека,
волнами прибитого издалека,
еще сохранивший породу.

3

За отбросами моря вонючими
солнце в матовой ауре-мгле
сыплет искрами в волны колючими,
что становятся ржаво гремучими,
точно жесть в соловецком кремле.

На остывшей золе
в стороне за глухими бараками
пред бесследностью братских могил,
помолюсь не словами — а знаками,
будто сам я кого-то убил.

август 1981

●

Соловецкие волны, на вас не ступлю никогда:
мне не надо от вас ни рассказов про смерть торопливых,
ни гремучего выброса окровавлéнного льда,
ни осклизлого камня
с наростами трав долгогривых,

...ни стрелецкой щепы, глубоко занозившей покров
из сухих лишаев и довыспевшей бурой брусницы,
согревающий осенью мощи бессчетных рабов
наподобье хранимой
в надежном кремле
плащаницы.

июль 1981

Письмо

Если вырвусь я из железных лап
и не буду мечен, хоть малость слаб,

притеку на море — гранитный край
и гадюкой в бурый вползу лишай.

Заведу имущество: лодку, снасть.
И в блокнотце ветхом решусь попрясть.

Напишу и скомкаю — так — «Илья!»
...«Драгоценный мальчик, где ты? Где я

толпы душ положены невзначай.
Если будут спрашивать, отвечай

на вопросы старших одно и то ж:
у отца в хибаре топор и нож.

А покажут фотку, скажи: не он.
На тропе гнездо, комариный звон,

Никого в норе, нараспашку дверь—
все к тому — что я не такой теперь».

1981

Колежемская сага

За оконцем скошенным избушки,
чей хозяин найден мимолетом
в ноябре с початою чекушкой,
весь снежком засыпанный... чего там...
— громче волн гремучие повторы,
раздуваемые ветром лютым.
Но все глуше вспыхнувшие споры:
что стряслось намедни с шелопутом?

...По стене расклеил бестолково
вкладыши цветные из журналов —
образа работы Глазунова
панславянских Ашурбанипалов
— и давай вытягивать на вилах
из прибоя водоросль-вонючку
и сушить на чердаке в стропилах,
предвкушая знатную получку.

По шуге провел напропалую
лодку чуть не прямо к магазину,
маленьких набрал на четвертную,
как попало побросав в корзину,
и отчалил засветло обратно.
Кто же ждал такого оборота?

Как его, должно быть, неприятно
было вдруг заметить с вертолета!

1981

Если ветер сырой...

Если ветер сырой,
если тучи подгнили свинцово,
пробегает травой
дождевая нездешняя мова,
отвяжу-ка гремучую
цепь, от волн окормляясь.
Выйду в море колючее,
с заштормившим сшибаясь.

Расщепленным куском
было жизни делился, как целым,
с чайкой — с каждым броском
зависавшей надолго над Белым.

Розовей полоса
и роса на зеленой соломе.
До седьмого часа
не успели очухаться в доме.

Нынче, брешут, видней
на уступе с гранитной пятою
остов лодки моей
с деревянною клетью грудною.
И подлесок седой,
верестясь, можжевелясь, осинясь,
наступает грядой
на змеиную ржавую привязь.
Только чайка все та ж,
может статься, а может, иная
— ждет,
подкину когда ж
тусклоперую рыбку со дна я.

август 1985

Как по лётному полю...

Л. К.

Как по лётному полю
с травой под зеленою сетью,
память водит лучом
несгибаемым по лихолетью,

выбирая из тьмы
то волны мертворожденной всплески,
то синицу в обобранном
полном тоски перелеске.

Словно шанежку съел
на архангельском тощем базаре
и вконец забурел,
примостясь с папироской на таре.

В настоящей тюрьме
эдак только и грезят о воле,
переметной суме,
Роще Марьиной, Девчьем Поле...

Приведет ли Господь
поудить, поохотиться в сонных
камышах наступательных
около стен оборонных

перед тем рубежом,
где, не дав отдышаться доныне,
полоснула ножом
зорька росная по горловине.

июль 1985

●

И. Бродскому

Систола — сжатие полунапрасное
гонит из красного красное в красное.
...Словно шинель на шелку,
льнет, простужая, имперское — к женскому
около Спаса, что к Преображенскому
так и приписан полку.

Мы ль предадим наши ночи болотные,
склепы гранитные, гульбища ротные,
плацы, где сякнут ветра,
понову копоть вдыхая угарную,
мы ль не помянем сухую столярную
стружку владыки Петра?

Мы ль... Но забудь эту присказку мыльную.
Ты ль позабудешь про сторону тыльную
дерева, где воронье?
Нам умирать на Васильевской линии!
— отогревая тряпицами в инее
певчее зево свое.

Ведь не тобою ли прямо обещаны
были асфальта сетчатые трещины,
переведенные с карт?
Но воевавший за слово сипатое,
вновь подниму я лицо бородатое
на посрамленный штандарт.

Белое — это полоски под кольцами,
это когда пацаны добровольцами,
это когда никого
нет пред открытыми Богу божницами,
ибо все белые с белыми лицами
за спину стали Его.

Синее — это когда пригнетаются
беженцы к берегу, бредят и маются
у византийских камней,
годных еще на могильник в Галлиполи,
синее — наше, а птицы мы, рыбы ли
это не важно, ей-ей.

Друг, я спрошу тебя самое главное:
ежели прежнее все — неисправное,
что же нас ждет впереди?
Скажешь, мол, дело известное, ясное.
Красное — это из красного в красное
в стынущей честно груди.

1986

Фазиль Искандер

СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА

ПОВЕСТЬ

Беседы с Виктором Максимовичем

Сейчас я хочу привести здесь некоторые мысли и выражения Виктора Максимовича. Хотелось бы, чтобы люди почувствовали его юмор, по-русски меткий, а по-испански едкий. Впрочем, не будем ставить народам отметки. Привожу его мысли и замечания вразброс, так, как они сейчас мне вспоминаются.

Не из раздумья рождается мысль, но мы погружаемся в раздумья, потому что мысль в нас уже зародилась...

Люди часто путают взволнованную глупость с бурлящим умом.

...Шаловливый палач...

Хам на цыпочках...

Человек устает бороться и делает вид, что он помудрел.

Зависть — религия калек.

Люди разделяются на две категории. Выслушав тот или иной жизненный рассказ, один подсознательно взвешивает: справедливо ли, благородно ли то, что я узнал? Другой подсознательно: выгодно ли мне то, что я узнал?

Окончание. Начало см., «Знамя» №№ 7, 8 за 1989 год.

При равенстве прочих условий и собственном равнодушии женщина из двух поклонников, влюбленного и невлюбленного, выбирает всегда невлюбленного. Почему? Влюбленный вызывает стыд, страх, беспокойство. Она знает, что в ней нет того храма, который в ней видит влюбленный, и ритуал поклонения ее коробит и раздражает. Почему раздражает? Потому что влюбленный ей напоминает, что в ней мог быть храм, но то ли она его сама разрушила, то ли по бездарности вовремя не заметила, а теперь он загажен...

Телефон в наших условиях — это государство внутри твоего дома.

Скупой человек может быть умным, может быть талантливым, но он не может быть обаятельным. Обаяние есть форма выражения щедрости. Щедрость есть наиболее полное выражение свободы. Обаятельный ум — это ум, в котором особенно ярко чувствуется свобода от глупости.

Я хотел бы знать, где кончается артистизм и начинается шарлатанство.

Сейчас мода на религию. Многие люди, совершенно нерелигиозные, примазываются к религии. Интересно, почему никогда не бывает наоборот, почему религиозные люди не примазываются к атеизму? Примазываются к чему-то высшему.

Все считают, что в мире происходит беспрерывная борьба добра со злом. Пора бы попытаться определить процентное соотношение силы зла с силой добра.

Однажды я прочел Виктору Максимовичу новое стихотворение. Выслушав меня, Виктор Максимович простодушно сказал: — Истина не может быть столь длинной...

Новая истина, новая ясность.

Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются воспитанию как раз те, что не нуждаются в воспитании.

Счастье — плохой наблюдательный пункт.

Я часто замечал, что люди глупые и одновременно лживые нередко проявляют умную находчивость. В чем секрет? Я думаю так. Привычка ко лжи и необходимость постоянно выворачиваться из лживой ситуации натренировали их мозг в сторону необыкновенной подвижности умственных сил. Хотя у глупого человека сил этих мало, но, умея мгновенно собрать их в единую точку, он добивается на этой точке преимущества. Пока его умный оппонент соображает, что к чему, лжец вывернулся и ушел. Он хороший полководец своих малых умственных сил.

Ум и мудрость. Ум — это когда мы самым лучшим образом разрешаем ту или иную жизненную задачу. Мудрость обязательно сопрягает разрешение данной жизненной задачи с другими жизненными задачами, находящимися с этой задачей в обозримой связи. Поэтому мудрость часто пренебрегает самым лучшим решением данной задачи ради чувства справедливости по отношению к другим задачам. Умное решение может быть и безнравственным. Мудрое — не может быть безнравственным. Ум — разит. Мудрость — утоляет. Мудрость — это ум, настоянный на совести. Такой коктейль многим не только не по плечу, но и не по нутру.

Мошенник часто вызывает сочувствие, если его мошенничество не связано с ограблением слабых или тем более кровью. Но почему, если мы сами не способны на мошенничество, мы все-таки испытываем к некоторым мошенникам симпатию? В их мошенничестве мы видим возмездие за мошенничество самой жизни, которой мы не смогли отомстить.

В этой связи я вспоминаю одного забавного старого человека, который сидел со мной в Москве, в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Он был бездипломный адвокат и сидел за подпольную адвокатскую деятельность. У него была поговорка:

— Лучше сидеть на двух стульях, чем на одной скамье подсудимых.

Однако же сел, но не унывал. К нам в камеру попал один парень, которому грозил год тюрьмы за хулиганство. Тогда был такой указ. Он на базаре повздорил с какой-то торговкой и назвал ее проституткой. Подвернулась милиция, и его забрали.

Парень был без ума от горя, потому что вот-вот собирался жениться. Подпольный адвокат взялся ему помочь, попросив вместо гонорара прислать ему с воли посылку с салом. Он дал ему один из своих хитроумных советов, которыми промышлял всю жизнь. Он посоветовал ему на суде держаться одной и той же версии:

— Я ей сказал — прости, тетка, а ей послышалось — проститутка.

Вскоре его увели на суд, и больше мы его не видели. Но через некоторое время подпольный адвокат получил шматок сала. Парня явно отпустили.

Удаль. В этом слове ясно слышится — даль, хотя формально у него другое происхождение. Удаль — это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства, дали. В слове мужество — суровая необходимость, взвешенность наших действий. Мужество — от ума, от мужчинства. Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость, мужество. Мужество ограничено целью, цель продиктована совестью.

Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизнью, храбрость. Но, вглядевшись в понятие «удаль», мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В ней есть самонакачка, опьянение. Если бы устраивались соревнования по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла на соревнование, хватив допинга.

Русское государство расширялось за счет удали. Защищалось за счет мужества. Бородино — это мужество. Завоевание Сибири — удаль.

Удаль — отвага, требующая пространства. Воздух пространства накачивает искусственной смелостью, пьянит. Опьяненному — жизнь копейка. Удаль — это паника, бегущая вперед. Удаль рубит налево и направо. Удаль — это ситуация, когда можно рубить, не задумываясь. Удаль — возможность рубить, все время удаляясь от места, где уже лежат порубленные тобой, чтобы не задумываться: «А правильно ли я рубил?»

Когда русского мужика пороли, он подсознательно накапливал в себе ярость удали: «Вот удалюсь куда-нибудь подальше и там такую удаль покажу!» Но иногда удалиться не успевал и тогда — русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Тоже удаль.

Что такое уважение к человеку? Уважение есть признание субъективных усилий человека. Усилий умственных, нравственных, физических. Чем больше уважают человека, тем больше предполагают наличие его субъективных усилий. Уважение бывает ложным, но и тогда оно — следствие наших иллюзорных представлений о субъективных усилиях человека.

А вот отзыв Виктора Максимовича об одном нашем знакомом, не слишком чистоплотном в выборе друзей.

— В его доме, как на том свете, можно сразу встретить и убийцу и убиенного.

Человек неверующий, но с чистой совестью гораздо угодней богу, чем верующий, но с нечистой совестью. Такой и верит, но и, сподличав, надеется: «Бог милостив, отмолю грех».

Конечно, можно сказать, что неверующий, но совестливый человек носит в себе неосознанную религиозность. Но никак нельзя пренебрегать и тем, что такой человек, будучи взрослым и разумным, нам говорит: «Я не верю». Правильней всего предположить, что и такие люди входят в бесконечную сложность божьего замысла. Они ему нужны.

— Подлые костры инквизиции... Не отсюда ли генетическая трагедия дурной левизны интеллигенции? Пятясь от этих костров, в какие только пожары она не рушилась...

Шутка по поводу одного нашего знакомого, не в меру осторожного человека.

— Того, кто всего боится, ничем не испугаешь.

— Высокую репутацию честности поддерживает ее прочная невыгода. Если бы честность была выгодна, сколько бы мошенников ходило в честных людях.

— К пятидесяти годам некоторые честные люди начинают нервничать: «А стоило ли?!» Хочется взбодрить их криком: «Держитесь, братцы, уже не так много осталось!»

По поводу книги одного историка, переполненной цитатами из книг других историков.

— Я прочитал его книгу, перепрыгивая с цитаты на цитату, как с камня на камень, и не замочив ног о его собственные мысли. Войны Наполеона он объясняет исключительно социальными и политическими причинами. Невероятная глупость! Причины эти Наполеон придумывал для дураков. Он воевал, потому что для него это было единственным интересным занятием в жизни.

Россия, победив Наполеона, объективно спасла Францию. По свидетельству современников, к концу наполеоновских войн во Франции почти не оставалось мужчин в возрасте от двадцати до сорока лет. Что ждало Францию, если бы он провоевал еще пять лет? Но полководец он был гениальный, никакими случайностями нельзя объяснить такое количество побед. В молодости пытался читать его сочинения. Серо. Как глупо выглядит человек, когда занимается не своим делом.

Об ответственности.

— Духовно развитая личность наибольшую требовательность всегда предъявляет к самой себе. Чем дальше от нее человек, тем снисходительней она к его недостаткам. Отсюда и вечная драма духовно развитой личности с близкими людьми. Ведь к ним она относится, как к себе или почти как к себе. А они этого не выдерживают. Они этого тем более не выдерживают, видя, как она снисходительна к далеким.

— Быть свободным среди несвободных не только бестактно, но и невозможно. Только стараясь освободить других от несвободы, человек самоосуществляется как свободная личность.

— Мера наказания в каждой государственной системе определяется степенью разницы между жизнью на воле и в неволе. В странах, где эта разница невелика, провинившемуся дают почувствовать наказание за счет более длительного срока заключения в неволе.

— Что можно сделать для родины, когда ничего нельзя сделать? Делай самого себя! Если альпинисту погодные условия не позволяют штурмовать вершину, он должен упорной тренировкой готовить себя к тому времени, когда восхождение на вершину будет возможным.

И вдруг жизнь встает в таком разрезе, что все твои ошибки, неудачи, страдания — это абсолютно необходимая цепь к той мысли, к тому пониманию времени, которое ты, оказывается, обрел. И ты с ужасом осознаешь, что ничего не понял бы, если б не эти страдания, если б не эти неудачи, не эта боль. Господи, как точно все сложилось! Два-три везения там, где не повезло, и я бы ничего не понял!

Если расщепленный волос не имеет практического значения, он не должен претендовать и на теоретическое значение.

Безнравственный поступок образованного человека мы склонны осуждать резче, чем тот же поступок необразованного человека. И это хорошо. Здесь сказывается инстинкт самосохранения рода человеческого: знания должны увеличиваться вместе с нравственностью.

Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа.

Готовность умереть за любимую идею — признак здорового психического состояния человека. И, наоборот, неготовность — признак психической ущербности, болезненности духа.

Тот, кто день и ночь мечтает о сказочной красавице, в конце концов изнасилует собственную молочницу... Так и получилось.

Смеясь над глупцом, никогда не забывай, что в шашки он играет лучше тебя.

Обесчещенные ненавидят друг друга. Каждый — зеркало для другого. Отсюда грубость нравов.

...Кто видит в небе ангелов, не видит в небе птиц...

Бывает рассеянность от сосредоточенности ума, но бывает рассеянность и от слабости ума: нечего сосредоточивать. Мы склонны путать эти две рассеянности.

Неспособные любить склонны к сентиментальности точно так же, как неспособные к братству склонны к панибратству.

Эстет — грязь в чистом виде.

Идеология держится на дефиците, а дефицит держится на идеологии.

Когда общество отнимает у человека его социальное достоинство, национальное достоинство неожиданно начинает раздуваться, как раковая опухоль. Общество должно вернуть человеку его социальное достоинство, и тогда националистическая опухоль сама рассосется.

Мы часто укоряем бюрократа в том, что он свою работу делает бессмысленной. Но и бессмысленная работа превращает человека в бюрократа. Сизиф был первым бюрократом в мире. Кто виноват? Боги.

Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один.

Дурной консерватизм и дурная революционность в конечном итоге сливаются в самом главном. Дурной консерватизм — спячка. Дурная революционность — опьянение действием. В обоих случаях — отсутствие работы мысли.

Мы склонны удивляться и даже как бы восхищаться отрицательной силой ума знаменитых политических деятелей, так сказать, макиавеллизмом, даже если одновременно осуждаем их аморальность. А между тем любой истинный ученый, изобретатель, художник в своей работе пользуется в тысячу раз более остроумными комбинациями, чтобы создать машину, картину или открыть новую закономерность в явлениях природы.

Вся суть вопроса состоит в том, что нравственно здоровый человек сам никогда мысленно не вторгается в область аморальных комбинаций. Поэтому он крайне наивен в этой области. Такой человек, узнав, что некий политический деятель при помощи такой-то сложной манипуляции человеческими страстями добился власти, хотя и осуждает аморальность этих манипуляций, одновременно может испытывать и некоторое уважительное восхищение:

— Мне бы такое никогда в голову не пришло!

Тем самым как бы частично признавая недоразвитость своей головы. Так, физически здоровый и сильный человек может испытывать восхищение человеком, который так поднял ногу, что обнял ею собственную шею и поцеловал собственную пятку. Сам он никогда не развивал в себе этих способностей, они ему были не нужны. Ему и в голову не приходит, что двигателем этого человека была и есть хроническая влюбленность в собственную пятку. И в момент восхищения человеком, целующим собственную пятку, он сам, здоровый и сильный человек, склонен забывать, что целующий собственную пятку во всем остальном хилый, невзрачный и даже просто слабый человек.

У Виктора Максимовича было вообще повышенное чувство русского языка. Он страдал, если русский человек говорил по-русски стертым или вычурным языком.

Однажды, потягивая кофе, он задумчиво пробормотал:

— Странная связь существует между словами. Пламя — это не то ли, чем владело племя? Тоска — это не то ли, что стискивает грудь?

— Верите ли вы в бога? — спросил я его тогда.

— По натуре,— сказал он мне, и в его глазах появилось то отрешенное выражение, которое я так любил, попытка понять истину, совершенно независимо от того, каким он сам покажется в свете этой истины,— я человек нерелигиозный. У меня никогда не возникает ни желания молиться богу, ни просить у него помощи. Но я верю в бога, и это — простое следствие научной и человеческой корректности.

Когда ко мне приходит то, что называют вдохновением, и я с необыкновенной ясностью вижу конструкцию нового аппарата, с необыкновенной быстротой делаю необходимые вычисления, и даже чертеж у меня получается стройней и красивей, чем обычно, разве я не понимаю, что в меня влилась некая сила, не принадлежащая мне? Было бы научной некорректностью и даже отчасти плагиатом приписывать эту силу самому себе.

— А человеческая корректность в чем заключается? — спросил я.

— Сам посуди,— сказал он,— я был на фронте трижды ранен

и остался жив. Мой самолет горел, но я его успел посадить и остался жив. Разве чувство благодарности не подсказывает, что существует объект благодарности?

Девушка Лора и лошадник Чагу

Гете сказал: коллекционеры — счастливые люди. Внесем небольшую поправку — пока их коллекцию не ограбили.

У меня есть родственник. Зовут его Расим. Он работает в институте усовершенствования учителей и в свободное от усовершенствования учителей время коллекционирует своих родственников и однофамильцев. Он их фотографирует и вклеивает их снимки в альбомы. Оригиналы же фотографий он раз в году собирает в селе Кутол, где они за выпивкой и свежим мясом с мамалыгой обсуждают свои фамильные успехи и провалы. В маленькой Абхазии это вполне возможно.

Я несколько раз просил его взять меня с собой на эти торжества. Но ко дню праздничного сборища он, бедняга, так изматывается от организационной суеты, что забывает мне позвонить. Так, во всяком случае, он мне объяснял свою забывчивость, а заподозрить его в некоем фамильном масонстве у меня нет никаких оснований.

Высокий, горбоносый, Расим всегда находится в бодром, деятельном состоянии духа. Ясно, что таким он и будет всегда — его коллекции не грозит ограбление.

Мы с ним родственники через бабушку по отцовской линии. Он мне открыл, что еще задолго до революции, когда моя бабушка вышла замуж за перса, родственники не признали этот брак, и она с мужем лет десять скиталась по странам Ближнего Востока. И только позже, когда они вернулись в Абхазию с детьми, мой персидский дед был признан строгим кланом. А я-то думал, что моя бедная бабушка, в детстве так сладостно искавшая у меня в голове (разумеется, чисто символически), дальше Гудауты никуда не ездила. Решительно не зная, как применить эти столь запоздалые сведения, я их на всякий случай вписываю сюда.

Кстати, насчет браков. Расим коллекционирует и фамильные свадьбы. Он мне жаловался, что наши абхазцы стали подвергаться всеобщей порче. Как-то он заснял свадьбу одного юного сородича. Через полтора месяца, когда часть фотографий готовилась к отправке новобрачным, его настигла весть, что они разошлись. Нельзя сказать, что он слишком торопился со своим подарком, как нельзя сказать, что новобрачные слишком долго раздумывали.

— Бесстыжие,— сказал Расим,— хоть бы моих фотографий дождались.

С этими словами, горестно вздохнув, если вздох коллекционера можно назвать горестным, он завел фамильный альбом скоропостижных разводов.

Кстати, фотографии арестованных однофамильцев он перечеркивает карандашом, что означает возможность стереть резинкой следы карандаша, если провинившийся исправится. Если же данный однофамилец снова попадал в тюрьму, его фотография перечеркивалась красными чернилами, и он уже больше никогда не приглашался на фамильные торжества. Расим несколько раз лично выезжал в близлежащие тюрьмы, чтобы на месте провести с однофамильцем или родственником культурно-просветительную беседу.

Опытом его работы заинтересовались на каком-то совещании учителей в Ленинграде. По-видимому, кому-то пришло в голову таким образом попытаться укрепить трудовую дисциплину русской нации. Расим им все рассказал, продемонстрировал альбомы, не скрывая фотографии, не только перечеркнутые карандашом, но и красными чернилами. Честность прежде всего! Судя по всему, в условиях раскидистой России, где не только однофамильцы, но и родственники иногда всю жизнь не встречаются, использовать его опыт трудновато.

Я как-то спросил у Расима, нет ли в его клане хорошего лошадника, который на моих глазах мог бы объездить лошадь. Мне это надо было для моей работы.

— Как же,— сказал он,— есть такой. Зовут его Чагу. Бывая в городе, он всегда заходит ко мне.

Расим рассказал забавный случай с этим Чагу, когда тот однажды, отбазарив, пришел к нему домой. В это время Расим спешил на работу. Жены дома не было, и он решил на скорую руку накормить гостя. Он вынул из холодильника закуски, бутылку отличного вина и посадил Чагу за стол. Расим успел налить ему пару стаканов вина, и Чагу их выпил.

— Как тебе вино, Чагу? — спросил у него Расим.

— Хорошее вино,— сказал Чагу,— хотя чуть-чуть кислит.

— Как так кислит? — удивился Расим и, налив себе немного в стакан, отпил. Господи! Оказывается, второпях он из холодильника достал бутылку с уксусом вместо бутылки с вином. Чагу, подчиняясь абхазскому обычаю принимать как должное любое хозяйское угощение, выпил, не дрогнув ни одним мускулом, два чайных стакана уксуса, винного, конечно.

Расим знает этого Чагу с давних времен, сам он выходец из того села, где и сейчас живет Чагу. Однажды в юности он верхом отправился на альпийские луга, куда днем раньше выехал Чагу с другими пастухами. Километров за десять от пастушеской стоянки лошадь Расима споткнулась и не то сломала ногу, не то растянула. Дальше она не могла идти. Расим снял с нее поклажу и один к вечеру пришел в пастушеский лагерь.

Чагу, узнав о случившемся, страшно рассердился на него: как можно хромую лошадь одну оставлять в лесу?! Ведь она не сможет бежать ни от волка, ни от медведя! А что ты мог сделать?! Ждать нас возле нее! Мы же знали, что ты должен прийти, и раз ты вовремя не пришел, мы бы вышли тебе навстречу!

Он ушел за лошадью, каким-то образом стянул и перевязал ей больную ногу, и она поздно ночью приковыляла вместе с ним к пастушеской стоянке.

По словам Расима, хотя с тех пор прошло около тридцати лет, Чагу нет-нет да и вспомнит: как это ты мог хромую лошадь оставить одну в лесу?!

Кстати, сейчас я вспомнил, что когда-то читал о подвиге североамериканского индейца, который, вроде Чагу, тоже не дрогнув ни одним мускулом, выпил какую-то дрянь. Неудивительно. Люди патриархальной психологии ведут себя одинаково.

Однажды один бывший работник КГБ простодушно рассказал мне, что в послевоенные времена ему в недрах его учреждения попалась некая статистическая диаграмма, что ли, где демонстрировались сравнительные данные вербовки населения по национальному признаку. Из его рассказа совершенно отчетливо прослеживалось угасание силы сопротивления по мере угасания патриархальности народа. Сам он даже отдаленно не подозревал такого признака, просто рассказал, что помнил. Признак патриархальности заметил я.

Я думаю, человечество, если оно вообще уцелеет, еще сильно поплатится за грязный релятивизм цивилизации.

Но я отвлекся. Расим связался с Чагу и узнал, что у него и в самом деле есть необъезженная лошадь. В один прекрасный день Расим мне позвонил и как всегда бодрым, радостным (коллекционер!) голосом сказал:

— Завтра Чагу нас ждет. Едем на моей машине.

Виктор Максимович еще раньше высказывал мне желание поехать со мной к этому лошаднику. Я прихватил его с собой, и мы выехали из города. Когда мы проезжали небольшой сельский поселок, Виктор Максимович показал рукой в окно:

— Видишь вон тот дом?

Мы оба сидели сзади. Я проследил за его рукой. Он показывал на довольно обычный в этих местах кирпичный дом на высоких бетонных сваях. Сразу за домом начиналась табачная плантация.

— В этом доме жил Уту Берулава,— сказал Виктор Максимович.

Так вот он, дом знаменитого бандита! Я его самого никогда не видел, а теперь уже и не увижу, потому что его расстреляли. Преступления его были всегда мерзки, а иногда мерзки и бессмысленны.

Так, в большой статье, появившейся в «Заре Востока» после его расстрела, говорилось, что однажды он выстрелил в мальчика за то, что тот попросил его не чистить туфли возле родника, где какие-то загородные люди набирали воду. Мальчик, конечно, не знал, кто он такой. В отличие от многих других мальчика он, к счастью, не убил, а ранил.

Это был человек-зверь, возможно, и не совсем нормальный. Трудно сказать. Одно время он работал на бензоколонке, тайно промышляя ворованными машинами. Чаще бывал в бегах. Он обладал неимоверной физической силой. Вот единственная его невинная забава, известная в городе. Поздно ночью, выпивший, в хорошем настроении возвращаясь из какой-нибудь компании, он аккуратно переворачивал кверху колесами легковые машины, попадавшиеся на его пути.

Все остальные забавы были ужасны. Вот одна из них. О ней мне рассказал мой школьный товарищ, тогда работавший в прокуратуре. Уту кутил в каком-то доме с какими-то мерзавцами и шлюхами. Напившись, он стал выводить из помещения, где они кутили, представительниц прекрасного пола. Никто ему не смел возразить, пока очередь не дошла до женщины, принадлежащей достаточно храброму головорезу. Возникла дискуссия, в результате которой Уту предложил ему сесть в его машину и продолжить спор на одном из загородных кладбищ. Предложение было принято, и, как позже выяснилось, они вместе с несколькими свидетелями отправились туда.

Я уже не помню, убил ли он своего соперника еще в дороге или только оглушил его своей страшной рукой. На кладбище он выволок его тело из машины, разрядил в него свой пистолет, потом вылил на него канистру с бензином и поджег, чтобы труп не опознали. Мой школьный товарищ рассказывал, что в этот раз следствие по пулям определило его пистолет.

Хотя его много раз сажали, меня всегда удивляло, что он достаточно быстро выходил из тюрьмы. В тюрьме у него всегда был особый режим и особое питание. В том же номере «Зари Востока» говорилось, что когда он сидел в тбилисской тюрьме, в новогоднюю ночь ему тюремщики принесли вино и жареного поросенка. Славные тюремщики!

В последний раз он бежал из потийской тюрьмы при довольно забавных обстоятельствах. Он попросился проведать больного родственника, лежавшего в больнице. Его отпустили с двумя офицерами. Проведав родственника, они втроем пошли в ресторан и выпили шампанского. Офицеры забыли, что шампанское располагает к свободе, и на обратном пути Уту отнял у одного из них пистолет, сел в такси, пригрозил таксисту оружием и заставил его привезти себя в Абхазию. Здесь он бросил такси и ушел в горы.

Несмотря на деньги и связи, он, будучи в бегах, словно зверь, могущий жить только в одной климатической зоне, далеко не уходил. Скрывался только в Абхазии и Мингрелии. В конце концов ему это, видимо, надоело, и он, пустив в ход свои связи, договорился с властями, что если ему не дадут нового срока, то он выйдет с повинной. Ему обещали и обманули. Сделали вид, что уже после того, как его взяли, обнаружились его новые преступления, о которых до этого не знали. К этому времени в Грузии к власти пришел Шеварднадзе, и, видимо, те люди, которым Уту был нужен для каких-то целей, потеряли влияние.

Говорят, на суде, как это бывало и раньше, он пустил в ход свой старый псевдобиблейский номер. Он разделся догола и крикнул:

— Граждане судьи, вот таким я пришел в этот мир! Люди меня сделали преступником!

Сам того не ведая, подобно нашим социологам, он спорил с Ломброзо, забывая, что и его отец и его братья были такими же преступниками, хотя он их всех намного превзошел. Его, наконец, расстреляли.

Вот о чем я вспомнил, когда Виктор Максимович показал мне на дом Уту Берулава. Машина сейчас катила по верхнеэшерскому шоссе. Справа от нас высились скальные нагромождения, поросшие кустами ежевики и азалий. Слева пониже нас расстилалась мягко холмистая низменность с мирными крестьянскими домиками, кукурузными полями и табачными плантациями. Дальше вставала сиреневая стена моря. Был солнечный день начала лета.

— Сейчас я вам расскажу одну историю,— начал Виктор Максимович.— Недалеко от моего дома жила очаровательная девушка. Звали ее Лора. Она была маленького роста с большими, сияющими карими глазами на всегда чистом утреннем лице. Каждый раз, увидев меня, она останавливалась или мимоходом бросала:

— Виктор Максимович, ну когда же наконец вы меня покатаете на своем самолете?

— Скоро, скоро, Лорочка,— отвечал я ей в тон, и она, простучав каблучками, быстро проходила мимо моего дома.

Лора жила одна со своей мамой. Отец у них давно умер. Две старшие сестры вышли замуж и жили в России. Мать, бывшая работница табачной фабрики, получала пенсию, но основной доход им приносили курортники. На весь сезон они сдавали свой дом отдыхающим.

Уходя на рыбалку или возвращаясь с рыбалки, я видел с моря, как Лора хлопочет на своей усадьбе: стирает или развешивает белье своих многочисленных жильцов, гладит, возится на огороде или варит варенье возле своего дома.

Ко времени, о котором я рассказываю, Лора была студенткой третьего курса педагогического института. У нее был жених. Звали его Марк. Он был начинающим преподавателем музыкального техникума.

Марк вырос на моих глазах. Он жил со своими родителями через один дом от меня. Отец его, весьма преуспевающий жестянщик, был порядочным негодяем. По-видимому, он вдолбил себе мысль, что еврей в этой стране может выжить, только будучи жестянщиком или музыкантом. Так как стадия жестянщика была пройдена, Марка с детства обучали музыке, которую он, судя по всему, ненавидел.

Скандалы и битье ремнем были довольно частым явлением. Бед-

ный маленький Марик так визжал, что я слышал его голос на своем участке. Несколько раз я не выдерживал, вбегал к ним во двор и отнимал у разъяренного отца мальчишку. Один раз не выдержал и двинул отца как следует. Не знаю, прекратилось ли с тех пор битье или жестянщик перенес свои экзекуции в глубину дома, но с тех пор я не слышал, чтобы мальчик кричал.

Но вот прошли годы. Жестянщик все-таки добился своего: Марк — преподаватель музыкального техникума.

Они с Лорой должны были жениться, как только она окончит институт. Вообще все это у них началось со школы. Марк, конечно, бренчал на фортепьяно на школьных вечерах, как и все школьные музыканты, окруженный поклонниками и поклонницами. Тогда-то он, может, и произвел впечатление на еще совсем юную девочку. А может, что-то другое. Они ведь тоже почти соседи. В конце концов, я думаю, она его полюбила за его обезоруживающую доброту.

Высокий, некрасивый, но обаятельно лопоухий Марк и маленькая очаровательная Лора казались мне прекрасной парой. Конечно, она им вертела как хотела, но бывала только с ним и собиралась выйти за него замуж.

Я, кстати, не замечал в Марке ни малейшего озлобления на отца, так нещадно колотившего его в детстве. Думаю, все дело в природе. Если уж человек от природы наделен большой добротой, никаким ремнем ее из него не выбьешь.

Когда я их встречал вместе, Лора, сияя своими большими чудными глазами, говорила мне, улыбаясь:

— Виктор Максимович, когда ж мы полетим наконец? А то скоро Марк на мне женится, у нас будут дети и тогда я не рискну полететь. Разве что Марку отец подыщет богатую невесту?

Марк смущенно сопел и улыбался. Ясно было, что он свою Лору не променяет ни на какие богатства мира.

Однажды я рыбачил километра за полтора от берега. Вдруг слышу: — Виктор Максимович, я к вам!

Я вздрогнул. Смотрю, Лора вцепилась руками за корму. Лицо побледнело, глаза сияют. Я не заметил, как она подплыла.

— Ты почему так далеко заплыла? — говорю.

— А я знала, что вы здесь рыбачите,— говорит,— мне захотелось доплыть до вас.

— Лора,— говорю,— ты представляешь, что будет с Марком, если он узнает, как ты далеко отплыла от берега?

— Ничего,— с неожиданной твердостью сказала Лора,— не умрет.

Я ей дал как следует отдохнуть, а потом она поплыла назад, и я долго следил за ее голубой купальной шапочкой.

Вот такая девушка жила недалеко от меня, и каждый раз видеть эту деятельную, как пчелка, жизнерадостную девушку было маленьким праздником.

И вдруг страшное несчастье. Мать Лоры попала под машину на шоссе совсем рядом со своим домом. На нее наехал вдрабадан пьяный местный врач, за которым уже гналась милицейская машина. Его, конечно, взяли. Он был настолько пьян, что сам не мог выйти из своих «Жигулей». Был составлен акт, нашелся свидетель, местный житель, который видел, что машина мчалась с огромной скоростью.

Через неделю я встретил Лору. Она в траурном платье проходила мимо моего дома.

— Только что была в милиции,— сказала она,— маму не вернешь, но пусть этот мерзавец посидит в тюрьме. Следователь дал прочесть мне свидетельские показания и акт экспертизы психоневрологического диспансера. Там написано — опьянение сильное. Дело передано в прокуратуру... Пусть посидит, мерзавец...

И она прошла дальше. Я ничего ей не сказал и только с грустью посмотрел ей вслед. Я уже знал, что этот врач родной брат местного миллионера, мясного короля, связанного с западногрузинской мафией. Трудно было поверить, что миллионер не выручит своего брата.

Через пару месяцев опять встречаю Лору. Она шла с базара с корзиной в руке. Увидев меня, поставила корзину и остановилась.

— Виктор Максимович, что же это делается! — воскликнула она.— Они все перевернули! В прокуратуре все документы подделаны. Акт экспертизы совсем другой, как будто бы никакого опьянения не было. Свидетельских показаний нет. Выходит, как будто бы мама переходила дорогу в неположенном месте, а этот мерзавец пытался затормозить, но не смог. Выдумали какой-то тормозной путь! Почему они раньше ничего о нем не писали! Переход прямо напротив нашего дома. Зачем маме нужно было переходить улицу в неположенном месте? А показания свидетеля исчезли. Я пошла к следователю милиции, который давал мне все это читать. Он долго меня не принимал, но я все-таки добилась встречи. Какой подлец!

— Вы же,— говорю,— показывали мне анализ крови. Там же ясно было написано: опьянение сильное. Это мне приснилось или была такая справка?

— Да,— говорит, а сам в глаза не смотрит,— но это результат неисправности аппарата. Повторная экспертиза показала, что он был трезвый.

— Он же был,— говорю,— настолько пьян, что сам не мог выйти из машины. Ваши милиционеры его вытащили!

— Это шок,— говорит,— он просто потерял контроль над собой.

Я чуть с ума не сошла, но все-таки сумела удержать себя в руках.

— Где же показания свидетеля,— говорю,— почему вы их не передали в прокуратуру?

— Он их забрал,— говорит, а сам в глаза не смотрит,— по советским законам показания свидетеля не документ. Он не отвечает за них. Сначала ему так показалось, а потом он вспомнил, что все было не так. Он отвечает только за показания на допросе.

— Я пошла к свидетелю,— продолжала Лора.— Я его всю жизнь знаю, он же недалеко от нас живет. Когда я вошла к нему во двор, он сидел на крыше сарая и крыл его дранью.

— Василий Петрович,— говорю,— вы же двадцать лет маму знаете. Что с вами случилось, неужели они вас купили?

Молчит. Только молотком постукивает, а изо рта гвозди торчат. Я постояла, постояла, вижу, он не хочет говорить со мной, и пошла назад. У калитки догнала его жена:

— Лорочка! Лорочка! Прости! Приходил человек и угрожал сжечь дом.

— Что же это такое, Виктор Максимович, неужели на этого мясника управы нет?

— Милая Лора,— говорю,— к сожалению, это так. Оставь, ты себя изведешь и ничего не добьешься.

— Нет, Виктор Максимович,— сказала Лора, качая головой,— я никогда в жизни не отступлюсь. Моя мама, оставшись без папы, нас, трех дочерей, поставила на ноги. Она всю жизнь набивала папиросы на табачной фабрике. У нас целая пачка грамот. А теперь, значит, она никому не нужна? И пьяный негодяй ее может убить машиной, как бродячую собаку? Нет! Я пойду в КГБ.

Она подняла свою тяжелую корзину, и я долго смотрел вслед ее маленькой, упорной фигуре. Что я ей мог сказать? Чем помочь? И при чем тут КГБ.

Проходит еще какое-то время. Я встречаю Лору в нашем гастрономе. Мы выходим вместе.

— Ну что, Лора, была в КГБ?

— Была, была! — говорит.— Меня принял какой-то полковник, доброжелательно выслушал, а потом позвал своего помощника. И они стали между собой переговариваться по-абхазски. Они не знали, что я прекрасно понимаю по-абхазски. Я все понимаю, а они переговариваются между собой. Оказывается, помощник был в курсе моего дела. Точнее, он был в курсе дел миллионера и его брата.

— Девушка права,— говорит помощник,— но что мы можем сделать? Миллионер со вторым секретарем обкома вот так...

Он свел указательные пальцы обеих рук, показывая, что они, как братья.— Вчера,— продолжает он, его машина стояла возле особняка миллионера три часа двадцать минут... Пусть девушка жалуется в Москву, мы ничего не можем сделать.

А я слушаю и жду, что скажет мне полковник.

— Видимо, в вашем деле здесь не смогли разобраться,— говорит он мне наконец,— жалуйтесь в Москву. Это дело вообще не по нашей части.

Тут я не выдержала.

— В Москву,— говорю,— я пожалуюсь и без вас. Но вы мне объясните такую вещь. Я ее своим женским умом не могу понять. Что может делать секретарь обкома в особняке вора-миллионера? Что он, священник, наставляющий грешника? И что, вы засекаете время, пока он гостит у него? Какая от этого польза?

Виктор Максимович, он от моих слов покраснел, как флаг.

— Вы что, абхазка? — говорит.

— Да,— говорю,— у меня мама была абхазка.

— Все это сложней, чем вы думаете,— говорит он, глядя мне в глаза,— и если мы засекаем время, значит, это для чего-то нужно. Жалуйтесь в Москву, но здесь будьте осмотрительней.

Теперь я поняла, что тут мне никто не поможет. Я уже написала в Прокуратуру СССР. Жду ответа.

На этом мы расстались. Через какое-то время Лора получила ответ из Прокуратуры СССР, откуда ей написали, что ее жалоба рассмотрена и направлена в Прокуратуру Грузии. Теперь Лора ждала ответа из Прокуратуры Грузии. И вдруг однажды поздно вечером она прибежала ко мне домой. Впервые я ее видел такой бледной, испуганной.

— Ой, Виктор Максимович, что сейчас было! — воскликнула она и рухнула на диван.— Кто-то стучит мне в дверь. Открываю. Входит огромный мужчина со страшными глазами. У меня душа в пятки ушла. Но я взяла себя в руки и говорю:

— Что вам надо?

Он стоит и прямо жрет меня своими глазищами. Потом говорит:

— У тебя несчастье было. Но этот человек не хотел убивать твою маму. Случайно получилось... Вот здесь десять тысяч... Пригодится... Ты теперь одна...

Тут у меня страх прошел.

— Нет,— говорю,— если б они мне даже миллион заплатили, я бы ему не простила маму...

Он молчит и стоит с протянутой пачкой денег в руке.

— Не возьмешь?

— Нет,— говорю.

— Ты смелая девушка,— говорит он мне и кладет пачку в карман,— но перестань жаловаться... Хуже будет... Тем более живешь одна...

И смотрит на меня своими волчьими глазами. Я собрала все свои силы.

— Нет,— говорю,— лучше пусть они меня убьют.

Он еще некоторое время смотрел, смотрел на меня, а потом молча ушел. Слышу — завел машину и уехал. Тут только я поняла, какой ужас пережила, и прибежала к вам. Но, видно, и они испугались, испугались, правда?

— Не верю я,— говорю,— что милиционеры, взявшие пьяного, дадут теперь новые показания. Одумайся, Лора, пока не поздно. Они тебя угробят, я боюсь за тебя.

Я вижу, она сидит в глубокой задумчивости, даже не слушает меня.

— Ни один человек в мире,— вдруг говорит она, словно в пространство,— не умел так любить, как моя мама. Еще до нас, своих детей, она воспитывала свою родственницу — сиротку. Я ее немного помню. Она умерла лет пятнадцать назад от воспаления легких. Мама до последней минуты была с ней. И она перед смертью маме сказала: «Люби меня всегда!»

Она была сиротка и ей было страшно умереть, думая, что никто из живых о ней не будет помнить. И за все эти пятнадцать лет мама никогда о ней не забывала и всегда плакала, вспоминая ее последние минуты... Так любить, как мама... Пока я жива, я не прощу этому мерзавцу.

— Если так,— сказал я,— тебе опасно оставаться дома. Переходи к Марку или оставайся у меня, а там посмотрим...

— Нет,— вздохнула она после некоторого раздумья,— только сейчас мне не по себе. Проводите меня домой.

Я проводил ее, предупредив, чтобы она никому никогда не открывала по вечерам дверь. Она грустно кивнула и вошла в дом. На душе у меня было скверно, но я не знал, чем ей помочь.

Прошло еще несколько месяцев, и я узнал от Лоры, что прокуратура Грузии ничего не добилась. Этого следовало ожидать. Кстати, в местной прокуратуре оказался один работник, который симпатизировал Лоре, может быть, даже влюбился в нее. Один из милиционеров, взявших тогда пьяного брата мясника, кажется, чем-то обязанный этому прокурору, дрогнул было и обещал тбилисскому следователю рассказать всю правду, но в последний момент не решился.

— Зачем вы здесь работаете, если ничего не можете сделать? — оказывается, выпалила ему Лора.

— Я чучело честности,— сказал он ей,— хоть одного человека им приходится обходить, когда они занимаются темными делишками.

Этот же прокурор помог ей написать обстоятельное письмо в «Правду». Через некоторое время оттуда пришла в местную прокуратуру копия ее жалобы с отметкой О. К., то есть особый контроль.

— Мой прокурор,— впервые за все это время радостно сказала мне Лора,— признался мне, что такое указание — большая редкость! Особый контроль! Скоро приедет корреспондент и во всем разберется!

Бедная Лора, опять все сорвалось. Миллионер, даже носа не высовывая из своего особняка, все улаживал. Кстати, когда началась кампания борьбы с хищениями, снимок его особняка появился в «Правде». Тогда у некоторых местных воротил в самом деле отняли дома, но только не у этого. Шевельнулись было тронуть его, но город вдруг на несколько дней таинственно остался без мяса, и от него отстали. Но, видно, ему все-таки были неприятны ее бесконечные, бесстрашные жалобы на брата.

— Опять приходил этот с волчьими глазами,— сказала мне както Лора.

— Ну и что?

— Опять деньги предлагал.

— Не грозил? — спросил я, заглядывая в ее чудные, полные невыразимой печали глаза.

— Нет,— вздохнула она и как-то странно опустила свой длинноресничный взор.

Вся эта эпопея длилась около двух лет. Незадолго перед выпускными экзаменами Лоры я однажды ночью, возвращаясь из гостей, проходил к своему дому по пляжу. Была теплая лунная ночь. Смотрю, рядом с моим домом на песке лежит человек. Я подхожу к нему и вдруг узнаю в лунном свете мертвое лицо Марка. Молнией мелькнуло: они его убили в знак предупреждения, что следующей будет она, если не перестанет жаловаться!

— Марк! — закричал я и, наклонившись, приподнял его голову. Никогда запах алкоголя меня так не радовал — он был в полной отключке!

Я прекрасно знал, что Марк больше двух-трех рюмок не пил. Они с Лорой много раз бывали у меня. Опьянение было страшное, я его тряс, но он только постанывал и никак не приходил в себя. Хотя ночь была теплая, все-таки оставлять его на берегу было как-то боязно. Я поднял его, перевесил через плечо и отнес домой. Конечно, можно было крикнуть его родителей, но я не знал, как этот биндюжник отнесется к его ужасному опьянению. Ничего, думаю, перетерпят, да и время было позднее. Уже около трех часов ночи. Я гадал, что с ним, почему он так напился. Неужели они поссорились с Лорой? Но если он так напился, значит, это не обычная ссора, а что-то страшное. Разрыв?

Я поздно проснулся на следующее утро. Его уже не было. На столе лежала записка — «Виктор Максимович, спасибо. Никогда, никогда ни о чем не спрашивайте. Ваш Марик».

В тот же день я узнал новость, облетевшую город. Ночью брат миллионера был убит. С улицы его окликнули. Он вышел из парадной двери своего дома, и кто-то из темноты одним выстрелом уложил его. Все считали, что это дело рук одного из западногрузинских мафиози, с которыми они были связаны. Никаких следов милиция не нашла. Стрелявший растворился в темноте. Дикое опьянение Марка и ночь убийства как-то загадочно совпали.

Поверить в это было невозможно. Но и невозможное возможно в этом мире! А что если она ему поставила такое условие? Или случайное совпадение? Почему он так настойчиво просил ни о чем не спрашивать? Я зашел к Лоре, чтобы поделиться с ней новостью об убийстве брата миллионера, но ее не оказалось дома.

Через неделю встречаю Марика и Лору на автобусной остановке. У Марика на лице выражение загнанного зайца, а Лора какая-то оледенело-спокойная.

— Лорочка,— говорю,— бог за тебя отомстил.

— А вы верите в бога, Виктор Максимович? — спросила она с каким-то язвительным вызовом.

— Верю,— сказал я,— и тебе советую.

— Виктор Максимович,— говорит Лора,— я об этом много думала. С тех пор как мою маму убил этот пьяный мерзавец, а в целой стране не нашлось ни одного справедливого человека, который осудил бы его, я много думала о всяком таком. Если жизнь моей мамочки оказалась не дороже жизни бродячей собаки, попавшей под колесо, во что я могу верить? В какого бога? Не смешите меня, Виктор Максимович, не смешите, а то я сама не знаю, что со мной будет!

Бедняга Лора, сколько же она пережила за эти два года! Я по-

чувствовал, что это женская истерика, сдержанная огромными усилиями воли.

Но вот Лора сдала выпускные экзамены, и они с Мариком наконец поженились. Жили, конечно, у Лоры. Там и места было много, да и Лора не слишком ладила с отцом Марка. Время шло, мы иногда встречались, даже перешучивались, но той солнечной Лоры я больше никогда не видел.

Прошло три года. У меня есть молодой приятель. Он работает в сельскохозяйственном институте. Однажды мы с ним выходили из моего дома и столкнулись с Лорой и Мариком. Они шли мимо. Мы перекинулись несколькими словами, и я заметил, что мой приятель остолбенел, оглядывая Лору.

— Что, понравилась? — спросил я у него, когда они прошли.

— А кто она такая? — спросил он.

Я ему рассказал в двух словах.

— А давно они женаты? — спросил он.

— Три года.

— И как они ладят?

— У них любовь со школьной скамьи,— говорю.

— Потрясающе! — воскликнул он.— Потрясающе! Именно три года назад я впервые был на практике со студентами. У нас за городом опытное поле. В тот день я отпустил студентов и один остался на табачной плантации. Вдруг я услышал автоматную очередь, и пули, взметнув пыль, легли вправо от меня. Я отпрянул влево и упал на землю. В тот же миг снова раздалась очередь, и пули, срезая табачные стебли, легли влево от меня. Я инстинктивно отпрянул вправо. Снова очередь, и пули вспыхнули справа от меня. Я отпрыгнул влево. И тишина.

Я пролежал еще минут двадцать, а потом встал и огляделся. В самое первое мгновение я подумал, что началась война. А теперь не знал, что думать. Метрах в пятидесяти от меня стоял дом, слегка прикрытый грушевыми деревьями. Но стрелять могли и с любой другой стороны. Что это? Обознавшийся мститель? Сумасшедший? Перестрелка бандитов? Я не знал, что думать. Я вышел к автобусной стоянке и поехал в город.

Я решил, что в милицию сообщать об этом как-то глупо. Возможно, подсознательный страх перед тем, кто стрелял. Люди, которым я об этом случае рассказывал, только пожимали плечами.

Прошло несколько дней. Мы со студентами, как обычно, работали на табачной плантации. Вдруг ко мне подходит человек высокого роста и очень сильного сложения.

— Слушай,— говорит он мне и, похохатывая, бьет по плечу,— хорошо я тебя напугал! Ты как заяц прыгал на поле! Пойдем выпьем по стаканчику!

И я пошел. Я еще тогда не знал, что это знаменитый бандит Уту Берулава, но от его облика веяло такой невероятной звериной силой, что не подчиниться ему было нельзя. Он был хозяином дома, возле которого располагалась наша плантация.

Жена его, бесшумная как тень, накрыла нам на стол, и мы сели пить. Кстати, вино было очень хорошее и закуска тоже. Я был весь сосредоточен на том, чтобы выглядеть естественным и дружелюбным. Противно, но что поделаешь! Он мне продемонстрировал цветной телевизор, три холодильника и тот самый автомат.

Потом рассказал про какое-то умыкание, в котором принимал участие, и похвастался, что на днях к нему в гости должен заехать некий генерал.

— Кроме птичьего молока, все будет на столе,— сказал он.

Но дело не в этом. Я, слава богу, в тот день унес от него ноги

и больше он меня к себе не звал. А дело в том, что я видел своими глазами, как эта вот юная женщина вышла вместе с ним из его машины и прошла в его дом.

— Не может быть, ты спутал! — закричал я.

— Я никак не мог спутать,— сказал он, машина остановилась возле его дома, и они вышли из нее. Я стоял в десяти шагах. Да они и не скрывались ни от кого. Огромная фигура Уту рядом с миниатюрной девушкой произвела на меня незабываемое впечатление.

— Когда это было,— спросил я,— ты не можешь сказать поточней?

— Три года назад,— сказал он,— май месяц... Точней не помню...

Я ему тогда, конечно, ничего не сказал, а теперь говорю, потому что все позади. Я думаю, отчаявшись дождаться наказания убийце матери и заметив, что она понравилась этому бандиту, Лора обо всем с ним договорилась. Он убил того, кому служил, и получил за это то, что хотел. По-видимому, она обо всем рассказала Марику, и он напился, чтобы не сойти с ума от боли.

Через год они продали дом и переехали в Краснодар, где жила сестра Лоры. С тех пор прошло много лет. Марик с сыном ежегодно в отпуск приезжают к отцу, а Лора никогда. Думаю, что она решила навсегда отрезать этот город от своей жизни. Удалось ли это ей — не знаю. Многое можно сказать по этому поводу, но я одно скажу — я ей не судья.

На этом Виктор Максимович закончил свой рассказ. Машина уже мчалась по Новому Афону.

— Сильная история,— сказал Расим, оборачивая к нам свое горбоносое лицо,—давайте сейчас здесь выпьем кофе, и я вам расскажу о своей встрече с Уту Берулава... А эта девушка в определенных исторических условиях могла бы стать выдающейся личностью... Но напрасно она своему бедному жениху все рассказала... Непедагогично... Можно было скрыть... Есть средства...

Он остановил машину возле веранды открытого ресторана. Мы поднялись наверх, уселись за столик и заказали три кофе.

— Вот как я встретился с ним,— начал Расим,— я поехал в лагерь под Зугдиди, где сидел один наш однофамилец. Мне нужно было серьезно с ним поговорить, пристыдить его за то, что он позорит наш род и спросить его, как он в конце концов думает жить дальше!

Лагеря, собственно, не было. Заключенные жили в бараках и работали на чайной плантации. И вот нас человек пятнадцать, прибывших на свидание. Каждый стоит и разговаривает со своим родственником. Рядом стоит офицер и присматривает за нами. Вдруг я услышал какой-то испуганный шепоток, все замолчали, и заключенные вместе со своими родственниками сбились в кучу.

На месте остались только я со своим однофамильцем и какая-то мингрельская старушка, которая о чем-то горячо упрашивала своего сына-балбеса. Я оглянулся и увидел, что к нам подходит какой-то человек. Внушительного роста, плечистый, с черной бородой до пояса. Потом я узнал, что Уту в заключении всегда отпускал бороду. Одет он был в черную косоворотку, хорошие шерстяные брюки и сапоги.

Он подошел к нам, остановился, взглянул на притихшую, сбившуюся группу, а потом обернулся на старушку, которая, не обращая внимания на Уту, продолжала о чем-то упрашивать своего сына. И, видно, это ему понравилось. Он спросил у старушки, чем она недовольна, и та, возможно, приняв его за какого-то начальника, стала выкладывать ему свои горести.

Вдруг взгляд Уту упал на офицерика, продолжавшего стоять поблизости, и он ему гаркнул по-мингрельски:

— Ты чего тут?

— Я ничего, я ничего,— пробормотал офицерик и попятился к группе, которая раболепно стояла в стороне.

— Не беспокойся, мамаша,— сказал Уту наконец,— я присмотрю за твоим сыном.

С этими словами он легким взмахом ладони дал ее сыну дружеский подзатыльник, так что голова парня откачнулась, как у болванчика. После этого он молча повернулся и ушел... Вот как я видел Уту Берулава...

Расим отпил кофе, на минуту замолк, и вдруг его горбоносое лицо озарилось улыбкой воспоминания.

— Слушайте,— сказал он,— до чего интересно получается! У нас сегодня день поминовения Уту Берулава! Я сейчас вспомнил, что мой Чагу тоже с ним встречался, только очень давно. Провалиться мне на этом месте, если это был не Уту Берулава! Молодец мой Чагу, не осрамил наш род! Но он сам лучше расскажет об этом, вы мне только напомните!

Мы допили кофе, сели в машину и поехали дальше. Часа через два мы въехали в это горное сельцо. Чагу жил на отшибе. Возле выезда из села улица была перекрыта воротами, чтобы скот не мог пройти на поля.

— Вот его сын ждет нас,— кивнул Расим на мальчика лет двенадцати, стоявшего возле ворот. Мальчик открыл их и, пропустив машину, подбежал к нам.

— Я пригоню лошадь,— радостно сказал он, заглядывая в окно. Мы поехали дальше.

— Этот мальчишка — прекрасный наездник,— сказал Расим,— он с девяти лет участвует в районных и республиканских скачках. Дважды брал призы на лошадях своего отца.

Машина остановилась возле усадьбы Чагу. Мы вошли во двор. Это был чистый, зеленый, косогористый двор, обсаженный цветущими благоухающими розами. Двор по абхазской традиции — это как бы главная комната, внутри которой расположены все остальные комнаты. Наши женщины убирают и украшают свой дом, начиная с главной комнаты.

Кстати, сам дом Чагу выглядел весьма ветхим и бедным, но рядом с ним был заложен фундамент более обширного строения с одинокой стеной.

Из дома нам навстречу вышла пожилая женщина, жена Чагу, ее сын, парень лет тридцати, его жена с грудным младенцем на руках и двумя малышами, цеплявшимися за ее юбку. Мы поздоровались с хозяевами, а Расим, кивнув в сторону недостроенного дома, сказал:

— Сколько же вы будете его строить? Он уже лет пять стоит в таком виде.

— С моим сумасшедшим мы его никогда не построим,— крикнула жена Чагу,— мы в колхозе заработали девятнадцать тысяч! Мой сумасшедший поехал в Черкезию и купил две лошади. Расим, дорогой, поговори с ним, пристыди его!

— Хорошо, поговорю,— важно сказал Расим,— а где он сам?

— Он по соседству, сейчас придет,— отвечала хозяйка, кажется, довольная обещанием Расима.

Мальчик пригнал рыжую лошадку и загнал ее во двор.

— А ну покажи фотографии,— сказал ему Расим.

Мальчик вбежал в дом и через некоторое время выскочил из него, неся в руке кучу разноформатных фотографий.

— Я же вам альбом купил, почему ты не вклеил их туда? — спросил Расим.

— Не знаю,— сказал мальчик и смущенно пожал плечами.

Это были изломанные и расплывчатые снимки скачек. Видно, он их часто показывал людям. Изображение толпы и бегущих лошадей. Получение приза верхом на лошади. Наездник, проезжающий мимо трибуны и приветствуемый какими-то начальниками.

Тыкая пальцами, мальчик односложно объяснял:

— Я... здесь... Я...

— Я тобой недоволен,— строго сказал Расим — В каком состоянии у тебя снимки? Я же тебе купил альбом. Почему ты их не вклеил туда?

Мальчик трогательно прижал голову к плечу и с трудом выдавил: «Не знаю...»

Односложность его ответов показалась мне странноватой, и, когда он вошел со снимками в дом, я спросил об этом у Расима.

— Да,— кивнул он, болезненно поморщившись, как бы признавая наличие ущербной царапины в роду,— он однажды неудачно упал с лошади...

Во двор вошел хозяин дома. Это был сухощавый мужчина лет шестидесяти. Маленького роста, жилистый. Одет он был в галифе и черную сатиновую рубашку, перепоясанную кавказским поясом, на котором сбоку болтался в чехле большой пастушеский нож.

Он за руку поздоровался со всеми и, поняв, что Виктор Максимович не абхазец, особенно сердечно с ним поздоровался как с наиболее дальним и потому почетным гостем.

— Долго же вы собирались,— сказал он, взглянув на Расима,— вон уже где солнце... Теперь сами решайте, сначала сядем за стол, а потом объездим лошадь или наоборот?

— Нет, нет,— за всех сказал Расим,— сначала объездим лошадь, а потом спокойно сядем за стол, выпьем, поговорим...

— Вынеси седло,— кивнул отец мальчику. Мальчик побежал на кухню и вынес седло и уздечку.

Чагу осторожно подошел к лошади и надел на нее уздечку. Мальчик поднес седло. Отец так же осторожно, что-то ласково мурлыкая, оседлал лошадь и затянул подпруги. Лошадь вела себя довольно смирно. Дальше произошло неожиданное для меня. Чагу не сел на лошадь, а стал, держась за поводья, гонять ее вокруг себя, нещадно шлепая камчой. Потом он, перехватив поводья у самой лошадиной морды, стал заставлять ее двигаться назад. Лошадь вздрагивала, дергалась в сторону, вздымала морду и долго не могла его понять. В конце концов он ее заставил пятиться, и она, пятясь, прошла по двору до самой изгороди. Чагу снова привел ее на середину двора.

Теперь он совсем коротко перехватил поводья и стал заставлять ее кружиться вокруг себя. Лошадь всхрапывала, упрямилась, но под ударами камчи все быстрее и быстрее кружилась в полуметре от хозяина. И вдруг то ли она слишком круто повернулась, то ли еще что, я не успел заметить, но она опрокинулась на хозяина. Они оба покатились по косогору двора. Мне показалось, что теперь ни лошадь, ни хозяин не сумеют сами встать на ноги. Но они оба вскочили, и лошадник, сделав это на мгновенье раньше, на лету цапнул ее за поводья и не дал уйти.

Теперь лошадь так тяжело дышала, что было слышно на весь двор ее хриплое дыхание. Чагу перекинул поводья через шею лошади и вскочил в седло. Лошадь вела себя спокойно. Чагу промчался несколько раз по двору, резко притормаживая у изгороди.

Потом он, видимо, решив, что сопротивление лошади недостаточно красочно, стал подымать ее на дыбы. Но она, бедняга, долго не понимала его, крутила головой, вспрыгивала в сторону и, наконец, все-таки встала на дыбы. Чагу соскочил с нее, подвел к изгороди и накинул поводья на кол.

— Готова! — крикнул он по-русски и, помахивая камчой, подошел к нам.

Стол накрыли на веранде, и мы уселись. Пока мы пили и ели, я несколько раз оглядывался на привязанную лошадь, и мне показалась странной ее абсолютная неподвижность. Она даже хвостом не шевелила. Я спросил у Чагу, чем это объяснить.

— Обижена, обижена,— сказал он с улыбкой, как о простительном чудачестве еще слишком молодой лошади,— ничего, скоро пройдет.

— Лошадь, как человек! — вдруг вскричал Чагу,— Только не разговаривает. Вот я вам расскажу, что со мной однажды было, а вы переведите нашему гостю.

Он кивнул в сторону Виктора Максимовича.

— Лет пять тому назад,— начал Чагу,— я возвращался со свадьбы в одном селе. Мы пили всю ночь, и я, конечно, был крепко выпивший. Где-то на полпути я заснул, вывалился из седла и упал на землю. Как я потом сообразил по солнцу, я проспал часов семь-восемь. Проснулся я от того, что лошадь меня толкала мордой: «Вставай, пора домой». Вокруг меня метров на десять траву словно косой выкосило. Никуда не ушла. Паслась поблизости, сторожила меня, чтобы какая-нибудь свинья не осквернила или зверь не подошел. И уже когда времени оставалось ровно столько, чтобы хорошим шагом к вечеру дойти домой, она меня разбудила: «Вставай, пора домой!» Я сел на свою лошадь, и как раз, когда мы входили в ворота нашего двора, солнце приводнялось (пересоздаю слабую копию абхазского глагола). Видите, как она уразумела, когда надо меня будить. Вот что такое лошадь!

Я перевел Виктору Максимовичу слова Чагу. Мы посмеялись.

— Слушай,— вспомнил Расим,— что это за бандит когда-то к тебе приходил? Это был Уту Берулава или кто другой?

— Он! Он! — вскричал Чагу.— Говорят, его расстреляли и в газете об этом прописали. Я охотился за этой газетой, но не достал. Достань ее мне!

— Зачем тебе газета,— сказал Расим,— ты лучше расскажи, как это было.

— А какой он с виду был? — спросил я у Чагу.

— Большой,— вскричал Чагу,— в эту дверь не пройдет. А глаза — на беременную взглянет — раньше времени выкинет, такие глаза!

— Оставь его глаза, лучше расскажи, что было,— перебил его Расим.

— Для гостя по-русски расскажу,— сказал Чагу, осмелев от выпивки,— а вы не смейтесь над моим русским.

— Это давно было,— сказал Чагу, обращаясь к Виктору Максимовичу,— моя старший сын, вот этот, в армии была. Значит, десять-одиннадцать лет назад. Ночью кто-то стучит. Открываю. Человек стоит.

— Что надо?

— Кушать хочу.

Я ему дал кушать и оставил ночевать. Сразу понял — скрывается от власти. Может, кровник, может, абрек — не знаю. Я не спрашиваю. Он не говорит. Ага! Вот так живет у меня три дня. Все, что мы кушаем, ему кушать даем, все, что мы пьем, он пьет. Днем он ничего не делает, только пистолета свой чистит. Ночью спит, как мы. На четвертая дня садимся обедать, вот эта моя хозяйка подала, что было. А он мне говорит:

— Чагу, пойди и достань у соседей хорошая вино.

Я чуть с ума не сошел! Я крестьянин, у меня простая крестьянская вино. Чем виновата моя вино?! Живет мой дом и посереди моего дома сирет на мой хлеб-соль!

— Моя вино плохая? — говорю.

— Плохая,— говорит.

— Моя отца,— говорю,— у твоего отца тоже батраком работала? Землю пахал, вино приносил, дрова рубил?

— Много не разговаривай, иди,— говорит,— а то узнаешь, кто такой Уту Берулава!

Если человек, как скотина, сирет на твой хлеб-соль в твоем доме, или убей его или убей себя! Зачем жигь! Ага, думаю, сейчас я тебе покажу плохая вино. У меня в другой комнате висела хорошая двустволка с медвежьим жакан. Сейчас тоже там висит!

— Хорошо,— говорю,— сейчас принесу.

Он, как зверь, что-то догадал.

— Зачем туда идешь? —На двор показывает.— Туда иди!

— Деньгъ,— говорю,— надо взять. Кувшин вина бесплатно никто не даст.

— Хорошо,— говорит,— бери.

Ага! Я иду другой комната, снимаю ружье и выхожу. Слово не мог сказать! Смерть любая человек боиться!

Я мать его не оставил! Отца его не оставил! Деда не оставил! Никого не забыл!

— Вставай, выходи,— говорю,— свинья в свинарнике надо убивать!

Он встает. Жена кричит: «Не убивай, тебя посадят!» — но я убить не хочу, так пугаю. Хочу сдать его государству в райцентр.

Вышли. Теперь как? До райцентра двадцать километров. Лошадь моя во дворе. Тигра, никого, кроме меня, к себе не допускает. Как оседлать?

Я говорю жене:

— Держи ружье! Рука, нога, голова — чем бы ни двигала — вот это нажимай! Пусть, как мертвая, стоит!

Жена моя кричит, не хочет брать ружье. Заставил! Взяла! Он стоит пять-шесть шагов.

— Чем бы ни двигала — сразу стреляй! — говорю.

Я быстро поймал лошадь, оседлал ее, вынул его пистолета из-под подушки, положил карман, сел на свою лошадь и, как скотину, погнал его впереди себя.

По дороге он просил меня отпустить. Деньгъ обещал. Большие деньгъ! Но я его не слушала. Я его (тут Чагу, не найдя соответствующего русского слова, по-абхазски добавил) искамчил! Всего искамчил! Даже рука устала!

Чагу снова перешел на русский.

— И он уже меня ничего не просит. И я успокоил душа. И тут мы проходили, где мелкая ольха растет. Много-много мелкая ольха. И он прыгнул в это мелкая ольха. Я выстрелил — не попал! Лошадь пустил, но лошадь быстро не может. Ветка мешай! Мелкая ольха мешай! Убежал! Я повернул лошадь. Сдал пистолета в сельсовет. И сказал. Три дня жила — не сказал. Сказал — в этот день пришла. Я боялся, что он ночь придет и наш дом пожар сделает. Я достал хороший собака. Но он не пришла. А сейчас все! Сейчас власть его стрелял!

— Лучше бы он сжег наш дом,— неожиданно по-абхазски вставила хозяйка, до этого молча и внимательно слушавшая своего мужа,— тогда уж ты построил бы новый...

Тут наш Расим стал серьезно увещевать старого Чагу, указывая ему на то, что любовь к лошадям — это, конечно, дело хорошее, и он призами на скачках прославляет свой род, но все-таки и дом наконец пора построить. Вон и семья разрослась.

— Успеем, успеем,— сказал Чагу и, с ходу зажигаясь, добавил: — слава богу, над головой не течет! А ты что в лошадях понимаешь? Охромевшую лошадь бросил в лесу! Все равно, что этого несмышленыша в чащобе оставить!

Он ткнул рукой на одного из своих внуков, вместе с братцем стоявшего, прижавшись к материнской юбке. Малыш встрепенулся и еще теснее прижался к матери.

Мы поблагодарили хозяйку за угощение, спустились во двор и прошли к машине. Объезженная лошадь все так же неподвижно с опущенным хвостом стояла на привязи.

— Приезжайте на осенние скачки,— крикнул Чагу напоследок, когда мы уже были в машине,— черкесскую пущу!

Мы поехали по узкой каменистой дороге. Младший сын Чагу, возможно, изображая лошадь, мчался за машиной до самых ворот. Добежав, он открыл их нам, помахал рукой, и мы поехали дальше.

— Единственно, в чем был прав Уту Берулава,— неожиданно без всякого юмора заметил Расим,— это то, что у Чагу вино плоховатое. И оно всегда у него было такое!

Расим был прав. Но Чагу — явно настоящий лошадник, а истинная страсть не терпит соперниц.

Вечер в саду

Однажды из Москвы приехал мой знакомый журналист и сказал, что у него от редакции задание увидеться с Виктором Максимовичем и написать о нем. Я удивился, что об его опытах знают в редакции, и обрадовался за него.

Журналист этот был известен достаточно острыми и горькими статьями по вопросам нашего сельского хозяйства.

Полгода назад его послали на несколько месяцев в Америку, отчасти, как я думаю, чтобы вознаградить за ненапечатанные статьи, отчасти для того, чтобы он поделился с нашим читателем опытом ведения фермерского хозяйства, хотя бы в тех пределах, в каких этот опыт не мешает идеологии.

— Как съездил? — спросил я у него.

— Чудесно,— бодро кивнул он,— пишу книгу.

— А если одним словом сказать, что главное?

— Одним словом ничего не скажешь,— ответил он,— разве что придется повторить слова одного славного фермера.

— А что он сказал?

— Он посмотрел, посмотрел, как мы топчемся на его полях, и сказал: «Вот вернетесь вы к богу, и у вас будет хлеб».

Я призадумался над такой своеобразной рекомендацией ведения сельского хозяйства, и мы тут же договорились поехать к Виктору Максимовичу.

Мы зашли в гастроном, купили две бутылки коньяка, дрянную колбасу, ибо другой не было, и сыр. Взяли такси и поехали в поселок, где жил Виктор Максимович.

Я не совсем точно знал, где расположен его дом, но надеялся сориентироваться. Расплатившись с таксистом, мы свернули с шоссе, прошли по узкой дорожке между двумя приусадебными участками,

вышли к железной дороге, прошли под мостом, свернули вправо и, похрустывая пляжной галькой, зашагали вдоль моря.

Был теплый день конца сентября. Солнце клонилось к закату, и оттуда почти до самого берега вода была покрыта трепещущим золотом. Пляж был почти пуст, море едва вздыхало, в воздухе стоял легкий запах водорослей.

Именно отсюда, со стороны моря, где я тогда рыбачил с товарищами, мне когда-то показали домик Виктора Максимовича, и я теперь надеялся вспомнить его месторасположение.

Приусадебные участки в этих местах метра на два возвышаются над пляжем и кое-где в зависимости от доходов хозяев прикрыты от моря деревянной или бетонной дамбой.

Неизвестно, как скоро я узнал бы его участок, если б внезапно не увидел торчащее из зелени виноградной беседки крыло махолета.

Одновременно с крылом махолета я увидел на пляже прямо под участком Виктора Максимовича сидящего на песке милиционера. Он оказался моим знакомым абхазцем. Увидеть его здесь, на пустынном пляже, было так же странно, как увидеть крыло махолета, торчащее из виноградной беседки. Я почувствовал родство этих двух странностей. И так как одна из этих странностей объяснялась Виктором Максимовичем, естественно было предположить, что и вторая странность объясняется им же.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я по-абхазски, здороваясь с милиционером.

— Сторожу,— ответил он мне, смущаясь и от смущения склоняя набок голову. Мне показалось, что смущение его усилено тем, что он говорит со мной по-абхазски. По-видимому, он считал, что некоторая нелепость его занятия на языке закона выглядела бы менее нелепой.

— Что сторожишь? — спросил я, хотя уже понял, что он сторожит.

— Аэроплан его сторожу,— кивнул он наверх.

— А зачем его надо сторожить? — спросил я.

— Они боятся,— ответил он,— чтобы на нем кто-нибудь не улетел в Турцию.

— Если они этого так боятся,— сказал я,— они могли бы запретить ему этим заниматься.

— Запретить нельзя,— важно сказал милиционер.

— Почему?

— Потому что они хотят посмотреть,— оживился он, как бы приобщая меня к хитроумному замыслу,— получится у него что-нибудь или нет. Потому следить следим, а мешать не мешаем.

— Ах, вот как,— сказал я и, кивнув ему на прощанье, направился вместе с журналистом к деревянной лесенке, подымающейся от пляжа на участок.

— Что он тебе говорил? — спросил журналист, когда мы прошли в калитку, и я закрыл ее на щеколду.

Я ему передал нашу беседу, и мы оба рассмеялись. Тропинка к дому проходила между корявыми мандариновыми кустами. Справа от тропинки стоял сарай, возле которого рос большой пекан, североамериканский родственник нашего грецкого ореха. Слева за мандариновыми кустами начинался сад, где росли груши, инжир и гранатовое дерево, усеянное пунцовыми плодами.

Мы подошли к дому, где возле виноградной беседки стоял махолет, как бы молча проповедуя тесноте заросшего сада идею распахнутого пространства. Сад безмолвствовал.

Рядом за большим столом, врытым в землю, сидели трое: девушка в голубом сарафане со светящимся узким марсианским лицом, какой-то юноша и Виктор Максимович.

Юноша и хозяин дома, низко склонившись к ватманскому листу, заполненному чертежами и формулами, что-то обсуждали. Девушка подняла нам навстречу свое светящееся и как бы исключительно в интересах воздухоплавания суженное лицо. Она улыбнулась нам. Двое остальных нас так и не заметили.

— Виктор Максимович,— сказал я, выкладывая на стол нашу небогатую снедь,— оказывается, за вами хвост.

Мы поздоровались.

— А-а-а! — махнул Виктор Максимович голой мускулистой рукой, рукава штормовки у него были закатаны.— Слава богу, я давно привык.

Мы познакомились с его гостями. Девушка, с улыбкой протягивая длинную тонкую руку, как бы сказала: можете немножко подержаться за мою руку, вам это будет приятно.

— Запомните его имя,— кивнул Виктор Максимович на юношу,— будущее светило математики. Он нашел новый случай сохранения двух солитонов после взаимодействия.

Для меня это был язык ирокезов.

— Виктор Максимович,— спросил я,— откуда вы знаете высшую математику?

— Это,— сказал он, усаживая нас за стол,— интересная история. В лагере у меня был учебник высшей математики Лоренца. Каждый день после работы я заваливался спать и спал до отбоя, когда барак затихал. Тут я вставал, брал учебник и шел к параше, потому что это было единственное место, где ночью горел свет и можно было читать. Но чтобы не зачитаться до утра и доспать положенное время, иначе не сохранишь силы для работы, я придумал себе часы. Водяные часы, клепсидра с поправкой на лагерные условия. Лагерники спят беспокойно, кричат во сне, часто встают мочиться. Я приспособился определять время по степени наполнения параши мочой.

Юноша, внимательно выслушав рассказ Виктора Максимовича и дождавшись его конца, почему-то передвинул бутылки с коньяком с края стола на его середину, как на более надежное место.

— Где вы учитесь? — спросил я у него. Если б не слова Виктора Максимовича о его математическом открытии, было бы естественней спросить, в каком он классе, до того он молодо выглядел.

— Я аспирант Московского университета,— сказал он и посмотрел на девушку.

— Это вы его так омолодили? — спросил я у нее.

— Да! — воскликнула она и затряслась от сдавленного хохота.— Все так находят! Он у нас преподает! Однажды нас встретила знакомая мне девушка и спросила: «Это твой младший брат?» Я так и вырубилась от смеха!

Ее худенькое, почти безгрудое тело под голубым сарафаном сейчас сотрясалось от хохота, одновременно как бы отсылая любоваться обаянием одухотворенности ее неправильного лица.

— Людочка, посуетись! — кивнул аспирант на стол и вдруг плотоядно потер ладони, явно предвкушая выпивку, и теперь стало легче представить его истинный возраст.

— Я сейчас,— сказала девушка и, взяв двумя пальцами развевающийся ватманский лист, унесла его в дом. Через некоторое время она вышла оттуда с тарелками, вилками, рюмками. Поставив все это на стол, она опять исчезла в проеме дверей и появилась, держа в одной руке тарелку с помидорами, а в другой — хлебницу с длинной лепешкой лаваша.

— Я вам фруктов нарву,— сказал Виктор Максимович и, подхватив плетеную корзину, стоявшую в беседке, быстро удалился в глубину сада.

Девушка пошла мыть помидоры под краном. Взаимокасание струи воды и двух голых девичьих рук располагало к созерцанию в духе японцев.

Однако наше молчаливое созерцание прервал некий толстый небритый человек в мятой рубашке навыпуск, появившийся, как и мы, со стороны моря. В руке он держал приемник «Спидола». Кстати, все прибрежные участки этого поселка имеют по два входа: один со стороны моря, а другой со стороны железной дороги и шоссе.

— Здравствуйте,— сказал человек, подойдя к столу и удивленно оглядывая нас,— а где Виктор Максимович?

— Фрукты собирает,— ответил аспирант,— позвать?

— Не надо, я подожду,— ответил толстяк и уселся на скамью. Он некоторое время так сидел, как кошку, держа на коленях приемник и надув губы, что-то беззвучно насвистывал, скорее всего изображая непринужденность. По-видимому, он здесь не ожидал чужих людей и теперь считал, что его затрапезный вид создает неправильное представление о его духовной сущности. Чувствовалось, что ему не терпится исправить эту ошибку.

— Извините,— вдруг сказал он, перестав беззвучно свистеть и оглядывая нас,— ви кто будете?

— Мы друзья Виктора Максимовича,— сказал я.

— Аха, друзья,— согласился толстяк и, дав себе время осознать этот факт, добавил, кивнув на махолет: — что-нибудь из него вийдит? Только правду — как мужчины мужчине!

— Уже вышло,— сказал аспирант,— он несколько раз взлетал.

— Взлетал, что такое! — взмахнул толстяк одной рукой, другой продолжая придерживать на коленях приемник.— Отсюда хотя бы до Очемчири может пролететь?!

Девушка, стоявшая у стола и нарезавшая помидоры, замерла и тревожно посмотрела на толстяка, видимо, стараясь представить, как далеко отсюда находится Очемчири.

— Пока нет, но обязательно пролетит,— сказал аспирант.

Девушка благодарно посмотрела на него и взялась за помидоры.

— Двенадцатый номер видите? — сказал толстяк, туго оборачиваясь к махолету и показывая на цифру.

Мы взглянули на цифру, а потом на толстяка.

— Двенадцать «Жигулей» он мог купить на деньги, которые всю жизнь тратил на свои аэропланы! — воскликнул толстяк.— Чтобы я своими руками свою маму похоронил, если неправда!

Мы промолчали.

— Ви не думайте,— через некоторое время поуспокоившись, добавил он,— я его, как брата, уважаю... Двадцать лет соседи... А там, внизу, кто стоит, знаете?

Он кивнул в сторону моря, явно думая, что мы вошли в калитку со стороны железной дороги.

— Видели,— сказал я.

— Э-э-э,— закачал головой толстяк и добавил: — Политика...

Возможно, он еще что-то хотел сказать, но тут из сада с корзиной в руке вынырнул Виктор Максимович.

— Привет, Виктор! — сказал толстяк.

— Здравствуй, Зураб! — ответил Виктор Максимович и поставил корзину на стол.

— Звук барахлит,— сказал толстяк, приподымая «Спидолу»,— вот эти прибалты совсем халтурчики стали. Хуже наших.

— Оставь, посмотрю,— сказал Виктор Максимович не глядя и добавил, отбирая у девушки лаваш, который она взялась нарезать,— лаваш не режут, а рвут.

В саду уже было сумеречно, хотя сквозь виноградные листья еще был виден догорающий над морем закат.

Виктор Максимович стал быстро рвать лаваш, раздергивая его, как гармошку.

— Пока, Виктор! — сказал толстяк и поднялся.

— Оставайся, выпьем по рюмке,— предложил Виктор Максимович, расправившись с лавашем.

— Ради бога,— сказал толстяк, останавливаясь и беспомощно приподымая руки,— гости ждут дома!

— Ладно,— сказал Виктор Максимович,— завтра к вечеру заходи!

Толстяк исчез в уже сгущающихся сумерках.

— Людочка, свет! — сказал Виктор Максимович, вынимая из корзины инжир и груши.

Мы расселись за столом и приступили к еде и выпивке. Мне не понравилось, как аспирант выпил две первые рюмки. Та особая, как ее ни скрывай, хищность, с которой он отсосал их, подсказывала, что огонек там, внутри него, уже горит и требует топлива. Впрочем, может, это мне и показалось.

Кто-то завозился у калитки, обращенной в сторону железной дороги.

— Кого это еще несет,— проговорил Виктор Максимович, вглядываясь в темноту.

Из тьмы появилась какая-то фигура и, осторожно войдя в полосу света, оказалась пожилой женщиной в коричневом платье.

— Извините,— сказала она, подходя к столу,— Виктор Максимович, я за мясорубкой.

Виктор Максимович встал, небрежно сунул в карман протянутые ему деньги и вошел в дом.

Женщина отвернулась от стола и, подперев подбородок ладонью, с такой комической скорбью уставилась на махолет, что я не выдержал и спросил:

— Вам он не нравится?

Женщина обернулась к нам и, улыбаясь милой, виноватой улыбкой, призналась с горестной откровенностью:

— Семьи нет... Если б хоть семья была... Он еще не старый, интересный мужчина, скажите — пусть женится... Деточки будут бегать здесь...

Продолжая улыбаться виноватой улыбкой, она смотрела на нас, словно ожидая нашей поддержки.

Кстати, Виктор Максимович в самом деле выглядел гораздо моложе своих шестидесяти лет. Больше пятидесяти ему никак нельзя было дать. Некоторые считали это результатом его кефирной диеты. Однажды, когда разговор зашел на эту тему, он, улыбаясь, сказал:

— Все обстоит очень просто. Мужчину старят женщины и политика. В молодости, когда я был влюблен и увлекался политикой, я выглядел гораздо старше своих лет.

Из дому вышел Виктор Максимович с мясорубкой в руке.

— Ну, как твоя новая курортница? — передавая мясорубку, спросил он у женщины, словно угадав, о чем она здесь говорила, и насмешливо снижая тему.

— Ах, Виктор Максимович, не говорите,— пожаловалась она,— сколько раз я ее предупреждала: «Не лежи так долго на солнце!» Не послушалась, и теперь у нее вся спина сгорела.

— Понятно,— сказал Виктор Максимович усаживаясь и, обращаясь к нам, добавил: — Когда на юг приезжает интеллигентная женщина, она на третий день идет с ворохом писем по улице и спрашивает, где почта. А когда приезжает неинтеллигентная женщина, она на

третий день ковыляет по улице и спрашивает, где бы купить простоквашу, чтобы обмазать обгоревшее тело. И таких множество.

Мы посмеялись наблюдению Виктора Максимовича, которое, может быть, отдаленным образом давало ответ на горестное недоумение женщины по поводу его одиночества. И женщина, как бы отчасти это поняв и смирившись, скорее всего временно, скрылась в темноте, держа в руках починенный Виктором Максимовичем маленький символ домашнего очага.

Виктор Максимович стал подробно объяснять журналисту, почему он винтовому аппарату предпочел махолет, а потом постепенно разошелся и выложил свое жизненное кредо.

— Человек должен взлететь сам, без мотора,— сказал он,— вся трагедия мировой истории в том, что человек, пытаясь удовлетворить свою самую коренную жажду, жажду свободы, все больше и больше закабаляется. Тысячелетия человеческой истории превратили его психологию в Авгиевы конюшни. Только взлетев, он промоет свою душу и поймет истинную цену земной жизни — идеям, вещам, людям...

Внезапно он прервался, оглядел нас своим кротким и неукротимым взглядом, потом налил полстакана коньяка, поставил его в тарелку, набросал туда несколько кружков колбасы, ломоть лаваша и сказал:

— Людочка, отнеси моему стражу. От тебя ему приятней будет получить угощение... Фонарь лежит на кухонном столе.

Девушка принесла фонарь, зажгла его, взяла в руки тарелку и скрылась в темноте, как светлячок, сама себе освещая дорогу.

— Человек должен взлететь, иначе все мы погибнем, а вместе с нами и вся мировая культура,— продолжал Виктор Максимович, разлив коньяк по рюмкам и кивнув на свой махолет, который, казалось, прислушивается к нему,— это двенадцатый аппарат, который я сконструировал за свою жизнь. Шесть из них вдребезги разбились. Два — на земле, а четыре начали разваливаться в воздухе. Кто хотя бы на минуту испытал свободное парение в небе, тот не может не возвратиться на землю обновленным человеком. Он поймет, что это возможно, и будет бесконечно искать во всех формах земной жизни повторения этого счастья распахнутого полета. Он будет искать и добиваться его в книгах, в любви, в дружбе, в работе, во всем! Он приучится чувствовать проявление малейшей пошлости и подлости как омерзительное выражение антиполета, антипарения, как предательство своего собственного испытанного в полете счастья. Человечество ждет великое самовоспитание через полет и парение. Разумеется, это произойдет не в один день. Но когда появятся надежные варианты аппарата и наладится их промышленное производство, они будут ненамного дороже хорошего зонтика.

Сегодня нас, изобретателей подобных аппаратов, никто не поддерживает — ни спортивные организации, ни конструкторские бюро, ни министерства. Но мы должны доказать и докажем свою правоту.

— А много вас? — спросил я и, не вполне уверенный в уместности своего желания, потянулся за грушей.

— Я переписываюсь с двумя,— сказал Виктор Максимович,— один живет в Армавире, другой — в Полтаве. Но, наверное, есть еще.

— Да, есть,— подтвердил журналист,— к нам поступают сведения об этом. Но пока их мало.

Внезапно деревья сада и беседка озарились голубоватым, мертвенным светом и махолет побелел в этом свете, словно оголился. Это далекий пограничный прожектор на несколько мгновений просочился в сад, безмолвно вгляделся в него и унесся дальше шарить по берегу.

— С каждым годом их будет все больше,— сказал Виктор Максимович,— это неизбежно. Человек должен взлететь, и он взлетит. Никакая диктатура не сможет управлять летающими людьми, потому что у летающего человека будет совсем другая психология.

— А разве ваш милиционер не сможет пристрелить летающего человека? — спросил журналист.

Из темноты пришла девушка и поставила на стол тарелку и стакан.

— Нет, не сможет,—без всякой улыбки сказал Виктор Максимович,— потому что он сам тогда будет летающим человеком.

— Ну, как он там? — спросил аспирант у своей девушки.

— Выпил за мое здоровье,— сказала она, просияв, — может, позвать его сюда?

— Это лишнее,— заметил Виктор Максимович,— пусть стоит там, где его поставили.

— Неужели они не знают, что без разгона вы отсюда взлететь не можете? — спросил аспирант.

— Конечно, знают,— сказал Виктор Максимович,— но это и есть безумие нашей жизни. Человек ежедневно совершает тысячи подобных глупостей, и мы все им подчиняемся. Но как только человек взлетит, бессмысленность этих глупостей всем станет очевидной.

— А что, в плохую погоду они тоже дежурят? — спросил я и, встав со стула, потянулся к винограду, свисавшему с края беседки.

— В плохую погоду я их пускаю в сарай,— сказал Виктор Максимович и, проследив за моими действиями, добавил: — с южной стороны зрелей.

Я сорвал несколько кистей винограда, одну из них протянул девушке, а остальные положил на стол.

— А как давно они дежурят? — спросил аспирант.

Он взял со стола гроздь винограда, словно неосознанно обращая обе кисти, и ту, которую он взял, и ту, которую держала его девушка, в наглядный символ их парности. Но в отличие от своей девушки, которая уже отщипывала ягоды, он только жадно внюхался в гроздь, как бы не решаясь разрушить символ.

— Лет двадцать,— ответил ему Виктор Максимович подумав,— с перерывами. После двадцать второго съезда отменили дежурство. Но после чешских событий снова стали дежурить.

С некоторым мистическим трепетом я ощутил всепроникающую неотвратимость идеологических щупальцев. Огромный и как бы неуклюжий аппарат идеологии где-то в Москве делает поворот, и в зависимости от него в непомерной дали, здесь, в поселке под Мухусом, возле участка Виктора Максимовича, появляется или исчезает милиционер.

И снова фантастическим, синим, дрожащим на листьях светом озарился сад. И опять несколько мгновений белел в этом свете словно оголившийся махолет. Потом свеченье погасло, истекло, и луч прожектора унесся дальше высвечивать берег.

Девушка поежилась и, войдя в дом, вышла оттуда с шерстяной кофточкой, накинутой на плечи. Мы выпили по последней рюмке и стали собираться.

— Сейчас дам одеяло моему охломону и провожу вас,— сказал Виктор Максимович и вошел в дом. Через минуту он вышел с одеялом в руках, пошел в сторону берега и потонул в темноте. Видимо, он остановился над краем участка, потому что раздался его голос:

— Где ты там? Держи!

Мы попрощались с аспирантом и его девушкой. Виктор Максимович взял со стола фонарь, и мы, сделав несколько шагов, окунулись

в вязкую черноту южной ночи. Виктор Максимович шел сзади, бросая нам под ноги жидкую полоску света. Мы перешли железную дорогу, прошли тропинкой, то и дело теснимой зарослями разросшейся ежевики, и вышли на шоссе к автобусной остановке.

— Если материал пройдет, пришлите газету,— сказал Виктор Максимович журналисту и пожал нам обоим руки бодрящим рукопожатием, словно пытаясь влить в нас часть своей неукротимой веры. Мне подумалось — только мечту и ловить такой сильной и цепкой ладонью. Он ушел в черноту ночи, не зажигая фонаря, потому что хорошо знал дорогу.

Последнее

В ту зиму Виктор Максимович как обычно, разобрав и сложив свой махолет, уехал вместе с ним в Москву. В начале марта я пил кофе в верхнем ярусе ресторана «Амра». День уже был по-весеннему теплый. Чайки с криками носились возле пристани-кофейни, на лету подхватывая куски хлеба, которые им подбрасывали люди, стоя у поручней ограды.

К столику, стоявшему рядом с моим, подошел толстый человек с брюзгливым выражением лица. Я сразу же узнал в нем того соседа, который приходил к Виктору Максимовичу со «Спидолой».

— Скажите,— обратился я к нему, когда он, хлебнув кофе, рассеянно взглянул в мою сторону,— Виктор Максимович приехал?

Толстяк внимательно посмотрел на меня, и лицо его сделалось еще более брюзгливым и сумрачным. Он явно меня не узнал.

— А кто ви ему будете? — спросил он настороженно. Его настороженный голос вызвал во мне смутное, неприятное чувство.

— Я его друг,— сказал я,— однажды, когда мы сидели у него в гостях, вы к нему заходили со «Спидолой»...

По мере того как я говорил, лицо его мрачнело и мрачнело, и я все сильнее и сильнее чувствовал приход непоправимого и фальшь своего многословия. Господи, при чем тут «Спидола»!

— Виктор Максимович умер,— сказал толстяк, и лицо его горестно перекосилось.

— Как?! — вырвалось у меня.

— Да,— кивнул он и, отхлебнув кофе, добавил: — разбился в Москве...

Он замолчал, и сразу же вонзилось в слух скрежещущее визжание чаек, мельтешащих в воздухе, подхватывающих корм на лету и на лету вырывающих его друг у друга.

— Ми, соседи,— продолжал он снова, отхлебнув кофе,— устроили ему сорок дней... Недавно из Мичуринска приехал его родственник... Прилетел, как ворона... Сейчас живет в его доме... Из Мичуринска... Я раньше даже город такой не слыхал...

Странно, подумал я, Виктор Максимович никогда ни об одном живом родственнике мне не рассказывал. Визг чаек и возгласы людей, бросающих им хлеб, сделались невыносимыми. Я повернулся и пошел домой. Не знаю, то ли жизнь меня иссушила, то ли еще что, но я не в силах был осознать потерю. Только почему-то все время бессмысленно и тупо в голове вертелись строчки:

Не выбегут борзые с первым снегом
Лизать наследнику и руки и лицо.

* * *

На следующий год в Москве мы встретились с моим знакомым журналистом и выпили за упокой души Виктора Максимовича. Кстати, книга его об американском фермерском ведении хозяйства так и не появилась в печати, ее отвергли все издательства. Однако он не унывает и полон творческих планов. О судьбе аспиранта и его девушки мне ничего не известно, и поэтому хочется думать, что по крайней мере у них там все хорошо.

Прошло с тех пор пять лет. И вот здесь, на альпийских лугах, в пастушеском шалаше, радио приносит весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел Ла-Манш на махолете, работающем при помощи мускульной силы ног пилота. Он был не один, Бриан Аллен. Морем на катере его полет сопровождали друзья во главе с конструктором Полем Мак-Криди, который плакал от счастья, когда его аппарат достиг берегов Франции.

Весть эта и всколыхнула мои воспоминания о Викторе Максимовиче. Я сижу над глубоким провалом, вечно рождающим сладостную тоску по крыльям, сижу рядом с альпийскими лугами, многоцветными вблизи и нежно золотящимися на дальних холмах от обилия цветущих примул.

Далеко впереди громоздятся цепи горных хребтов, словно с размаху окаменевших в ожесточенных попытках героическими рывками дотянуться до бездонного неба.

А на той стороне, за обрывом зеленеет пихтовый лес, сквозь который желтеет ниточка дороги от Рицы на Псху, куда когда-то летал Виктор Максимович...

Я сижу один над обрывом и глажу добрейшую собаку по кличке Дунай с невероятно забавными в своей ложной свирепости желтыми мужичьими глазами. Серый коршун с растопыренными, шевелящимися кончиками крыльев пролетел над гребнем горы, на которой я сижу. Поравнявшись со мной, он лениво откачнулся вверх, словно оплыл меня в воздухе, как чужеродный предмет.

1979 г.

Инна Лиснянская

ЛИРИКА

●

Я сбилась с музыки — и все искажено,
Как в зеркале кривом:
Семейство зонтичных, и в облаке окно,
И даже солнце в нем.

Опушка милая мне больше не мила,
Хоть мятлик розоват,
Я сбилась с музыки, такие, брат, дела,
А впрочем — ты не брат,

А кто — и вымолвить я не осмелюсь вслух,
Хоть рот полуоткрыт.
Я сбилась с музыки. — И только... Волчий пух
С татарника летит.

1984

●

Тот — не по сéрдцу, тот не по уму,
В забвенье этот канул, как во тьму,
Лишь поняла, что верила жестоко.
Впервые — никого, и потому
Впервые в жизни я не одинока.

Брожу по дну, похожему на сад,
Из водорослей я вяжу наряд,
И свод волнистый подпирают плечи,
На них тычинки в лилиях горят,
Как в кружках на столе горели свечи.

О чем молиться бабушка могла,
Зачем крестилась, глядя в зеркала,
Как будто там бесовка отражалась?
В сырую землю бабушка ушла,
А я навек с землею распрощалась.

В воде просторней, чем в земле родной, —
Две лилии мерцают над волной,
И мне легко их подпирать плечами
И весело существовать одной
Подводными зеркальными ночами.

1974

●

Этот город — арестантская одевка,
Полосатый и застиранный мешок,
В нем давно себя не чувствую неловко,
Ничего не замышляю поперек,

Ни к чему мне и свирепая усталость
И воинственная русская вина...
Что с того, что я надолго задержалась?
Что с того, что эта улица темна?

Провод голый ухватить рукою голой —
Неужели вспыхнет света полоса?
Я понизила, а ты повысил голос,
Я зажмурилась, а ты открыл глаза.

Ангел мой, полуседой и бесноватый,
Ты зовешь меня из мрака моего
В тот просвет, куда уходят все закаты
И откуда не приходит ничего.

Фосфорическая кошка ест из блюдца,
Единица придвигается к нулю...
Мне бы вздрогнуть, мне бы вскрикнуть и очнуться,
И проснуться — но давным-давно не сплю.

1978

●

Василию Аксёнову

Живу, оплакивая сверстников моих,
Улыбку для прощанья отработав,
А время движется, слагаясь из дурных
Деепричастных оборотов,

Словесность русскую ссылая на Восток
Или на Запад выдворяя,
Плюя в Грядущее, как дурень в потолок,
И Прошлое испепеляя.

И воздух делится в Москве на ост и вест,
И слезы лью, уже не зная,
Где лист березовый, где ордер на арест,
Где лист, где виза выездная.

Все тонет в лиственном потопе октября,
На два потока разрываясь.
Неужто буду провожать я и тебя,
Окаменело улыбаясь?

1980

●

Р. Орловой и Л. Копелеву

Проводы, проводы в доме, где книжные полки
Нам для застолья оставили тесный квадрат.
Русские люди, а значит — и водка, и толки...
Люди прощаются, русские книги молчат.

Люди прощаются — родственники и собратья.
Время, придвинься и с нами стакан осуши!
Это прощанье — как будто из жизни изъятье,
Это — под вирши и водку скоблежка души!

Что-то и я бормочу, и поет Окуджава,
И соловьиная Белла звенит о зиме, —
Трель замерзает... Какое имею я право
Думать о том, что не встретимся мы на земле?

С лесоповальных времен да не нам ли известно:
Корни удержит душа, как ее ни скобли!
До самолета семь дней, но воздушная бездна —
Это еще, слава Богу, не бездна земли.

Мы еще встретимся, встретимся... От повторенья
Трель примерзает цветком ледовитым к стеклу.
Водка сладка, как рябина и ложь во спасенье.
Книги молчат и вплотную подходят к столу.

1980

●

Ближе к смерти все реже мы к морю подходим —
Нету ветра и сморщился парус.
Ближе к смерти мы в памяти радость находим,
Но все больше у памяти пауз.

Помнишь, как ты меня под волною высокой
Обнимал, не пуская на сушу?..
Бедный мой, я тебе от красы разноокой
Только душу оставила, душу.

1980

●

Помню, пеняли мне дождики летние,
Что не косила травы для Пегаса.
Эх, закурить бы, да спичка последняя,
Молния вспыхнула — спичка погасла.

Лето листвою зеленою прядает,
Дождь разбивает о землю копытца,
Падает дождь, да и жизнь моя падает,
Чтобы однажды, как дождь, испариться.

Песни мои — я была не запаслива —
Перевелись, как друзья или спички,
Если храбрюсь — озираюсь опасливо,
Если молюсь — то молюсь по привычке.

1981

●

Янтарной листвой и жемчужным дождем
Мерцает усталая роща,
Сочувствия роща не ищет ни в ком,
И это для старости проще.

Я тоже надела янтарную нить,
Жемчужины в уши продела,
Ветра будут сечь иль судьба станет бить,
Прохожие, что вам за дело?!

Мы как-нибудь справимся с болью своей, —
Старухи нередко похожи.
Бей, ветер, ее, и, судьба, меня бей! —
Одна из нас выживет все же.

1981

●

И в дому тревожен дух мой нищий
И тревожен в толпах городских.
Мне спокойно только на кладбище
Средь могил знакомых и чужих.

Пахнет лаком новая ограда,
Старая — в объятиях плюща.
Только здесь я думаю, что надо
Дерзко жить и гибнуть не ропща.

Только здесь я понимаю птаху —
Вот она отчетливо поет,
Не спеша рассказывает праху,
Где и как душа его живет.

1982

●

В эфире — глушилка, в квартире — бедлам.
К чему нам усталость делить пополам?

Не слишком ли поздно пришел ты ко мне? —
Полмира обуглилось в черном окне.

И только глушилка, как сердце мое,
Еще заглушает себя самое.

К чему нам известья из тьмы мировой?
Транзистор разбей, а гитару настрой,

Гитару настрой и по струнам ударь
Да так, чтобы числа забыл календарь.

1982

●

День пылает над рощей редеющей,
Все живое к реке накреня,
А в груди моей угль холодеющий,
Обжигающий только меня.

Мне ль перечить пространству огромному,
Не познавшему душу свою?
Мне ль чужой быть скоту подъяремному,
В чьем сословье и я состою?

Много ль надо мне? Хлеба обдирного
Да воды, и забыть, что вода
Мне остатком потопа всемирного
Почему-то казалась всегда.

Много ль надо? Но знаю заранее,
Что сама я пойду на убой,
Что сама я пойду на заклание
Водопойной наклонной тропой.

1983

Криста Вольф

ОБРАЗЫ ДЕТСТВА

РОМАН

15. ЗАМУТНЕННАЯ ПРАВДА. СЛОВА ЛАГЕРНИКА

Что мы делаем с запечатлевшимся в нашей памяти? Это не вопрос, а восклицание, даже крик о помощи. Кстати, то, для чего нам требуется помощь, отличает нас друг от друга больше, чем что-либо иное.

Несколько дней назад — ты читала в одном из швейцарских городов 11-ю главу — к тебе подошел некий мужчина, немец: Я хотел только сказать, что мы с вами — люди одного поколения и что мне до сих пор не удалось побороть в себе чувство вины. Он никак не мог попасть в рукав пальто, он с трудом владел собой — сильный человек, не какой-нибудь там рохля,— а его молодая спутница, иностранка, глядела на него с состраданием и вместе с испугом. Прошло еще несколько дней, и другой твой сверстник, судя по акценту уроженец Южной Германии, публично поставил вопрос, не пора ли наконец литераторам прекратить обязательные упражнения на тему «Освенцим» и взамен познакомить молодежь с более изощренными методами и опасностями фашизма. Ему резко возразил почти совершенно седой человек с еще не старым лицом — тоже ровесник.

Позднее, с глазу на глаз, он сказал, что уехал из Германии в 1936 году, семи лет от роду, вместе с родителями-евреями. Сейчас он держит магазин в том швейцарском городе, где вас свел случай. По его словам, ему не хотелось больше ступать на землю Германии. Однажды, поддавшись на уговоры друзей, он все ж таки поехал поездом через Западную Германию в Нидерланды. Уже одно то, как кельнер выкрикивал в коридоре слово «пиво!», крайне раздражало его: может, дело в интонации, может, еще в чем, объяснить не объяснишь. В Кёльне, родном своем городе, он сошел с поезда и побродил по улицам. И все ждал, что вот-вот почувствует что-то — боль или там утрату. Но не почувствовал ничего. Рассказал он и о том, что опасался подавать руку людям определенного возраста. Ведь кто знает, что́ они могли этими руками натворить. И теперь он окончательно и бесповоротно решил, что по своей воле на землю Германии больше не ступит. Между прочим, он впервые сказал об этом решении немке. Такие, как он, говоришь ты, в послевоенные годы были для таких, как ты, не менее важны, чем хлеб насущный. Я знаю, говорит он. Знаю. Вы подаете друг другу руки: Прощайте. В дверях ты успеваешь нагнать его: там, где живешь ты, никто бы не смог публично назвать упоминания об Освенциме «обязательными упражнениями». Надеюсь, говорит он. Надеюсь. Хоть не публично.

Они бесспорно были окружены, однако Нелли этого в упор не замечала. У нее были свои причины держаться вермахтовских сводок и фразы фюрера: «Берлин останется немецким, Вена вновь будет немецкой, а Европа никогда не станет большевистской». Память, явно вводящая тебя в обман, подсказывает, что эта фраза прозвучала по радио в то воскресенье, когда йордановское семейство нырнуло под обеденный стол, ведь неподалеку рвались бомбы, которые прямо средь бела дня — «беспардонно», как выражалась Шарлотта Йордан,— транспортировали над их головами в Берлин.

Окончание. Начало см. «Знамя» №№ 6, 7, 8, за 1989 год.

Тебе и сегодня не удается запомнить имена военных чинов и стратегов и вникнуть в их планы — симптом прискорбного, чего доброго, отсутствия интереса, если учесть, что и наши жизненные пути были тогда незримо начертаны на картах полководцев и что любое незначительное отклонение от дорог, обозначенных как «беженские просеки» (сами беженцы о них, конечно, знать не знали), могло означать верную смерть. 12-я армия под командованием генерала Венка, последний резерв Гитлера, не сумела выполнить приказ и снять осаду со столицы. Ни намека, что это имя достигло тогда Неллина уха, равно как и имена сменивших один другого командующих группой армий «Висла» на севере Берлина — Хайнрици и Типпельскирха, которые своими решениями вмешались прямо в Неллину жизнь: один — еще раз попытавшись сдержать прорыв советских дивизий под Пренцлау; второй — стараясь к 2 мая оттянуть войска и «спасающееся бегством население» на «закрытую линию фронта» Бад-Доберан — Пархим — Виттенберге.

Под Пархимом, значит, а не под Нойштадт-Глеве (как ты долго считала, судя по карте, «Атлас автомобильных дорог», 1959 г., лист 5) состоялась, видимо, та жуткая последняя переправа через реку Эльде, которая более чем все предшествующее заслуживала названия «драпа». В ту пору мосты каждую минуту могли взлететь на воздух вместе со всем, что на них находилось, — лишь бы не достаться врагу. Пархимскому мосту тоже грозила опасность, что русские с часу на час завладеют им, а тогда не только вконец деморализованным вермахтовским частям, но и спасающемуся бегством населению будет полностью отрезан путь к Эльбе. Две Фольковы кобылы — гнедая Роза и караковая Минка с белой звездочкой на лбу — как раз перед самым драпом из усадьбы «Герминин Луг» ожеребились, но жеребят, как ни противился этому конюх-поляк Тадеуш, по прозванью Тадде, пришлось застрелить; после бешеной скачки по болотистому предмостью, когда возницы, надсаживая горло, заставляли лошадей тянуть во все гужи, так что жилы у них на шее набухали, как канаты, чуть не в руку толщиной, — после этой скачки кобылы начали мало-помалу слепнуть. Вспомнила об этом не ты, вспомнил Лутц, ведь он тогда учился ходить за лошадьми и, как выяснилось, «был к ним неравнодушен». Выходит, он сокрушался, что красавицы лошади слепнут, вот и запомнил эту подробность.

Сопоставление дат. Второй скоропалительный отъезд семейства Йордан — то есть «драп» из Грюнхайде — пришелся, по мнению Лутца, на вечер 20 апреля, а значит, на день рождения фюрера. Прямо-таки иронический выверт; впрочем, узнав от тебя, что американцы взяли Шверин и Висмар только 2 мая, он сказал, что, возможно, в путь они двинулись и на день, на два позже, но так или иначе до 25 апреля, когда передовые части под командованием маршалов Жукова и Конева соединились в Кетцине под Науэном, причем в населенный пункт Грюнхайде — оставшимся жителям его достается на орехи — также входят советские войска; кольцо вокруг столицы рейха смыкается.

О втором бегстве вы рассуждаете, когда в то знойное воскресенье семьдесят первого года — теперь, в конце года 1974-го, ты вспоминаешь его уже только по записям — ошибочно проезжаете на северо-восток по улице, которая за церковью Согласия вливается в Хауптштрассе (улица как будто бы новая, польские солдаты мостят проезжую часть; оживленные молодые лица, обнаженные по пояс, загорелые тела); она привела вас на задворки бывшего филиала «И. Г. Фарбен», ныне большого завода искусственного волокна. Сопоставив свои воспоминания, вы просите Х. развернуться: вы имели в виду совсем другую улицу. Немного погодя вы таки находите въезд на бывшее Фридебергершоссе, оно ответвляется на северо-восток круче, чем вы думали, и поначалу напоминает ущелье — неудивительно, ведь оно прорезает южную закраину конечной морены, — а затем, поднявшись на равнину, выходит на простор: хоть налево смотри, хоть направо. По обочинам с обеих сторон корявые вишни. У дороги на Фридеберг, которого никто из вас в жизни не видывал, раньше были деревни Штольценберг и Альтенфлис, тоже неведомые, а теперь расположены Гужанки и Пшиленк — эти названия ты по буквам считываешь с карты, не связывая с ними совершенно никаких представлений. Ну вот, сказала ты, слева перед вами бывшая гостиница «И. Г. Фарбен», справа — красные заводские цеха. Помедленнее, пожалуйста. Ага, по левой руке тут Старое кладбище, а дальше парк, в нем — вглядитесь, их видно за деревьями — до сих пор стоят ветхие здания бывшей лечебницы для душевнобольных.

Воззвания фюрера, в котором он пророчил советским войскам, что у стен германской столицы их постигнет «судьба всех азиатов» и что «большевистское наступление захлебнется в крови», Йорданы уже не слыхали. В тот же вечер они погрузили в ручную тележку два-три чемодана да мешки с постелями и впятером — Нелли, ее мама, брат Лутц и дед с бабкой — снова двинулись в путь, на сей раз пешком. Тетя Лисбет и дядя Альфонс Радде с кузеном Манфредом шагали следом, толкая собственную тележку. Грузовика у дяди Альфонса Радде больше не было, однажды вечером дядя вернулся домой без него: дорожные заграждения, поставленные против передовых отрядов советских танковых частей, неотвратимо задержали и дядину машину. Идиотизм! — возмущался он. Как прикажете объяснить все это Бонзакам?! Короче говоря, пустившись в бега вторично, Радде тоже обзавелись ручной тележкой; местные уходить не собирались и охотно отдали ее в обмен на масло из кадочки Шарлотты Йордан.

Вышли под вечер. Лутц, судя по его убедительным теперешним заявлениям, в победу германского оружия уже не верил. И в двенадцать лет можно трезво смотреть на вещи. Ну а с тобой, сказал он сестре, между прочим, еще и не то бывало. Ты задумываешься, стараясь вспомнить. Если когда-нибудь Нелли и грозила опасность потерять голову, так это именно в ту ночь. Слово «отчаяние» тут не годится, ведь способность к отчаянию предполагает взаимосвязь с его подоплекой. А у Нелли не было взаимосвязи уже ни с чем. Она шагала — было темно, на востоке и на юге, в направлении Науэна, небо полыхало красными зарницами, лишь две страны света оставались, как говорится, для них открыты, — она шагала, спотыкалась, вязла в грязи на самом-самом краешке реальности. Круг допустимых мыслей сжался до точки: выдержать. Если точка погаснет — ее плоть сознавала это отчетливее, чем мозг, — она упадет в бездну. Внешней командной власти более не существовало, тем точнее Нелли приходилось повиноваться внутреннему источнику приказов, который, продолжая посылать безумные сигналы, не даст ей, быть может, немедля обезуметь.

Ты поневоле оставила слова Лутца без ответа.

Единственные немецкие имена, какие сохранились в бывшем немецком городе Л., — это имена усопших. Ленке вовсе не улыбается лезть в чащобу, которую являет собой нынче Старое кладбище. Не вижу смысла, говорит она. Но есть ведь и тропинки, правда, едва заметные среди жгучей крапивы и прочего сорняка. На кладбищах всегда пышная растительность, говорит Лутц. И вы пытаетесь втолковать Ленке, что обязательно надо взглянуть на кладбище, где вот уж двадцать шесть лет никого не хоронят, — разве можно такой случай упустить? Нет, ей это ни капли не интересно, отвечает она.

Вы-то знаете, чего она опасается: вдруг вам не понравится (точнее, покажется обидным), что кладбище не просто запущенное — это естественно, — но вдобавок и разрушенное. Об этом вы не заикаетесь, но какие слова звучат у вас в душе? Ты пристально всматриваешься в себя и обнаруживаешь легкое замешательство и грусть — не мешает разобраться, откуда они взялись.

Все надгробия, на которых было выбито в песчанике либо мраморе и выложено сусальным золотом «Покойся в мире» или же, языком лютеровской Библии: «А теперь пребывают они три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше», — все они, почти все повалены. Отбиты мечи у песчаниковых ангелов возле фамильных склепов, отбиты крылья, носы. Могильные холмики срыты, поросли травой. Люди, чьи пращуры лежат не на этом кладбище, пользуются тропинками в чащобе, чтобы сократить себе путь на работу. Вы не встречаете ни души. Воскресное утро.

Могилу единственной родственницы, похороненной на здешнем кладбище, — твоей прабабки Каролины Майер, — тебе не найти. На этой могиле Нелли была не то один, не то два раза с отцовой матерью, хайнерсдорфской бабушкой. Помнится, уже тогда холмик сплошь зарос плющом,

а на простенькой плите едва различимо проступала надпись: «И пусть жизнь была хороша, но слагалась она из забот и трудов». Хайнерсдорфская бабушка оба раза вполголоса прочла эпитафию и, вздохнув, сказала: Запомни хорошенько, дочка. Это истинная правда.

Каролина Майер не пробудилась от своего вечного сна, хотя надгробная плита повалена и лежит в изголовье, размышляешь ты. К счастью, можно не опасаться, что мертвые воскреснут. А случись такое, ты бы не хотела оказаться человеком, который им объяснит, по какой причине мертвым мстят за те муки и страдания, что живые их соотечественники принесли другому народу, загоняя его сыновей и дочерей в газовые камеры, и сжигая в печах, и заставляя тысячами падать на колени у вырытых своими руками могил, так что засыпанные могилы сочились кровью и земля, под которой лежали и полумертвые, местами шевелилась.

Вот ты и поняла причину замешательства и грусти: дело не в этих мертвецах с немецкими именами, дело в тех живых, в тех уцелевших, кто поневоле приходил сюда опрокидывать надгробия и топтать могилы, ибо ненависть вроде той, какую в них разожгли, не обуздать, не остановить перед могилами. Редко тебе доводилось так, как в эти полчаса на Старом немецком кладбище в Л., ныне Г., осознать полную метаморфозу своих чувств, наверняка явившуюся итогом тяжкого многолетнего труда (а он поглощал нас целиком, и уже не хватало сил оглянуться назад),— теперь эти чувства свободно и непринужденно пребывают на стороне тех, кто некогда звались «другими», и из-за них впадают в замешательство, если поневоле совершают над собою насилие.

Ленка — ты прочла это по ее лицу — поняла все без подсказок.

Кажется, именно ты наткнулась на роскошный, кстати неповрежденный, памятник булочника Отто Вернике. Лутц случайно не помнит, как звали их булочника с Зольдинерштрассе? Да вроде бы Вернике, сказал Лутц. Вам обоим пришло на ум, что умер он в самом деле за год, за два до конца войны; на памятнике стояла дата — 1943 год. Бог ты мой, булочник Вернике! Он ведь редко появлялся за прилавком. А жена у него была крашеная шатенка. Подумаем же о них еще раз возле этого надгробия. Хлеб мы у них не покупали, только пирожные. Хлебом Бруно Йордан и сам торговал.

Видела ли Нелли в те годы сны, ты не помнишь, а уж какие именно — и вовсе говорить не приходится. (Ленка рассказывает, что ночью в польской гостинице ей приснилось, будто она, в своих линялых джинсах и выгоревшей блузке, затесалась в компанию придворной знати, первая — до прибытия королевской фамилии — беспечно отведала изысканных закусок и, преступив табу, снискала власть и авторитет, с помощью которых ввела некоего молодого человека и его приятельницу, людей простых, в это сиятельное общество, а сама сбежала оттуда, заметив, что потихоньку облачается в костюм рококо, и поймав себя на том, что начинает руководствоваться этикетом.) Нелли, вероятно, видела сны об уничтожении или о всевластии либо о том и другом поочередно.

(Вот если б ты могла рассказать об этом! — но ведь самая сердцевина этого знания держит оборону, и с разбега, решительным прыжком через палисад ее не возьмешь. Не сбылась безотчетная надежда, что когда-нибудь, по прошествии достаточного количества лет, любая колючая изгородь сама собою обернется морем цветов, по которому можно пройти целым-невредимым, чтобы разбудить надолго — «на сто лет» — заколдованную правду. Остается только продолжить рассказ, соблюдая максимум точности.) Лица, с которыми Нелли и ее родня столкнулись в первое утро второго бегства, носили имя Фольк, господин и госпожа Фольк.

До сих пор они, как живые, стоят у тебя перед глазами, ты можешь их описать, что не так-то просто, ибо они точь-в-точь такие, какими нынче представляют себе остэльбских помещиков: он — полнокровный, краснолицый, весь в грубошерстном сукне, в шляпе с кисточкой из волос серны, с неразлучной тростью в руке; она — несколько аристократичнее, узкогубая, с простеньким пучком на затылке, непременно в сопровождении таксы по кличке Пчелка. Все эти годы ты твердо верила, что усадьба, где им позволили переночевать в бараках одну ночь, — «Герминин Луг», по имени некоей прусской придворной дамы, некогда удалившейся на покой в эти места, — как раз и принадлежала этим Фолькам, которые

с утра пораньше заставили новых беженцев, невыспавшихся, неумытых и, конечно же, голодных, построиться возле бараков и произвели им смотр на предмет пригодности в хозяйстве. Оценивающие, хозяйские взгляды Нелли запомнила и тотчас строптиво ощетинилась. Она не привыкла, чтобы на нее смотрели как на рабочую силу. Фольки же не умели иначе смотреть на тех, кто ниже их по общественному положению, только свысока, только как на простонародье. Но владельцами «Герминина Луга» были вовсе не они.

Лишь недавно ученые, руководители Института изучения кормовых растений, размещенного в усадьбе «Герминин Луг», сообщили тебе имя бывшего хозяина, он-то и приютил на несколько дней обоз своих знакомых, Фольков, чье имение находилось подальше к востоку. Выстрелы, слышанные всеми в то утро и подхлестнувшие спешку, были действительно винтовочные, но стреляли не советские солдаты, как наверняка решили вы, а польская воинская часть, которая уже не первый день, неся огромные потери, пыталась прорвать сильную покуда в этом районе немецкую линию обороны. При поддержке советских войск полякам это в конце концов удалось, ценой дальнейших огромных потерь с обеих сторон. Во время закладки фундамента под здание молочной фермы на две тысячи голов, которая поднялась ныне на территории бывшего имения, было обнаружено множество человеческих скелетов: установить, кому они принадлежат, оказалось невозможно. Один из местных крестьян (тебе назвали его имя) обошел тогда поле боя, снял со всех погибших независимо от национальности личные знаки и отослал в Международный Красный Крест. До 1949 года усадьба находилась в ведении советской администрации, как продовольственная база оккупационных войск. Затем она стала народным имением, а сейчас является широко известным центром по выращиванию мясо-молочного скота, выведенного путем скрещивания различных пород. Племенные коровы на выгоне зовутся Диетами, Гвоздиками, Звездочками, а вот две тысячи голов на молочной ферме, куда вам ввиду опасности инфекции позволяют всего-навсего заглянуть одним глазком, понуро стоят в доильной «карусели» и отличаются друг от друга лишь последними цифрами в четырехзначном номере.

Ученые показали тебе, где стояли тогда бараки беженцев. Помещичий дом действительно белый, оштукатуренный. Нелли и ее родня подъехали к нему сзади, вдобавок в кромешной ночной тьме, а потому скорей всего вообще не видели его украшенного верандой фасада.

Фольки искали кучера для фуражной повозки. Очередь дошла до дяди Альфонса Радде. Конечно, он готов пойти Фолькам навстречу, но только при условии, что в повозке найдется место для восьми его родственников. (Второй раз он спасал свою родню.)

Оценивающие взгляды стали пренебрежительными.

Bon[1], сказал наконец господин Фольк. Без вещей.

Быть бы живу, подумала Нелли с непонятным удовлетворением.

Так не пойдет, сказали взрослые.

После непродолжительных, резких переговоров они распихали легкий багаж в повозке, среди мешков с фуражом, а тяжелые чемоданы сложили на одну из ручных тележек, дышло которой прочными веревками привязали к задней оси большой повозки. Зрелище было смешное, но никто даже внимания на это не обращал. Чувство комического в такие времена — роскошь. Кстати, сами они потихоньку пойдут за фольковским обозом, вместе с воловьей упряжкой, нагруженной опять-таки фуражными мешками да семейством сельхозрабочего Грунда в количестве семи душ.

Последнего и собаки рвут, сказал «усишкин» дед. Ему велено было замолчать, ради всего святого.

«Герминин Луг» — пришли они туда глубокой ночью, ушли на рассвете — почти не оставил впечатлений.

Лутц начал проявлять интерес к лошадям.

Нелли устроилась на задке открытой повозки, на мешках с фуражом. Дни, помнится, стояли в основном погожие — правда, раскисшее предмостье у Пархима говорит как будто бы об обратном. (А может, земля там просто едва успела оттаять.) Небо всегда остается в памяти. Нелли

---

[1] Ладно (франц.).

говорила себе, что не забудет этого неба, этой нежной голубизны. Не забудет и тот вечер в деревне поодаль от шоссе, когда впервые ее самое обстреляли самолеты-штурмовики — она как раз несла тазик с вымытой посудой из крестьянского дома через дорогу в сарай, где они остановились на ночлег. Мама рывком втащила ее в ближайшие сени. Ты помнишь, какую гордость ощутила Нелли, когда оказалось, что ни одна тарелка не разбита: она, мол, не из тех, кто сразу швыряет все, что у них в руках, лишь потому, что слышат стрельбу. Вот за это мама ее и отругала: в другой раз надо, плюнув на посуду и вообще на все, искать укрытие. Будто Нелли только и думала что о посуде. (Скрепя сердце начинает она постигать: каждый человек, в том числе и она, уязвим. Урок, не кончившийся по сей день.)

Шоссе Ф-5 ведет на северо-запад, через Фризакк, Кириц, Перлеберг. Фольковский обоз свернул с него, вероятно, под Кирицем, направившись по Ф-103 до Прицвалька, а затем окольными путями (Триглиц, Локштедт, Путлиц, Зиггельков) до Пархима, до моста через Эльде, который тогда соединял и разъединял ад и рай, жизнь и смерть.

Сколько ты впоследствии, и весной тоже, ни ездила этой дорогой, тебе ни разу не удалось найти ничего знакомого. Человек быстро привыкает рассматривать пейзаж как пересеченную местность, а деревья и кустарники — как объекты, за которыми в случае необходимости можно укрыться. Может, потому-то дорога, на которую Нелли смотрела другими глазами, позднее казалась тебе незнакомой. Кстати, чем дальше к северу, тем она неблагоприятнее, ведь перелески, эти идеальные укрытия, встречаются реже и отступают от обочин.

Ленке (она, похоже, думает, что тогда не в пример нынешним дням «что-то происходило») сказано следующее: Если что и произошло, так это остановка внутреннего времени. Нелли подставляла свое лицо, свое тело, и люди, которых она встречала, и события падали в нее, точно мертвые птахи. Конечно, никто ее состояния не заметил, ведь она держалась сообразно обстоятельствам да и нет людям дела до чужой внутренней жизни, когда своя под угрозой.

Нелли сама себе стала неинтересна. Поскольку же связь с самой собою оборвана, все, что ей встречается, отсвечивает какой-то жутковатой незддешностью. Бесстрастный созерцатель, она отбрасывает на себя непроницаемую тень, развеять которую, как выяснится, труднее, чем быстрые бледные тени вражеских самолетов над головой.

То, что длится достаточно долго, получает право называться хроническим. Хронический конъюнктивит. Хроническая усталость. Хроническая тяга к грусти по вечерам. Хроническая трудовая повинность. (Жить полной жизнью, в смысле: полной трудов, — Ленка недоуменно пожимает плечами.)

Хроническая приверженность к мерцающему экрану. Три мужских лица, рядом, без особых примет, — греки. Заплечных дел мастера при свергнутом режиме. Говорят нечто новое: палачами они стали через пытки. На их шкуре опробовали те методы, которыми им предстояло терзать других. Когда, почти обезумев от боли, они желали только одного — сорвать со стены винтовку и с размаху ткнуть ею в брюхо унтер-офицерика, который их лупцевал, — вот тогда они и сами поняли: все кончено, они готовы. Лишь у одного, не выдержавшего боли, «сломавшегося», вышвырнутого из армии, видны на лице следы невзгод. Жена одного из этих людей, распоряжавшихся зверствами, говорит (стоя в кухонном переднике на пороге дома, за спиной — сумрачный коридор, дверь в кухню, плита): Я знаю, он человек хороший. Вранье все это, что про него в газетах пишут.

Хроническая слепота. И ведь нельзя вопрос ставить вот так: Как они разделываются со своей совестью? — нет, он должен звучать по-иному: Каковы должны быть обстоятельства, приводящие к массовой потере совести?

В эти дни — в конце января 1975 года — исполняется тридцать лет с тех пор, как советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Нелли, которая после удачной переправы через Эльде у Пархима, по всей вероятности, направляется по Ф-191 в сторону Нойштадт-Глеве, ведь все они думают у Бойценбурга перейти через Эльбу, — Нелли в конце апреля 1945 года еще слыхом не слыхала про Освенцим. 21 апреля охранники-эсэсовцы погнали 35 000 узников концлагеря Заксенхаузен в путь, который нынешние историки называют маршем смерти. По дороге в Мекленбург почти 10 000 заключенных были расстреляны конвоирами. Неллин обоз опережал эту колонну, тащившуюся по другим шоссе и проселкам, но в том же направлении. Она не видела ни одного из этих мертвецов, не знает, торопились ли жители городов и деревень, где они, наверно, лежали по обочинам дорог, или беженцы, находившие трупы, похоронить их или бросали непогребенными. Позже она видела уцелевших в том марше смерти. Первым же покойником был для нее сельхозрабочий Вильгельм Грунд.

Конечно, говорит госпожа Фольк, без потерь не обойтись. Грундам с их медлительной воловьей упряжкой приходилось отправляться в дорогу раньше всех. А штурмовая авиация с недавних пор начинала летать ни свет ни заря. Нелли, в сарае при лошадях, слышала близкие пулеметные очереди и жалась к стене. Лошади, не обученные превозмогать страх, вставали на дыбы. Конские копыта, конские животы у самых ее глаз. Она, вероятно, кричала, как все. Хоть кругом и твердили, что-де лошади почем зря людей не топчут, Нелли не сомневалась, что в нынешней жизни подобные правила недействительны. Эти-то лошади, не колеблясь, в два счета растопчут ее.

Внезапно от дверей сарая повеяло какой-то неестественной тишиной. И распространял ее не кто иной, как Герхард Грунд, Неллин ровесник, сын сельхозрабочего, правившего волами. Глянув ему в лицо, все умолкли. Потом он заговорил, странно чужим голосом: Мой отец. Что они сделали с моим отцом.

Без потерь не обойтись. Труп Вильгельма Грунда — пуля прошила навылет его грудь — Нелли не видела. Когда она вышла к проселку, его уже прикрыли одеялом. Впервые, своей смертью, Вильгельм Грунд задержал хозяйское предприятие, вместо того чтоб двигать его вперед, а продолжалась задержка минут тридцать, не больше. Могила, спешно вырытая для него на опушке леса, была совсем неглубока. Двое работников-поляков перенесли туда тело на брезенте, почти волоча его по земле. Уж гроб-то он, поди, как-никак заслужил, прошептала госпожа Грунд. Госпожа Фольк положила ей на плечо сухонькую, увядшую руку. Знать, не судьба. Глаза у госпожи Грунд были светлые, прозрачные, полные недоумения. День выдался на редкость красивый. Первая зелень на березах, небо, которое иначе как «лучезарным» и не назовешь. Мучительная сцена.

Смерть отца Герхарда Грунда пронзает Нелли чувством, для которого у нее нет имени, пронзает как нож.

Сон, прошлой ночью: Х. говорит тебе прямо в глаза, что ты, мол, не сумеешь описать гору трупов, во всех подробностях. Ты не задумываясь признаешь его правоту. А он говорит, что как раз это писатель в наш век обязан уметь. Не годишься ты для этой профессии.

Горы трупов Нелли видела лишь на фотографиях да в кино. Когда их обливали бензином и сжигали или сгребали бульдозером — изнуренные голодом скелеты. В «Германской кинохронике» умирали только враги.

Хроническое тяготение к нечистой совести. По всей видимости, авторскую совесть должна заботить лишь правда, чистая правда и ничего, кроме правды. Но поскольку правда не существует вне человеческого общения, автор, зачастую сомневаясь, воссоздает правду во многом относительную — соотнесенную с ним самим, рассказчиком, и с тем всегда ограниченным пространством свободы, какое он себе отвоевал; соотнесенную с тем, о ком он ведет речь, и не в последнюю очередь с теми, кому его рассказ адресован и кого можно только предостеречь: правда, что доходит до вас, не «чистая», а во многом замутненная, и вы сами, судом своим и предрассудками, еще добавите туда мутных частиц. В таком виде от нее, глядишь, и будет толк.

Взять, к примеру, «бегство» — о нем написано мало. Почему? Потому, что молодые мужчины, написавшие впоследствии о пережитом, были солдатами? Или потому, что сей предмет вообще слегка щекотлив? Уже одно это слово... Со временем оно исчезло. Беженцы стали переселенцами — вполне правильное обозначение для тех, кто в июне 1945 года пе-

реселился с польских и чешских земель, ведь они же вовсе не бежали (среди них Неллины дед и бабка из Хайнерсдорфа). А вот Нелли и ее родичи бежали к Шверину (спустя годы после войны они еще звали себя беженцами), полагая, будто им известно, от чего они бегут. Только бы не попасть в лапы к русским, говорила «усишкина» бабуля.

Русских она в жизни не видала. О чем она думала, говоря «русские»? О чем думала Нелли? Что себе представляла? Кровожадное чудовище с переплета «Преданного социализма»? Кинокадры с толпами советских военнопленных — наголо стриженые головы, изможденные, равнодушные лица, одежда в лохмотьях, драные портянки, шаркающая походка, — они вроде и сделаны-то были из иного теста, чем бравые немцы-конвоиры?

Или она вообще ничего себе не представляла? Может, ее готовности к страху было достаточно того смутного ужаса, каким веяло от мрачно-загадочного слова «насиловать»? (Русские насилуют всех немецких женщин — неоспоримая истина. Девушка, которая не в состоянии сохранить свою невинность. Темный клубок тел и наверняка — боль и позор, а затем неизбежная смерть. Немецкая женщина такого не переживет. Лишнее звено в цепи, сковывающей воедино плотскую любовь и страх.)

Нелли, между прочим, везет. Она не отсиживается ни в подвале, ни в гостиной среди стильной мебели, ей некуда забиться, не спрятать голову в песок. Хочешь не хочешь, а она идет, смотрит своими глазами, слушает своими ушами. Хочешь не хочешь видит солдата, который, раздевшись до пояса, моется у колонки возле одного из крестьянских домов в Мекленбурге, хочешь не хочешь слышит, как он беспечно окликает бредущих мимо беженцев: Эй, вы уже знаете? Гитлер помер.

Снова лучезарный день, даже и не собиравшийся мрачнеть. Новая мысль: конец света — не обязательно собственная смерть. Она жила. Это явно было недостойно, хотя и интересно. Но было далеко еще не решено, погубит ли она себя меланхолией, горюя о злейшем своем враге, или же сумеет воскресить захиревшую способность правильно истолковывать жизненный опыт и, таким образом, уцелеет. Этой борьбе суждено долгое время, многие годы, идти с переменным успехом — даже когда она уже однозначно решит ее в свою пользу. (Как мы стали такими, каковы мы сегодня?)

Дорога как наставница. Однажды Нелли видела на обочине неимоверно истощенных женщин в арестантской одежде, они справляли нужду, повернувшись голым задом к дороге — плевать, кто бы там ни проходил. Нет у них больше стыда, сказала «усишкина» бабуля и словечком «больше» выдала, что ей ведомо нечто ужасное. Нелли скоро ощутила стыд, потерянный этими женщинами. Конвоиры-то, мужчины, могли бы по крайней мере отвернуться, правда? — говорила она себе. Похоже, и они начисто потеряли всякий стыд, хотя и по-иному, чем женщины. Выходит, изначально существуют разные виды стыда, так, что ли?

Никто словом не обмолвился о женщинах, обоз прошел мимо (все время — мимо, мимо), будто их вовсе и не было. Взгляды, наторелые в невиденье, поспешно скользили прочь от узниц. Ведь совсем или почти не виденное легче забыть. Запасы забытого все росли.

А вскоре Нелли довелось увидеть, как поляки-кучера побросали вожжи — ходили разговоры, что прямо впереди американцы, а сзади русские на пятки наступают — и, соскочив с козел, зашагали назад, то есть с их-то точки зрения вперед, на восток, на родину. Довелось ей увидеть и как разъяренный господин Фольк по старой привычке занес руку для удара. И как один из поляков его руку перехватил. А немцы, в большинстве семьи сельхозрабочих, даже не подумали прийти господину Фольку на подмогу. И что примечательно — произошло все спокойно, без шума. Правильно, так и должно быть, невольно подумала Нелли, глядя на эту сцену. Лишь позднее она удивлялась, что поляки вроде бы толком и не ликовали. А тогда не находила ничего странного в том, что победители не кричат на радостях во всю глотку. Вконец подавленная, она покуда вряд ли воспринимала как счастье тот факт, что они выжили, уцелели. Тон, каким рассуждала об этом мама, ничего хорошего не сулил. Из кулька в рогожку попадем, говорила Шарлотта.

В противоположность стабильному метеорологическому порядку на дорогах ширился немыслимый беспорядок: немецкие войска, стремительно отступая, избавлялись от балласта. Спустя годы Нелли еще снилась природа, задыхающаяся под толстенными пластами бумаг. На обочинах бросали, ставили, складывали все, в чем нуждается современная армия, — от пишущей машинки до артиллерийского орудия. Вскрытие нутра. Никто туда не глядел. Всё наши денежки, сказал «усишкин» дед, ставший молчуном. Что бы ты понимал! — оборвал его зять, Альфонс Радде.

Если уж на то пошло, им бы всем впору помалкивать.

На лагерников они наткнулись однажды днем. Слева от дороги зеленел реденький лесок, справа поднимался отлогий травянистый склон. Откуда стало известно, что это люди из Ораниенбурга, теперь уже не установишь. Они, между прочим, тоже не выказывали ни радости, ни счастья. Одни стояли, сидели, лежали поодаль, в леске, другие, держа на прицеле дорогу, заняли позиции на склоне. Это явно были те, кто покрепче, у кого хватало сил нести винтовку и стоять с нею на посту. Говорить они не могли или не хотели. Позднее, спрашивая себя, что читалось в их глазах, Нелли прежде всего называла безразличие, даже холод и внимательность. А вот ненависти и триумфа в них точно не было.

Насчет поведения тех мужчин ты можешь сказать только, что Нелли оно удивило. А удивленье — это крохотный шаг вперед, хоть и малюсенький, но просвет во мраке полной инородности («совсем не такие, как мы с тобой»), которая до сих пор наполняла Нелли.

Ленка не поймет, почему никто, ни один из беженского обоза, не подошел с ломтем хлеба в руках к этим изможденным фигурам. Почему никто их даже не окликнул. Почему все молчали и не замедлили шаг, не остановились. Им было страшно. Страшно не от нечистой совести: когда самому грозит смертельная опасность, нечистая совесть помалкивает. Сперва надо спастись, а там уж не грех и расплатиться за свою шкуру. (Разумеется, речь не о всех подряд. Скоро обнаружилось, что в любом народе есть люди хорошие и есть плохие. Цитата из дяди Альфонса Радде, дяди Вальтера Менцеля, тети Трудхен, тетушек Лисбет, Люции, Ольги: На немцах вечно все свою злость срывали. — Этим любой урок не впрок! — цитата из Шарлотты Йордан и Бруно Йордана, которые и после раздела Германии единственные из всей родни остались в зоне советской оккупации, будущей ГДР.)

Старики! — говорит твой брат Лутц. Не требуй от них чересчур много. Уплетая вишни, вы сидите на лавочке у дороги между польским городом Г., где вы уже побывали, и расположенной в нескольких километрах от него родной деревней Бруно Йордана. Вы видели, эта деревня — одна из тех вполне зажиточных придорожных деревень, которые нередки в здешних краях. Кстати, и красивая. Время близится к полудню, 11 июля 1971 года, воскресенье, как известно. Вишни вы купили у светловолосого парнишки, вон он стоит у дощатого стола на обочине — джинсы, белая рубашка с открытым воротом, — причем платили не по весу, а за кулек, 16 злотых. Местечко словно по заказу, лучше не придумать. Пусть это прозвучит как преувеличение: вкус тех вишен ты не забыла. К ним в точности подходило слово «освежающий», приложимое еще разве только к воде и сну. Вкуснейшие плоды, из которых ослабевшие герои легенд внезапно черпают новые силы и магические способности. Каких сил ты жаждала, о какой магии мечтала — об этом ты не проронила ни слова.

В этот миг поездка себя оправдала.

Перечень удовольствий — начала его Ленка. Пусть каждый назовет свои удовольствия. Ты было хотела, недолго думая, поставить на первое место эти вот вишни. Твоя идея была отвергнута как слишком уж сиюминутная, однако же в личном перечне ты могла поставить на любое место хоть вишни, хоть вообще что угодно. В общем списке превосходный балл получила «еда», а также «сон», «любовь». (Ленка предложила поместить любовь во главу перечня, любовь как жизненную позицию, а не как занятие! И сразу же за нею — ненависть. Ненависть как удовольствие? Ну-ну. Пускай в свой личный список заносит.) Еще Ленке непременно хотелось включить туда «жизнь». Она даже заспорила с дядей, есть ли «жизнь» в том смысле, какой она вкладывает в это слово, нечто большее, чем совокупность отдельных поступков, чувств, мыслей, состояний, которые, по

ее разумению, отнюдь не всегда означают, что человек живет. Лутц сказал, что для него это, пожалуй, чересчур заумно.

Он хотел включить в перечень удовольствий работу. Вы с Х. ничего против не имели. А Ленка энергично запротестовала: лучше, мол, назвать отдельные виды работы — рисование, пение, игры с детьми. Но этак можно невесть куда зайти. От голосования она воздержалась. Далее, по Ленкиному предложению, следовало далеко впереди большими буквами записать музыку и все времена года, кроме ноября. И вообще — природу. И вообще — дождь! И море. И плаванье. И книги. И ее старые драные шлепанцы из клеенки. И театр, но только некоторые спектакли. И танцы, но только под аккомпанемент вполне определенных групп (ты оскандалилась, употребив допотопное слово «ансамбль»). И ее выцветшую стеганую куртку. И ее постель. Боже мой, а впереди всего — друзей.

Ну, это уже через край. Впрочем, хотя бы еще одно, вообще самое важное — радость. И дружелюбие. — Пожалуйста.

Лутц махнул рукой на свои попытки классификации. В июне сорок шестого, когда ему было столько же, сколько сейчас Ленке, и он ходил в Бардикове, в Мекленбурге, в школу, а после обеда пас коров крестьянина Фреезе, — тогда в самом начале списка удовольствий он бы поставил «хлеб» сразу за пожеланием, чтоб вериулся отец. В январе сорок третьего, когда Нелли было столько же, сколько сейчас Ленке, она — не обязательно, но вероятно — отвела бы первое место благосклонности своей учительницы Юлии Штраух; а для Х. в Ленкином возрасте, в августе 1943 года, наивысшей усладой был лес. И возможность побыть одному. И чтение.

Да. Разговор сам собой зашел о прогрессе. Можно ли считать такой «перечень удовольствий» — баловство, по сути, — мерилом прогресса, как, похоже, собирались сделать вы? Научно-технический прогресс игнорировать нельзя, предостерег Лутц. И упрекнул вас в интеллектуальной гордыне. — Это с какого же боку? — А с такого: вы ведь норовите объявить нормальными весьма незаурядные потребности, а нормальные потребности обыкновенных людей ни в грош не ставите. Как будто зазорно превыше всего ценить обеспеченную жизнь в комфортабельной квартире, с холодильником, стиральной машиной и автомобилем. Как будто все правительства не стараются учесть эту потребность большинства — а там у них психологи получше вашего, сказал Лутц. (Иегуда Баконь — в Освенциме ему было четырнадцать — поставил бы вверху списка, наверно, ту милость, которую охранники иногда оказывали детской колонне, позволяя детям после работы обогреться на территории лагеря у печей крематория.)

Как же это вы с благ цивилизации сбились на немцев?

Не только их одних, сказал твой брат Лутц, все народы можно подавить, можно посредством системы террора держать в страхе, втягивать в войны, толкать на бесчеловечные жестокости. Он перечислил примеры из истории последнего пятидесятилетия. Героев у всякой нации наперечет, и героические поступки не поднимешь до общечеловеческой нормы. Масса молчит или соучаствует. А нацисты величайшие свои гнусности — акцию по «эвтаназии», массовое уничтожение евреев — старались от собственного народа утаить. (Тут он был прав.) Так почему же, как мы думаем, они прилагали такие старания?

Действительно, почему? — спросила ты. Потому что боялись восстаний? Всеобщей забастовки? Или широкой акции по спасению евреев, как в Дании? Хотя бы пассивного сопротивления? Как минимум отказа от службы в лагерях смерти? (Четырнадцатилетний Иегуда Баконь — он уже рисует — греется у печей, на которых прочно приделана бирка производивших их, возможно с гарантией, немецкой фирмы: «И. Топф. Эрфурт».)

Нет, это все не то. А вот настроение в массах было бы паршивое, и некоторый шок имел бы место и, конечно, страх. Ведь не все же немцы были садистами, ты не думай, сказал Лутц.

(Один из уцелевших узников Освенцима на вопрос о том, что он может сообщить о характере эсэсовцев-охранников, отвечает: Трудно сказать об этом что-либо. Садистов было немного, и, разумеется, они лезли вперед, поскольку могли таким образом дать полную волю своим наклонностям. Остальные — примерно тысяч семь, — я бы сказал, вполне заменимы.)

Вы что же, сказал Лутц, пока вы доедали из кулька последние вишни, вы что же, думаете, будто наша промышленная цивилизация со всеми ее удобствами, которыми, если не ошибаюсь, дорожите и вы, поточное производство, по-прежнему, образующее ее основу, возможны вкупе с массовым наличием «добрых людей»?

Не обманывайте вы себя.

Изречения Шарлотты, ставшие после встречи с освобожденными лагерниками мрачнее и многочисленнее, были, по всей вероятности, обусловлены больной совестью. В Неллином окружении она чуть ли не единственная обладала задатками совести — умела войти в положение людей, не прииадлежавших к узкому кругу ее близких. Что же оиа говорила? А вот что: «Встретимся мы при Филиппах» [1]. Или: «Блажен, кто незнаком с виною, кто чист младенчески душою!» [2] Она похудела. Юбку скалывала большой черной булавкой и иикакого «олимпийского валика» уже не носила; волосы ее без краски быстро поседели и были скручены на затылке в пучок; жилы на тощих икрах выпирали толстыми жгутами. Хмурая, суровая, шагала она обок повозки.

Нелли чувствовала, что мама отдалялась от нее, ни в коем случае не желая разделить с нею, с дочерью, свою судьбу, — интересная, пышущая жизнью сорокапятилетняя женщина за год превратилась в изможденную седую старуху. (Гиперфуикция щитовидной железы — медицинское объяснение катастрофической метаморфозы, которая, конечно же, подтверждается не фотографиями, а четкими образами воспоминаний; но это объяснение не объясняет главного: что именно заставляло щитовидную железу работать интенсивнее обычного. Старики были куда ближе к истине, когда говорили: Она от горя сохнет.)

Дети решительно отказывались прочувствовать драму матерей. А у матерей — взрывы отчаяния из-за ничтожных проступков, какими дети ежедневно их ранили, не по злобе — бездумно. Враг того гляди на горло наступит, а девчонка цветочки рвет! Маргаритки, которыми луг прямо таки пестрел. Неужто не слыхала? Американцы! Что теперь с нами будет?

Первым делом было приказано — окриком из головной части обоза — сойти с повозок. Они остановились в лощине, которую ты так и не сумела отыскать, сколько ни ездила в окрестности Шверина. Ты даже рада этому. Все правильно: то место, которое для воспоминания, невзирая на сияющий майский день, погружено в мрачные сумерки, должно провалиться сквозь землю. Арены чересчур серьезных событий не могут удержаться на земле. Они тонут в памяти, оставляя блеклые, иеразличимые следы там, где были на самом деле.

Нелли так и подмывало заартачиться. Не слезать с повозки, не вытаскивать рук из карманов, не идти в узенький проход между двумя невозмутимыми, долговязыми американскими сержантами. Это невероятно узкое пространство, куда все протискивались поодиночке, давая обыскать себя на предмет оружия, составляло теперь единственный выход. Нелли остро это почувствовала. Шарлотта, не спускавшая с дочери глаз, за руку потащила ее за собой. Давай-ка без глупостей. С побежденными цацкаться не станут. Теперь командуют они. Так что привыкай, да поживее.

Ни за что.

Другие тебе не указчики, они сами за себя решают: спешно разводят у обочины костерки и жгут вермахтовские бумаги, а иногда петлицы, нашивки, галуны и даже офицерские кители; торопливо здороваются с тремя американскими офицерами, которые, небрежно развалясь на сиденьях джипа, неприступные и молчаливые, едут по лощине, обозревая своих пленников. Нелли не шевельнулась. И глаза отвела. Ее гордость была не сломлена. С непроницаемым лицом, которому она старалась сообщить презрительное выражение, она дала себя обыскать, свои часы — первые в ее жизни американцы наверняка зарились на немецкие часы! — свои часы она сунула в карман пальто: их не нашли. Крохотный триумф.

---

[1] Цитата из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (IV, 3). Перевод М. Зенкевича.— При Филиппах (Македония) в 42 году до н. э. убийцы Цезаря Брут и Кассий были разбиты Октавианом и Антонием.

[2] Цитата из баллады Шиллера «Ивиковы журавли». Перевод В. А. Жуковского.

Внезапно все заторопились. Давайте, давайте, живо на повозки! Гоните лошадей. Несколько американцев бросали в повозки беженцев вермахтовские одеяла. На ночь! — громко повторял один; значит, ночевать придется под открытым небом. Следующий сборный пункт был у поселка Варсов. Слева от дороги, на большом отлогом лугу, должны были стать лагерем гражданские, справа в сооруженный наскоро проволочный загон согнали солдат и офицеров вермахта.

Сравнение воспоминаний с кадрами кинохроники, отснятой советскими операторами, приносит ожидаемый результат: картина воспоминаний искажена эмоциями (стыдом, унижением, сочувствием); потому-то пленные немцы выглядят вовсе не такими прибитыми, как, бывало, вражеские пленные; беспристрастная кинопленка, зафиксировавшая различные этапы советского наступления на столицу рейха, показывает немецких солдат в момент капитуляции, а затем через один, два, три дня в плену: лица стремительно меняются, обрастают щетиной, худеют, а главное — отупение стирает их черты. «Усишкин» дед, чьи редкие высказывания становятся все злее, кивает на пленных за колючей проволокой по ту сторону дороги: Ну в аккурат скотина на выгоне. — О господи, когда ж этот старикан наконец научится держать язык за зубами.

Тот майский вечер выдался холодный. Пришлось кашеварить под открытым небом. (По загадочным причинам стряпать под открытым небом называется кашеварить.) Надо было притащить сушняку из лесочка, больше похожего на парк, камней для очага, воды. Воды? Виллы на взгорье были заняты американцами. Что ж, делать нечего. Шарлотта подхватила ведро, сунула второе Нелли. Пошли поглядим, что это за нелюди такие. В случае чего удирай, мне-то хуже не будет. Нелли сурово решила ни на шаг от мамы не отходить.

Все двери в домике стояли настежь. Шарлотта и Нелли вошли в незнакомую переднюю, где на крючках, будто так и надо, висели американские шинели. С верхнего этажа доносилась незнакомая, визгливая музыка. Кто-то неразборчиво пел. Возле кухонной двери груда пустых консервных банок. Незнакомый, довольно противный запах. Да, живут как у Христа за пазухой.

Когда они обернулись, на пороге одной из комнат, явно гостиной, стоял, прислонясь к косяку, невысокий чернявый офицер. Видимо, он уже некоторое время наблюдал за ними. Шарлотта по привычке сразу взяла быка за рога и показала свое ведро. Вода, проговорила она. Офицер молчал. Не понимает. Скажи ему по-английски. Нелли, на безупречном английском, которому ее научил штудиенрат Леман: Water please[1].

Офицер даже бровью не повел. Оттолкнулся от косяка, открыл дверь ванной. Прошу, сказал он по-немецки, без малейшего акцента. Они набрали ведра над ванной, стараясь не озираться в этом незнакомом, занятом врагами помещении. Офицер донес ведра до садовой калитки. Шарлотта поблагодарила: Большое спасибо. Дальше мы сами.

Офицер посмотрел на Нелли. Может быть, ждал, что она тоже поблагодарит, но она молчала. Откуда вы? — спросил он.

Шарлотта ответила. Он кивнул, словно прекрасно ориентировался в названиях немецких городов. А сам все смотрел на Нелли. Спросил, сколько ей лет. Ответила опять не она, а мама. Он, точно пробуя на язык, повторил: Шестнадцать. И добавил: Плохо дело.

Странно, печаль в его глазах, казалось, была не нова и возникла отнюдь не по ее милости. Еще он спросил, как и раньше не вполне уверенно, но все на том же безупречном немецком, не нужно ли им чего-нибудь. Нелли опасалась за мамину стойкость, однако Шарлотта Йордан знала, что надо делать: она поблагодарила и отказалась. Может, лекарства? — спросил он. К счастью, у нас, слава богу, все здоровы, Шарлотта так и сказала. Он все не решался отпустить их. Потом собрался с духом и сказал тоном, который не вполне ему подходил: Ничего, для вас тоже все уладится.

Тут уж Шарлотта не выдержала. Наше отечество погибло, и мы все тоже — такова война. Вы победители, мы побежденные. Нам надеяться не на что.

[1] Воды, пожалуйста (англ.).

Невысокий офицер тихо, будто стыдясь, проговорил: Это Гитлер погубил Германию.

Конечно, сказала Шарлотта, это вы так считаете. А мне уж позвольте остаться при своем мнении. Я не пинаю ногами тех, кто и без того повержен.

Она подняла ведро. Печальный взгляд офицера по-прежнему был устремлен на Нелли. Они почти добрались до своего костерка, когда мама тихо сказала Нелли: Он ведь еврей, ты заметила? Наверняка из Германии эмигрировал.

Нелли ничего не заметила. Американский офицер, якобы еврей и якобы эмигрант из Германии, произвел на нее жутковатое впечатление. В тот дом они за водой больше не ходили.

В дочиста отмытом умывальном тазу кипел на огне гороховый суп. Когда же Нелли в последний раз видела живой огонь в густеющем сумраке ночи? Давно-давно — тот довоенный костер на празднике солнцеворота, и еще раньше, в Провале. Это было в другой жизни, думала она, странно обрадованная собственной четкой формулировкой. Братишка Лутц в свои двенадцать лет не мог припомнить, чтобы в темноте разрешалось зажечь огонь, тем более костры — сразу дежурный кричит: Гаси! Он, как щенок, сновал вокруг костров, он места себе не находил от возбуждения, будто ему дозволили участвовать в некоей запретной акции; Шарлотта умирала со страху: Не дай бог, свихнется мальчонка.

Как лагерник очутился у их костра? Не иначе кто-то его позвал — наверняка мама. Видела, должно быть, как он одиноко бродил среди телег и костров, изредка останавливался, смотрел на людей, неприкаянный, всем чужой. Шарлотта сразу распознавала, что за народ слоняется вокруг. Прошу вас разделить наш скромный ужин, сказала она, словно приглашая гостя в парадную горницу. Он было воззрился на нее, но быстро сообразил, что это не издевка, а вежливость, адресованная лично ему, и уселся на пенек. Шарлотта выбрала из своих бережно хранимых тарелок ту, что была оббита меньше других, и подала ему. И налила ему прежде всех. Он ел так, что Нелли невольно подумала: вот теперь я понимаю, что значит есть. Круглую плоскую шапчонку он снял. Бугристая стриженая голова, оттопыренные уши. Нос — большущая кость на изнуренном лице. Представить себе его настоящее лицо было невозможно, особенно когда он закрывал глаза, а он закрывал их довольно часто, от изнеможения. И тогда сидя покачивался — Нелли такого еще не видела. Очки в никелированной оправе, с сильными стеклами, были привязаны за ушами грязным шнурком. Когда за толстыми линзами открывались его глаза, брезжила догадка о том, какое у него лицо — не то было, не то будет. Нелли заметила, что смеяться он не умеет. Это была первая крохотная точка соприкосновения между ними.

Мама извинилась за жидкий суп. Ах, добрая женщина, сказал он, мы не привередливы. Нелли впервые слышала, чтобы ее маму называли «доброй женщиной» и разговаривали с нею таким снисходительным тоном. А она, словно тон этот был вполне естествен, сказала: Не привередливы? Охотно верю. Плохую с вами шутку сыграли. В чем обвиняли-то, если не секрет?

Я коммунист, ответил лагерник.

В тот день Нелли слышала сплошь новые фразы. Подумаешь, костры, безнаказанно горящие в ночи! Да разве они идут в сравнение с человеком, который сам открыто обвинил себя в том, что он, мол, коммунист?

Вот как, сказала мама. Так ведь за одно за это в лагерь, поди, не сажали.

С невольным удивлением Нелли отметила, что лицо этого человека все ж таки способно было измениться. Правда, он уже не мог выразить ни злости, ни недоумения, ни озадаченности. В его распоряжении остались всего-навсего глубинные оттенки усталости. Точно обращаясь к самому себе, без упрека, без особого нажима он проговорил: Где вы все только жили.

Конечно же, Нелли не забыла этих слов, но лишь позднее — спустя годы — они стали для нее чем-то вроде девиза.

Ночевать под открытым небом было холодно. Когда, доев вишни, вы опять сидите в машине, едете обратно в Л., уже почти решившись распрощаться с этим городом, Х. рассказывает своей дочери Ленке, как они, пленные, жили в палатках на просторном, отлогом лугу — западнее Эльбы, которую он потом переплыл на лодке, чтобы удрать в родные края,— как им опостылела американская тушенка (есть ее приходилось без хлеба) и как один из пленных каждое утро выходил из своей палатки, поставленной повыше других, и протяжно, с подвывом, кричал на весь лагерь: Не-е-емцы-ы, не-е-емцы-ы, всё-о-о дерьмо-о-о!

Х. повторил этот крик, двадцать шесть лет стоявший у него в ушах, а Лутц неожиданно сказал: Не очень-то он и ошибался, надо отдать ему справедливость. Х. продолжил рассказ: первый побег кончился неудачей, зато вторая попытка переплыть Эльбу увенчалась успехом, и он поспешил домой, не один день шел, временами батрачил у крестьян — за питание и харчи на дорогу. В пути разжился штатской одеждой — с бору да с сосенки, на вид совсем был мальчишка. Военные патрули его не задерживали. Так он избежал тягот лагерной голодухи.

Ленка заметила, что обнаруживается все больше случайностей, которые либо должны были, либо не должны были произойти, чтобы ее родители в конце концов повстречались, а там и она сама родилась. Она не знала, как быть: считать ли себя теперь ничтожеством или, наоборот, пупом земли. В сомнительных ситуациях выбирай середину, сказал ее дядя Лутц, того и другого поровну.

На третий день беженский лагерь под Варсовом был распущен. Лишь несколько километров обозы двигались по шоссе, затем военные регулировщики направили их на проселки, ведшие к отдаленным деревням. Именно там беженцы должны были искать себе приют. Господин Фольк, сверившись с картой, бросил клич: Гросмюлен. В Гросмюлене находилась усадьба полкового приятеля господина Фолька, Густава фон Бендова, родовитого мекленбургского аристократа. Бендовы друзей в беде не бросят.

Шарлотта, которая становилась все строптивее, хоть и спросила вслух: А нам-то какое дело до этих Бендовов? — но не могла же она в конце концов скинуть с повозки свои чемоданы да мешок с постелью и остаться посреди леса, на росстаиях двух песчаных дорог.

Лисбет и Альфонс Радде считали, надо сказать Фолькам спасибо, что те взяли их с собой.

Вот еще дерьма-то, сказала Шарлотта.

Ее сестрица Лисбет тут же вставила, что она, мол, день ото дня грубеет. Пожалуй, так оно и было. Ведь когда, одолев короткую, километра два всего, но скверную дорогу, окаймленную кустами терна, по обеим сторонам которой тянулись огороженные выгоны, они подъехали к Гросмюлену, когда разглядели приземистые, обветшалые домишки батраков да собак, что с яростным лаем кидались на проволочные стены сооруженной посреди двора псарни, когда увидали и сам замок — мрачное здание, где долго не было никаких признаков жизни, — Шарлотта опять открыла рот и сказала: Ну, родные мои, нас и занесло — прямиком к черту на рога.

Это была чистая правда.

16. СИНДРОМ ВЫЖИВАНИЯ. ДЕРЕВНЯ

Храбрецы по нечаянности.

Безоглядность (отсутствие ретроспективы) как одно из условий выживания, как одна из предпосылок, позволяющих разделить живых и выживших, то есть уцелевших. (Х. говорит, в машине воскресным полуднем 11 июля семьдесят первого года, на обратном пути в город Г.: Вы полностью закрыли мне задний вид, куртки у окна надо сложить поаккуратнее. Ну так как, заедем еще разок к вам? — Да, кивнули вы с Лутцем.)

Вопрос из зала: По-вашему, все то, о чем вы пишете, можно преодолеть?

Ответ: Нет, нельзя. (Гибель шести миллионов евреев, двадцати миллионов советских людей, шести миллионов поляков.)

Но какой же тогда смысл — это дополнительный вопрос — снова и снова ворошить прошлое?

(Синдром выживания: психофизическая картина болезни у людей, подвергнутых экстремальным нагрузкам. Разработано на примере пациентов, которые долгие годы были узниками концлагерей или преследовались властями. Основные симптомы: тяжелые, длительные депрессии с прогрессирующими нарушениями коммуникабельности, состояния страха и тоски, ночные кошмары, чувство вины, расстройство памяти, прогрессирующая боязнь преследования.

Подытоживая свои исследования, врач говорит: Мир живых и мир выживших, уцелевших, бесконечно далеки друг от друга, их разделяют световые или, вернее, теневые годы.)

Кто рискнет установить дату, рядом с которой будет записано: преодолено? (Подруга, в шестнадцать лет попавшая из Терезина в Освенцим, а через два года бежавшая с «эшелона», означавшего смерть, говорила, что с тех пор реальность для нее подернута дымкой и разрывается эта пелена лишь иногда, в редкие мгновения. Сама же она, хоть ночью ей и грозят кошмары, а днем зачастую боязнь преследования, стала себе до странности безразлична. Смерть — вот что было ей назначено, а что она выжила, уцелела — это случайность. Случайному выживанию сам человек не способен вновь придать ту же цену, что и жизни, которую никогда под сомнение не ставили. Теневые годы.)

В августе 1945 года Нелли вместе с Фолькмаром Кнопом, тринадцатилетним пасторским сыном, ходила в Бардикове по кладбищу, подыскивая место для могилы господина Мау, который был при смерти. Она спросила у мальчика, не странно ли ему готовить место погребения для еще живого человека. Мальчик, светловолосый, голубоглазый, высокий, серьезно ответил: Нет, не странно. Сам он, к примеру, в состоянии представить себе, что спокойно, безмятежно ляжет в землю вон под той плакучей ивой, у кладбищенской стены. — Так он что же, думает о смерти? — О да, часто.

Нелли вдруг поняла, что ей хочется жить долго. Того человека в ней, который еще три месяца назад готов был умереть от отчаяния, как не бывало, да-да, именно так. С огромной высоты она смотрела на себя, расхаживающую с мальчиком по старому кладбищу, где надгробия покосились и вросли в землю, а имена усопших заплел плющ. Когда-нибудь и ее надгробный камень вот так же утонет где-то в земле, думала она. Впервые она ощутила, что́ такое время, ощутила всем своим существом, которое с каждой секундой старело, приближалось к смерти. Она не задавалась вопросом, как проведет время, отделяющее ее от гробового камня. Оно есть, и этого достаточно. Ее самое изумила обнаружившаяся в ней жажда жизни. Она шагала вдоль кладбищенской стены. Какой аромат, Фолькмар! Чувствуешь? — А как же,— серьезно отозвался Фолькмар Кноп. Шиповник.

Горизонт вокруг деревни Бардиков в Мекленбурге был низкий, апокалипсические всадники незримо держались возле самого его края. Деревня была битком набита людьми — теми, кто пережил личную катастрофу, и другими, кто никакой катастрофы не заметил. Это нагнетало взаимное ожесточение.

Нелли сидела в конторе бургомистра за письменным столом у окна, наблюдая, как одни борются с другими. Она пришла к выводу, что люди в большинстве плохие, и без особой уверенности иногда вмешивалась в события на стороне уцелевших, поскольку принадлежала к их числу. Деревенская жизнь была ее спасением, но совершенно ей не нравилась.

Вне всякого сомнения, комната в так называемом гросмюленском замке — уродливом, мрачном строении со столь же уродливой приземистой башней в южном крыле — была для Нелли и ее родных до поры до времени последней и притом единственно доступной точкой в этом мире. Паркетный пол застелили соломой, а сверху положили брезент. В этой комнате наверняка стоял как минимум один стул с резной спинкой и гобеленовым сиденьем. А может, и несколько. Но стола, помнится, не было. (Шарлотта Йордан: Мир хоть и катится в тартарары — зато все как в луч-

ших домах. Нелли казалось, что ей никогда больше без смеха не прочесть в сказке: «И он увез ее к себе в замок...»)

«Усишкина» бабуля сидит, расставив ноги, на господском стуле, между колен у нее ведерко для начищенной картошки. Незабываемая картина.

Когда человек перестает рисовать себе картины? (И каждый ли перестает?) Бардиков — последний населенный пункт, воспоминания о котором сохранились в виде красочных картин. Если правда, что господь бог таится в мелочах — равно как и черт, разумеется, — то в ближайшие годы оба они будут отступать из памяти все дальше и дальше. (Память без бога и черта — велика ли ей цена?) Не то чтобы картин потом вовсе не было: моментальные снимки со вспышкой, целые серии кадров. Но яркость их потускнела, словно краски реальности по качеству уже не те, что раньше. Зато на заметку берутся другие памятки: молниеносные озарения, вспышки проницательности, разговоры, эмоциональные состояния, повороты мысли. О чем это свидетельствует — о старении? Или же об изменении материала, который нужно запомнить? О том, что механизм памяти приводится в действие в первую очередь уже не органами чувств («Глаза мои! Всюду, /Расширив зрачки, /Вы видели чудо, /Всему вопреки»[1]), а зачастую разнообразными впечатлениями неохватного мира Невидимого, Неощутимого?

Запас опыта, из которого бог и черт исчезли и в котором таишься лишь ты сама?

Все вздор! Так говорит Шарлотта. Мы же всего-навсего пешки в игре больших персон. При том что она-то, ради своих детей, постоянно участвовала в этой игре. Конечно, своих детей она считала умными, даже «одаренными», хотя и не могла бы сказать, чем одаренными. Материальный фон «обеспеченного будущего» исчез, а значит, надо было принять в расчет все, пусть даже самые нереальные, возможности найти занятие детям, в первую очередь Нелли, соответственно их дарованиям. (Шарлотта всегда полагала, что девочка нуждается в образовании ничуть не меньше, чем мальчик.) Нет, сказала она сестре господина фон Бендова — эту «девицу» изрядно за шестьдесят, с серой кожей, серыми волосами и в сером платье, дети метко прозвали «мумией»; в имении брата она командовала женской прислугой, — нет, моя дочка устроилась в другом месте. (Сама Шарлотта давно сделалась незаменимой на кухне, экономка была без нее как без рук.) Вместе с Нелли она пошла к бургомистру в Бардиков (1,7 км) и, без стеснения расхваливая Неллину смекалку и услужливость и красноречиво озираясь в неряшливой бургомистерской конторе, добилась своего: Рихард Штегувайт, тощий, костлявый человек шестидесяти лет от роду, объявил на своем почти невразумительном мекленбургском наречии, что берет Нелли «конторщицей». Но «без никакого жалованья». Общинная касса была пуста. Завтрак и обед — это да, это пожалуйста.

Дорога из Гросмюлена в Бардиков — одна из самых красивых среди тех, какие ты повидала. Торный проселок по сей день; с одной стороны тянется сплошная полоса кустов, с другой — чистое поле, а иногда огороженные выпасы. В полвосьмого утра Нелли не встречала здесь ни души, лишь поодаль работали на полях люди, мало-помалу они начали с нею здороваться. Ведь очень скоро вся деревня — и коренные обитатели, и беженцы — знала в лицо новую бургомистерскую «барышню».

Ты хоть и не можешь похвастаться памятью землемера, но план Бардикова даже сейчас нарисуешь с закрытыми глазами. Нелли считала, что деревня эта очень красивая. Впоследствии, когда вы побывали там вместе, Х. сказал, что она, видимо, как все горожане, поддалась обаянию деревенской романтики. Пожалуй, в этом была доля правды; но деревня изменилась, трудно сказать как, но изменилась — выстроил кой-какие сооружения кооператив, специализирующийся на промышленном производстве молока и говядины, снесены несколько ненужных теперь сараев, на окраине поднялась новая школа-десятилетка. Некогда заиленный деревенский пруд напротив трактира вычищен и углублен, на берегу его расположился дачный поселок. Основные линии плана, в которых Нелли усмат-

[1] Гёте. Фауст, ч. II. Перевод Б. Пастернака.

ривала неизменную натуру Бардикова, были подправлены. В целесообразности этим поправкам не откажешь, но красивее деревня от них не стала.

Со Старого кладбища в Л. вы ушли около одиннадцати. А когда по бывшему Фридебергершоссе въезжаете обратно в Г., служба в бывшей католической церкви Согласия уже закончилась. Теперь название этой церкви не имело бы смысла, ибо все церкви тут католические — целевые постройки, нужные, покуда люди продолжают веровать в бога. Вы едете через вновь отстроенный городской центр — красотой он не блещет, поневоле признаешь ты, — спрашивая себя, почему тезис, что людям следует руководствоваться не верой, но знанием, породил доныне так мало красоты. Ответа не найти, потому что вопрос поставлен неправильно. За его пределами остались характер, объем, направленность и цель этого знания. Ленка предлагает вместо «целесообразность» говорить «человеко-сообразность», до тех пор пока не останется таких, кто видит цель градостроительства — это я только для примера, говорит она — исключительно в обеспечении каждого жителя спальным местом. Слишком дорого это обойдется, говорит Лутц, а ты думаешь: сперва бы надо было найти человеку новые цели, сверх его участия в производстве материальных благ, тогда о дороговизне и речи не будет, потому что словом «богатство» станут обозначать не деньги и человеку, богатому в новом смысле, не понадобится прикипать сердцем к автомобилю, чтобы чувствовать себя человеком...

А вот это уже ни к чему, говорит твой брат Лутц. Выбрось ты из головы свои прекраснодушные мечтания.

Похоже, вы, ребята, здорово спелись, говорит Ленка. Или раньше чтение мыслей входило в программу средней школы?

Твоя мама, говорит Лутц, думает о мире, где у людей развиваются лишь потребности, способствующие расцвету личности — душевному и физическому, понятно?

Ленке понятно. Причем до тонкости, объявила она. Иногда она тоже размышляет о таком мире. Что, собственно, дядя имеет против этого возразить?

Я? — сказал Лутц. Да ничего. Просто хочу, чтоб вы учли: развитие идет иначе — к все более полному удовлетворению потребностей, из коих далеко не все «человеко-сообразны», дражайшая племянница. Но людьми они развиваются как заменители той реальной жизни, которой их лишает производственный процесс, каков он покуда есть и должен быть. А кто из чистого озорства сунет в эту машину руку, тому ее оторвет. И дело с концом. Ибо здесь правят суровые законы, а не свободное усмотрение.

Может, уж не всю руку сразу, говоришь ты. Мизинчик сунуть, и хватит. Парочку соображений. И не из озорства. Просто ведь так можно и до самоуничтожения дойти.

Изволь, говорит Лутц. Личный риск. Впрочем, думайте, что хотите, вы же все равно «вовне». И обижаться тут незачем. Просто эти дела решаются там, где ваши соображения учесть невозможно. Там слово за специалистами. Душевные муки там в счет не идут.

Что верно, то верно, с Лутцем не поспоришь.

Почему теперь, когда ты записываешь ваш разговор — самую соль многих разговоров, — тебе вспоминается фраза врача, который лечил бывших узников концлагерей и узнал от своих пациентов, что многие из них сумели выжить лишь благодаря тому, что впали в состояние полного автоматизма?

Герои? Для нас было бы лучше, выносимее представлять себе эти лагеря как некое место, где жертвы непременно становились героями. Будто достойно презрения — склониться под невыносимой тяжестью. Стоило бы, думаешь ты — и это опять из области несбыточных мечтаний, — говорить в школе и о тех миллионах, которые признали себя побежденными и которых товарищи тоже признали таковыми, о «мусульманах». Стоило бы, думаешь ты, учить и страху перед триумфами людской ненависти; от этого только еще больше станут восхищаться теми, кто ей противостоял.

(Подняв глаза, ты видишь на ручке оконной рамы пестрый шарик. Одна чилийка сделала его в тюрьме из крохотных розочек, слепленных

из хлебного мякиша и раскрашенных. Она подарила шарик девочке из страны, что предоставила ей убежище, и сказала: Этот шарик нужно передавать из рук в руки, и каждый раз человеку, сумевшему вдохнуть в другого надежду. Как же тебе хотелось послать его той испанке — Еве Форест, которая писала своим детям из тюрьмы Иесериас: «Зачем мне скрывать от вас, что я много плакала? В слезах еще больше человеческого, нежели в смехе. Я должна напрячь все силы, чтобы просто выжить... Знаю, история складывается из периодов, и мы как раз переживаем такой, который вынуждает человека овладевать техническими знаниями. Но необходимо постоянно помнить об опасности, связанной с однобокой специализацией... Столь же важно воспитывать в людях эмоциональную восприимчивость, впечатлительность, и для этого нет средства лучше, чем искусство, описывающее, отображающее и утверждающее жизнь». Из тюрьмы эта женщина вдохнула в тебя надежду.)

Новая конторщица бургомистра Штегувайта, дом которого стоит первым, если идти из Гросмюлена, смеялась редко и была справедлива. Дату своего рождения она хранила в глубочайшей тайне, понимая, что, если народ узнает ее возраст — шестнадцать лет, — все ее успешные попытки выглядеть старше пойдут прахом. Отросшие волосы она закалывала в пучок, старалась держаться самоуверенно и глядеть сурово. Без авторитета нельзя. Кто его теряет, тот погиб, запомните раз и навсегда. Просители и ходатаи, приходившие в контору бургомистра, встречали там весьма авторитетную персону.

Нелли так и не довелось узнать, каким человек бывает в шестнадцать лет. Она не успела побыть шестнадцати-семнадцатилетней. Честолюбие требовало выглядеть минимум на двадцать и не скомпрометировать себя, не обнаружить слабости. С трудом ее истинный возраст впоследствии отвоевал назад позиции, которые она силой отобрала у него. Но те годы — их нет, и никогда не будет. Вот так и появились потом родители, которые не были молодыми. Рут, Ленка, сами того не зная (а может, и сознательно), объясняют матери неизвестное слово «юность». Учат ее завидовать, смягчая зависть возможностью разделить радость.

(Когда вы поздно вечером приходите домой, у Ленкиной двери лежит листок бумаги. Она нарисовала себя такой, какую видит в зеркале, — очень серьезной. На обороте написано: Да, я опять не сделала математику, опять не убрала комнату, опять не приняла душ. Неужели непонятно, что для меня важно совсем другое? Правильно, в моем аттестате не запишут: «Особо рекомендуется продолжать образование». Ну и что? Вы за это меня прогоните?)

Причины, которые Нелли уяснила себе далеко не сразу, мешали бургомистру Штегувайту насаждать справедливость. Он недомогал, болезнь желудка прямо-таки высосала из него все соки. И пахло от него какой-то кислятиной. А в последние месяцы от ударов судьбы здоровье его вконец пошатнулось. Особенно худо он чувствовал себя перед приближением оккупационных войск, то и дело менявшихся. В одежде, даже в башмаках он забирался от них в постель и дрожащим старческим голосом велел нести горячий кирпич, который его невестка Розмари Штегувайт, в девичестве Вильгельми, специально для этого держала на плите. Кирпич завертывали в тряпки и клали бургомистру на живот. А рядом, в конторе, господин штудиенрат Унтерман наставлял конторщицу Нелли Йордан в том, как надо вести дела и принимать посетителей.

Штудиенрат Унтерман, беженец из Дрездена, поместил Нелли у окна, за маленьким столиком, где стояла допотопная пишущая машинка, на которой ей надлежало выучиться печатать. Сам Унтерман восседал на торце центрального стола. У него была отвратительная манера корчить из себя великого педагога и запугивать людей. Кстати, говорил он на саксонском диалекте, для мекленбуржцев непонятном, и, в свою очередь, называл нижненемецкий говор здешних крестьян не иначе, как «тарабарщиной». Нелли очень скоро стала понимать тот и другой диалект либо угадывать общий смысл и была вынуждена взять на себя функции переводчика — триумф, которого господин Унтерман ей не простил.

Кстати, именно штудиенрат Унтерман рекомендовал Нелли изучить так называемый сельский реестр — список всех членов общины, имеющих во владении землю; написан он был рукой самого Рихарда Штегувайта,

зюттерлиновским шрифтом, косыми дрожащими буквами. Коренное население деревни делилось на три категории: «многоземельные крестьяне», «малоземельные крестьяне» и «безземельные бобыли». В реестре были указаны глава каждого семейного хозяйства и количество гектаров, которыми оно располагало. Унтерман предложил Нелли проверить, в какой рубрике обнаружится «наш шеф», бургомистр.

Рихард Штегувайт числился среди безземельных бобылей — земли у него было всего-навсего 8 га. Сколько ж это моргенов, а? — сказал Унтерман. Правильно: ровнехонько 32 моргена, плевок. В том числе клочишко болотистого луга, вон он виднеется из кухонного окна, там наша любезная Дульцинея, того гляди, околеет (штегувайтову корову звали Пеструхой, но Унтерман упорно именовал ее «наша любезная Дульцинея»). А теперь прочтите-ка, пожалуйста, что написано против фамилии Пальке. — Против фамилии Пальке Вильгельм стояло: 74 га, а рядом пометка — «многоземельный крестьянин». — Вот видите. Первоклассная почва, к слову сказать. Теперь-то вы, наверно, догадываетесь, почему наш дорогой Штегувайт скатывается с кровати, когда сюда заходит господин Пальке, и почему не трогается с места, когда нам наносит визит мистер Форстер. Мистер Форстер из Висконсина уедет. А Вильгельм Пальке останется. Н-да, дитя мое — Унтерман упорно звал Нелли на саксонский лад «дитя мое», — вам еще многому предстоит научиться.

Мистер Говард Форстер, сержант, командовал в Бардикове «америкашками» (выражение Унтермана), численность личного состава — человек десять, не больше. Он заходил в контору предъявить претензии по поводу расквартирования солдат или подписать пропуска и угостить штудиенрата Унтермана американскими сигаретами, которыми тот после набивал трубку.

«Стояли» американцы в специально для них освобожденном доме малоземельного крестьянина Иоганна Теека; располагался он на одной из слегка поднимающихся в гору боковых улочек, которые вливались за деревней в кольцевую дорогу. Сержант Говард Форстер, смуглый, коренастый, с вихром, падавшим на лицо, держал свой десяток таких же коренастых или долговязых парней — среди них ни одного негра — отнюдь не в ежовых рукавицах, так что из «американского дома» день и ночь неслась разухабистая музыка («негритянский джаз», штудиенрат Унтерман) и разный другой шум, а в палисаднике росли горы бутылок и пустых консервных жестянок. Не говоря уже о том, что в иные деревенские дома попадали не только пустые, но и полные банки американских консервов вкупе с сигаретами и кофе. В обмен на что именно — господин Унтерман мог бы, пожалуй, и не уточнять.

Да-да, лучше б ему не сообщать этого своим надтреснутым, брюзгливым голосом. Однако он даже не подумал вмешаться, когда бургомистр Штегувайт («в некоторых вопросах уже по ту сторону добра и зла») послал новую конторщицу к мистеру Говарду с бумагой, которую она сперва с превеликим трудом напечатала на машинке по наброскам Унтермана и которая должна была избавить как самого бургомистра, так и его «зама», Унтермана, от сдачи радиоприемников (1 репродуктор, 1 приемник марки «Саба»). По причинам экстренного служебного характера. Текст Унтерман составил на английском языке, от оценки которого Нелли предпочла воздержаться.

Итак, она скрепя сердце отправилась на «Дикий Запад» — так ее мама прозвала обиталище американцев — и увидала там как раз то, что ожидала.

Двери у «америкашек» стояли настежь. Такой уж у них обычай, хотя к нему привыкнуть легче, нежели ко многому другому, только он все же уместнее в автоматизированном американском коттедже, чем в мекленбургском крестьянском доме, где и при закрытых дверях «безбожно сквозит» (Шарлотта Йордан). Музыка, понятно, из портативных радиоприемников. (На что им немецкие-то? Штудиенрат Унтерман: Чтобы вызвать духовное одичание германской нации.) После Неллина появления в мощенной кирпичом передней из комнаты справа доносятся гиканье и свист. Правда, не «вульгарные», как сказала бы Шарлотта, и совсем не опасные. Скорее довольные, даже восторженные. Взгляд в казарму. Мекленбургские крестьянские кровати, на которых средь бела дня валяются по-

луголые парни (Шарлоттин лексикон). Большинство облачено в тот предмет одежды, который, как впоследствии узнает Нелли, именуется шортами. Голые, волосатые мужские торсы. Hallo, baby[1], и так далее.

Нелли — с безукоризненным произношением — спрашивает насчет «commander»[2]. Все наперебой: Другая дверь. Напротив. Сержант Форстер, в шортах и майке, водрузив ноги на плетеный стул с гнутой спинкой, жует резинку, слушает музыку из портативного приемника. Он читает Неллину бумагу, пишет внизу одно-единственное слово и, подписав, возвращает «курьерше».

Резолюция, которую Нелли тотчас прочитывает, гласит: No.— Нет.
Нелли говорит: Большое спасибо. До свидания.
Commander кивает: Bye-bye.

Штудиенрат Унтерман, по прочтении форстеровского «No»: Гнусность победителя. Нелли злорадствует. Она хоть и разделяет унтермановы соображения насчет «нашего отечества» («Итак, нам суждено стать свидетелями гибели нашего отечества»), но лично ему желает «всяческих благ» (Шарлотта Йордан, тоже «раскусившая» штудиенрата).

Транспорт для вывоза радиоаппаратов из деревни Бардиков, включая «Сабу» штудиенрата Унтермана и репродуктор из бургомистерской конторы, должен предоставить многоземельный крестьянин Пальке, наверняка со скрежетом зубовным, полагает Унтерман. Вполне достаточно простого фургона. Ежели по дороге что сломается — не наше дело. Повозка останавливается у каждого дома; Неллина задача — стучать в двери, забирать приемники, ставить в списке галочку. Штудиенрат Унтерман укладывает приемники в фургоне. В общем, процедура унизительная, тут он прав.

Еще раз по Рихтштрассе (церковь девы Марии, прощальные взгляды). Еще раз бывшая Зольдинерштрассе, еще раз мимо бывшего йордановского дома. Снова-здорово. Теперь-то что? Повернем или как? Повернем. Бывший йордановский дом теперь в зеркале заднего вида, все уменьшается в размерах. У всех хватает деликатности не брякнуть: Оглянитесь еще разок. Никто не сознается в отсутствии эмоций.

Общий вопрос, не остаться ли еще, пришлось решать тебе. (Нет, скромно сказала Ленка, ей кажется, не стоит.) Вы затормозили у маленького Старого кладбища, у подножия большущей лестницы, что связывает две расположенные на разных уровнях улицы, а потом, разделившись пополам, круто поднимается к бывшим казармам имени генерала фон Штранца, где как раз тогда — в сороковые годы — служил некий военный врач по имени Готфрид Бенн[3]. У подножия лестницы, по которой Нелли когда-то поднималась вместе с Юлией (доктором Юлианой Штраух), вдруг вспомнила ты. Вспомнила и о чем они говорили: не хочет ли Нелли подготовить к вступительным экзаменам в среднюю школу девятилетнего мальчика, сына мясника, у него большие пробелы в знаниях. Она, Юлия, во всех своих классах не знает более подходящей кандидатуры, чем Нелли. Разумеется, не бесплатно, пять марок в час, и церемониться тут незачем. Дурацкое ощущение счастья в душе у Нелли, здесь, на этой лестнице. Робкий, худенький, светловолосый сын мясника. Клаус... да, правильно: Клаус. У него нелады с орфографией. Белый конверт в конце месяца, содержимое: двадцать рейхсмарок. Большой букет от жены мясника — худенькой, светловолосой, робкой.— когда ее сын Клаус выдержал экзамен...

Нет, слышишь ты собственный голос, мне тоже кажется, не стоит. Поехали.

(Дома ты перечитаешь у поэта и военного врача, «Корпус II, комната 66», который сосчитал ступеньки той лестницы: их сто тридцать семь, пишет он. «Казарма лежала на вершине холма; точно крепость, она господствовала над городом».— «Ничего нет задумчивее казармы»,— пишет он, и еще: «Город на востоке», над чем ты всегда невольно посмеиваешься, ведь Нелли считала «востоком» Кёнигсберг, Данциг, ну Бромберг[4], наконец, но уж никак не свой родной город: «Эти восточные города, в мартовские дни столь пасмурно-серые, столь пыльные — таким манером их не объяснишь». Взгляд пятидесятивосьмилетнего, быть может, внезапно — забавно подумать — скользящий по пятнадцатилетней, мимоходом, у подножия лестницы: странность из странностей, виденных им, не ею, потому-то ты их не узнаешь. «Улицы, половина их вдавлена в землю, половина бежит по холмам, незамощенные; дома, к которым нет дороги, непостижимо, как обитатели в них попадают; заборы, как в Литве, замшелые, низкие, мокрые». Где же они — эти улицы, эти дома, эти заборы? Ты бы тоже хотела их увидеть. Но X., не желая возникновения этой извращенной тоски, говорит, что ты все понимаешь неправильно. Это стилизация, как и описание городского парка: «...невероятно бросается в глаза лебединый мотив. Лебеди — это стилизация!» И все же, и все же... Как благородно. Благородно в силу дистанции. Незнакомый взгляд из-под слегка приподнятых бровей. «Куда ни обратишься слухом — последний отзвук, всегда конец...»

[1] Привет, крошка **(англ.)**.
[2] Командир **(англ.)**.
[3] Бенн Готфрид (1886—1956) — известный немецкий поэт и прозаик.
[4] Ныне г. Быдгощ (ПНР).

Город как предлог, как мотив, как знак, не как город. Ты, кажется, понимаешь.)

Дни штудиенрата Унтермана в бургомистерской конторе были, кстати говоря, сочтены. Лутц, который в конюшнях господина фон Бендова ступил на стезю коновода, не сохранил воспоминаний о Феликсе Унтермане и почти не сохранил — о бургомистре Штегувайте, разве только смутное впечатление, что он был нацист. Нацист? — говоришь ты. Не знаю. Член НСДАП — пожалуй, оттого и трусил.

А его сын? Он не эсэсовец был?
Да, войска СС.
Вот видишь. Домой он не приходил.

Не приходил, пока мы были в Бардикове. Его жена Роземари и двое детей — Дитмар и Эдельтраут — ждали, а он не приходил. Отец же больше боялся, чем надеялся, что он вернется.

Брат Лутц по сей день помнит клички некоторых лошадей, помнит, чем их кормили, прямо воочию видит, как сидят они с Герхардом Грундом, сыном убитого сельхозрабочего, на сеновале и рассуждают о том, что хотят стать инженерами. И стали оба.

Ну, вперед, говорит Лутц. Курс на родину.

Словом «нацист» ты долгие годы после войны не пользовалась. Нелли бы в голову не пришло назвать штудиенрата Унтермана нацистом. Впервые Нелли услыхала это слово от американского captain'а[1], явившегося однажды под вечер в контору вместе с двумя военными полицейскими и непременным сержантом Форстером. Captain говорил по-немецки с сильным американским акцентом, и Нелли сперва послышалось «нэзист», она только потом сообразила, ка́к captain назвал дрезденца-штудиенрата. Возле конторы стоял американский армейский грузовик с белой звездой на дверце и черным шофером, который, смеясь, раздавал жевательную резинку столпившимся рядом деревенским ребятишкам.

Самым странным в короткой сцене ареста — первой из разыгравшихся на глазах у Нелли — был и остался тот факт, что штудиенрат Унтерман все понял еще прежде, чем captain вылез из машины, прошагал со своей свитой через палисадник, через сени и, коротко, энергично постучав, вошел в комнату. Машина только успела затормозить, а штудиенрат Унтерман уже поднялся со своего начальственного места за центральным столом, побледнел и действительно дрожащими губами пробормотал: Идут! На что Рихард Штегувайт, случившийся в конторе, отозвался буквально так: От судьбы, видать, не уйдешь.

Captain, который быстро сориентировался среди конторского персонала, бросил Унтерману фразу, где прозвучало слово «нэзист». Унтерман, тотчас выйдя из-за стола, сделал жалкую попытку недоверчиво улыбнуться, причем из левого уголка рта у него побежала тоненькая струйка слюны, сумел еще вякнуть что-то про донос (подлый донос, мистер captain, клянусь вам!), но возмущенный человек выглядит совсем не так, как испуганный, Унтерман был испуган. Он как всегда прошел у Нелли за спиной к двери, по бокам которой стояли два военных полицейских, как всегда споткнулся о ножку Неллина стула и с возмущением — наконец-то искренне — ойкнул. Как всегда.

[1] Капитан **(англ.)**.

Тут Нелли захохотала. Невольно прыснула, когда полисмены своими белыми перчатками схватили штудиенрата Унтермана за локти. И вот тогда-то обнаружилось, что господин Унтерман был педагогом до мозга костей, ибо на пороге он обернулся и вынес Нелли свой приговор: Незрелый вы человек! — Это было последнее, что она от него услышала.

В окно ей было видно, как он безвольно плелся к грузовику, к откинутому заднему борту. В кузове уже сидели двое мужчин, которых ничем, кроме страха, на Унтермана не походили. Они протянули сверху руки, а военные полицейские — белые поясные ремни, белые кобуры — подсадили Унтермана снизу и после тоже влезли в кузов к трем арестантам. Борт запер сержант Форстер. Captain сел в кабину, отдал негру-шоферу, который, по-прежнему жуя, невозмутимо и неподвижно глядел вперед, приказ к отъезду. Тот рванул с места, и все в кузове повалились друг на друга. Таким Нелли в последний раз видела штудиенрата Унтермана — на полу в кузове американского грузовика: в прошлом упитанный мужчина лет под шестьдесят в единственном, некогда выходном сером костюме, который болтался на его фигуре так же, как болтались на лице некогда тугие, а теперь обвисшие, дряблые щеки. Жалкое зрелище.

Н-да, сказал бургомистр Штегувайт. Вот те жахнули.

Нелли заняла ответственный унтермановский пост, не сменив стола в конторе.

Не знала она, говорит Ленка, да и не верится как-то, что не всякий член НСДАП был вместе с тем матерым нацистом. У твоего бургомистра, твердит она, рыльце явно было в пушку. Ты говоришь: Да. Он был беден. — Двенадцать дня, воскресенье в июле семьдесят первого, по-прежнему жара; бывшая Фридрихштрассе и деревня Веприце уже позади. Остается обратный путь. Ленка расспрашивает о Рихарде Штегувайте, который уже добрых четверть века лежит в мекленбургской земле, и никто больше о нем не расспрашивает. Как же это он стал нацистом, если был бедняком?

Сколько времени понадобилось Нелли, чтобы в этом разобраться? Два года в Бардикове дают ей только материал для позднейших выводов: бобыль Штегувайт, 8 га, из года в год берет напрокат у многоземельного крестьянина Пальке, 74 га, трактор. Когда освобождается пост бургомистра — anno 37, — сам Пальке занять его не желает. Он не горит желанием вступать в партию. Штегувайт тоже туда не рвется, но в конце концов все ж таки вступает и становится бургомистром. Пальке ловко вывернулся. А к Штегувайту, к бедняку, липнет ярлык «нацист».

Как в плохих книжках, говорит Ленка. — Почему? — Точь-в-точь так все себе и представляешь. — Иной раз реальность в книгах волей-неволей совпадает с ходячими представлениями о ней. Кстати, главный признак плохой книги отнюдь не в том, что ее повествование отчасти соответствует расхожим представлениям. — А в чем же? — В том, что такая книга стремится соответствовать им целиком и полностью.

Что же это означает, применительно к Штегувайту?

Что Штегувайта, нациста против воли, ловит на слове собственный сын Хорст: он становится тем, кем отец только прикидывается. А Хорст вдобавок был красавец мужчина. Светлый образ. Сколько недель Нелли спала в спальне супругов рядом с Роземари Штегувайт, под его портретом, и видела, как Роземари каждый вечер... молилась, иначе не скажешь, на эту фотографию. Видела, что каждое дарованное господом утро первый взгляд Роземари доставался этой фотографии, на которую обещала быть похожей малютка Эдельтраут, тогда как юный Дитер пошел целиком в мать. И слышала, как Рихард Штегувайт в перепалке с невесткой проклинал сына: Он и мать свою в гроб вогнал, и на нас на всех беду накличет, ежели вернется. Будь он проклят. На это Роземари: Ну мыслимое ли дело — этак грешить против своей же плоти и крови, в твои-то года!

Библейские сцены. Ленка не может судить об этом, держит нейтралитет. Воскресные деревни, по которым вы едете — сплошь выстроенные вдоль дороги, — группы молодежи, гуляющие перед обедом по единственной улице, девушки с девушками, парни с парнями. Интересно, скучно им или нет? Они провожают взглядом машины, проезжающие здесь нечасто. Парни в белых рубашках и джинсах, девушки в коротеньких юбочках и ярких блузках.

Если девушки и парни стоят вместе, то компаниями, не парочками. Как у нас в деревнях, говорит Ленка.

Нелли позже всех поняла, что оказалась на положении исполнительной власти. К примеру, в ее обязанности входило выделять подводы на гужевую повинность — возить из карьера песок для ремонта наиболее серьезных повреждений, нанесенных танками важным дорогам. Нелли была справедлива. Она действовала по принципу: одна подвода от каждого двора, регулярно. На этой основе она составила список и оповестила исполнителей. А после обеда к ней явился сапожник Зёлле, ввалился без стука, сорвал шапку с головы, шваркнул ее о скобленые половицы и принялся орать. Нелли достаточно разбирала местный говор. И поняла, что сапожник Зёлле ругательски ругает ее за несправедливость по части гужевой повинности. Он-де, Зёлле, властям не какая-нибудь там грязная ветоха. Прошло то времечко. — Нелли знала, что «ветоха» — это «тряпка».

Сапожник Зёлле был ей известен: единственный в деревне коммунист и человек по натуре вспыльчивый. Она, однако, чувствовала, что вполне способна противостоять вспыльчивым натурам, особенно если правота однозначно была за нею, вот как сейчас. Так она и сказала, а в ответ сподобилась насмешки: Зёлле вроде бы возмущался, что Пальке, Фреезе и Лаабш, у каждого из которых по четыре, по шесть лошадей в конюшне, отбывают точь-в-точь такую же гужевую повинность, как и он со своей единственной полудохлой клячонкой.

Одна подвода от каждого двора, отрезала Нелли.

Тогда Зёлле сказал, что плевать хотел на ее список, и ушел.

А потом случилось нечто поразительное.

Бургомистр Штегувайт, полностью одетый, вышел из своей спальни, молча прошагал к телефону, который с недавних пор опять заработал — в Бардикове насчитывалось семь абонентов, — покрутил ручку, набрал номер и оповестил многоземельного крестьянина Пальке об изменениях в составленном Нелли списке на гужевую повинность, изменениях в пользу Зёлле и к невыгоде Пальке. Как ни странно, на том конце провода возражать не стали. Нелли велено было отнести Зёлле новый список.

Нет, сказала она. Я против. Этак каждый сюда ходить начнет.

Не-а, сказал Рихард Штегувайт. Каждый все ж таки не ходит. В том-то и разница.

Один из редких снов последнего бессонного времени: сидя перед большой благосклонной аудиторией, ты должна читать вслух тоненькую книжицу, но написанную по-польски. (Чужие языки, перед ними приходится пасовать.) Тоненькая книжка, текст которой ты не можешь расшифровать, смысл которой ты не способна донести до слушателей. Толстая книга, в которую войдут годы твоей жизни. Ты и желаешь ее и вместе с тем не в силах желать. Езда на тормозах. Вредно для мотора.

Ты вот не поняла, что произошло, когда сердечный ритм вдруг сбился, зато мгновенно сообразила, почему так случилось. Этот орган взял на себя щекотливую, быть может, даже опасную задачу сигнализировать о состоянии крайней внутренней загнанности, которое ты никак иначе не хотела принять к сведению. Язык нашего организма — мы не умеем его расшифровывать, потому что твердо решили не смешивать память телесную и память душевную. Откровения захлестывают лавиной, а врачи предполагают страх смерти и не согласятся со словом «облегчение». Колоссальное облегчение, хотя уколы по-прежнему не действуют. Передышка уже не как запретная мечта, а как предписание. Такая истома. Смущаться незачем, она узаконена. Слабость, ну что ж. Ты даже невольно смеешься над хитростью тела. (Тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока приложенная к нему сила не вынуждает его это состояние изменить. Какая сила? — спрашивает учитель физики, тяжелобольной человек, эвакуированный из разбомбленного Берлина. Верно: сила тяготения. Верно: сопротивление, вызванное трением об опору. И — сопротивление воздуха. Или, по-вашему, то, что невидимо, не может оказывать сопротивления?)

Истома оттого, что все вычерпано до дна? Огромный соблазн бросить работу. Речь ведь идет не об истории, которая непременно должна привести к определенному концу. И какова же в таком случае та умозрительная точка, до которой ее нужно довести? В больнице без всякого желания работать, вперемежку с первыми, еще непонятными приступами страха, ты словно бы ясно видишь: конечная точка будет достигнута, когда второе и тре-

тье лицо вновь соединяется в лице первом, более того — совпадут. Когда уже не будет «ты» и «она» — когда без обиняков придется сказать «я». Тебе показалось весьма проблематичным, чтобы ты сумела достичь этой точки, и вообще, чтобы путь, тобою избранный, привел именно туда. Так или иначе, ты не горела желанием прежде времени покинуть сей мир, о чем, кстати, и речи быть не могло. Подспудные расчеты, производимые лишь в периоды неверия — неверия в неисчерпаемость кой-каких способностей или побуждений. Или принуждений.

Отвращение к слову «творческий».

Непрожитое — действенно, и вместе с тем о нем трудно говорить. В глубинах пещеры повествования. Далеко-далеко слабо светится выход. Незнание природы света, который ждет снаружи.

Есть ли еще какой-то смысл в вопросе «кто ты?»? Не устарел ли он безнадежно, не стал ли анахронизмом, оставшись в тени допросного «что ты сделал?», которое в тебе самой наталкивается на хилый контрвопрос: Что меня принудили сделать? — Чувство ответственности, истраченное на то, что ответственности не подлежит и только запруживает поток повествовательной речи. «Бороться не по заданию и делать свое дело?» (Ленкино воспоминание: однажды, когда она болела, ты всю ночь просидела у ее постели; открывая глаза, она все время видела тебя, и ей кажется, что этим самым ты спасла ей жизнь, ведь с того утра температура пошла на убыль. Она отметает твою попытку уточнить, что болезнь ее была тяжелой, но жизни не угрожала; она-то верила, что может умереть, и ты приняла ее веру всерьез, этого достаточно. Все понятно. Она подбрасывает тебе оправдательный материал.)

Итак, Нелли. Образец аварийной зрелости поневоле, сама себя толком не знающая. Воспитанная в привычке жать на аварийные тормоза: строгость, чувство долга, сознание ответственности, прилежание. Что ей тогда снилось — неизвестно. Она не придавала значения грезам. Зато трагически воспринимала себя и отучилась от этого лишь много позже.

От новых районных властей пришло распоряжение произвести в общинах подсчет жителей; Нелли ходила по домам и всех пересчитывала — отдельно местных и беженцев, мужчин и женщин, взрослых и детей; затем она вместе с бургомистром Штегувайтом села в старый двухместный драндулет, свезла свои списки в район, серьезно поставила рядом с бургомистровой свою подпись, удостоверяя «правильность подсчета», и поехала назад в деревню с портфелем, набитым продуктовыми карточками — за них она отвечала головой. На обратном пути она обсуждала с Рихардом Штегувайтом, как действовать в случае вооруженного нападения, которое было отнюдь не исключено. Я человек старый, я останусь на месте, а вы, барышня, хватайте портфель — и в лес. Если мы явимся в деревню без карточек, нам все равно каюк.

О смене оккупационных властей Нелли узнала первая, по телефону. Бардиков отходит под контроль британской администрации. Сержант Форстер со своими солдатами отбыл в неизвестном направлении. Малоземельный крестьянин Теек опять въехал в свой дом, вынес с участка пустые бутылки и консервные жестянки, закопал их под забором и открыл бойкую торговлю баночками растворимого кофе, почти полный ящик которых обнаружился у него в мансарде. Наряду с иными, более преходящими ценностями этот гешефт принес ему серебряный столовый прибор, торшер с зеленым шелковым абажуром и бисерной бахромой, писаную маслом картину (она изображала сбегающий в долину лесной ручей и перекинутый через него деревянный мостик с перилами), а главное — черную в блестках пелерину для его двадцатилетней дочери Ильзелоры, девицы несколько чахоточного вида, в которой он души не чаял.

Господь бог в мелочах, на свежий взгляд уцелевших. Вновь пробудившееся любопытство как явный признак жизни, независимо от настроений. Миниатюры. Пример: британская оккупационная власть в лице одного-единственного солдата, долговязого рыжеватого парня на велосипеде, в форме цвета хаки и в берете, — он подъехал к садовой калитке бургомистра, прислонил велосипед к живой изгороди, даже на замок его запер, а минуту спустя постучал в дверь конторы. Первый его вопрос после учтивого приветствия был: Вы по-английски говорите? И Нелли, в которой боролись две гордости, в конце концов сказала: Yes.

Англичанин, бывший англичанином сверх всякой меры, являл собою, по собственным его словам, патруль и столоваться должен был у крестьян, за плату, разумеется. Он показал оккупационные деньги. Нелли запамятовала, как будет по-английски «невестка», когда знакомила с англичанином Роземари Штегувайт. Та изъявила готовность подать завтрак. Нелли осталась наедине с победителем, разговор у них шел весьма немногословный. Он, почти не поворачивая головы, внимательно рассматривал обстановку. Раз и навсегда решит, что немецкая бургомистерская контора выглядит именно так, подумала Нелли. Но не сочла нужным объяснить ему, что вышитое крестиком изречение «Кто на бога уповает, благонравно поступает» висит на стене между печью и часами по чистой случайности.

Ужас: злосчастная Роземари Штегувайт принесла завтрак на двоих. Ветчину и домашний печеночный паштет. Англичанин и Нелли по углам большого стола, с которого сдвинули бумаги. Немного погодя вопрос нежданному гостю: нравится ли ему завтрак? O yes, thank you[1]. Молчание. А через некоторое время глубокомысленное замечание с его стороны: не узнал бы фельдмаршал Монтгомери, с кем он тут сидит за одним столом. — Как это? — Всякое общение с немецким населением британским войскам строго запрещено. Запрет на братания. (Ассоциация при любом повторе брехтовского зонга, где есть строчка: «Братались мы с врагом...» [2])

Как в таком случае поступает представительница немецкого населения? Она берет тарелку и стакан, выходит из-за общего стола и садится спиной к победителю (наши германские родичи!), за свой стол у окна. Англичанин, который якобы ничего подобного не имел в виду, спешит покончить с завтраком, расплачивается с госпожой Роземари, коротко прощается и уходит. Нелли видела, как он вскочил на свой новенький блестящий велосипед. И все, он исчез навсегда. А она, между прочим, с огромным наслаждением выполнила приказ вражеского фельдмаршала Монтгомери.

Довольно долго она думает, что была права. Довольно долго еще — как ты теперь видишь — правота и неправота сомнений не вызывают. Лица, способные сказать избавительное слово или хотя бы кое-что разъяснить, на горизонте пока, увы, не появились. Пока все те же пятьсот человек в Бардикове да сто в Гросмюлене, которые из всей мировой истории только и усвоили, что она довела их до нищеты, и чуть ли не поголовно ударяются в панику, когда британские оккупационные власти в обход немецких инстанций вывешивают объявление, что, мол, на основе определенных соглашений вся власть сегодня в полночь перейдет в руки советской администрации. (1—3 июля 1945 года союзники отошли в обозначенные соглашениями зоны оккупации). Ввиду передислокации войск все дороги будут для гражданских лиц закрыты. Население просят сохранять спокойствие.

Русские идут. Около двух часов ночи в запертую на все засовы парадную дверь бендовского замка в Гросмюлене громко и настойчиво стучат. Шарлотта говорит: Такое может случиться опять же только с нами. К приходу русских мы, фон-бароны этакие, живем, как нарочно, не где-нибудь, но в замке. Тетя Лисбет Радде возражает: Когда русские на подходе, совершенно безразлично, кто где живет.

Неужели никто не откроет? Шарлотта в темноте велит детям одеться. Она сама поглядит внизу, что да как. Вполне на нее похоже.

Запыхавшаяся экономка влетела в комнату, умоляя спрятать ее. Это была упитанная особа лет пятидесяти с глазами-буравчиками и курчавыми бесцветными волосами, утыканными множеством заколок. Ее комнатенка в мансарде, как слыхала Нелли, просто игрушка. Теперь же она прямо в одежде и грязных туфлях рухнула на Шарлоттину постель.

Стук на первом этаже умолк. Шум, беготня. Непривычные, очень непривычные хриплые голоса. Нелли обдало страхом.

Шарлотта вернулась нескоро. Ее зять Альфонс Радде успел неоднократно напророчить ей всяких ужасов. А тетя Лисбет неоднократно заливалась нервными слезами.

Войдя, Шарлотта принесла с собой незнакомый запах. Перво-наперво она сказала, что Бендовы «набитые дураки»: оккупационные власти

[1] О да, спасибо (англ.).
[2] Брехт Б. Мамаша Кураж. Перевод С. Апта.

стучат в дверь, а они сидят в салоне и кладут в штаны, вместо того чтоб открыть дверь и передать дом в их распоряжение.

Откуда ж это она знала, как себя вести, когда победитель стучит в дверь. Стало быть, она и открыла? — А то кто же. — Ну и как? — Да никак! — С ними женщины были, в форме. Одна по-немецки умеет, спросила у меня: Ты хозяйка? — Батюшки, солдаты в юбках! — Потом я провела их по нижнему этажу. Комнатки там загляденье, доложу я вам. Они себе выбрали, кому какая понравилась. — Ну а потом? — А потом — смех. Знаете, что они попросили? Полотенца!

Все молчали. Потом Альфонс Радде сказал: На портянки изведут. Не-ет, сказала Шарлотта. Не изведут.

Дверь отворилась. Экономка взвизгнула. На пороге стоял молоденький русский солдат с карманным фонариком. Он осветил комнату, луч скользнул по Неллину лицу. Шарлотта цыкнула на экономку: Да возьмите же себя в руки, бога ради! — а солдату сказала громко и раздельно, словно тугоухому: Бе-жен-цы, понятно? — А-а, гут, гут! — кивнул солдат и ушел. Солома на полу явно сказала ему больше, чем Шарлоттины объяснения.

Замок заняли под комендатуру, немцев выселили. Нелли устроила свою многочисленную родню в Бардикове, в доме пастора. Та же солома на полу, только комнатушки, где они кое-как разместились, на этот раз были еще меньше. Косые стены, слуховое окно. Они безусловно перешли на более низкий уровень, хотя пасторша, Гермина Кноп, — пока муж был в плену, она исправляла его обязанности, — встретила новых жильцов приветливым «помогай бог!». Она попросила Шарлотту называть ее «госпожа пастор», даже если госпожа Йордан и не верует в бога. — Господь нас недолюбливает, сказала Шарлотта. Согласитесь, ведь это так, госпожа пастор.

Пасторша Кноп верила — вне всякого сомнения, действительно верила, — что Иисус Христос провозгласил заповедь любви к ближнему на самом что ни на есть полном серьезе. Злого слова от нее никто не слыхал. Но радушием сыт не будешь, а с голого, как со святого — и с господа бога тоже, — взятки гладки. Однажды тетя Лисбет, судя по всему, отказалась препираться с другими беженками из-за местечка для сковородки на большой пасторской плите. Хочешь не хочешь, пришлось кашеварить на улице, то есть соорудить в пасторском дворе очаг, из кирпичей от старого сарая. Пришлось-таки стать на одну ступеньку с волынскими немцами, которые давно уже расположились под открытым небом. Пришлось мотать на ус, что по-прежнему есть возможность пасть еще ниже. Постыднейший симптом: «усишкина» бабуля ела биточки из конины, прикидываясь, будто знать не знает, из чего они. Дома-то она даже кастрюльку детям не дала, когда они хотели разогреть сосиски из конины, купленные на ярмарке, на троицын день. А теперь на глазах у Нелли бабушка ела конину.

Рядом, в чердачной каморке слева, умирал господин Мау, консисторский советник из Позена. Две недели назад этот человек, когда-то, говорят, силач и здоровяк, еще ходил сгорбившись по дому и по двору. Он был из тех беженцев, которые имели доступ к пасторше в гостиную. Она обсуждала с ним литургические вопросы, он поистине был ей опорой. Его жена, старообразная, усохшая дамочка, сновала вокруг, слезно причитая по поводу розентальского сервиза, оставленного в позенском серванте. Дети, в том числе и Нелли, звали ее не иначе, как госпожа Мяу, а брат Лутц с кузеном Манфредом до того обнаглели, что выкрикивали это прозвище ей вдогонку. Госпожа Мау каждый день стирала пикейные манжеты и воротничок, которые пришивала к своему единственному мышино-серому платью. Николаус, ее муж, любил опрятность.

И вот теперь он умирал. Трудно сказать от чего. Медсестра Марта предполагала, что у него неважно с сердцем. Да никогда, стонала госпожа Мау. Муж у нее всегда был богатырского здоровья; это она твердила по десять раз на дню: Ну разве он не богатырского здоровья? Дети перестали кричать «мяу». Пасторша Кноп вступила в секретные переговоры с деревенским столяром. Она не допустит, чтобы ее жильца похоронили как собаку. Вот Нелли и отправилась с Фолькмаром Кнопом на кладбище, подыскать место для могилы господина Мау. Она отчетливо осознала достоинство смерти, ибо умирающему отвели целую комнату — ту, где жили мужчины, размером два на три метра. «Усишкин» дед, дядя Альфонс Радде, Лутц и Манфред устроились на чердачной площадке возле лестницы. Место госпожи Мау в женской комнате пустовало, она сидела у постели умирающего. Причитать и жаловаться она перестала. Теперь стонал и хрипел ее муж. Ночью Лутц пришел с площадки в женскую комнату и, ни слова не говоря, улегся на место госпожи Мау, но тонкая дощатая дверь почти не приглушала предсмертные хрипы. Все молча лежали, глядя во тьму над головой. Нелли желала господину Мау, чтобы он ничего не чувствовал.

Ленка утверждает, что смерть происходит совсем не так, как представляют себе живые. (Вы едете через поселок, который раньше назывался Фитц. Улицы почти безлюдны, в деревнях обедают ровно в двенадцать. Вам хочется пить, вкус вишен уже забылся. Потерпите до Костшина, говорит Х.) Ленка слышала передачу по радио. Люди, которые считались мертвыми и были спасены, рассказывали, какой им запомнилась дорога смерти. Как на экране, прошли перед ними важнейшие события собственной жизни, затем они покинули свою телесную оболочку и увидели ее со стороны. — Значит, говоришь ты, господин Мау видел, наверно, свое изможденное тело на соломе, застланной — живым это было не дано — белой простыней пасторши Кноп? — Возможно, говорит Ленка. — А рядом он видел осунувшуюся женщину, в которой узнал госпожу Мау и которую спокойно оставил страдать? Возле тела, с которым распростился без сожаления? — Вроде бы так, без сожаления, говорит Ленка. Те, кто пережил собственную смерть, говорили о том, что ощущение земного времени и пространства исчезало и что они как бы вступали в беспредельное царство музыки и света. Потому и смотрели навстречу своей неминуемой смерти спокойно. Без страха. — Хорошо бы все было так, говорит Лутц. Блажен, кто верует. Он отчетливо помнил смерть господина Мау. Еще некоторое время вы рассуждали о странной людской потребности разъединять свою душу и тело в жизни и смерти. От жары и усталости разговор мало-помалу иссяк.

В каморке умирающего уже с минуту было тихо, тогда все поднялись и вышли на чердачную площадку. Снизу пришла пасторша Кноп, в полном облачении, со свечой в руке. Она молитвами провожала душу господина Мау в мир иной. Теперь, как ей и полагалось по чину, она открыла дверь. Госпожа Мау, сидевшая на полу возле покойного, взглянула им навстречу. Пасторша Кноп закрыла лицо господина Мау простыней. Простыня была короткая, и на ноги ее не хватило. Нелли, не в силах отвести глаз, смотрела на ноги трупа, а пасторша Кноп читала меж тем заупокойную молитву. Тебе, Господи, в неисповедимой благости Твоея...

Нелли долго мучил вопрос, чем же именно ноги мертвеца столь явно отличаются от ног живого. И по сей день, когда ты в мыслях произносишь слово «смерть», перед глазами у тебя стоят косолапые восковые ступни мертвого господина Мау.

Человек скончался, выжил, живет — по каким признакам это распознается? О мертвых говорить нельзя. Для выживших, для уцелевших закрыта и перспектива и ретроспектива. Живые свободно распоряжаются прошлым и будущим. Своим опытом и теми выводами, которые он позволяет сделать.

17. ГЛАВА, ПОЛНАЯ СТРАХА. КОВЧЕГ

Целая глава страха, и это еще совсем немного.

Возьми и просто-напросто — кто тебе мешает? — убери из своей жизни весь страх. Нынешний, прошлый; быть может, получилась бы та самая желательная жизнь (желательная с точки зрения других) — столетие, лишенное связующего вещества. Оно бы распалось на исторические анекдоты, обладающие общим достоинством — «осуществимостью», «реальностью».

Императив «производи!», размышляешь ты, препятствует тому, чтобы способность страдать с годами подавила прочие — все прочие — способности. Он, хочется сказать тебе, не влияет на природу материала, который ты

создаешь. И тотчас до тебя доходит: вот это-то и неверно. Само́й удивительно, но все-таки ты вечно забываешь: особая природа страдания, именуемого «страх», как раз и вырабатывает тот вид продукции, в котором ты узнаешь себя. Зачем отрицать.

Надежда обрести свободу.

Освобождение как процесс. Как самоосуществление, для которого не назначить годовщины. Писать, а заодно принуждать страх к отступлению.

Еще не освобожденные, еще оккупированные страхом зоны — предыстория.

На примере иезнакомки по имени Нелли, которая по-прежнему служит источником подробностей, каких никто бы не сумел придумать. В августе сорок пятого она вместе с родней еще раз — предпоследний в этом году — переезжает. Треть Бардикова, в том числе и пасторский дом, выселяют, а жилье отдают советской воинской части. Солдат, посланный с приказом о выселении в бургомистрову контору, натыкается на запертую дверь: со своего места у окна Нелли давно его углядела. Она одна в конторе, ни жива ни мертва от страха перед этим чужим мундиром, перед этим чужим парнем, довольно высоким, крестьянской наружности, с усами. Страх выключает мозг, ноги двигаются совершенно автоматически: Нелли бросается в коридор, к входной двери, и запирает ее на ключ за секунду до того, как солдат берется за ручку. Какой-то миг — два лица, разделенные только рифленым стеклом, искаженные страхом и недоумением. А потом злостью, у русского.

Банальный прием, который нынче в кино только смех вызовет, — пример прогресса. Жители обхохочутся, глядя, как эта обезумевшая от страха девчонка выскакивает через черный ход на улицу и, в паническом ужасе карабкаясь через ограды, мчится по выгонам за деревней, а солдат меж тем с такой силой молотит в бургомистерскую дверь, что рифленое стекло вылетает из рамы и разбивается вдребезги. А Роземари Штегувайт спасается бегством в коровник, а сам бургомистр хочешь не хочешь снимает с живота горячий кирпич, надевает коричневые вельветовые штаны и собственноручно впускает русского солдата. В лучшем случае комедия, где чистое недоразумение как двигатель действия вполне допускается.

Однако ж, когда люди дрожат от страха, им даже в голову не приходит смеяться. Сельчан новость уже поставила на ноги — она как молния обежала деревню, куда быстрее, чем Нелли. Когда Нелли, запыхавшись, подбегает к пасторскому дому, ее мама уже в панике: русский угрожал конторской барышне, русский над ней надругался.

Впечатляющая сцена, обильно политая слезами.

Наутро неминуемое объяснение с бургомистром по поводу разбитого стекла; Нелли говорит, что это ерунда, а бургомистр твердит, что она обязана принимать в конторе всех посетителей, без исключения. Кстати, именно ей приходится разъяснять обитателям западной части Бардикова, что они должны в двадцать четыре часа очистить свои дома. А тем, кого из домов не попросили, — что у иих добавится постояльцев.

К. Л., твой московский друг — ему первому из русских ты рассказываешь бардиковские истории, — полагает, что выселение деревни как комедию не изобразишь. Верно, соглашаешься ты, хотя и при этом случались моменты... Пасторша Кноп, например, в сопровождении двух своих сыновей, прямая как палка, явилась к будущему коменданту Бардикова — лейтенанту, чтобы выхлопотать пасторскому дому статус нейтральной зоны и таким образом предотвратить выселение жильцов. Ее речь, по замыслу трагическая, разбилась о недоуменное лицо лейтенанта Петра, однако пасторша сумела хотя бы ретироваться с достоинством. Не то что несколько дней спустя старуха Штумпен: она выстирала лейтенанту белье, а на прощанье брякнула «хайль Гитлер!», — после чего убежала, думая, что всё, не сносить ей головы, и спряталась; через неделю два солдата опять доставили ее к коменданту. А тот, вместо того чтобы лично ее расстрелять, очень серьезно вручил ей мешок грязного белья, с которым она, вне себя от счастья, обе́гала всю деревню, сообщив каждому, что пойдет за лейтенанта в огонь и в воду.

Тут она явно была одинока.

Память, что же, работает прежде всего как накопитель забавных случаев? Что-то в ее структуре как будто бы весьма под стать структуре остроумной историйки. Структура есть множество — множество точек и так далее, — в котором выявлены определенные взаимоотношения. Переработка тяжких исторических периодов, где определенные взаимоотношения еще не выявлены, в газетные побасенки, по случаю всяческих годовщин. («Тридцатая годовщина освобождения».) Использование техники перезаписи: стереть, сделать выборку, расставить акценты. Вот и остается то, что приемлемо для главного редактора любой газеты, — историйки во вкусе Армии спасения. (Так выражается знакомый таксист, господин Икс: Отвяжитесь вы от меня с этими сказочками для Армии спасения!) Советские солдаты, раздающие суп, спасающие детей, отвозящие рожениц в больницу.

Конечно, всего этого никто не отрицает.

Чего же вы хотите: ни одна на свете армия не смогла бы выстоять в подобной войне, будучи этакой филантропической Армией спасения. Воздействия войны губительны и для тех, кто ее не начинал. Это было сказано таксисту, господину Икс, который тридцать пять лет живет тут поблизости и «повидал все, не сходя с места». Он намекает, что знает твою профессию и, мол, только потому и открывает рот: Впрочем, если вам охота знать лишь то, что в газетах написано, тогда извините!

Он убедительно заверяет, что солдатом был нехотя; за действия, направленные на разложение вооруженных сил, даже просидел два года в тюрьме, вот почему конец всего этого светопреставления застал его дома, как непригодного более к военной службе. Напоследок, говорит он, сосед донес на него в гестапо, так как он оборвал верноподданнические бредни этого соседа насчет чудо-оружия: Атомная бомба? Была да сплыла! А потом, хотите верьте, хотите нет, этого соседа пристрелили в подвале у нас у всех на глазах, потому что он отказался снять свою кожаную куртку. Через неделю моя жена едва не покончила с собой. Я ведь не мог ее защитить, иначе и мне бы тоже каюк. Но я ей сказал, что надо держаться, не вечно же так будет. И правда, через две недели боевые части были отведены в тыл, на их место пришли другие, была создана комендатура, настал покой и порядок. Не знаю, что вы об этом думаете, молодая хозяйка, но разве такое забудешь. Н-да, вот если б немцы тоже себе такое позволяли. Но я вам говорю: у нас времени не было! Да и не по душе нам это.

Разговор происходил между Тельтовом и Маловом. До Шёнефельда еще пятнадцать минут езды. Пятнадцать минут против тридцати лет. От злости никакого толку не будет, это тебе было ясно, удивление лишь заставит его снова замолчать. А от чего вообще будет толк? Доказывать в такси, что ответственность за войну несут немцы... Первые фразы у тебя получились неуклюжие. Господин Икс ведь никак не оспаривал общенемецкой ответственности за войну, не ставил под вопрос ни одного погибшего из миллионов убитых русских, о которых повела речь ты. Он даже не сказал: Такова война. Согласен: начали мы. И большинство тут действительно вконец отупели, полными болванами стали со своим Адольфом. Однако же то, что русские потом сделали с нами, — особь статья, отдельная страница.

За тридцать лет не удалось свести в одну статью, на одну страницу два текста, которые в голове у господина Икс идут параллельно, не соприкасаясь. Он начинает рассказывать подробности, скверные подробности, что верно, то верно; но, добавляешь ты и, чуть ли не сгорая со стыда, сообщаешь господину Икс информацию, которая все эти тридцать лет через газеты, радио, телевидение явно проникала и в его квартиру и которую он все эти тридцать лет упорно пропускал мимо ушей. Быть не может, думаешь ты, чтобы он не читал определенных описаний, не видел определенных кинофильмов и картин. Чтобы его ни разу не охватил ужас. Лютый страх, стыд. Он даже слушает тебя, но ведь всегда чувствуется, верит тебе собеседник или нет. Он не желает признать, что если придется сводить счеты, то счет другой стороны будет больше. Значительно больше. Что он там говорит напоследок? Опять повторяет: Извините. Я вовсе не хотел вас обидеть. Просто каждый судит по-своему. И своя рубашка все ж таки к телу ближе.

Господин Икс едва не вынудил тебя рассказать бардиковские истории как серию газетных побасенок. (Вы-то наверняка не знаете, что такое страх, молодая хозяйка.) Тебе вовремя вспоминается одна из главных тем

твоих разговоров с московским профессором-историком: проклятущая подмена истории трактатом. Этого человека уже десять лет нет в живых. Вы были знакомы по крайней мере лет шесть, об этом свидетельствуют даты на письмах в московской папке. Одышка у него становилась все сильнее, все чаще письма приходили из санаториев. Твои визиты к нему в больницу — в Берлине, в Москве. (Дочь Сталина, говорил он,— они были знакомы,—жила в мире, который вовсе не существовал. Эти слова запали тебе в душу.) Москва, какой ты ее уже никогда не видела — ни до, ни после. Больница на холме. Парк, где поодиночке и группами медленно прогуливались больные. Изумительный вид на город, темные контуры крыш на фоне блекло-золотой каймы заката. При каждом расставанье профессор думал, что оно последнее. Но жалость к себе была ему чужда. Его глаза, полные печали, его улыбка. В войну он, майор, был редактором фронтовой газеты. Присутствовал как наблюдатель на Потсдамской конференции. Ты порой думала, что ему, быть может, довелось увидеть слишком много. Потом он опять улыбался, дарил тебе свои статьи. Он верил в разум. Цитировал Монтескье, который считал, «что разум обладает природной силой... ,,Ему сопротивляются, однако же сопротивление это и есть его торжество; пройдет еще несколько времени, и к нему обязательно вернутся"».

Последняя встреча (вскоре он умер) в темном автомобиле в парке дворца Цецилиенхоф — там, на месте подписания Потсдамского соглашения, проходила научная конференция. Как-то так получилось, что ты начала рассказывать про деревню Бардиков. Про Ковчег, про коменданта Петра, про налеты. Ему хотелось услышать как можно больше, услышать все. Иногда он смеялся, иногда молчал. А под конец сказал: если он тебе и завидует—он никогда не жаловался, никогда не испытывал чувства, будто упустил что-то,—если и завидует, то лишь в одном: ты доживешь до такого времени, когда можно будет открыто и свободно говорить и писать обо всем. Это время придет, повторяет он. Вы доживете. Я нет.

Теперь ты понимаешь, что в эпоху недоверия искреннее слово не существует, потому что искреннему оратору нужно, чтобы его искренне хотели выслушать, и потому, что человек, которому долго бьет в уши искаженное эхо собственных слов, теряет искренность. И ничего он тут поделать не в силах. Эхо, с которым он поневоле считается, уже наперед звучит в сáмом его искреннем слове. Вот мы более и не можем точно сказать, что именно узнали.

Нелли, августовскими ночами в сарае у многоземельной крестьянки Лаабш, Эрны Лаабш, матери трех дочерей — Ханны, Лизы и Бригитты, из которых лишь средняя, Лиза, была мало-мальски приятной наружности. Звезды мерцали сквозь худую крышу, а Нелли лежала без сна между мамой, тоже не спавшей, и братом Лутцем, который, наработавшись в поле, засыпал мгновенно, стоило ему только лечь. Они слушали, как поют «русские»,— к тому времени в деревне усвоили, что среди них были и нерусские. Песня казалась Нелли печальной и одновременно грозной, и она побаивалась в своем незапертом сарае. Вдова Лаабш, тощая, востролицая, крикливая особа, каждую ночь запирала трех своих дочерей на замки и засовы — точно сокровище, говорила Шарлотта Йордан, терзавшаяся мыслью, что она свою дочь запереть не может. Кофе в банках русские деревенским девушкам не дарили, у них его просто не было. Они ели грубый черный хлеб и носили выгоревшие, пропотевшие гимнастерки. Иногда уводили где-нибудь велосипед и катались на нем по деревне, выделывая лихие трюки. В строю они ходили быстрым шагом, над которым немцы втихомолку посмеивались. Лагерник Эрнст (его все только так и называли) както раз сказал в конторе нескольким женщинам, что немцы, поди, единственный на свете народ, оценивающий другие народы по строевому шагу. Нелли подумала: вот и я только что именно так и поступила. И внезапно все это показалось ей смехотворным и стыдным. Строевые песни русских сильно отличались от тех, что разносились по деревне ночью. Ребятишки шли рядом с колонной, копировали солдатский шаг и горланили: Колбаса, колбаса, тра-та-та, колбаса!

Приблизительно в это время в Бардикове объявился Красный Комендант. Звали его Фриц Вуссак. Прежде чем он прибыл собственной персоной, по деревням прошел о нем слух, которому можно было и верить и не

верить. Но вот однажды у конторы, под Неллиным окном, остановилась легендарная двуколка. С Красным Комендантом был его постоянный спутник, некто Франц (Имена — пустой звук; зови меня просто Франц. А вот шефа попрошу называть господином Вуссаком, и только так), и Манне Бандинг, в прошлом вожак бардиковского гитлерюгенда, потерявший на Восточном фронте левую руку. Этого Нелли знала, ведь он ей проходу не давал. Глаза у него были карие, и в одном на радужке белое пятно. Шарлотта Йордан находила его «малосимпатичным», и Нелли не могла с нею не согласиться. Теперь он нацепил на правую руку красную повязку с белой буквой «К».

«К» означало «комендант», это Нелли узнала лично от господина Вуссака. Он сообщил, что-де новая администрация назначила его комендантом пяти деревень—он перечислил названия—и наряду с прочими весьма большими полномочиями облекла правом подобрать себе в каждой из деревень заместителя, который будет обеспечивать покой и порядок, защищать население от бандитов и выполнять приказы главного коменданта. Вопросы есть?

Вуссак весь состоял будто из тонких, гибких стальных тросов. Люди перед ним мгновенно робели и тотчас же спрашивали себя: Это перед кем же я струхнул? Перед этим тощим человечком с реденькими светлыми волосами? В сдвинутом набок берете. Тут Вуссак поворачивался на стуле, сверкающий взгляд молнией пронзал посетителя, тонкая маленькая рука на столе нервно сжималась — и каждому сразу становилось ясно, почему он оробел.

Вопросов нет, господин Вуссак.

В деревнях знали, что Комендант любит позавтракать, не отказывался он ни от кусочка ветчины, который Роземари Штегувайт доставала из дымохода, ни от горшочка смальца. Он принимал дань с такой быстротой, что в первый раз Нелли даже подумала: да он скорей фокусник, чем комендант. На субботу он заказал парочку кур, забитых, выпотрошенных и ощипанных. Вот эта барышня вместе с Манне Бандингом пойдет и реквизирует птицу от его имени. Манне Бандинг изобразил именно такую ухмылку, каких Нелли на дух не выносила. К субботе она сумела раздобыть пару кур, не выходя с Манне Бандингом на реквизицию. Достаточно было шепнуть младшей дочке вдовы Лаабш, Бригитте, и Роземари Штегувайт, что у Коменданта, у господина Вуссака, феноменальная память на людей, хоть раз оказавших ему услугу.— Кстати говоря, лаабшевская курица была поупитанней бургомистровой. Велика премудрость, сказала Роземари Штегувайт, она ж их зерном кормит.

Деревня, думала Нелли, вообще-то похитрее города. Специально она такого намерения не преследовала, но толика этой деревенской хитрости передалась и ей, как неизбежная зараза. Иначе, того и гляди, на бобах останешься, думала она. А этого ей не хотелось. Кажется, не все ли равно, что о ней думают здешние крестьяне, но странным образом ей это было небезразлично. Она хотела сохранить за собой место при бургомистре, по причинам, в которых сама себе не сознавалась: работа доставляла ей удовольствие. Она даже бровью не повела, когда в ее присутствии один из крестьян сказал другому: Умная голова—наша-то барышня! Но в глубине души ей все ж таки было приятно.

А значит, вовсе не обязательно, чтобы страх и удовольствие исключали друг друга, если речь идет о реальном страхе перед реально существующими объектами. Страх перед бардиковскими русскими у Нелли исчез — не потому, что она видела их героями, а потому, что в ее глазах они были немножко забавными. (Ленка говорит: Только не надо сызнова про яйца! Ты тоже не избавила своих детей от нудного повторения стандартных побасенок.)

Однажды к Нелли в контору явился молоденький вестовой советского коменданта—непокорные светлые волосы, голубые глаза, веснушчатая физиономия. С превеликим трудом он объяснил Нелли, что деревня должна каждые три дня сдавать в комендатуру два десятка яиц за плату. Яйца—понятно? Курица—понятно? Деньги, марки—понятно? (Это было до той поры, когда Нелли стала звать вестового просто Сережей, и задолго до той поры, когда комендант превратился для нее просто в лейтенанта Петю.) Суровый тон сильно контрастировал с выражением лица ве-

стового, и Нелли дала ему понять, что заметила этот контраст. Дала понять без слов. Он от смущения еще посуровел и назначил Нелли ответственной.

Она уже привыкла отвечать за выполнение приказов, выходящих далеко за рамки ее полномочий. Бургомистр, понимая, что его дни в этой должности сочтены, решил: раз так, пусть она и добывает эти яйца, в одиночку. И вот Нелли, повесив на руку корзинку, отправилась в поход и просьбами, угрозами, нажимом добилась от хозяек сдачи яиц по тридцати пфеннигов за штуку — Рихард Штегувайт сказал, что больше официальная власть платить не может. На черном рынке за каждое яйцо драли чуть не две марки. Нелли красноречиво расписывала, что ожидает деревню, если комендант, которого она изображала большим самодуром, не получит яиц. И хозяйки со вздохом выкладывали две-три штуки.

Все с той же корзинкой на руке она подошла затем к шлагбауму, отделявшему занятую советской ротой половину деревни. Яйца и слово «комендант» побудили часового открыть перед нею шлагбаум. (Позже часовые только кивали, а она без всякой парадности обходила шлагбаум.) Ее послали в трактир «Зеленое дерево», в тамошней кухне стряпали на всю советскую роту. Пять поваров, двое в высоких белых колпаках. Тот из них, что побольше ростом, и был уполномочен произвести закупку яиц. Нелли поставила корзину на стойку и подвинула к нему, а он слазил в карман бриджей и достал из-под белого фартука пачку денег, оккупационные марки. Нелли, словно в отцовском магазине, сказала: Шесть марок, пожалуйста. Повар положил на стойку пятидесятимарковую купюру. Нелли сказала: Слишком много. Повар сказал: Хватит. Так повторилось трижды. Нелли даже на пальцах показала: шесть марок. В конце концов повар рассердился и сказал: Всё, идите. Нелли взяла пятьдесят марок. Выходя, она невольно рассмеялась. Шеф-повара она уже не боялась.

Бургомистр, который теперь почти не вставал с постели, к русским деньгам прикасаться не пожелал. Нелли-то, мол, и сама знает, что община, по сути, ни гроша ей не платит, а работы у нее сколько — прорва! Тридцать марок в месяц означало полбуханки хлеба.

Нелли добросовестно записывала в журнал поступление и расходование яичных денег, количество собранных яиц, которые она, кстати говоря, хранила в печной духовке, в конторе, где они летом могли лежать не больше четырех-пяти дней. С другой стороны, здравый смысл подсказывал, что без небольшого запаса не обойтись, поскольку итоги сбора бывали весьма неодинаковы. Яйца, грозившие залежаться, надо было есть. Кому? Бургомистр считал, что и это — дело Нелли. Ее семейству — восемь душ как-никак — вполне хватит на ужин яичницы-болтуньи из двух десятков яиц. Нелли добросовестно оплачивала яйца из денежных излишков от сделок с шеф-поваром. Суммы были не маленькие. Рихард Штегувайт говорил: Теперь вам регулярно платят русские.

Так оно и было.

Вдова Лаабш говорила Шарлотте Йордан, которую терпеть не могла за то, что Шарлотта ее не боялась: Дочку-то вашу русские, поди, как облупленную знают. Она ж там у них днюет и ночует.

Ну и что? — отвечала Шарлотта. Взяли бы да послали туда свою дочку, коли вы такая храбрая. Моя Нелли знает к русским подход. Они тоже люди.

Потом в Неллину жизнь на несколько недель вошел второй повар из «Зеленого дерева». Он появлялся в бургомистерской конторе каждый день около половины четвертого. Должно быть, в это время у него кончалась кухонная смена. Нелли не сразу его узнала без белого колпака. Скорее всего это был кавказец — смуглый, черноглазый, с кудрявыми иссиня-черными волосами. Он входил, здоровался, снимал пилотку и садился в обшарпанное посетительское кресло, из которого можно было смотреть на Нелли. Сидит, значит, и смотрит. Нелли было не по себе. Она пыталась выяснить, какое у него дело. Но он упорно отмалчивался, и она перестала спрашивать. Сидел он обычно около часа, теребя ручку старого телефона, потом вдруг вставал, нахлобучивал пилотку, говорил по-русски «до свидания» и уходил.

Когда он пришел в третий раз, она поняла. Его-то, конечно, бояться было незачем. Пусть себе сидит да глазеет — она спокойно, по крайней мере с виду, писала, печатала на машинке, принимала посетителей, которые кстати, словно по уговору, являлись именно в этот час, с половины четвертого до половины пятого, и щедро отпускали замечания по адресу ее бессловесного гостя. Шарлотта сказала: Сплетни о тебе идут. Теперь настал черед Нелли сказать: Ну и что? Не исключено, что в присутствии второго повара, которого вся деревня скоро звала «ее русским», она двигалась чуть более вызывающе, нежели всегда. А может, и нет. Может, она не воспользовалась ситуацией, упустила шанс. Он сидел и смотрел на нее. Структура их отношений была ясна.

Однажды, недели через три-четыре, он отвинтил телефонную ручку, положил ее рядом с аппаратом, поспешно, раньше срока, встал, ушел, не прощаясь, и больше не появлялся.

Телефон искорежил, вот и заробел, сказал дядя Альфонс Радде. Нелли старалась в это поверить наперекор точившим ее сомнениям. Она видела второго повара, когда раз в три дня приходила с яйцами в «Зеленое дерево», но он держался в глубине и на нее не смотрел. Нелли не задавалась вопросом, до какой степени он ее разочаровал.

(Двадцать три года спустя в одном из волжских городов, после второй бутылки шампанского в Доме культуры, перед кино, человек, угощавший шампанским — журналист, русский, — спрашивает, знаешь ли ты деревню Д. в Мекленбурге. Ты об этой деревне никогда не слыхала. А он в сорок пятом несколько месяцев в ней со своей частью стоял, сержантом. Беженка там была одна, Анна Б. Молоденькая, красивая. Может, она и сейчас еще в той деревне живет, говорит журналист. Ты предложила запросить совет тамошней общины. Он задумался и наконец сказал: Да, сделайте это, пожалуйста. А если получите от нее весточку, спросите, есть ли у нее ребенок, двадцати трех лет от роду. И напишите мне. Совет общины Д. ответил на твой запрос, что женщина по имени Анна Б. — или носившая это имя в девичестве — никому в деревне не известна. К сожалению. Глупо, но тебе оказалось трудно написать об этом человеку, с которым ты пила шампанское.)

Настала осень, октябрь. Как все давно ожидали, политически запятнавший себя бургомистр Рихард Штегувайт был смещен, общинную вывеску сняли со штегувайтовского дома и привинтили к забору сапожника Зёлле, которому Нелли была не нужна — с писаниной родная дочка поможет.

У Нелли больше не было причин ходить в «Зеленое дерево», но напоследок ей пришлось-таки исполнить должностные обязанности: она вела списки, когда молодая советская военная докторша в течение двух дней обследовала всех деревенских женщин на предмет венерических заболеваний. На краю деревни, в доме бобыля Штумпфа, отвели для этого комнату с кушеткой, кухонным столом и жестким стулом для Нелли, обеденным столом и стулом для врача; еще там стоял в углу таз с дезинфицирующим раствором и висело на гвозде полотенце, которое госпоже Штумпф велено было почаще менять. На чугунной печке в углу сестра Надя кипятила чайник. Женщин вызывали по алфавиту, на улице перед домом стояла очередь. Мужики шли мимо с ухмылкой. Нелли пила с докторшей и сестрой Надей чай и даже умудрялась участвовать в разговоре; она вызывала женщин, удостоверяла их личность, галочкой отмечала в списке фамилии и заносила в особую графу определенные медицинские термины. Она обязалась соблюдать клятву Гиппократа, хотя и не давала ее, и не разглашать имена тех шести-семи женщин, которым пришлось отправиться в районный город на более серьезное обследование.

Эти два дня оставили в Неллиной душе глубокий след. Впервые она была свидетельницей тому, как женщины поневоле расхлебывали кашу, заваренную мужчинами. Некоторые — например, пасторша — плакали. Нелли пыталась уговорить докторшу сделать кой для кого исключение, но тщетно. Она готова была поручиться за пасторшу Кноп. Нет, строго сказала военврач и растолковала Нелли, что даже за себя она поручиться не может. С этим все было ясно. Работа докторши, разумеется, была необходимой и правильной. Однако же Нелли считала излишним перед осмотром спрашивать у каждой, замужем она или нет.

Вечером первого дня докторша сказала: Немецкие женщины — свиньи. Как выяснилось, она требовала, чтобы все незамужние были девственни-

цами. По горячности, с какой протестовала против этого тезиса, Нелли догадалась, что придерживается в этом вопросе иного мнения. С каких пор? И почему? Она перестала сама себя понимать. Застланная клеенкой старая кушетка, на которую одна за другой, как на конвейере, укладывались женщины, вызывала у нее омерзение. Глухая ярость переполняла ее.

Она осталась у Штегувайтов прислугой — без жалованья, только за харчи — и однажды, выметая сор, нашла под супружеской кроватью Роземари Штегувайт и ее сгинувшего без вести мужа картонный ящик с книгами, среди них были и те, что она когда-то брала в школьной библиотеке у Юлии Штраух. Прочие обитатели дома — в том числе и экс-бургомистр, который, лишившись должности, вмиг исцелился, — копали картошку. Нелли совала детям, Эдельтраут и Дитмару, игрушки, а сама садилась в кресло — бывшее посетительское из конторы — и часами, все утро, читала. Перечитала «Вагенбург» Фридриха Гризе, прочла «Жертвенность» Рудольфа Биндинга, «Врач Гион» Ганса Кароссы и, читая, верила, что страдает и мучается. Только теперь — и это неудивительно — она осознала в себе ту особую боль, которую ты назвала бы «фантомной», люди ощущают ее после ампутации в утраченной конечности. Все то, чего Нелли уже не имела, терзало ее. Книги травили душу жалостью к себе самой.

(Вопрос: Вы верите в действенность литературы? — Конечно, но, вероятно, понимаю ее не так, как вы. По-моему, литература формирует аппарат, обеспечивающий восприятие и обработку реальности; у Нелли — она об этом не подозревала — он был сильно поврежден. — Как мы стали такими, каковы мы сегодня? Один из ответов: перечень книжных названий.)

Страх выписывает диковинные пируэты. Отступает, если назвать его по имени, и переходит в атаку, стоит лишь попытаться от него увильнуть. В величайшем страхе рассказывают веселые истории, но они не в силах снять судорогу, скрутившую все под ложечкой, во вполне определенном месте. Отравленная страхом, источник которого ты назвать не можешь (неспособность, отнимающая у тебя любое человеческое участие), ты видишь ночью во сне, будто лежишь в какой-то бездонной пещере, где с отвесных каменных стен каплет вода, лежишь на нарах, долго-долго, пока наконец не получаешь разрешение вернуться в свою квартиру. И вот ты стоишь у двери, которую никогда раньше не видела, но твердо знаешь: она твоя. На звонок открывает интеллигентный, ухоженный седовласый господин, и ты сразу узнаешь в нем Феликса Дана («Битву за Рим» Нелли, видимо, прочла в те годы). Бросаешь взгляд в открытую дверь: этот человек живет в твоей квартире. Твои претензии он встречает интеллигентной, удивленной улыбкой. В крайнем случае он может разве что допустить, что у тебя точь-в-точь такая же квартира в соседнем доме, наверное точь-в-точь таком же. Стоя перед собственной дверью, ты волей-неволей соглашаешься: тебе ведь никогда не доказать, что эта квартира — твоя. Нет у тебя ни малейшего шанса вообще попасть домой.

Не считаясь с отчаянием, в котором проснулась, ты решаешь первым делом заняться веселыми историями, плутовскими и озорными проделками, какими богаты неподконтрольные времена. Можно бы и в таком духе продолжить. (Когда эти истории начали вызывать смех — вопрос совсем уже другой, интересный эстетически: один и тот же материал меняет свой жанр смотря по тому, каким — печальным или веселым — способны его найти рассказчики и слушатели.) Свадьба Фрица Вуссака, Красного Коменданта, расколола население пяти обложенных данью деревень на два лагеря: на взбешенных хозяев-крестьян и хохочущих беженцев. Крестьянам-то пришлось оплатить праздничный стол, а ведь стоило это немалых денег, как злорадно заметила Шарлотта. Ради подготовки этого пира на глазах у оккупационных властей, но без их ведома с большим размахом шла сдача сельхозпродуктов. В невесты Фриц Вуссак выбрал беженку из Баркхузена, бесцветную девицу, в которой только и было особенного, что тусклые курчавые волосы, два круглых красных пятна на скулах да писклявый голос. Звали ее Ильза Видехопф, а Вуссак принародно называл ее Ильзи. Их бракосочетание было последней должностной акцией бургомистра Рихарда Штегувайта, какового Нелли по такому случаю сподобилась одинединственный раз увидеть в белой рубашке, черном пиджаке из толстого сукна и при черном галстуке. Среди потных участников церемонии и зрителей он потел больше всех.

Согласны ли вы, фройляйн Ильза Видехопф, вступить в брак с вашим женихом, господином Фрицем Вуссаком, и быть ему отныне верной супругой? — Да, пропищала Ильзи. Ильзи была в белом подвенечном платье. И растрогана до слез. Но это было в порядке вещей. Зато Нелли никак не ожидала, что и Франц, Вуссаков телохранитель, которого Шарлотта Йордан называла «отчаянным» («ох и отчаянный же тип»), безудержно разрыдается и что сам Вуссак («этот черствый сухарь») будет придавать такое огромное значение торжественности процедуры и точному соблюдению всех формальностей. Ходил слух, что он даже предлагал пасторше Кноп теленка за церковное венчание (а теленка можно было выменять, скажем, на алтарный покров, украденный недавно из бардиковской церкви). Однако пасторша золотым тельцом не соблазнилась и отказала Вуссаку, впервые сославшись на то, что официально в сан не возведена.

Впоследствии, «когда вся эта афера с треском лопнула», она была единственной, кому в свое время не изменило «чутье».

Свадьбу Красного Коменданта, на которую было приглашено человек сто гостей, справляли в пустом сарае, свежевыбеленном и дочиста отмытом баркхузенскими женщинами. Всевозможных мясных яств было — ешь не хочу, почти не разбавленный спирт лился рекой. В разгар празднества дамам якобы приспичило исполнить кой-какие танцы (на столах!), а господам — состязаться в стрельбе из пистолета по пустым бутылкам. Вуссак, хоть и был отъявленным мошенником, но праздновать умел. Этого у него не отнимешь. У распахнутых дверей сарая толпилась баркхузенская ребятня — и совсем мелюзга, и подростки, — они уплетали щедрое угощение, будившее в них горячее стремление к тому, что они считали «жизнью». Настоящий мужик, этот Вуссак, умеет жить.

А потом он исчез. Вступила в силу драматургия тех лет: неожиданно появились какие-то люди, которые опознали его, не сумели промолчать, пустили слух, достигший ушей новой администрации и приведший к его разоблачению. «До перелома» он действительно сидел в тюрьме, но не за политику: кроме Ильзи Видехопф еще две жительницы маленьких немецких городков могли сослаться на то, что состоят с ним в законном браке. Значит, удовлетворенно подытожила Шарлотта Йордан, он был самый обыкновенный многоженец. Ну а что никто на всем белом свете не назначал Вуссака Красным Комендантом, разумелось само собой. Лейтенант Петя, узнав об этой истории, просто взбесился; вместе с вестовым Сережей он пришел к бургомистру и весьма сурово осведомился, почему в комендатуру не доложили о бесчинствах Вуссака. Нелли сказала ему правду: От страха, понятно? Лейтенант рявкнул «нет!» и уходя с размаху хлопнул дверью.

С людьми никогда не угадаешь: все пять деревень поставили Ильзи Видехопф в заслугу то, что она поклялась хранить мужу верность. Мужчину, якобы сказала она, который устраивает женщине такую свадьбу, в беде не бросают. Совсем уж отпетым негодяем его не назовешь, говорила Шарлотта. Она-то в свое время вела с ним долгие разговоры, большей частью на мистические темы, которыми Красный Комендант очень интересовался. Когда ходила по окрестным деревням, стараясь выменять провизию, она не раз искала у него защиты: в своем районе он бандитов не терпел. Раз человеку так легко дают стать плутом и мошенником, говорила Шарлотта, ничего удивительного, что он им и становится.

Между Витницей и Костшином — в воскресенье 11 июля 1971 года (сейчас, в марте 1975-го, эта дата отошла уже так далеко, что просто уныние берет), — в полдень, на пути через безлюдные в тот час деревни, ты спрашиваешь Лутца, когда, собственно, вы начали звать фрамовский дом Ковчегом. Лутц понятия не имеет. Он никогда фрамовский дом Ковчегом не звал. Хотя название и впрямь удачное.

Ведь Фрамы были единственные, кто с наступлением зимы согласились принять еще беженцев, например тех, что летом жили в сарае, отданные во власть погодных капризов. По доброй воле к Фрамам никто не рвался, дом стоял чересчур уединенно — два километра от деревни, два километра от Черной мельницы, на перекрестке двух полевых дорог, неподалеку от леса. Впрочем, живописность местоположения вовсе не главное. Главное — безопасность. (Просто не верится, что теперь в этом доме живут всего-навсего человека четыре-пять. Вы застаете только молодую госпожу

Фрам и ее сына. Она единственная, кого вы не знаете по тем давним временам. Жена Вернера, который отвечает в кооперативе за растениеводство. Она водит вас по дому и невольно смеется, когда ты по старой памяти «расселяешь» в каждой комнате целую семью.)

Оказывается, Лутц тоже прекрасно помнит, кто где жил. (В семьдесят четвертом, когда вы там побывали, вы с молодой госпожой Фрам сидите в той самой комнате, где жила тогда Неллина семья. Теперь это вполне современная гостиная, как в любой городской квартире. Хозяйка уходит за старыми фотоальбомами, а ты показываешь X., где стоял большой деревянный стол, за которым семья обедала, где — старая кафельная печь, где — постели. Новое убранство раздражало тебя, заслоняло воспоминания. Пришлось закрыть глаза, тогда ты снова отчетливо увидела убогое помещение, драное кресло, которое Нелли придвинула к окну, чтобы смотреть на три сосны через дорогу, они производили на нее куда большее впечатление, чем все остальные деревья. Ты не могла поверить, что их спилили, ведь в разговорах с X. ты изображала их неистребимой приметой здешнего ландшафта. Их срубили, потому что они представляли угрозу для магистральной линии электропередачи, сказала молодая госпожа Фрам.)

Ленка утверждает, что все-таки невозможно целых двадцать шесть лет помнить имена двадцати восьми людей, с которыми жил под одной крышей. (Подсчитывая население Ковчега, вы пришли к цифре двадцать восемь.) Ах! — вздохнули вы. Если б только имена! Каждый перед глазами стоит, как живой. Они были родом из Мекленбурга, Бранденбурга, Померании, Силезии, Западной Пруссии, Берлина. Растрепанная, тощая госпожа Маковская, ютившаяся с пятью детьми и инвалидом-мужем рядом с Йорданами, в соседней комнате, за тонюсенькой перегородкой, ругалась по-польски, когда ночью выходила в коридор проклинать фройляйн Тэльхен — Лидию Тэльхен, которая вместе с невинным сыночком Клаусиком занимала одну-единственную комнатушку и принимала там все время разных мужчин, вдобавок совершено неорганизованно, так что гости зачастую портили друг другу обедню, а все вместе ужасно мешали Хайнцу Кастору, обитателю каморки над конюшней, считавшему себя постоянным ухажером Лидии Тэльхен. Стало быть, в доме иной раз доходило до рукопашных, ночами, при тонких стенах да в присутствии всех ребятишек, в особенности отпрысков сапожника Маковского, хромого хворого молчуна, который довольствовался тем, что умел терпеть свою жену и чинить почти все поломки, возникавшие в большом этом доме.

Фактором риска Лидия Тэльхен стала позже, в темные зимние ночи, когда очень важно было понадежнее запереть окна-двери и уже их не отворять, в том числе и выпуская любовника. Но до тех пор еще будет сварен в домовой прачечной свекольный сироп, а лагерник Эрнст, берлинец, мастер на все руки, живший в мансарде со своей немецкой овчаркой по кличке Харро, забьет телка, и все вместе еще отпразднуют во фрамовской горнице рождество, и каждый получит возможность выступить с занимательным номером. Так вот Ирена, двадцатитрехлетняя дочь учителя Людвига Цабеля из Глогау в Силезии, спела, как вообще частенько делала, «Не всякий день бывает воскресенье», и все знали, что думала она о своем женихе Арно, который пропал без вести где-то на Западе и которому она образцово хранила любовь и верность; спела Ирена и последний куплет: «А когда я умру, / вспоминай обо мне, / вспоминай, но не плачь, / наяву и во сне». (Пока Ирена пела, тринадцатилетний Лутц не сводил с нее глаз. Да, говорит он и сейчас, она мне здорово нравилась.)

Потом «четыре девушки» исполнили канон «Тишь вечерняя повсюду». Четыре девушки были Иренина младшая, более светленькая и малорослая сестра Маргот, пятнадцатилетняя дочка Фрама Ханни, скотница Херта и Нелли. Однако непревзойденным и неповторимым стало, в сущности, лишь выступление Лидии Тэльхен, которая не побоялась усесться этому Кастору, этому подозрительному ветрогону, чуть ли не на колени и томно пялила на него свои карие, навыкате, глазищи, а когда пришел ее черед, она встала, лихо крутанув бедрами и плечами, и, выдержав эффектную паузу, исполнила «Подари мне, мамаша, лошадку», да так задушевно, что многие прослезились. Впервые Нелли поняла: искусство способно одержать победу над моралью.

Нелли постаралась сесть рядом с учителем Шадовом, бледным юношей, который был в Бардикове самым первым из «новых учителей»[1] и о котором Лутц до сих пор отзывается уважительно. Хороший был мужик. Что надо. Голодал со страшной силой. Но взяток салом и колбасой от крестьян не брал и отметки их сыночкам ставил по заслугам... Ему было, наверно, лет двадцать — двадцать один, не больше. Откуда он взялся, почему не сидел в лагере для военнопленных? Может, больной был, может, раненый. Нелли про себя считала его «чистым» (господи, чистый! Это было ее условие). Самого этого выражения она не употребляла, но чувство у нее было именно такое. Армин Шадов, понятно, ее близости не искал, он ухаживал за Ханни Фрам, широкой в кости, как мать, веселой, прямодушной, работящей; вскоре она действительно выйдет за учителя замуж, притом вполне заслуженно. А Нелли пополнила коллекцию афоризмов на стене возле кровати в чердачной каморке еще одним изречением, оно было написано на белой бумаге и приколото к щербатой стене кнопками: «Зрелость — страдать, расставаясь с мечтаньем, желая другим исполненья желаний».

В остальном же она получила незабываемый урок: когда нечего есть, всё только вокруг еды и кружится. Раз и навсегда запомнилось ей, как варят сироп, запомнился запах вареного свекольного жома, неделями наполнявший фрамовский двор, — брр, гадость какая! Потому-то, Ленка, у нас никогда не делали бутербродов с сиропом, хотя это, конечно, неблагодарно и несправедливо. Для Нелли не было большего удовольствия, чем наблюдать, как первая ложка густого, темного, красно-бурого сиропа растекается по ломтю грубого хлеба, который Фрамы выпекали сами и который обычными ножами разрезать было невозможно. (Не говоря уже о том, что впоследствии именно этот сироп — его принес для Нелли в туберкулезный санаторий вернувшийся из плена отец, и каждый вечер она съедала целую чашку — ускорил заживление инфильтрата в ее правом легком: сироп, а вовсе не барсучий жир и не собственная моча, целебные свойства которых нахваливали прочие больные.)

Другие картины: мама, Шарлотта, до предела исхудавшая, — ну просто кожа да кости. Ей на долю выпадает ходить по деревням в поисках провианта. Обрезком конопляной веревки она подвязывает на поясе тяжелую коричневую юбку, сшитую из одеяла, набивает в растоптанные башмаки несколько слоев газеты, от дождя, как работники на мельнице, нахлобучивает на голову чистый мешок. И бесстрашно отправляется в путь по опасным дорогам, на долгие часы, а когда возвращается, зачастую впотьмах, выкладывает на стол мешочек муки, маленький кусочек масла, крохотный шарик смальца. И как она только это добывает, наша Шарлотта. Да уж, чисто колдунья, просто слов нет! Опять эта окаянная гордыня, которую тетя Лисбет не выносит. Следуют резкие возражения. А дальше ясно что — ссора. Картошку в мундире под стандартным соусом номер два (без жира) едят в полном молчании при тусклом свете коптилки; мрачно и молчком, опять же без электричества, моют посуду в коридоре, служащем Неллиной родне кухней; безмолвно и угрюмо идут спать — Йорданы с «усишкиной» бабулей в чердачную каморку, где посередке стоит ведро, к которому каждый наведывается за ночь раза три, не меньше, ведь питаются они в основном мороженой картошкой.

Лутц — можно его расспросить (и ты расспрашиваешь, по телефону, а он смеется: Ты и об этом хочешь написать?) — знает историю с быком во всех ее запутанных подробностях, то есть именно такой, какой только и сумел ее задумать и осуществить человек незаурядный, вроде лагерника Эрнста, который словно сошел со страниц плутовского романа. На нижней полке у него в шкафчике были сложены лагерные лохмотья, но он никому не говорил, когда, где и за что попал в концлагерь. Он считал, что горевать незачем, от этого люди лучше жить не станут, зато еда и выпивка — дело хорошее, не дают душе расстаться с телом. Как-то раз в сопровождении своей овчарки Харро он отправился в соседнюю деревню. Там, по слухам, якобы приблудился к кому-то на двор бесхозный бык. Так вот Эрнст умудрился внушить недоверчивому крестьянину, что бык

[1] «Новый учитель» — учитель, направленный на работу в связи с демократической реформой школы 1945 года в Восточной Германии.

принадлежит ему. А вернувшись обратно, уговорил старшего Фрама, вообще-то не поклонника махинаций, выделить ему четырехдневный запас кормов, чтобы он мог выкупить «своего» быка. Затем крестьянин Фрам сдал горемычную скотину, больше похожую на мешок с костями, чем на быка, в счет плановых поставок, а упитанного теленочка, который, собственно, и предназначался на сдачу, отдал господину Эрнсту, который незамедлительно теленка зарезал, устроив настоящий пир для всех обитателей Ковчега. Каждый получил по громадному куску мяса. Большая фрамовская кухня едва вмещала собравшихся, допущены были даже юные Маковские, чьи космы явно служили рассадником вшей, от которых мучился весь дом, а в самый разгар праздника поднялся с телячьей ножкой в руке всегда серьезный учитель Цабель из Глогау, что в Силезии, и гаркнул: «Пей, дорогая, пей быстрей, от вина глазок ясней!» Потом все чокнулись телячьими косточками во славу теленка, звали которого бог весть почему Мелузиной. Крестьянин Фрам и его жена сидели во главе стола и с удовольствием угощались своей же собственной телятиной. Нелли заметила, что и от еды можно охмелеть.

Март семьдесят пятого. Вскакивать ночами, когда ниспадающую кривую сна пересекает поднимающаяся круто вверх кривая страха. Одна, а с недавних пор две таблетки снотворного разжимают тиски на четыре, на пять часов. Беспочвенно, безосновательно, признаешь ты. Беспочвенный, безосновательный страх. Предательская двусмысленность слов. Неразгаданные процессы. Вспомогательные объяснения.

При попытке тронуть нетронутое — выговорить невысказанное — «высвобождается» страх. Свободный страх лишает того, кто им охвачен, свободы. Часы, словно бы заводящие сами себя и тикающие так громко, что вполне оправданно желание заглушить их музыкой, прямо средь бела дня, в разгар работы. Иоганн Кристиан Бах, Симфония соль минор, соч. 6. («Трагизм, пронизывающий это произведение...») Восемнадцатый век, шестидесятые годы. «Будь тверд без черствости, приветлив без жеманства»[1]. Пауль Флеминг. Семнадцатый век. Щедрые на страх времена. («...сознательный представитель третьего сословия открыто признает себя сторонником национального мироощущения...») Апелляция к святым-заступникам — от сознания, что все обман: пусть их отвечают за страхи, им самим неведомые. («И счастье и несчастье / Лежат в тебе самом!» Храбрый человек, счастливый, живущий с верой.)

Музыка делает свое дело. Вопросы становятся спокойнее. Например, идет ли речь о банальном страхе перед последствиями прикосновений к табу, то есть о трусости, которую можно преодолеть с помощью нравственного акта? (Вопрос из публики: «А не лучше ли вам писать о современности?» — Контрвопрос: «А что такое «современность»?». Смущенные смешки.) Или же это исконный страх узнать слишком много и попасть в зону несогласия, климат которой вы не научены переносить? Иными словами, страх, идущий издалека, из раннего детства, страх перед самопредательством и виной. Пагубное наследие.

Ночью, в мерцающей тьме, как озарение: необходимость раскрыться, выдать себя с головой и невозможность это сделать уравновешивают друг друга. (Что и означает — потерпеть неудачу?) Ежедневный соблазн сбиться на несущественное — беспредметен.

Как бы ты писала, твердо зная, что через два года умрешь?

Ответ едва ли способен тебя успокоить.

Неужели выбирать можно только между молчанием и тем, что Ленка и Рут называют «псевдо» (фальшивым, поддельным, неискренним, нереальным)? Ты опровергаешь это, наедине с собою, ночью. Представляешь себе искренность не как разовый силовой акт, а как цель, как процесс с возможностью приближения, мелкими шажками, ведущими в неведомый еще край, где совершенно по-новому, каким-то невообразимым сейчас образом, снова можно будет говорить — легче и свободнее, открыто и трезво о том, что есть, а значит, и о том, что было. Где ты избавишься от губительной привычки говорить не совсем то, что думаешь, думать не совсем так, как чувствуешь, и не совсем о том, что на деле имеешь в виду.

[1] Флеминг П. К самому себе.— Здесь и далее это стихотворение цитируется в переводе Л. Гинзбурга.

И не верить собственным глазам. Где изнуряющие тебя псевдопоступки, псевдоречи станут ненужными и уступят место стремлению быть точным... («Не сожалей о том, что сделано тобой,/А исполняй свой долг, чураясь окаянства».)

Как все-таки страх отступает, едва начинаешь о нем думать. Как дурное предчувствие, что ты скоро лишишься дара речи, развеивается, а вместо него возникает желание. Желание говорить и, где возможно и нужно, молчать.

О разновидностях страха.

Ночью после пирушки с теленком Мелузиной Лидия Тэльхен — дело шло уже к утру — выпроваживала из мансарды одного из своих возлюбленных. Это был хромоногий сын богатея Фосса; он хоть и мог принести госпоже Тэльхен свежее яйцо и глоточек молока — не в пример Хайнцу Кастору, каковой, вдрызг пьяный и совершенно нищий, дрых в мансарде у господина Эрнста, — однако же был неспособен оборонить ее от физического насилия. Во всяком случае, ни он, ни хрупкая Лидия не сумели захлопнуть приоткрытую дверь, на которую во всю мочь налегали снаружи. Русская речь вырвала из объятий Морфея и семейство Фрам. Четверо солдат отдавали дрожащей Лидии какие-то команды на своем языке и вполголоса переговаривались между собой. В тот первый раз все произошло очень быстро: Лидия, не знавшая ни слова по-русски, мигом поняла, что от нее требуется, поспешно распахнула дверь коптильни, каждый из четверки нахватал ветчины и колбас, сколько мог унести, и не успели Фрамы продрать глаза, не успели Шарлотта и Нелли Йордан спуститься со своего чердака, как все уже кончилось. Слышно было только громыханье телеги да топот коней, на полном скаку мчавшихся сквозь тьму.

Потом явился Хайнц Кастор и как следует накостылял Лидии. Никто не вмешался. В другой раз умнее будет.

Наутро Фрам лично известил о случившемся лейтенанта Петра, коменданта Бардикова. После обеда Петр уже сидел на фрамовской кухне, хозяйка угощала его обсыпным пирогом, и он говорил, говорил долго и порой очень сердито, а Сережа лаконично переводил. Комендант сказал: это нехорошо. Бандиты. Дверь запирать. Вызывать комендант.

Дом стоял крайне неудачно. По слухам, в лесах прятались солдаты, отбившиеся от регулярных частей. Большинство из четырнадцати налетов, совершенных на фрамовский хутор в течение дальнейших полутора лет, имели куда более ощутимые последствия, чем первый, — долгое обучение страху. В семьях участников подробности передавались из уст в уста, словно легенда; как однажды Шарлотта, услыхав ночью в доме крики молодых женщин, выплеснула на свой порог бутылку лизола и гаркнула навстречу рвущимся в комнату солдатам: «Тиф!» Слово, не требующее перевода и действующее, как анафема. На сей раз никто в комнату не проник, кроме фрамовской скотницы Херты, которая рухнула у двери на пол: Госпожа Йордан, что ж они со мной сделали.

Лейтенант Петр распорядился наладить телефонную связь между фрамовским хутором и деревней. В большой комнате стоял теперь полевой телефон, напрямую связанный с комендатурой. Дважды комендант разгонял мародеров, примчавшись верхом из Бардикова и паля в воздух, но схватить никого не сумел. На третий раз телефон отказал: линию перерезали. Ночью Нелли поняла, что не стоит воображать, будто в полной мере изведала какое-либо чувство, это равно касается и страха, и радости, и отчаяния, и того, что она в немногих украдкой сочиняемых стихах называла тогда счастьем. — По твоей просьбе молодая госпожа Фрам показала тебе крохотную чердачную каморку, где Нелли и остальные двенадцать обитательниц дома сидели той ночью, когда кто-то рылся в шкафу, придвинутом к тонюсенькой двери, тяжело топал за стеной и чертыхался на чужом языке. Теперь этой каморкой не пользуются, раскладушку — и ту куда-то убрали. Кругом светло, прозаично, чисто. В душе у тебя ничто не шевельнулось.

Однажды утром — утром после той ночи — из одежды у Нелли только и осталось, что пижама да пальто. Она стояла возле фрамовского дома, накинув на плечи одеяло, и смотрела, как восходит солнце. Ей было несказанно хорошо. (Так хорошо бывает лишь в экстремальных ситуациях.)

Выражения типа «быть бы живу» ей даже в голову не приходили. Позже она поняла, что при этом подразумевается.

Скажем прямо: через несколько дней, ощутив легкий укол разочарования, она получила часть своих вещей обратно. Шарлотту Йордан вызвали в районный город, в советскую комендатуру. Там ее отвели в помещение, похожее на товарный склад, только товары в нем хранились отнюдь не новые. Шарлотта рассказывала, что ей было до ужаса неловко смотреть, как другие женщины набросились на эти вещи. Она бы с радостью ушла, сию же минуту. Но вдруг увидела в углу свой старый обтерханный чемодан. Из кучи одежды она вытащила Неллин тренировочный костюм, утрата которого, кстати, была бы невосполнимой, и парочку одеял. Молодой солдат у двери знаками показывал: мол, берите больше,— но Шарлотта отрицательно мотнула головой: нет. В коридоре выстроились шеренгой люди в советской военной форме. Офицер-переводчик — вежливый, но суховато-сдержанный, по словам Шарлотты, так или иначе, человек образованный — предложил женщинам присмотреться к этим людям: нет ли среди них участников ночных налетов.

Шарлотта безошибочно опознала долговязого брюнета в высокой меховой шапке, который стоял на пороге ее комнаты, когда она гаркнула: «Тиф!» Но, как ни странно, теперь она промолчала. Взгляд у него был очень уж отчаянный. Жалко его стало.

Дядя Альфонс Радде схватился за голову. Это тебя в пору пожалеть, сказал он своячечнице.

Ссорились они теперь по всякому поводу и без повода.

Интересно, Лутц не забыл оскорбление, которое Альфонс Радде однажды — еще до фрамовского хутора — бросил в лицо «усишкиной» бабуле? Лутц понятия не имеет, к чему ты клонишь. Ну как же, он обозвал бабушку «полячихой». Из-за чего — ты запамятовала. «Полячиха». Смертельное оскорбление — и Нелли тотчас взяла «усишкину» бабулю под защиту. (Я не позволю тебе обижать бабушку! В таком вот духе. Вполне вероятно, что ответом было: Ты? Да ты сперва сопли утри!) Наслаждение — наконец-то ненавидеть в открытую.

Это воспоминание выплыло перед самым Костшином, после того как Ленка объявила, что поляки ей очень симпатичны. Чем же это? — спросили вы с Лутцем (X. в эту жару целиком сосредоточился на вождении). Они живее, сказала Ленка. Импульсивнее. И, по-моему, не используют порядок, чистоту, дисциплину как оружие друг против друга. Не то что мы.

Мы?

Да. Они наверняка не стараются уморить друг друга трудовой отдачей.

Не знаю, сказал Лутц племяннице, какой смысл ты вкладываешь в это «уморить». Но если они намерены повысить свой жизненный уровень, им поневоле придется признать важность трудовой отдачи. Правда, я лично в это не верю.

А во что ты вообще веришь? — спросила Ленка. (Тогда она, по-видимому, очень интересовалась тем, кто во что верит.)

Ничего себе тема для разговора в почти сорокаградусную жару!

Да ладно тебе, выкладывай.

Я, сказал Лутц, верю, например, вот во что: учитывая определенные физические законы и поведение определенных материалов при заданных нагрузках, можно сконструировать машину, принцип действия которой будет вполне предсказуем.

Так я и думала, сказала Ленка.

X. в подобных опросах никогда не участвовал. Поэтому Ленка пристала к тебе. Сперва обычные увертки: да что это ей в голову взбрело и прочее в таком же духе.— Кончайте тянуть резину, сказала она.

Ты совсем засмущала мать, сказал X. Краткая ремарка на полях.

Это почему же?

Потому что разные поколения вкладывают в понятие веры разный смысл.

Тебе вдруг подумалось, что Ленка, наверно, никогда не принимала слова «верующий», «верящий», «живущий с верой» на свой счет. Подумалось о собственных в корне различных символах веры, разделенных промежутком в каких-то несколько лет. А что если испытания, выпавшие на долю твоих сверстников, больше не повторятся? Эта мысль принесла некоторое облегчение.

Например...— сказала ты и запнулась, потому что символ веры не следует начинать словом «например»,— например, я верю, имеет смысл во всеуслышанье говорить о том, что считаешь правильным, правдивым.

В этом Ленка никогда не сомневалась. От такого ответа ей проку не было. А вот X., с недавних пор заведший привычку обрушиваться как раз на те вопросы, какие ты считала самыми для себя главными, X. сказал: Ты уж извини, но та правда, о которой ты толкуешь, без гласности вообще не существует. Так что я не вижу смысла...

По-твоему, я возвожу обыкновенную трусость в ранг сомнения?

Возможно, сказал он. Бережную заботливость, которую он до сих пор проявлял во время поездки, как рукой сняло.

Правда! — воскликнул Лутц. Господи боже мой, ну ты замахнулась. Не высоко ли?

Я сказала: «что считаешь правильным, правдивым», ответила ты раздраженно. Неужели я, по-твоему, такая дура, что стану требовать: «говорите правду», как дети. Мы имеем в виду правду как систему соотносительных понятий в общении между людьми.

Ну, пошло-поехало, сказала Ленка. Может, объясните мне, о чем речь?

Речь о том, сказала ты, все еще с обидой, что есть и другие правды, а не только «дважды два четыре». И я спрашиваю себя, почему эти правды так поздно доходят до человека и почему так трудно о них говорить.

Вот оно что, сказала Ленка. Но я спрашивала не об этом. Я просто интересовалась: верите ли вы, что человек способен в корне измениться?

Мать честная, сказал Лутц.

Вы заехали в Костшин поискать хоть какой-нибудь ресторан. В войну город был разрушен до основания и теперь отстроен заново. Вы угодили в унылый район новостроек: ровные ряды бетонных зданий на фоне скучного ландшафта. В единственном ресторане было жарко, людно и совершенно нечего есть, хотя уже подошло время обеда. Выпив соку, вы отправились дальше. Ответа на свой вопрос Ленка не получила, да она и не настаивала. Один из тех случаев, когда замешательство не давало тебе уяснить затронутую ею тему. Цепочка мыслей, промелькнувшая у тебя в мозгу, ничего бы ей не сказала: в корне измениться. Стать «новым человеком». Фильмы, где перед вами, точно автомат, действовал «новый человек». Неужели это он и есть? Новый человек — химера, гоняться за которой столь же безнадежно, сколь необходимо. Новый слой страхов поверх давнего: кажется, вам опять суждено поражение. Люди постарше пожимают плечами: Ох и чувствительное поколение эта молодежь, ох и тщедушное...

Ленка осталась наедине с сомнениями в собственной персоне.

Роль времени в распаде страха.

К. Л., твой московский друг, настоял, чтобы ты подробнейшим образом описала ему сигнализацию, установленную у Фрамов. Даже попросил сделать чертеж. Сразу видно: чтобы ее придумать, необходима была сосредоточенность и жадная вера в успех, а чтобы она работала, требовалась полнейшая слаженность человека и техники. Сначала деревенский столяр изготовил толстую опускную дверь, способную выдержать удары топора и ломиков, она герметически перекрывала сообщение между верхним и нижним этажом фрамовского дома. Затем был составлен график дежурств, согласно которому мужчины по очереди несли ночами наружную вахту, а женщины — вахту у телефона. Третий агрегат — оригинальное изобретение твоего брата Лутца, за что все обитатели дома без устали его нахваливали,— служил как бы заменой телефону, на случай порчи линии, и являл собой три пустых кислородных баллона, подвешенных во дворе среди ветвей старого, разлапистого каштана и с помощью веревок, к которым были прицеплены всякие железки, соединенных с чердачным окошком; когда за веревки ритмично дергали, поднимался оглушительный грохот.

К. Л. дотошно тебя расспрашивал, стремясь обнаружить в системе изъян, в конце концов сдался и одобрительно воскликнул: Молодец! После

чего вы невольно расхохотались и долго не могли успокоиться. В дальнейшем, рассказывала ты ему, налеты проходили по следующей схеме: наружный часовой слышит, к примеру, ночью — чаще всего между часом и двумя, в кромешной тьме — приближение конской упряжки. Он громко свистит в свисток и тотчас прячется в укрытие. Женщина, дежурящая у телефона, распахивает дверь гостиной и, чтобы разбудить дом, во все горло кричит: Тревога! Потом она бросается обратно к телефону и уведомляет комендатуру. Обитатели Ковчега, ночевавшие внизу, быстро и без шума отправляются в потемках наверх, куда ежевечерне относят весь скарб. Нелли, отвечающая за то, чтобы все жильцы были наверху, прежде чем будет заперта опускная дверь, командует дяде Альфонсу и учителю Цабелю: Запирай! Дверь захлопывается, дважды поворачивается ключ в тяжелом железном замке, накладывается засов.

Одновременно воздух наполняется оглушительным грохотом: Лутц, сидя у чердачного окна, дергает веревки; железки лупят по кислородным баллонам. В двух километрах от хутора просыпается вся деревня. Комендант Петр, а за ним и вестовой Сережа взлетают в седло, лейтенант на всем скаку расстреливает в воздух целый автоматный магазин, а спустя некоторое время, потный и злой, сидит на кухне у Фрамов.

Рассказывая все это К. Л. — у него дома, где среди множества других фотографий висит снимок военных лет, запечатлевший его в форме капитана Красной Армии, — ты порой задыхалась от смеха. Запиши, кричал он, непременно все запиши!

Ночи на кухне у Фрамов, после сорванных налетов. Черный, твердокаменный хлеб. Нож с тонким, истертым лезвием. Посреди стола — стеклянная банка с домашним печеночным паштетом, ничего вкуснее ты в жизни не едала. Огонь в печке. Горячий вчерашний суп. Горячий ячменный кофе. Возбужденные голоса. Каждому не терпится рассказать, сколько он проявил присутствия духа и организованности. Все чествуют героя-караульщика. Учитель Цабель вычерчивает на кухонном столе перед лейтенантом путь своего бегства из Глогау, стараясь выяснить, где и когда мог бы столкнуться с частью, в которой служил Петр. Ирена Цабель вслух зачитывает последнее письмо от жениха, от Арно; он прислал весточку из американского лагеря для военнопленных! Милая моя девочка — такими словами начинается письмо, и Ирена говорит: Он всегда меня так называл. В задней комнате лежит при смерти бабушка Фрам. Близится утро. Над сараями — теперь они снесены за ненадобностью — ширится рассветная полоска. Скоро крестьянин Фрам хлопнет в ладоши и скажет: Ну, ребятушки, пора за дело! Комендант скажет: Работа! — встанет и попрощается. Кое-кто — Нелли, например, которая уже «хворает легкими» и которой врач назначил постельный режим, — снова укладывается в постель.

Страх выделывает диковинные и непредсказуемые пируэты. Хватает, отпускает. Словно клещи.

Теперь тебе поможет только самодисциплина. Жесткий распорядок дня, строго расписанные часы работы. X. не верит твоему стремлению к дистанции. Не знает, что ради избавления от страха уплатишь едва ли не любую цену. Вся сложность в этом «едва ли не», ясное дело. (Какова, например, цена дистанции?)

Узнать бы, что же такое происходит. Поиски меткой формулировки — одно из высших удовольствий. Дни, когда всякий зачаток удовольствия растворяется в кислоте самопознания: формулировка, не успев сложиться, отметается как фальсификация.

Чума, голод, война, смерть — устарелые апокалипсические всадники. Трое из них тебе знакомы, если только вместо чумы подставить другую заразу — тиф. (Он вызывает у Нелли носовые кровотечения, валит ее с ног, на кровать, которая всю ночь напролет ходит ходуном, качается, будто морские волны ее швыряют. Он выбрасывает Нелли из времени — безвременье, точно белесая река, — выбрасывает туда, где ни одна из знакомых ей инстанций не властна. Она переживает известие о собственной смерти, которое в деревне целых три часа терзает ужасом ее маму. Когда ей удается решить, что пора выздороветь, она выздоравливает. Страха у нее не было.)

Надо же, страха среди апокалипсических всадников как раз и нет... (Пауль Флеминг «К самому себе»: «Ни радость, ни печаль не знают постоянства: /Чередование их предрешено судьбой./ Не сожалей о том, что сделано тобой...» Растроганность, но не зависть к предкам, которым недостает опыта нового времени — неумения принять себя, непонимания, что значит «к самому себе».) «В небесах самоотвержения», гласит одно из посланий, страх неведом. Да и любовь тоже. Что ж, страх поставлен охранять преисподнюю самопознания?

(Сводка: Крупное наступление северовьетнамских войск, держащих теперь под контролем северные районы Южного Вьетнама.)

Дело к вечеру. Поездка в окружной центр, по новой дороге. Горизонт слева красен, как кровь, на его фоне — силуэт города, голые кроны деревьев, башенки. «При таком освещении любой пейзаж прекрасен». Ты это знаешь, но не чувствуешь. В голове у тебя мельтешат всё те же мысли. Быть может, говоришь ты, это — страх разорвать самое себя, когда возникает необходимость отойти от роли, которая с тобою срослась. — Существует ли альтернатива? — Нет, говоришь ты. И все-таки выбор есть. (Неужели ощущение подлинности приобретается лишь страхом, подлинным страхом, не позволяющим усомниться в себе?)

Почему, говорит X., нам никак нельзя без уверенности, что всё в наших руках? И почему мы испытываем такое унижение, заметив, что это не так?

Потемневший, все еще красный горизонт за спиной, впереди — полная луна, холодный свет над городом. Ночью тебе снится, будто ты пишешь X. открытку, а после пробуждения ты слово за словом считываешь ее с пленки, которая прокручивается у тебя в голове. Дорогой X., писала ты, я теперь уже не ветхий Адам, а новый. Все от меня теперь отошло. Твой ветхий Адам.

Страх, смеетесь вы, на прощание способен и юмором блеснуть. В этот день впервые пахнуло весною. «В безднах истина гнездится» [1], иронически произнес X. Знаешь, кто это сказал? Ты не поверишь — Фридрих Шиллер.

18. МАТЕРИАЛ ВРЕМЕН. БОЛЕЗНЬ. ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Время бежит. По-настоящему мы живем нечасто.

Что-то в тебе твердит, что обе эти фразы (одна из них могла бы сойти за возглас радиокомментатора на какой-нибудь спартакиаде, а вторая — за жалобу ипохондрика) взаимосвязаны. Разный материал, слагающийся во фразы. Разный материал времен.

Дошло до того, что тебе нужно напрягаться, чтобы вспомнить виденный накануне вечером телефильм. Смутно, туманно. Зато четко, как на гравюре, — кухня Штегувайтов, плита на которой Нелли помешивает популярный в здешнем краю мучной суп — без сахару и без соли, — чугунная сковорода, на которой она учится жарить картошку так, чтобы лук не пригорал. Теперь ты уже записываешь дневные события, иной раз даже погоду и ее капризы, в надежде, что пометка «Холодновато, но с прояснениями» впоследствии раскроется в целый жизненный пласт. Когда это будет, ты не задумываешься. Когда придет «время» вспоминать, то есть жить непрожитой жизнью, или «допереживать». Так же как донашивают старые вещи, пересматривают старые бумаги. (Резкое ухудшение погоды весной нынешнего, семьдесят пятого года, после зимы, которую и зимой-то грех было назвать; резкое ухудшение настроения; резкий подъем гриппозной волны, есть данные, что от сосудистого коллапса умирают и довольно молодые люди.)

Твое подозрение: мы живем в скоропортящееся время, время из иного материала, нежели прочные былые эпохи. (Время разового пользования.) Разные времена, текущие с разной скоростью. Настоящее время — оно как

---

[1] Шиллер. Изречение Конфуция. Перевод Е. Эткинда.

бы растягивается, оно измеряется минутами («Борьба за каждую минуту»), его часы еле-еле плетутся, а вот годы летят, на лету унося с собою жизнь. Минувшее время, наоборот, компактно, упруго, плотно сжато, как бы сплавлено во временные слитки. Его можно описать. Голую, обнаженную повседневность времени настоящего описать нельзя, ее можно только заполнить.

Человеку, говорят люди, не под силу глубоко сопереживать все на свете войны. (На подступах к Сайгону рвутся ракеты Фронта национального освобождения Южного Вьетнама.) Когда они покупают импортную обувь (когда мы покупаем импортную обувь), возле кассы стоит копилка, иногда прозрачная, как правило, наполовину заполненная, попадаются и довольно крупные купюры: солидарность с Вьетнамом, с Анджелой Дэвис, с Чили. Принцип времени — мол, с помощью денег все разрешимо — вводит в соблазн допустить, будто люди платят за свою к этому непричастность. Вывод, опять-таки предполагающий бессмысленные угрызения совести: дескать, вообще-то следовало бы находиться там. Догадка: фантазия у нас, у жертвователей, не поспевает за пожертвованиями.

Фантазия граждан великой державы под названием Америка, так и не научившихся читать в глазах народов, которых они забрасывали бомбами или подкупали, явно опирается на то, что для всякого ребенка нашей планеты нет большего счастья, чем расти среди благ американской цивилизации, — потому-то они и не могут уразуметь, что другим их «бэби-мост», то бишь вывоз детей из Южного Вьетнама, кажется непристойностью.

Между Костшином и Слубице, наперекор жаре, вы запели, прямо в машине: «А наши генералы, наши генералы нас всех попредавали, нас всех попредавали» [1]. И еще: «Там в долине, у реки Харамы». А потом песню про хорошего товарища, с текстом, переделанным в Испании на смерть Ханса Баймлера [2], — Ленка ее не знала. «Пуля с пеньем долетела, / дар от отчего жилья, / выстрел сделан был с прицелом, / ствол нарезан был умело / у немецкого ружья» [3].

У Ленки слезы не навернулись. Она сказала: Надоели мне эти дурацкие разговоры.

В сорок пятом Нелли ни одной из этих песен не знала. Она вела все ту же зеленую клеенчатую тетрадь и заносила туда совсем иные песни. («Барабан в Германии грохочет» — «Если все предателями станут...») Еще два, три года, и она запоет, печатая шаг по мостовой городка, имени которого она пока слыхом не слыхала: «Давайте строить, строить». И постарается забыть песни из зеленой тетрадки, кстати говоря, к тому времени потерявшейся. Это ей не удастся. Пласты песен, один поверх другого.

Смерть, надежный спутник времени, взявший на себя деление повести на главы. Когда Нелли выписывается из тифозной больницы, «усишкин» дед лежит при смерти. Маму, судя по всему, куда больше, чем близкая смерть родного отца, ужасает тот факт, что ее дочь Нелли притащила в дом вшей. В больнице вши были у всех, но от этого ведь не легче. Шарлотта драит ей кожу на голове, сыплет порошок от паразитов, завязывает голову белым платком. Вот так, с завязанной головой, не обращая внимания на смехотворность своего вида, Нелли идет к «усишкину» деду. К Герману Менцелю, семидесяти одного года.

Умирает он в одиночестве, в узенькой каморке, — это Нелли уже знакомо. Когда она входит, комната полна хрипом. (Нынче эта каморка стоит пустая и чисто прибранная, как все чердачные помещения во фрамовском доме.) «Усишкин» дед лежит на спине — так называемой естественной смертью умирают, похоже, исключительно на спине, — подбородок сердито вскинут к потолку. Желтоватая седая борода, которую никто не подстригал, клочьями торчит на обтянутом кожей черепе. Поверх одеяла беспокойные руки, руки мертвеца. Нелли вспоминаются ороговевшие мозоли на пальцах его правой руки — от сапожного шила. У умирающих они пропадают?

---

[1] Перевод А. Науменко.
[2] Баймлер Ханс (1895—1936) — немецкий коммунист, один из основателей КПГ; во время Гражданской войны в Испании был комиссаром батальона имени Э. Тельмана.
[3] Перевод А. Науменко.

Хрипы, хрипы — но идут они словно бы не от него. Нелли стоит, прислонясь к дверному косяку. К деду она не прикасается — лишь позднее сама она дотронется и до мертвой бабушки, и до мертвой матери, — это кажется ей немыслимым. Через несколько минут она уходит, а вдогонку несутся хрипы, их и на лестнице слышно. Она садится на верхнюю ступеньку и велит себе думать: дедушка умирает. Из всей его жизни, которую она старается себе представить, ей только и приходит на ум отчаяние, наверняка охватившее его давно-давно, в Бромберге, когда «эта Густа» не пожелала принять его ухаживаний. Тогда он, молодой подмастерье сапожника, пригрозил, что пойдет в лес и повесится. А она («усишкина» бабуля) позвала подруг и бегом в лес, искать его, ведь совсем ума решился, не ровен час, впрямь повесится. Дед и бабка уже одной ногой в могиле, а Нелли впервые представляет их себе молодыми — как они бегут по лесу, стройные, гонимые страстями.

Не в первый раз Нелли поразилась, до чего естественно складываются все истории, когда знаешь их конец, — у них словно и не было никогда возможности развиваться совсем иным путем, привести к иным судьбам, иным героям. Она оплакивала не смерть Германа Менцеля, а то, что он так и не узнал самого себя и не был узнан другими.

«Усишкина» бабуля не отходила ни на шаг от мужнина смертного одра. Вечером на третий день, когда все сидели за ужином, она появилась на пороге. Все поняли, что это означает. Она вымыла руки и села на свое место. Шарлотта налила ей супу, Нелли придвинула очищенные от «мундира» картошки. Все молчали. Бабушка, похлебав немного, положила ложку и сказала: Может, оно и зря, но ведь когда столько лет вместе прожито, не очень-то все просто.

Такова была единственная эпитафия бывшему подмастерью сапожника, впоследствии кондуктору на железной дороге Герману Менцелю, какую Нелли довелось услышать. На кладбище ее не взяли — слишком было холодно, да и самочувствие у нее не ахти. Целое утро гроб с телом деда стоял у Фрамов в коридоре, служившем кухней Неллину семейству. Когда на миг приподняли простыню, она успела еще раз увидеть лицо деда. Таким суровым, как у покойника, лицо живого человека никогда не бывает, подумала она. Мать в припадке отчаяния схватилась за голову, потому что Нелли посеяла где-то «вшивый чепчик» и гниды того гляди, распространятся по всему дому. Нелли с горечью думала: нашла из-за чего отчаиваться. Тут человек мертвый лежит, а ведь когда-то он был молод и тоже жаждал счастья, но остался беден и совершенно не оправдал даже собственных своих надежд, а потом начал пьянствовать и колотил жену, ту самую, из-за которой раньше едва не повесился, — вот это, я понимаю, повод для отчаяния, думала она.

Нелли не допускала возможности, что мать как раз поэтому и хваталась за голову.

Любовь и смерть, болезнь, здоровье, страх и надежда оставили глубокий след в памяти. То, что пропускается сквозь фильтры неуверенного в себе сознания, отсеивается, разбавляется, утрачивает реальность, проходит почти бесследно. Годы без памяти настанут вслед за этими, первоначальными, — годы, когда ширится недоверие к чувственному опыту. Как же много пришлось забыть нашим современникам, чтобы остаться работоспособными, — по этой части у них соперников нет.

(Время бежит. Четыре, пять лет ушло в эти бумаги, вслепую, как тебе иногда кажется. Четыре, пять лет, когда в тебе, вопреки попыткам затормозить ее рост, как будто бы расширялась мертвая зона. Безудержно росло число привычек. Тяга к соглашательству. А запечатлевается на лице стремление жить наперекор всему этому. Исподволь проступают старческие черты. Мина, показывающая, что неизбежные потери принимаются не без сопротивления. Хороший повод для глубочайшего изнеможения, которое никаким сном не снимается. Кто мог знать, что будет очень важно, оглянувшись назад, не обратиться в соляной столп, не окаменеть. Остается одно: раз уж целым-невредимым не уйдешь, надо вообще хоть как-то выпутаться из этой истории.)

К зиме открываются так называемые средние школы. Шарлотта настаивает, чтобы школа была закончена. Ведь табели и справки она сберегла. Равно как и мечту дать детям приличное образование. Нелли хо-

чет стать учительницей — и пусть становится. Некая госпожа Врунк, дальняя родственница Фрамов, живущая в городе, готова сдать Нелли свой диван при условии, что та будет присматривать за ее ребятишками и помогать по хозяйству. Госпожа Врунк работает в Управлении продовольственного снабжения, а муж ее — но этого она еще не знает — на одном из сибирских рудников. Опять Нелли только по портрету знакомится с хозяином дома, худощавым блондином, на которого очень похожи оба сына, восьми и десяти лет от роду. Народ по-северогермански сдержанный, но порядочный и чистоплотный, а главное — честный.

С первой же минуты Нелли замечает свою неуместность в парадной комнате, куда никто никогда носу не совал, — чистейший пережиток. Законы парадной комнаты для нее больше не существуют. Она лакомится в кладовке пудингом госпожи Врунк. Отрезает тонкие ломтики деревенской копченой колбасы и поедает их без мало-мальских угрызений совести. Сперва вопросительные, а затем сверлящие взгляды госпожи Врунк она встречает дерзко, без всякого смущения. А ковер в гостиной метет по утрам со злостью, стиснув зубы. Ее взаимоотношения с госпожой Врунк, действительно очень милой и порядочной женщиной, постепенно омрачаются, и виной тому прежде всего Неллина манера осматриваться в квартире. Такого госпожа Врунк, конечно же, не потерпит — это за ее-то доброту.

Школа стояла у Лысухина пруда, да и сейчас еще стоит. Занимались в две смены: утром мальчишки, после обеда девчонки, и наоборот. В партах оставляли записочки. Если та, кто сидит на этом месте, не против... Иной раз так происходило сватовство. Ута Майбург, сидевшая за Нелли, — она была родом из Штеттина — познакомилась через такую записочку с будущим мужем. Держась за руки, они прогуливались в обед мимо «Городских палат» — нынче это ресторан, отделанный в народном стиле, — где всегда за одним и тем же столом сидела Нелли, разминая в тарелке четыре студенистые картофелины, политые стандартным соусом номер три. Ей было невдомек, как эта неприступная гордячка вроде Уты могла познакомиться с парнем через подобное «объявление». Она подробно обсудила сей инцидент с Хеленой из Мариенбурга[1] — у той были длинные черные волосы и синие глаза, сочетание редкое и привлекательное, — и обе хоть и дружили с Утой, но единодушно ее осудили. Все три девушки считали, что поражение Германии отбило у них охоту веселиться. Никогда они не привыкнут к нелепым красным лозунгам на улицах, к крашеным зеленым заборам вокруг советских объектов, к серпу и молоту в городском пейзаже. Над новыми фильмами, на которые смущенным учителям приходилось ходить с ними в «Шаубург», они только громко, с издевкой смеялись. Еще и года не прошло, как они — каждая в своем родном городе — стояли в очереди, чтобы увидеть Кристину Сёдербаум в «Золотом городе».

За зиму красивые глаза Хелены стали еще больше. В один из первых теплых мартовских дней, когда класс писал сочинение по немецкому, она посреди урока подошла к водопроводному крану и подставила руки под ледяную струю. Учительница Мария Кранхольд обомлела, ведь школа толком не отапливалась и весь класс сидел в пальто. А мне вот жарко, сказала Хелена и потеряла сознание. На большой перемене мать принесла ей ломоть хлеба из нового пайка. Тут-то и выяснилось, что Хелена почти ничего не ела, урезая свою порцию в пользу трех младших сестреиок.

Сочинение писали о маркизе Поза из «Дон Карлоса» Шиллера. Мария Кранхольд прямо им в лицо объявила, что эта пьеса — как и «Вильгельм Телль» — в последние годы национал-социализма была исключена из школьных программ за одну-единственную фразу: «О дайте людям свободу мысли!»[2] Все, а особенно Ута, Хелена и Нелли, ожесточенно оспаривали утверждение учительницы. Клевета! У них в школе Шиллера проходили целиком!

Нелли постаралась написать как можно более двусмысленное сочинение: у каждого народа своя особая жажда свободы, не разделяемая други-

[1] Ныне г. Мальборк (ПНР).
[2] Перевод В. Левика.

ми народами и им непонятная как прежде, так и теперь. Что ее разозлило, так это оценка: Кранхольд влепила ей «хорошо» не за содержание, а за «витиеватость стиля». В конце урока Мария Кранхольд уже по другому поводу сказала: в коричневые времена она считала вершиной свободы не приветствовать флаг с пауком свастики. Она-де позволяла себе такую свободу, добывала ее хитростью и обманом и никогда не вскидывала руку, салютуя гитлеровскому флагу. Говоря «свобода», нужно хотя бы знать, что свобода одних может явиться несвободой других.

Нелли впервые слышала такое от человека, не сидевшего в концлагере. И твердила себе, что терпеть не может эту Кранхольд. Не в пример другим Кранхольд не говорила «нацисты». До перелома она еще говорила «нацисты», а вот теперь ей, мол, противно, что это бранное слово у всех буквально с языка не сходит. Мария Кранхольд была верующей христианкой. Если хотите, предложила она Нелли, приходите ко мне в гости.

Жила она всего через две улицы от Нелли. Недавно ты проезжала по этой улице, медленно-медленно, ты еще помнила номер дома, но все-таки засомневалась, тот ли это. Сама Мария Кранхольд много лет назад уехала на Запад.

Нелли втайне гордится, что не знает в этом городе никого, кроме двадцати четырех своих одноклассниц и десятка учителей, и что ее тоже никто не знает. Она упражняется в игре: незнакомый, незнакомее, самый незнакомый. Чуточку схитрив — дескать, господин Врунк вот-вот вернется, — она получает от жилотдела ордер на малюсенькую комнатушку в доме вдовы Зидон, на Фриц-Ройтерштрассе и обрывает наконец последнюю нить, связывающую ее с деревней Бардиков.

Отчаянное уродство Фриц-Ройтерштрассе пришлось Нелли по душе. Ей по душе, что все доходные дома на этой улице неотличимы друг от друга. Каждый раз она, точно в укрытие, ныряла в свою подворотню, где вечно стояла жуткая вонь. Ее завораживало полнейшее безразличие вдовы Зидон ко всему в жизни, за исключением того факта, что ее шестнадцатилетний сын Хайнер растаскивал из кладовки продукты, не задумываясь над тем, помрет его мамаша с голоду или нет. Нелли слышала, как за стеной, в своей холодной комнате, вдова Зидон, вооружившись выбивалкой для ковров, гоняется за неслухом вокруг стола. А мальчишка, заливаясь хохотом, прикидывается, будто убегает от нее; но в конце концов это ему надоедало, он отбирал у матери выбивалку и выбрасывал в окно с пятого этажа на мостовую Фриц-Ройтерштрассе.

Вообще-то он был не такой. Это всё времена виноваты.

Так эта фраза и застревает в голове у Нелли, целые сутки она не может от нее отделаться: Вообще-то он был не такой, вообще-то он был не такой. Утром она подходит к окну, которое начинается почти у самого пола, берется за раму и глядит на улицу, на толчею людей, спешащих на работу. Ее не пугают мысли, возникающие как бы сами собой, но она знает, что никогда их не осуществит. Как всегда, пойдет в школу и будет спорить с Кранхольд.

Кранхольд повторила свое приглашение. После обеда Нелли, презирая себя за это, впервые идет к ней.

День — один из первых мало-мальски теплых в году. Март. Мария Кранхольд живет с матерью в бывшем пасторском доме, в казенной квартире, — ее отец был священником. Объясняя свой приход, Нелли говорит, что новые задачки по математике у нее никак не идут, в геометрии она вообще всегда слабо разбиралась. Пространственное воображение ни к черту, формулы так и остаются пустым звуком. (Этот изъян и поныне сохранился.) Мария Кранхольд преподает два предмета, в редком сочетании — немецкий и математику. Нелли сообщает ей, что, между прочим, всегда не выносила учителей математики. Кранхольд глазом не моргнув предлагает ей свою вторую половину, которую можно вынести, — учительницу немецкого. У нее случайно готов чай — из ежевичных листьев, он больше всего похож на настоящий — и печенье из овсяных хлопьев и темной муки с сахарином. Ее матушка, которая разок мелькает в глубине квартиры, седая и согбенная, знает толк в экономных рецептах.

Ровно год и три месяца назад Нелли ела овсяное печенье у другой учительницы, Юлии, на Шлагетерштрассе в Л. Тамошняя комната тоже

была заставлена книгами, как и эта, бывший кабинет отца Марии Кранхольд. Учительница Кранхольд говорит, что, наверно, книги хотя бы отчасти были одинаковые. Она на двадцать лет моложе Юлии, волосы у нее каштановые, а не черные, тоже заколотые узлом. Волевой подбородок. Голубое полотняное платье с белым пояском вполне подошло бы и Юлии.

Нелли вдруг спрашивает, неужели Мария Кранхольд вправду верит, что такие люди, как учительница Юлия Штраух, все эти годы сознательно обманывали ее, Нелли. И тотчас злится на себя за этот вопрос.

Мария Кранхольд ответила не сразу. Вероятно, призвала себя в душе к величайшей осторожности. Для начала она осторожно повторила слово «обманывали» с вопросительной интонацией: Обманывали? Потом продолжила: Думать так — значит слишком уж все упрощать. Можно ли говорить, что человек обманывает других, если он сам — по крайней мере отчасти, что ей кажется наиболее вероятным, — верит в эту ложь?

Впрочем, вера, конечно, не оправдание, сказала Кранхольд немного погодя. Верить тоже надо с разбором. В самом-то важном никого не обманывали. Разве Гитлер с самого начала не требовал для немецкого народа больше жизненного пространства? Для всякого мыслящего человека это означало войну. Разве он не твердил сплошь и рядом, что намерен истребить евреев? И истребил, по мере возможности. Русских он объявил недочеловеками — так с ними и обращались потом те, кто, по их словам, верил, что это недочеловеки. А люди вроде Неллиной прежней учительницы Юлианы Штраух своей упрямой верой сами загнали себя в капкан. Кто оправдывает то, что они отправили свои умственные способности на покой?

Юлия, сказала Нелли, не смогла бы убить человека, тут она совершенно уверена.

Возможно, кивнула Кранхольд. Но это она заставила вас мучиться угрызениями совести, когда вы говорили себе, что не сможете убить человека.

Нелли промолчала.

Это она, сказала Кранхольд, устроила так, что ваша совесть обернулась против вас же, что вы не умеете быть хорошими и добрыми, не умеете даже как следует, по-хорошему думать, не испытывая чувства вины. Да как же вы могли совмещать заповеди «Не убий!» или «Люби ближнего твоего, как самого себя!» с теориями о неполноценности других?

А вы? — спросила Нелли. Вы-то их как совмещали?

Плохо, ответила Мария Кранхольд. Очень плохо. Вечно на грани тюрьмы, на грани измены богу и людям, мне доверенным. Но я не поклонялась чужим богам — впрочем, поэтому и не могу оправдаться тем, что я в них верила.

Нелли удивлялась, что вообще понимает, о чем говорит Кранхольд. А та еще спросила, знает ли она «Ифигению». Неужели правда не знает? Один из тех странных взглядов, какими взрослые частенько награждали Нелли в последующие годы. Кранхольд подарила ей книжицу издательства «Реклам». Возьмите. И прочитайте.

Нелли лежала на койке в холодной комнатушке вдовы Зидон. И читала. «Под вашу сень, шумливые вершины...» [1] Она ничего не чувствовала, чужие слова совершенно ее не трогали. Ее Гёте был тот, какого звучным голосом читала учительница Юлия Штраух: «Медлить в деянье,/ Ждать подаянья, /Хныкать по-бабьи /В робости рабьей, /Значит — вовеки/ Не сбросить оков. /Жить вопреки им — /Властям и стихиям, /Не пресмыкаться, /С богами смыкаться, /Значит — быть вольным /Во веки веков!» [2].

Сегодня ночью, в лихорадочном гриппозном сне, ты украла из незастекленной витрины пару рыжевато-коричневых замшевых перчаток с крагами. Голыми руками не возьмешь, подумалось тебе при этом. Ты — секретный агент во вражеском городе, твоя задача — добыть воровством принадлежности для путешествия. Очередной объект — дорожная сумка. А вот как раз и отличный магазин кожгалантереи, «увести» оттуда сумку, которую ты быстренько присмотрела (ту самую, что лежала в багажнике, когда вы ездили в Польшу), будет проще простого, — и вдруг ты осознаешь, что находишься на Постштрассе в своем родном городе Л. Секретное задание забыто. И однако же тебя вовлекают в авантюру, в ходе которой ты вынуждена застрелить во сне двух людей, злодеев наихудшего пошиба (один из них действует под маской врача). Проснувшись, ты размышляешь о том, что означает нарушение несокрушимого доныне табу — убийства во сне. Почему ты видишь себя в родном городе шпионкой, спрашивать не приходится.

[1] Гёте. Ифигения в Тавриде, I, 1. Перевод Н. Вильмонта.
[2] Гёте. «Медлить в деянье...». Перевод Л. Гинзбурга.

Время течет. Теперь Нелли пора заболеть. Пора наконец сломаться. Пора четко выявиться структуре, неумолимо повелевающей случаем. В январе — вот вам законы случая — ее посадили рядом с новенькой, Ильземари из Бреслау [1]. У Ильземари широкое и какое-то прозрачное лицо, волнистые пепельно-русые волосы, заплетенные в косу и подколотые вверх. Под глазами глубокие тени, руки сильные, с тонкими запястьями. Манеры у нее небрежные, что совсем ей не идет. Нелли этот сплав несовместимого и притягивает, и отталкивает. Голос у Ильземари чуть хрипловатый, речь медлительная; Ута с Хеленой считают, что она «ломает комедию».

Весной у Ильземари начинается жуткий кашель. Вернее, хронический кашель, к которому все привыкли, переходит в новое, жуткое качество. Мария Кранхольд настоятельно советует ей пойти к врачу. Ильземари пожимает плечами. Нелли не понимает, отчего ее взгляд — явно против воли — приобретает насмешливое выражение. Глаза у нее карие. А к карим глазам насмешка не идет. Что-то в Ильземари день ото дня становится все более вызывающим. Они с Нелли шушукаются над учебниками. Иногда Нелли простоты ради списывала из книги отрывок латинского текста, чтобы перевести дома. Vedetis nos contenti esse. Certo vos dignitatis esse. Postulo ut diligentia sitis [2].

Она записала эти фразы в желтовато-коричневую тетрадь, на обложке которой черным оттиснуто «Учет корреспонденции» и которую, судя по маленькой наклейке, купила за 75 пфеннигов у насл. В. Клее, влад. Г. Шепкер, в Хагенове (Мекленбург). Большинство страниц исписано стихами Рильке. Вперемежку с ними, без комментариев, фразы Марии Кранхольд. На последних листочках она несколько месяцев кряду рассчитывала свой стомарковый бюджет. Кой-какие статьи расхода теперь уже не расшифруешь. В самом деле немыслимо, чтобы в январе 1946 года ей пришлось внести в платную библиотеку 10 марок 55 пфеннигов. А может, существовал какой-то вступительный взнос? Но где находилась эта библиотека? Какие книги брала там Нелли? На театр истрачено 4 марки — какая пьеса? На поход в кино — 1 марка 10 пфеннигов. Основные расходы: 30 марок за комнату, 2,80 — субботняя поездка в Бардиков. (Дезинсекционный барак на вокзальной площади. Суетливые пальцы медсестры на темени, на затылке. Маленькая белая справка о дезинсекции, дававшая право на покупку билета. Недолгая дорога в насквозь продуваемых, кое-как залатанных досками вагонах. Мама ждет на станции или встречает ее в лесу. Самый чудесный час за всю неделю: прогулка через лес, начинающий потихоньку зеленеть.)

Визит к врачу в марте обошелся в 3 марки — уж не чесотку ли она подхватила тогда в поезде? Но какое же лекарство продавали по 70 пфеннигов? Зубной порошок стоил, оказывается, 13 пфеннигов, а один раз против загадочной суммы 48 пфеннигов написано редкое слово «мясо»... В феврале Нелли потратила 5 марок на парикмахера, отрезала волосы, решила снова «помолодеть». Позднее ей хватает на стрижку 2 марок 75 пфеннигов в месяц. Толокно, из которого она вечерами варит себе жиденькую похлебку, стоит 10 пфеннигов. Странная сумма 18,75 марки, судя по всему, заработана уроками. Какими? Кому она их давала?

Неизвестно.

К сожалению, фотография, за которую она отдала 3 марки, не сохранилась.

Обеденные разговоры. Ленкин класс обсуждал на уроке биологии катастрофический голод, угрожающий человечеству, намечал контрмеры —

[1] Ныне г. Вроцлав (ПНР).
[2] Вы видите, что мы довольны. Требую от вас прилежания. Стараюсь, чтобы вы сохраняли достоинство **(лат., с ошибками)**.

от предупреждения беременности до всеобщего полного разоружения. Лучшая ученица, обладательница легендарного среднего балла 1,1[1], активная участница нескольких общественных организаций, которую, несмотря на строжайший отбор, безоговорочно рекомендовали в медицинский,— эта ученица в конце концов замечает: Человечество столкнулось с неразрешимой задачей распределить недостаточное количество продовольствия среди непомерно большого населения, так не стоит ли первым делом оставить без пищи стариков и неизлечимых больных?

Ленка, наверное, забудет элементы геноэнзимной гипотезы. Но тот урок, на котором одноклассница высказала мысль, что на голодную смерть нужно обречь в первую очередь стариков и больных, она запомнит. Нравственная память? Ты вот тоже начисто забыла всю математику Марии Кранхольд, однако отчетливо помнишь, когда и где Нелли встретила свою учительницу всю в слезах. Через несколько месяцев Мария Кранхольд написала ей в туберкулезный санаторий, рассказав о причине своих слез: она тогда опять не сумела достать картошки для тяжелобольной матери. С той минуты, как увидела учительницу плачущей, Нелли больше не называла ее по фамилии, только по имени — Мария, и с интересом выслушала рассуждения Марии Кранхольд по поводу диктатуры. Оказывается, Нелли, сама того не замечая, целых двенадцать лет прожила в условиях диктатуры.

Город Пном-Пень «пал» — так выражаются те, другие. Мы говорим «взят», «освобожден» и едва ли отдаем себе отчет, что тем, в какой языковой области человек остался, а впоследствии и прижился, распоряжались случайности, происходившие тридцать или двадцать пять лет назад — вспомнить, к примеру, родню за Эльбой, навсегда потерянную для Нелли и ее семьи. Тридцатая годовщина освобождения. Без кавычек. Кавычки отнесут эту фразу на двести километров дальше к западу. Школы промышленного района, включающего три общины, шагают под красными и голубыми знаменами к стадиону. Делегации Народной армии и Советских Вооруженных Сил в парадных мундирах. Духовые оркестры. («Среди нас был юный барабанщик, /В атаку он шел впереди /С веселым другом барабаном, /С огнем большевистским в груди».) Обрывки речей, доносящиеся с близкого митинга, по-русски, по-немецки. Фразы-полуфабрикаты, нанизанные друг на друга. Музыка из динамиков, оглушительно громкая. «Вставай, проклятьем заклейменный» — песня.

На маленькой четырехугольной площади перед трибуной, где расположились певцы, вы чуть ли не старше всех. Похоже, никому не мешает, что левый динамик нещадно коверкает звук. Кучки молодежи. Куртки, джинсы. Кое-кто из девушек в модных вязаных шляпках с волнистыми полями. Солдаты Народной армии и советские военнослужащие, порознь. А вот тут наметилось сближение: вместе разглядывают открытки, карты. Энергичный блондин в советской форме компонует группы, фотографирует. Советские солдаты вперемежку с немецкими: второй ряд под ручку, первый на корточках. Трое советских летчиков, едва ступив на площадь, молча присоединяются к фотографирующимся. Вокальная группа школы-двенадцатилетки поет про пастора и его коровушку. У киосков с сардельками толкотня. Приехали пожарные — будут присматривать за костром, который вот-вот загорится. Солнце, красное на закате, за березовым редколесьем.

21 апреля 1975 года. Канун тридцатой годовщины освобождения этих городков в округе Потсдам. Какой-то ветеран, белый как лунь, с орденскими планками на груди, улыбаясь ковыляет туда, где на краю площади стоят возле «вартбурга» местные партийные руководители. Советские солдаты обступили двух девушек, беленькую и черненькую, с высокими прическами, в куртках из лаковой кожи, они оживленно разговаривают с молодым офицером по-русски и по-немецки. Неподалеку, на асфальтированной площадке, готовится к выступлению инструментальный ансамбль. Танцы для молодежи начнутся в семь. Ленка говорит, что заглянет туда попозже, хотя музыка наверняка будет занудная.

Хороший вечер, говоришь ты, обращаясь к Х. Да, кивает он, действительно хороший.

---

[1] В ГДР и ФРГ лучшей школьной оценкой является «единица».

Ильземари из Бреслау сходила-таки к врачу. Оказывается, она больна уже давно. Убитая горем мать разговаривает с Марией в школьном коридоре, плачет на глазах у всех. Неделю спустя здравоохранение заявляет о том, что оно начинает функционировать: весь класс вызывают на рентген. Нелли без малейшего предчувствия, впервые за аппаратом, которого позднее будет бояться. Через три дня — открытка с приглашением прийти еще раз. Пожилой рентгенолог в золотых очках, с волнистой седой шевелюрой, держа ее за плечи, так и этак поворачивает за экраном, велит поднять руки над головой, вдохнуть, выдохнуть. Вспыхивает свет. Выходите.

Н-да. Сколько вам лет? Семнадцать? (Две добродушные медсестры, хором: Зато какая молодчина! Храбрая девочка! — Опять все то же недоразумение: ошарашенная не значит храбрая.) Ей разъясняют, до какой степени заразна была ее подружка Ильземари, теперь помещенная уже в легочный санаторий. Что до диагноза «фройляйн Йордан», то первое подозрение, к несчастью, подтвердилось. Вообще было бы чудо, если б она не заразилась, при таком-то питании, при таком близком контакте. Стало быть, инфильтрат, а что это такое, я вам сейчас объясню. Кстати говоря, величиной с одномарковую монету. Лучше бы, конечно, с вишневую косточку, но, с другой стороны, могла бы быть и каверна, правда? Перспективы излечения вполне обнадеживают, вполне.

И опять медсестры: В самом деле, ну до чего ж благоразумная, для своих-то лет.

Нелли сплевывает мокроту в синюю банку с навинчивающейся крышкой. Побольше жиров в пище, разумеется, было бы замечательно. Вы даже полу́чите небольшую дополнительную карточку. За городом? Ну, так это же превосходно. Стало быть, лежать, лежать, лежать. В школу мы сообщим.

Разумно, с сочувствием говорят медсестры.

Туберкулезный диспансер и сейчас находится на той же улице, в том же доме. (Дверная ручка из чугунного литья, за которую ты берешься для пробы.) Внутри все модернизировано. От обратной дороги в памяти у Нелли четко запечатлелись серые стены нескольких домов. В середине мая перечень расходов в тетрадке обрывается на сумме 50 пфеннигов за платную библиотеку. Ошарашенная, а никакая не храбрая, Нелли делает вечером последние школьные уроки, ощущая лопатками быстро нарастающую потребность наконец-то прилечь, которая уже не покинет ее. С Марией она попрощается завтра сдержанно и благоразумно, да, именно так. С рукопожатиями ни к кому не полезет, дышать в лицо никому не станет. Ей нужно уединиться — такова воля случая. Добродушные медсестры изумились бы смятению в ее душе, протесту против треклятого случая, жалости к себе.

Но она отнюдь не собиралась умирать от болезни, это ей было не суждено. И ее очень тревожило, что мама не разделяет ее тайной уверенности. Как и следовало ожидать, этот новый удар буквально свалил маму с ног, она опустилась на траву возле песчаной дорожки со станции в деревню, закрыла лицо руками и лишь спустя долгое время выдавила: За что же мне еще и это?! (Дети как орудия судьбы, обращенные против матерей; Нелли знала эту роль и ненавидела ее всеми фибрами души.) Когда вдали замаячил дом Фрамов, у Шарлотты уже полностью сложился план необходимых практических мероприятий.

Как она сказала, так всё и сделали. За кустами сирени в яблоневом саду Фрамов поставили раскладушку, и Нелли в погожие дни лежала там с утра до вечера. С госпожой Фрам, которой не откажешь в чуткости, мама заключила особое соглашение: в обмен на два сохранившихся у мамы золотых браслета с кольцами хозяйка ежедневно давала им четверть литра сметаны, и Нелли вечером съедала ее, посыпав сахаром и накрошив туда черного хлеба. Все вокруг работали, а Нелли, трутень поневоле, в конце концов, штудируя книги, присланные Марией Кранхольд (в том числе и синий томик со стихами Гёте), угодила под защиту и во власть поэтов и писателей. Она не говорила об этом, но порою думала, что для того-то и заболела. (Бо́льшая часть стихотворных строк, которые ты знаешь наизусть, запомнилась Нелли как раз в те годы. «Из ароматов утра соткан и из света /Покров поэзии — дар истины поэту»[1].)

---

[1] Перевод А. Науменко.

Меандрический орнамент, «бегущие собаки», кусают себя за хвост. Мчатся псами и вопросы совести, а поэты как будто бы их останавливают. «Счастлив мира обитатель только личностью своей!» [1]. Мысленно Нелли с этим согласна. Она спрашивает у лагерника Эрнста, вправду ли в концлагере было так плохо. Господи, говорит он, да что значит «плохо»! Порядок и чистота — вот какой был высший закон. Никогда не поймешь, что у него серьезно, а что нет. Не всяк таков, как я, говорил он. Я выдюжил, сама видишь. Нелли уступает возникшей вдруг потребности вести учет мыслям, которые, отделившись от того, что она называет своим «я», бегут у нее в мозгу. Меандры. Совсем рядом — высказывание господина Эрнста насчет концлагеря и стихотворение Фридриха Геббеля «Мир и Я». («Если в огромном бурном океане /Захочешь, капля, ты в себе замкнуться» [2].) Она не замечала, что была странной. (Когда же она подойдет поближе? Когда «ты» и «она» соединитесь в «я»? Объявите о завершении этих записок?)

В августе был дан спектакль: Возвращение отца. (Почта как вестница важных поворотов судьбы. Почти год назад первая грязно-серая открытка из лагеря в лесах под Минском с сообщением «Я жив» привела маму на грань нервного срыва. На сей раз — только телеграмма с лаконичным уведомлением о времени и месте прибытия Бруно Йордана, которого считали погибшим: главное событие тех лет.)

День тогда выдался очень жаркий. «Усишкина» бабуля с раннего утра чуть что — и в слезы. Нелли, не в силах прочесть ни строчки, слонялась по дому. Тетя Лисбет, похорошевшая от бескорыстной радости, пекла картофельник. В последние годы, когда случалось сдуть ресничку и загадать таким образом желание, Нелли желала только одного: пусть вернется отец. А теперь он приезжает, и было бы глупо не назвать радостью охватившее ее чувство.

Он приехал на повозке, которую Вернер Фрам, сын хозяина, снарядил специально ради него. Почему же Нелли, когда Ирена Цабель крикнула на весь дом: Едут! — так робко и неуверенно вышла из мансарды на улицу? Сцена, которую предстояло сыграть, была насквозь неловкой. Лучше бы отец приехал, когда стемнеет, без предупреждения и в одиночку. Тогда можно было бы по крайней мере избежать скопления народу возле дома и, уж как минимум, предотвратить мучительный промах, допущенный тремя девушками — Иреной и Маргот Цабель вкупе с Ханни Фрам, — они устроились на окошке у господина Эрнста и, приветствуя возвращенца, затянули оттуда на два голоса «Нынче нет страны прекрасней».

Ведь с появлением главного действующего лица — с той минуты, как Нелли увидела «отца», — вся сцена коварно съехала в абсурд. Странным образом Нелли так и предполагала. С младых ногтей сказки готовят нас к тому, что героя, короля, принца, возлюбленного заколдовывают на чужбине и возвращается он как чужой, как незнакомец. Иной раз оставшиеся дома не замечают превращения, и ему одному выпадает нелегкая задача явиться перед ними другим, нелюбимым. Заколдованному «отцу» на чужбине честно придали в корне иной облик.

С повозки, опираясь на Вернера Фрама и Шарлотту Йордан, слез сморщенный старикашка с реденькими усами, в смешных очках с металлической оправой, державшихся за ушами на грязных тряпичных завязках, с седым ежиком волос на круглой лопоухой голове, в мешковатом обмундировании и непомерно больших, вконец изношенных сапогах. Когда приезжает чужой, ни о каком возвращении речи быть не может. И о радости встречи тоже, ну разве только о замешательстве и сострадании. О жалости. Но не эти же чувства семнадцатилетней девчонке хочется питать к вернувшемуся домой отцу.

В наступившей тишине — лишь из окна упорно неслось пение: «Луна взошла на небеса» — все подпихивали и подталкивали Нелли исполнить дочерний долг: подойти к отцу, обнять его за костлявые плечи; увидеть прямо перед собой незнакомое подергивающееся лицо, дырку от выпав-

[1] Гёте. Западно-восточный диван. Книга Зулейки. Зулейка-наме. «Раб, народ и угнетатель...». Перевод В. Левика.
[2] Перевод А. Науменко.

шего зуба. Вдохнуть исходивший от него кисловатый запах. (Наверно, с тех пор и берет начало этот страх перед исполнением заветных желаний, что, конечно же, не умаляет их неистовость, скорее наоборот, увеличивает, в силу непостижимой душевной алхимии.)

Мама, Шарлотта Йордан, была в растерянности. И все твердила с глупым видом, что они друг друга не узнали. Несколько раз прошли на платформе мимо друг друга; только теперь — в зеркало-то она почти не смотрела, — только по мужнину пустому взгляду, смотревшему сквозь нее, ей стала ясна собственная неузнаваемость, одновременно она поняла, что тот, кого она ждала, кого расписывала другим как человека незаурядного, чью фотографию всем показывала, — что он не вернется. Она разом потеряла и самое себя, и мужа. Лишь приняв во внимание эти потери, можно было добраться до сути ее поступков в ближайшие недели. Ей было сорок шесть лет, ему — сорок девять. Бруно Йордану отвели место возле жены, на широкой крестьянской кровати в чердачной каморке, и, по правде говоря, Нелли иногда просыпалась от нетерпеливых отповедей матери и разочарованных горьких реплик отца.

Тетя Лисбет единственная оказалась на высоте. Она поняла — вот уж чего Нелли никак от нее не ожидала. Когда все, обступив кухонный стол, бесстыдно глазели, как Бруно Йордан достал из грязного мешочка гнутую металлическую ложку и хлебал суп госпожи Фрам, глухой и немой от жадности, а Нелли одна сидела в комнате, в обшарпанном кресле, — так вот, заглянула к ней именно тетя Лисбет, Лисбет Радде. Против обыкновения она обошлась без широких жестов, только чуть тронула ее за плечо и сказала: Твой отец опять станет прежним, вот увидишь. Уж мы его выходим. За этот миг Нелли навсегда сохранила к тете благодарность.

Нелли, не посвященная пока в грехи равнодушия, равнодушно и сама себе ужасаясь наблюдает за отцом, который все еще в плену, все еще скован своими телесными нуждами. Мало того, что он не в состоянии отказаться ни от тарелки супу, ни от горбушки хлеба с хозяйского стола, — голод мужчины, весящего девяносто фунтов, другие нипочем представить себе не могут, будь они даже голодны как волки, — выражение лица, с каким он идет за похлебкой, берет горбушку, так же ранит Нелли, как и опасливо-упрямая манера цепляться за свою железную ложку, за дурацкую жестяную миску, которую Шарлотта выудила из его вещмешка, за кусок пиленого сахара, завернутый в грязную тряпицу, за драные портянки.

Нелли не понимает, что живет она не в те времена и не в тех местах, где поэт писал о днях и личности [1] и ставил после своего дерзкого заявления восклицательный знак. Нелли мерит едва не умершего с голоду отца не той мерой.

(Старение как необходимость копировать самого себя. Не уйти от пошлой тяги к повторению, основанной на страхе перед страхом, который с годами все углубляет свое русло. Не избежать осмотрительности, за которой по пятам следует продажность; наверно, именно такой и видит тебя Ленка, думаешь ты и раздраженно коришь ее ошибками, до ужаса точно противостоящими твоим собственным. Она опять уходит и не возвращается вовремя. Ты дома одна. В руки тебе попадает книга, словно острый грифель вспарывающая привычку. Ты выходишь на крыльцо. Лунный свет и прохлада, в кустах возле канала поет первый в этом году соловей. Даже ближняя стройка не смогла его прогнать.

Банальное чудо, которого ты ждала каждый день и которое с восторгом узнаешь. Волшебство, жить без которого было бы жутко.)

Нелли обрадовалась, когда с наступлением холодов получила место в санатории. Ей хотелось быть среди людей, все время, в любых обстоятельствах. Она уже знала, ей были интересны скорее глубины, нежели то, что другие называли «вершинами жизни». Пожалуй, это и есть первооснова странной уверенности, которую она почерпнула в болезни. (Косвенно, через эту бациллу, она подхватила неизлечимую заразу: тайное знание, что надо умереть, чтобы родиться.)

[1] Намек на стихотворение Гёте «Раб, народ и угнетатель...».

Поэтому она невольно рассмеялась, когда красивое современное здание городской больницы (двухместная палата, где ее уже поджидала Ильземари, пациентка опытная, посвященная в обычаи и язык легочных больных), едва она там водворилась, приказано было в три дня освободить под советский военный госпиталь. Безропотность врачей, паника медсестер, немного лихорадочное возбуждение больных смешили ее в душе, хотя внешне она подыгрывала остальным. Вместе с ними трепетала, вместе с ними сокрушалась, вместе с ними крала (полный столовый прибор и толстый плед из белой шерсти). От прибора до сих пор сохранился нож, на рукоятке которого выгравированы «инициалы» больницы. Его тоненькое, гибкое, острое лезвие со слегка закругленным кончиком долгие годы резало весь хлеб и колбасу в доме. Из пледа сшили для Нелли полупальто, настоящее пальто не прошло, потому что пришлось срезать широкую кромку из-за вытканного крупными буквами названия больницы.

Нелли с мамой совершенно не понимали, что это за времена такие, когда шерстяные пледы портят кромкой, делая их непригодными для иных нужд. Впрочем, без этого кургузого пальтеца — так они часто говорили друг другу, и впоследствии тоже, — ей бы не выдержать зиму в Винкельхорсте, ведь эта зима сорок шестого — сорок седьмого года выдалась опять донельзя холодной, а доктор Браузе из Больтенхагена, помимо лежания на свежем воздухе, назначил Нелли прогулки. На улице свистел ветер, дувший с Балтики, которой пациенты никогда не видели, хоть до нее было всего несколько километров. Зато в ясные вечера, если подняться на один из холмов за Дворцовым парком, они порой видели за Дассовским озером огни Любека.

Нелли часто ходила на этот холм, но ты забыла поискать его, когда снова заехала в Винкельхорст. Сперва ты вообще забрела не туда, бродила неподалеку от деревни (там, где в твоем воспоминании находился дворец), стараясь внушить себе, что место то самое; наперекор собственным сомнениям извела половину пленки, пока двое стариков на дороге не развеяли ваши заблуждения и не показали дорогу к дворцу, который расположен ни много ни мало в двух километрах от деревни и занят сейчас под сумасшедший дом. Непонятно, как ты умудрилась забыть, как умудрилась спутать эти два здания. Уже одни только великолепные старые деревья на лужайках возле дворца должны были навечно запечатлеться в твоей памяти. (Правда, Нелли, проведшая здесь с октября по апрель, никогда не видела их зелеными.) Вы медленно обошли вокруг дворца. День был пасмурный, туманный, совсем нехолодный. На площадке парадной лестницы сидели пациенты и медсестры. Прислонясь к колонне, стояла молодая девушка, каждые десять секунд она отчаянным жестом хваталась за голову, как заведенная, сотни раз на дню.

Парк, разбитый в нездоровой болотистой местности, гниет. Еще тогда все они считали, что легочным больным тут делать нечего. И с упоением обсуждали на долгих прогулках скверное свое положение. Нелли гуляла с девушками из своей палаты или с господином Лёбзаком, который форменным образом назначал ей свидания. А она, зная, что человек он насмешливый, холодный, вдобавок не красавец, да еще и тяжелобольной, очень-очень заразный, как предупредила ее старшая сестра, — исправно являлась на встречи, исправно ощущала легкое волнение, когда сталкивалась с ним в доме, когда он в столовой подавал ей знак через стол, или же легкую пристыженность, когда он заставлял ее ждать, но совсем не испытывала радости, шагая с ним рядом, встречаясь у заболоченного дворцового пруда с другими парочками, не чувствовала потребности коснуться его красных рук с сильными костлявыми запястьями или ощутить прикосновение его толстых, обычно кривящихся в насмешке губ. Искоса наблюдая, как ходит вверх-вниз его кадык, когда он говорит, она понимала, что ему тоже совершенно неохота дотрагиваться до ее волос, до лица. Они встречались в безмолвном согласии, что это неважно и что пока им вполне хватит иллюзии услады и любви. А единственной доступной им усладой было — предаться этому опасному псевдосуществованию. Нелли чувствовала притягательность соблазна и не видела причин сопротивляться ему.

Трескучий, суровый, исподволь пробирающий до костей холод, который шел и снаружи, и изнутри, делал больных насмешливыми и равнодушными, падкими до скоропалительных, неустойчивых связей. Ох уж эти мне

мужчины, говорила старшая сестра, сидя с женщинами в большой угловой комнате, которую окрестили «ледяным дворцом», так как температура там никогда не поднималась выше нуля.

Старшая сестра, особа корпулентная, суровая, сущая ведьма, зачастую была весьма близка к истине и знала, кто поправится, а кто умрет, куда раньше и точнее, чем двое врачей — тот самый, раз в неделю приезжавший из Больтенхагена рентгенолог доктор Браузе, которого собственное бессилие сделало угрюмым, и фройляйн доктор, довольно молодая, длинноволосая, слишком много в жизни упустившая; вечерами она приглашала к себе деревенских коллег, пела с ними и выпивала (Оргии они устраивают, говорила старшая сестра, — самые настоящие оргии, я так считаю), под утро блевала через балконные перила, а на следующий день с опухшими глазами совершала обход.

Вам бы лучше всего прибавить в весе, говорил доктор Браузе и издевательски хохотал, как над непристойным анекдотом. Время от времени он, правда, делал пневмоторакс, к примеру, белокурой фройляйн Лембке, у которой были каверны и очажки в левом легком; после нескольких горловых кровотечений она была в крайне тяжелом состоянии, говорила хриплым голосом, что считалось здесь дурной приметой, но больше всего ее мучило, что уже который месяц она не могла помыть свои красивые светлые волосы, лишь иногда безутешная мать приносила березовую туалетную воду и, смочив ватный тампон, протирала ей кожу на голове. Когда фройляйн Лембке перевели из ледяного дворца в палату для тяжелобольных, Нелли взяла в привычку читать ей перед ужином «Сельских Ромео и Юлию» Готфрида Келлера, пока старшая сестра со свойственной ей бестактностью не вызвала ее в коридор, чтобы громким шепотом запретить ей общение с тяжелобольными и чрезвычайно заразными пациентами. Так Нелли узнала, что старшая сестра не причисляет ее к тем, кто умрет (странным образом она никогда не запрещала новой подружке Ильземари, хрупкой, бледненькой девушке по имени Габи, чей рентгеновский снимок, казалось бы, не внушал ни малейших опасений, заходить в палаты к лежачим и даже петь там песни), но и к тем, кому позволено безнаказанно испытывать судьбу, тоже ее не относит. Нелли, конечно, продолжала навещать фройляйн Лембке не только потому, что бедняжка плакала из-за приговора старшей сестры, который угадала совершенно правильно, но и потому, что ей хотелось поиграть с опасностью. Хотя держалась она теперь поближе к двери и читала отрывки покороче, на сей раз из «Знамени семи стойких». Написанное в книгах казалось ей более реальным, чем собственная блеклая, холодная жизнь в этом доме, среди чужих людей.

Фройляйн Лембке поправилась и, быть может, до сих пор служит страховым агентом.

Габи умерла.

Сотни раз она пела в палатах своим звонким, чистым голосом «Мой папа — клоун замечательный» и «Карусель кружится и кружится». «Садись и прокатись со мной хоть раз-другой, хоть раз-другой, и счастье с нами закружится», пела она.

Ее койка стояла между Нелли и Ильземари. Ночью Габи рассказывала, как она и ее изящная, хрупкая мама в войну получили извещение о том, что ее отец, обер-лейтенант, погиб. Как им пришлось бежать из маленького городка в Померании, как они по дороге свалились в тифу в доме какой-то злющей бабы, которая ругала их последними словами да еще и обирала. Как ее мама умерла и теперь у нее на всем свете никогошеньки нет, кроме старой тетушки в Гревесмюлене.

Доктор Браузе, которому неизлечимые пациенты вообще-то были как будто бы безразличны, стал грубо кричать на Габи, после каждого нового просвечивания — все грубее. Потом он решился на пневмоторакс, хотя, как он возмущенно заявил, на этом скелете места не найдешь, чтоб иглу ввести. После поддувания Габи целых два дня страдала одышкой, а потом опять запела: «Сердечко у меня точь-в-точь пчелиный улей». Вечерами ее видели теперь в одном из холодных сумрачных коридоров с рыжим парнем по имени Лотар, — факт, на который вопреки здешним обычаям смотрели сквозь пальцы и который при ней всегда обходили молчанием. Одна только фройляйн Шнелль, старая дева (по утрам, сидя в постели, она выщипывала себе бороду), почитала своим долгом разглаголь-

ствовать о пресловутом вероломстве рыжих, после чего Габи плакала под одеялом, а Нелли с Ильземари заводили между собой долгий, громкий и нелицеприятный разговор о зависти неимущих.

Это меня касается, но всерьез не ранит — тоже вполне возможная формула жизни. Нелли ее опробовала. (Жить в третьем лице...) Ей казалось, что держать дистанцию несложно. Никогда больше ни один человек не сможет нанести ей серьезную травму.

Слубице. Все ж таки не мешало бы где-нибудь перекусить, решили вы. Медленно проезжаете по одной улице, по другой, по третьей. Брусчатая мостовая, ивы, подстриженные в форме шара. Тщетные поиски ресторана или кафе. Значит, придется ехать дальше к границе. Одер в разгар знойного полудня, слепит глаза. Формальности на той и на другой стороне выполняются быстро. Ты смотришь в боковое окно, а пограничник ГДР проверяет ваши документы. Из гнезда, свитого в кровельном желобе пограничной будки, прямо под ноги солдату выпал голый птенчик. Еще живой. Пограничник отодвигает его мыском сапога. Ты говоришь: А вы жестоки. Он отвечает вопросом: Что же мне, еще и о любой дохлой пичуге беспокоиться? Может, фуражку подставить, чтоб они из гнезда не падали?

Тут он прав, этого ему нельзя.

В «Интеротеле» во Франкфурте-на-Одере вам подают превосходный обед, хотя ждать приходится порядочно, поскольку западные туристы заполонили чуть не весь ресторан и задали работы всем официантам. Вам не удалось распознать, на каком языке говорят эти в большинстве пожилые люди, одетые дорого и ярко. Португальцы, презрительно замечает официантка. Корчат из себя принцев заморских. — У мужчин тяжелые веки и вялые черты; женщины крикливо накрашены, лица у них острые, раздраженные. Руки и шеи в золоте.

Интересно, они сами себя считают красивыми? — гадает Ленка. Ее дядя, твой брат Лутц, дает ей добрый совет: мол, воспользуйся редкостным случаем и как следует рассмотри живые экземпляры господствующего класса буржуазии. — Да без толку это, сказала Ленка. Сейчас, без малого четыре года спустя, анализируются итоги первых выборов в Португалии после свержения фашизма.

Покойников в Винкельхорсте помещали в парковую часовенку. Всегда было кому проследить, чтоб трупы выносили ногами вперед, а то ведь быстренько следующего за собой потащат. Было кому и побиться об заклад, что в полночь они-де проберутся в часовню и потрогают покойника за ноги; было кому и соблюдение условий проконтролировать, и заплатить выигравшему пять марок. Правда, когда умерла госпожа Хюбнер, мать Клауса и Марианны (на щеках этой женщины Нелли видела расцвет и увядание печально известных «чахоточных роз»), господин Манхен, уже в годах, уроженец Восточной Пруссии, пресек своим авторитетом в мужской палате заключение каких-либо пари. Но все три ночи, пока усопшая была еще на земле, что-то стучало в окошко расположенной на втором этаже палаты имени Андреаса Гофера[1], где между господином Манхеном и господином Лёбзаком спал десятилетний Клаус. А в последнюю ночь это «что-то» трижды сильно ударило по кровати мальчика — все так и подскочили. Вот теперь мама с тобой распрощалась, сказал господин Манхен.

(Несомненно: эта девочка, по-прежнему зовущаяся Нелли, отдаляется, а ведь ей надо бы мало-помалу приближаться. Ты спрашиваешь себя, что должно произойти — что происходило, — чтобы заставить ее вернуться. Теперь она может стоять в лютый мороз на заснеженном лугу под огромным дубом, глядеть вверх, в мощную крону, думать, что летом — где бы она тогда ни была — обязательно вспомнит это дерево, а одновременно находиться на площадке парадной лестницы — на том самом месте, где недавно стояла сумасшедшая, которая каждые десять секунд, как автомат, хваталась за голову, — и видеть себя под дубом, знать свои мысли и намереваться летом вспомнить нужный эпизод).

Август. Август из поселка под Пилькалленом[2]. Однажды он сообщил Нелли, что выбрал ее себе в защитницы. Ему было десять, этому нескладному, тяжеловесному увальню. Выражение карих глаз Августа — «как у собаки» — вводило детей и взрослых в соблазн помучить его. Его письма (самые старые из тех, что ты хранишь). «Мне теперь больше некому ложки-вилки мыть», пишет он после ее отъезда. Орфография этих посланий доказывает, что Неллины попытки обучить его чтению, письму и счету позорно провалились. Его неловкие, назойливые ухаживания, его ревность к другим, более миловидным, более смекалистым детям.

[1] Гофер Андреас (1767—1810) — тирольский борец за свободу, в 1809 году возглавил восстание против французской и баварской оккупации.
[2] Ныне г. Добровольск Калининградской области.

«Дай срок, вот найду своих теток, устроюсь у них, вырасту, выучусь на портного, тогда сошью теплое пальто и подарю тебе, чтобы ты всегда помнила своего милого Августа». (Его тетки отыскались в 1947 году на Западе, Август уехал к ним, теперь ему уже лет сорок. Может, ему и посчастливилось стать портным.)

(Тебе снится одно-единственное слово: броня. А уже просыпаясь, ты видишь статую, золотистая поверхность которой испещрена трещинками. Живое тело под броневым панцирем и лицо скрыты от глаз.)

«Ханнелора тоже давно умерла, и господин Лёбзак, и бабушка Радом, а РОЭ у меня опять хуже, и я за неделю похудел на полкило, но мокрота отрицательная».

Ханнелорой звали маленькую пятилетнюю девочку, за которой ухаживала Нелли, когда медсестры одна за другой покинули этот медвежий угол, этот страшный дом. Любимой присказкой у Ханнелоры было: «А за правильный ответ ты получишь пять конфет!» Она пела «Купи мне шарик пестренький» и в иные дни откликалась только на обращение «государыня принцесса». Женщины из второй палаты говорили, что невмоготу им слушать по ночам Ханнелорин кашель, но старшая сестра пригрозила докторше, что уволится, если та положит девочку в отдельную палату.

Когда Ханнелорочка начала хныкать, завидев Нелли с градусником, когда Нелли при всей своей сноровке никак не могла нащупать у малышки пульс, когда она поднимала ее, пушинка пушинкой, чтоб расправить простыню, когда ее РОЭ, которое Нелли научилась расшифровывать, стало самым высоким в лечебнице, когда уже ни хитростью, ни уговорами не удавалось впихнуть ей хотя бы ложку супа, — тогда-то Нелли однажды не захотела к ней идти. Просто осталась в постели, когда все ушли гулять. Надела толстую вязаную кофту, перчатки, укрыла ноги белым пальтецом и стала читать «Божественную комедию» Данте. Вошла старшая сестра — Нелли читала. Старшая сестра расправила одеяла, попеняла, что они опять жарили на буржуйке хлеб, спросила, мыслимое ли дело, чтобы эта Элизабет с ее-то куриной грудью прогуливалась недавно с тяжелобольным господином Хеллером. Ох уж эти мужчины, н-да. Скоро она собралась уходить. И тут Нелли крикнула ей вслед: Да зачем мне это нужно?! Старшая сестра изумленно подняла брови, отчего вид у нее стал до крайности глупый, и сказала, что ей, мол, это и вовсе неведомо. Здесь Нелли самой виднее.

Нелли встала, вся в слезах пошла в умывальную, смыла слезы, опять заревела, вытерла лицо и отправилась к Ханнелорочке; та только сказала тихо: А я уж думала, ты не придешь. — Ну что вы, принцесса, — сказала Нелли. — Семь конфет за правильный ответ! — Пять, поправила Ханнелорочка. Через несколько дней она умерла.

Нелли вплотную занялась своим выздоровлением. Каждый вечер она съедала большую чашку сиропа, полное ведерко которого привез ей отец, опять похожий на себя. От этого сиропа она толстела как на дрожжах. И набирала шансов на выписку. В начале апреля доктор Браузе вынес желанный приговор, и она уехала из санатория; вес у нее был сто пятьдесят фунтов. Достижение сомнительное, но необходимое.

Кажется, это и есть конец. Все заметки с твоего стола исчезли. Странно, что случилось это сегодня, 2 мая 1975 года. Когда все почки на тополе разом скинули свои бурые покрышечки. (Третий день пошел, как в далекой стране, на другом конце Земли, закончилась бесконечная, продолжавшаяся три десятилетия война.)

Та июльская поездка в Польшу была почти четыре года назад. Домой вы приехали не то в четыре, не то в пять часов дня. Поднимаясь на крыльцо, Ленка радостно объявила: как хорошо, что она опять «тут»; Х. меж тем поставил в гараж машину, Лутц занес в дом чемоданы, ты вытащила из почтового ящика воскресные газеты и вдруг сообразила, что все

ваше путешествие заняло не более сорока шести часов. Ты предугадывала, хотя и не вполне отчетливо, те волнения, какие доставит тебе работа.

Чем ближе нам человек, тем труднее, кажется, вынести о нем окончательное суждение, это общеизвестно. Девочка, что пряталась во мне,— вышла ли она наружу? Или, вспугнутая, отыскала себе еще более глубокое и недоступное укрытие? Сделала ли память свое дело? Или она ушла на то, чтобы обманом доказать, будто нельзя избегнуть смертного греха нашего времени, а грех этот есть нежелание познать себя.

Ну а прошлое, которое сумело еще распорядиться языковыми нормами, расщепить первое лицо на второе и третье,—сломлено ли его верховенство? Утихомирятся ли голоса?

Я не знаю.

Ночью—наяву ли, во сне ли—мне привидится человеческая фигура, которая непрестанно преображается, формы как бы перетекают одна в другую, сквозь нее без труда проходят другие люди, взрослые, дети. Едва ли меня удивит, что эта фигура может быть и животным, и деревом, и даже домом, где вход и выход никому не заказан. В полузабытьи я стану наблюдать, как прекрасный образ яви все глубже тонет во сне, обретая все новые, не выразимые словами очертания, которые я словно бы узнаю. Уверенная, что, когда я проснусь, вокруг снова будет мир твердых тел, я предамся грезам и не стану ополчаться против границ того, что можно высказать.

Перевела с немецкого Н. Федорова

А. Твардовский

ИЗ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ (1953—1960)

1959

11.II.

Избрание на съезд [1].— Подготовка (в 2 присеста) и произнесение речи.— Чувство некоторого удовлетворения (устные и письменные отзывы).— Выдвижение по Ярославскому сельскому избирательному округу в Верховный Совет РСФСР. Выступление в Клубе строителей (на Хорошевском шоссе) — отчаянно халтурное и формальное устройство этой «встречи с делегатами (я) и писателями столицы» (М. Эдель [2], Кашпуров [3]). Работа над «Московским утром» в связи со свинством «Огонька» [4].

Перемена строфики (разбивка) сама собой несколько «подвеселила» вещь; кое-что опустил, кое-что подправил и в конце добавил.

Ударность заключительной строки теряется, но Закс прав, что «кабинет» и «народ» обыграны в середине достаточно и нельзя к этому сводить все. Вчера еще было сделано только «время» — «главный редактор», при обсуждении в редакции явилась некая возможность параллельного и главного читателя. Сегодня что-то получилось — со временем уже, кажется, полная ясность (и без потерь), но «главный читатель — великий народ» — уже пресновато. Но в целом доволен, что вернул к жизни эту штуку и вправе датировать ее 57—59 гг., выведя ее из красной папки с зажимом, где еще покоятся «Теркин на том свете» и «Новоселье». Впрочем, и набросок сталинской главы впредь, до написания главы в целом, принадлежит той же папке.

1.III. [5] «Ярославль» (Утро отъезда).

25.II.

Выезд. От Москвы до Загорска — линия действующих церквей, отремонтированных, окрашенных. Расчищен снег, в оградах виднеются штабеля добрых березовых дров; в одной ограде — «Победа» (поп без гаража).

Загорск. Попик (в воротах монастыря) новой формации. Промытые, пышные, в меру отпущенные каштановые волосы из-под шапочки-пирожка, более темная бородка, сытые розовые щечки. В обычном пальто с котиковым воротником и в тонких сапогах, только в шагу видны широкис (без складки) поповские штаны. Его бритые приятели-лоботрясы. «Бород-

---

[1] Внеочередной XXI съезд КПСС проходил с 27 января по 5 февраля 1959 г. Твардовскнй выступил 31 января на вечернем заседании. Речь была опублнкована в «Правде» (1959, 2 февраля).

[2] Эдель Михаил Владимирович (1902—1968), юморист, сатирик.

[3] Кашпуров Иван Васильевич (р. 1926 г.), поэт, переводчик.

[4] «Свинство «Огонька» — возвращение автору принятого и одобренного ранее стихотворения «Московское утро», кажется, единственный подобный случай в творческой биографнн А. Т.

[5] Предположительная дата отъезда.

Окончание. Начало см. «Зиамя» №№ 7—8 за 1989 год.

ку-то шипром надушил!» — «Ты понимаешь». — Часовня, где набирают святую воду в бутылки из-под кефира, банки и обыкновенные поллитровки. Поющая и дирижирующая сама себе кликуша, с ней молодой парень. Поп, сидящий за стойкой, благословляет и механически сует руку для поцелуя. Для удобства (чтобы не всякий раз подтягивать) подвязал широкий рукав рясы шпагаткой. Тарелочка с рубликами и мелочью. — Поп-продавец за прилавком магазина иконок, фото, крестиков и т. п.

Переславль-Залесский, Ростов (с отремонтированным Кремлем). Церкви в запустении.

Указатель поворота: «Музей-усадьба Н. А. Некрасова — 200 м».

26.II.

Первая встреча с избирателями в новом театре. У подъезда ссыпаются с грузовика подгородские бабенки и девки в городских пальто и мужских сапогах. — Ужас духоты (театр из-под склада, без вентиляции) и потения. Речь под стенограмму (только здесь).

27.II.

Встреча в райцентре Некрасово (б. Большие Соли) у слияния Солявицы с Волгой. Старое село, дореволюционные лечебные заведения — соляные воды. Книга у секретаря РК по истории села издания 1860 (?) г. Автор — поп.

Встреча в клубе, очень удачно переделанной церкви. Бабы впереди — мужчины позади. Битком все — балконы, проходы.

Старушка: «Что ж, у него столько наград, а хоть бы медальку надел».

Речь Сбитневой Ю. Я.

Вечером — Бурмакино. [...]

28.II.

Утро. [...] Ужас предстоящей встречи с «творческой интеллигенцией». Подготовка конспекта. Душ. Опять — кинотеатр, но без той духоты — в зале полно, но не так. Успех.

У 1-го секретаря обкома Борисова Б. А.

4.III. Из послесъездовских записей[1]

В литературном деле самая трудная и решающая форма ответственности, как это ни парадоксально, на первый взгляд, это форма личной ответственности за себя как литератора, т. е. твоя работа, то, что пишешь ты — поэт, беллетрист, очеркист, критик такой-то, — а не Пензенское отделение Союза писателей, не комиссия по...

Это так потому, между прочим, что в литературном деле значение примера, образца решает все. Что такое «течения», «направления» и «тенденции» без имен художников и их произведений, в которых осуществляются или намечаются все эти «тенденции» и т. п.

Кажется, что все это сами собой разумеющиеся, элементарные понятия. А между тем инерция иного понимания, иных представлений еще так сильна в нашей среде.

Затевая наши дискуссии, мы начинаем с определения их общего содержания: о современной теме, о положительном и т. п. герое...

---

[1] В декабре 1958 г. состоялся Учредительный съезд писателей РСФСР. А в мае 1959 г. предстоял Третий съезд писателей СССР.

И только особые обстоятельства заставляют нас начать с книги, с конкретного случая или факта литературы (Дудинцев, Кочетов).

Мы ухитряемся читать публично целые доклады, в которых только и есть, что тенденции, хорошие или нехорошие, призывы и... ни произведений, ни авторов — все безымянно. Но литература — дело сугубо поименное.

Труднее всего писателю отвечать за себя, — а не за литературу в целом — это как раз легко, — перед временем, народом, перед коммунизмом.

Что это значит — отвечать?

Выдавать, как говорится, на-гора́ больше и лучше?

Не совсем так.

В любой, пожалуй, области материальной, производительной деятельности людей качество и количество одинаково ценны, порой даже, по необходимости, количество предпочтительнее. А в области искусства не так. («Книга Аггея» — Гаршин).[1]

Отвечать — не означает быть великим. Великим быть нельзя по собственной воле, как это кажется возможным Сельвинскому.

Отвечать — это суметь быть самим собою, быть личностью. Талант это личность, а не «руби дерево по себе».

Великим я быть не обязан,
Я обязан лишь подлинным быть.

Великим быть нельзя по собственному хотению. Это лишь может само собой случиться с кем-либо из подлинных, и забота об этом должна быть полностью исключена в рабочей психике художника (Гете).

Самое сладкое и самое трудное — думать. Думать самому (какое это счастье человеческое), а не что тебе книжка последняя скажет, — находить этой книжке место не обязательно сверху на душе, а иметь нечто и до нее.

Бывают времена, эпохи, периоды, моменты в развитии искусства, когда рассуждения и споры об искусстве (степень их жара, существенность страсти) важнее самого искусства — на время, конечно, — это тоже жизнь искусства, его функция.

Военачальник может сам плохо стрелять из винтовки (трехлинейки 96 г.) и выигрывать крупнейшие сражения. Инженер может не уметь держать топора в руках, во всяком случае — не обязан.

Писатель — все — сам, все обязан знать и уметь лично, и этого вместо него никто не может сделать. Он лезет сам под проволоку на снежном минированном поле переднего края, спускается в шахту, стоит у домны, пробует температуру (на ощупь) земли перед посевом. (Если бы Толстой не умел косить, между прочим, не было бы знаменитых страниц «Анны Карениной».) Дело, конечно, не в буквальном понимании личного «опыта».

Возраст. Хорошо, если писателю (хоть одному из тысяч) удается быть ровесником всех поколений, что пришлись на его жизненный путь. Но дай нам бог хоть одному (поколению) быть настоящим ровесником. У каждого должен быть свой Октябрь, свои 20-е или тридцатые годы, или 41 — 45 годы, привязанные к душе нитями детства и юности (Шолохов) или иным периодом сильнейших и живейших впечатлений и затем сознательно освоенные через посредство всего огромного материала жизни, теории, опыта своего и других мастеров и т. д.

2.IV.

Около месяца живу жизнью непродуктивной, не пишу и не пытаюсь писать, но жизнью не стыдной: справляюсь с обязанностями, — редакция, почта, «представительство» в меру, — и чувствую себя странным образом отлично. Почти не пропуская дня, а то и целыми днями «преобразую природу» на даче. Вновь и вновь копаю эту тяжелую, перевязанную корня-

---

[1] В. Гаршин. «Сказание о гордом Аггее» (1886).

ми — «подживотниками» землю, пересаживаю деревья, удаляю те, что выросли не там, где нужно, навожу «линии», осуществляю «замыслы» давнишних лет — точно опять принялся за старую рукопись. И это единственное, можно сказать точно, мое «творческое» общение с действительностью. Здесь, по крайности, все реальность: и земля, и дерево, и пень, и дерн, и глина, и тес, и горбыль. А в области моих литературных дел и отношений эта реальность то и дело исчезает, и уже сил нет придавать им воображением видимость реальности. (Совещание по вопросам публицистики у Е. А.<Фурцевой>, собрание секции «по вопросам мастерства поэзии» — там и тут «без никакого» конкретного повода, без предмета разговора, там должен был сидеть до конца, даже кое-как выступить, тут имел возможность подняться и уйти среди витийства. [...]

Предстоящий съезд, как предстоящая мучительная и ничего доброго в смысле улучшения не сулящая, но неизбежная хирургическая операция. — Слухи о возможной перед съездом «встрече» — на ней, будь что будет, — выступил бы.

Хотя и говорю на словах, что съезд мне мешает быть уже в пути по маршруту «Далей», но я не был бы еще в пути и без съезда. Все — по плану: май — месяц посадок и прочего. В первых числах июня — перекрытие Ангары у Братска, о чем я уведомлен обкомом (Журавлев Мих. Фед.), где меня, видимо, считают специалистом по перекрытиям, а так как это значительнее Иркутского перекрытия, то и поэма должна быть значительнее. А мне просто интересно.

Хотя я всегда (т. е. временами весны и осени, если не отвлекался чем-нибудь) любил копаться на даче, но это другое. Бывает, что человек любит выпить, но не пьяница. А тут — пьянство... я за любой работой, чтением и т. п. думаю о моих «преобразованиях», с наслаждением свертываю все дела к подходящему часу, чтобы ехать во Внуково. Вчера один ночевал там, отлично спал, ранним первомайским утром высаживал по левой от ворот стороне кустики, розы-ругозы и т. д. Приехал вечером с Машей в город, чтобы сегодня «организовать» профессора для Оли, по рекомендации и при споспешестве Маршака, которого и навестил вчера.

Если «встреча», то нужно к ней подготовиться решительно.

1. Съезд не только не нужен, не только бесполезен, но и вреден, если его проводить подобно эресефесеровскому съезду («от слов к словам»). Он решительно, может быть, как никогда, нужен, если проводить его всерьез, говорить по правде о состоянии литературы (деградация не только мастерства, но просто культуры литературного письма, фальшивомонетничество, безгласие критики в обширном слове, объявление желаемого (желаемого ли?) за действительное.

29.V. Внуково, день отъезда в Смоленск.

Близко к году, как я вторично надел редакторский хомут, а если считать со сватовством, ожиданиями и треволнениями, то больше года.

За этот год не написал почти ничего (стихи «из записной книжки» в «Правде» — частично, доработка «Московского утра»).

Подготовил и сдал Гослитиздату 4 тома Собрания сочинений (два — 3-й и 4-й — вчерне и не полностью). Сегодня, наконец, пришел договор, сулящий не так много и денег.

Произнес две речи — на партсъезде и на 3-м съезде писателей. У первой больше политическое значение, у второй успех. 1 голос против (при голосовании правления).

После Смоленска еду в Иркутск, на Байкал, в Братск и дальше, дальше, по прямой, до Владивостока, сроком не меньше месяца.

Потом сажусь за настоящую работу — в проекте опять Ялта. В голове — главы «Далей», рассказ «Дом на полозьях», очень стучится автобиографическая (детство — отрочество) штука — т. е. «Пан». «Отпущение грехов» (после речи на съезде писателей) по линии учетной карточки — «сын крестьянина-середняка». Ох, как дорого бы это было еще в 54 г., когда меня гоняли по пеклу с этим делом). Н. С. Хрущев и др.

16.VI. Внуково

Поездка в Смоленск, к сожалению, обошлась дорого. [...]

Вчера, правда, уже много почитав для журнала, впервые с 29.V. явился граду и миру, провернул трех трудных авторов, побыл на собрании московских писателей, увиделся с Поликарповым, позвонил в «Правду» в смысле готовности к вылету и т. п. [...]

Неприятный осадок после выданной на словах Доронину и Шераеву идеи в 100 тыс. на постройку школы в Загорье и очевидной несостоятельности этого дела (где строить? нужно ли? да и мало этих 100 тыс., и начальству неохота). Но я доведу это дело до конца.[1]

Ночью долго не мог уснуть после первого сна, пришла вдруг заключительная строфа к «Новоселью», что отлеживается уже года три у меня вместе с «Теркиным на том свете» и до недавнего времени «Московским утром».

...Это — да. А жить когда?

Впрочем, что же: дом — хозяйство.
Есть завет на случай сей:
Ты хоть завтра собирайся
Помирать, а жито сей!

Кажется, это спасает вещицу, которая после моего прочтения ее как-то Поликарпову так и лежала, даже в «Новом мире», хоть и показал ее, но как-то не решился давать.

Конечно, эта строфа слабее предыдущей, но и в ней есть свой поэтический резон. Эту пословицу «Умирать собирайся, а жито сей» я знаю с детских лет. В ней некая мудрость необходимости жить, делать, думать о завтрашнем дне — не для себя, так для других.

Третья строка была:

Собираться собирайся...
Дескать, как ни собирайся...

22.VI. Ангара. Пароход «Фридрих Энгельс», рейс Братск — Иркутск. 7 часов утра.

Второй день идем вверх по Ангаре. Большая прибыль воды последних дней видна, даже если бы и не знать об этом заранее: река мутна, и во всю ширину ее плывет мусор лесов, полей, жилых поселений, как в половодье. Плывет лес, беспорядочно поднятый водой в верховье, наподобие молевого сплава, отдельные связки плотов. Там, глядишь, тянется деревенский паром с обскобленными канатом столбиками, какая-то полузатопленная «посудина», подхваченная с суши, где она валялась, может, не один год, вроде каких-нибудь старых саней на деревенских задворках... Пароход издали дает гудки, приближаясь к иному непонятному предмету на воде...

Большая прибыль воды. В Братске слышно было, что в Тулуне (это где-то выше, километрах в двухстах от Братска) затоплено до полутора тысяч домов, жертв нет, погибла одна лошадь...

Это и есть та «черная вода», о которой знали строители Братской станции, ждали ее и боялись. Именно эта вода заставила их «репетицию» перекрытия обратить в настоящую «постановку» и, начав дело в восемь часов вечера 18.VI, закончить его к трем часам дня 19.VI.59 в очевидном

---

[1] Постройка на родине на средства Твардовского была осуществлена несколько позднее. На Ленинскую премию, которой была удостоена поэма «За далью — даль» (1961), был построен клуб. Открыт в 1962 г. в совхозе Сельцо Починковского района Смоленской области.

противоречии с тем, что гости были приглашены к 20.VI, когда должно было начаться перекрытие с расчетом завершения 24—26 июня («в дни пленума»).

У Падуна (стихи, написанные 20.VI. для полосы в «Правде» и, может быть, напечатанные там вместо «Новоселья» («На Смоленщине»), которое было сдержанно встречено Сатюковым, несмотря на новую концовку.

Река пропела все сначала,
Ярясь на новом рубеже,
Как будто знать она не знала,
Что уступала нам уже.

Всю ночь бессонно волны выли,
Но мы, не дав реке вздохнуть,
Надежным грузом придавили
Ее бунтующую грудь.

Не устояли в жарком споре
С годами нашими века.
И, очутившись на запоре,
Утихомирилась река.

Недвижны тяжкие ворота,
И ровен плес ангарских вод.
Умолкла битва, но работа
Вступает в новый свой черед.

19 июня 1959 г. Братск.

Стихи были переданы по телефону. Радиообзор не назвал их в числе материалов полосы, но о стихах А. Г. упомянул, говоря о литературной странице.

23.VI. Утро, 6 час.

Всю ночь, должно быть, шел дождь. Моя каюта первого класса (единственная одноместная) к утру стала протекать, как шалаш, пострадал блокнот, лежавший на столе с записями карандашом и пером. Горничная открыла мне салон, где светло и просторно. В каюте стол явно не рассчитан на то, чтобы за ним сидели,— стул помещается между столом и кроватью только боком.

По берегам больше пошло березы, и открытых мест, лугов, пашни что-то не видно почти. Деревушки-пристани (иной раз и не деревушки, а просто будка бакенщика) редки. Вчера подумалось, что если очутиться в воде на середине реки и доплыть до берега, то тут-то и задача — куда кинуться за обогревом и первым приютом, может, 20 км бежать — и в какую сторону?..

Записать Гарримана[1]; тамбовского плотника[2] (пусть он будет земляком из Дорогобужского района дер. Бизюки); поселок — дома, заборы, планировка.

29.VI. Байкал. Коты.

Две пары портянок
Да пара котов,
Кандалы надеты —
И в Сибирь готов.

[1] Уильям Аверелл Гарриман (1891—1986) — американский политический деятель и дипломат, в 1943—1946 гг. посол США в СССР. Автор книги «Мир с Россией?» (1959 г.). У нас в переводе на русский язык книга была издана для служебного пользования. А. Т. брал ее с собой в Сибирь и что-то из нее хотел выписать в свой дорожный дневник.

[2] Очерк о тамбовском плотнике «Земляк» с подзаголовком «Из заметок с Ангары» был напечатан в «Правде» (1959, 11 октября). Входит в Собр. соч., (т. 4, с. 481) под названием «Заметки с Ангары».

Слова этой песни, слышанной где-то в глубине детства и начисто забытой, мне напомнил вчера М. М.[1], говоря о происхождении названия поселка, где размещается его лимнологическое хозяйство.

Коты, Горемыкн, Покойники — все это названия давнишних варначьих поселений у Байкала, где они добывали рыбу и искали золотишко. Речушки, вытекающие с гор в Байкал, когда-то здесь рыты-перерыты. Вчера на прогулке М. М. показал мне огромные развалы песка и камня, перемещенного со дна речек без помощи экскаваторов и бульдозеров, но напоминающие груды заготовленного для стройки материала.

Вчера с катера узнал тропу над берегом, где гуляли с М. М. в 56 г. А вечером прошлись по тропе в другую сторону от поселка. Крайняя избенка, одинокий старик у потухшей надворной «плиты» с остывшим чайником, на колышке столик — фанерная дощечка, такое же сиденьице. Хозяин лежит и что-то пытается петь, лежит бороденкой кверху, голова запрокинулась — лег, как леглось ему,— голова вниз по скату двора, ноги выше. На столике — пустая «чекушка», скорлупка от яйца — остатки бобыльского ужина. Растолкали, подняли, в дверях уже он узнал М. М., хотел целоваться, нес что-то, как говорится, невразумительное. Я забыл сигареты, он угостил меня «Махорочными». Жуть — вечер, Байкал, у подножия прибрежной горы избенка, не сказать, чтобы голые стены, какие-то постели, диванчик у стола в прихожей — и одинокий ненормальный старик (он уже побывал в психиатричке), который с неизбежностью проснется там среди ночи с бьющимся сердцем, мутью в голове, и ни стакана чайку, ничего и никого. Два сына его погибли — один утонул в Байкале, другого искусала (лицо) бешеная собака, умер от бешенства. Еще один сын во флоте на Дальнем Востоке. Старуха ушла, кажется, к дочерям со внуками. Один. Днем он выпил на поминках — хоронили другого 90-летнего старика, который, по его рассказам, учился вместе с Лениным в гимназии. [...] Этот старик-псих был здесь издавна сторожем метеорологического знака (?), давно на пенсии. (Колмаков Николай Викентьевич) под стать Кожову — музыкант.

Вчера в Иркутске начал набрасывать нечто байкальское в направлении «защиты Байкала».

Байкал, чья песнь и слава в мире
Века веков переживет,
Как ты под стать самой Сибири
Бескрайним плесом мощных вод.

Их тяжким грохотом громовым
И ревом в бурные часы.
В тиши — достоинством суровым
Твоей несказанной красы.

Громово (выражение М. М.) трещит лед зимой, раскалываясь иногда на много километров в длину, а для штормов достаточно рева.

Облик моря: цвет воды, полоса прибрежной мути из-за волнения («баргузинчик».— М. М.), песчаный и галечный пляж, и шум, шум и рокот, воркотня волны.

Встал в 6 ч., пошел умыться с бревна в Байкале, руки быстро схватывает — вода, как в проруби.

Записать: зверопитомник в Котах в 20-х годах. Байкальская «проблема» (Григорович-Кожов).[2]

28.VI. Коты

Байкал, чья слава в этом мире
Века веков переживет,
Как он под стать самой Сибири
Могучим плесом вольных вод.

[1] Кожов Михаил Михайлович (1891—1968), профессор Иркутского университета и заведующий лимнологической станцией на Байкале (50-е годы), с которым А. Т. совершил несколько экскурсий по Байкалу и его окрестностям.

[2] Запись не сделана.

Под бурей — грохотом громовым,
Покоем в мирные часы,
Своим достоинством суровым
Студеной сдержанной красы.

И словно некоею тайной
Овеян он для всех сердец,
Трех океанов чрезвычайный
На этой суше посланец.

Вчерашняя прогулка на «Гидробиологе» на север вдоль западного берега — просто событие для души, для долгой памяти. Весь путь до бухты Песчаной полный штиль, всего и волнения, что от катера. Изредка показывался вдалеке лесовоз, влекущий на невидимом тросе свои «сигары» — бревна, связанные не плотами, а пучками.

Где-то на юге есть поселок Посольск, где был монастырь (женский), сооруженный в память убитых бурятами послов царя Алексея Михайловича (до добровольного соединения с Россией?).

Приисковые заброшенные избушки на берегу. В них иногда ночуют косцы далеких лугов, рыбаки, туристы. Еще и сейчас «моют» неподалеку от Котов, и речушка несет в Байкал через поселок муть песка и глины. Вот почему в отвалах на месте давних золотоискательских работ камни да галька — песок и мелочь вымывались и сгонялись водой в море. Но дело это хиреющее в этих местах.

Бухта Песчаная — белый песок; когда-то был стекольный (бутылочный) заводец. Песок — кварцевый, вымываемый и выветриваемый из гранитных гор, песок, похожий на гречневую крупу нечистую.

Бухта Бабушка и тропа от нее к бухте Песчаной через невысокую гору, вдвинувшую в море скальный мыс, большой колокол с маяком на его верхушке — как бы на той петле, за которую колокол подвязывают к балке звонницы или колокольни. Скала, говорят, побольше и повыше высотного Университета. Подъем по ступенькам многомаршевой деревянной, а в наиболее крутой части железной с деревянными ступеньками лестницы начинается с половины высоты, может быть, даже более чем с половины. Я насчитал 260 ступеней. Будка маяка, ацетиленовый фонарь — горит он сам, смотритель давно уже не ходит туда, но живет внизу для порядка и еще, кажется, присматривает за мариографом — прибор для измерения уровня воды.

Новогодний «маячный» рассказ про этого смотрителя (со слов М. М., смотрителя не было дома, у него моторка).

6.VIII. Внуково

Шестой день, как приехал, прилетел на ТУ-104, искупавшись утром в Тихом океане и в середине дня уже закусив дома.

Дальний Восток, Приморье записывал немного только в поезде до Владивостока. Потом уже было некогда. 2000 км машиной, от Владивостока до Посьета самолетом, оттуда до Находки торпедным катером, оттуда поездом и т. д.

Дальневосточная поговорка: 100 руб. не деньги, 100 км — не расстояние, 100 гр — не водка.

Как я выразился в речи на пленуме крайкома [1], путешествие мое (наземное — Уссурийск, Спасск, Арсеньев, Кавалерово, Тетюха и обратно по кругу) носило отчасти характер того пробега, что совершал мужик из рассказа Л. Толстого «Много ли человеку земли нужно»...

Но в общем я доволен: эта поездка была мне необходима, она сделана, а теперь будем понемногу впечатления ее пробуждать, выявлять и развивать.

Сибирь — средняя земля страны, она не до края земли, за нею совсем другой край — Дальний Восток, Приморье, Юго-Север, лесопарковая тайга и черт знает что еще.

---

[1] Выступление А. Т. на пленуме Приморского крайкома КПСС 16 июля 1959 г. было опубликовано в «Правде» 9 августа под заглавием «Край чудесных людей» с примечанием: «Из газеты «Красное знамя», Владивосток. С сокращениями».

19.VIII. Внуково

С утра писал проспект «Нового мира» в виде некоей пояснительно-завлекающей заметки. Потом набросал карандашом «Жить бы мне век соловьем-одиночкой» [1].

Один критик, в общем комплиментщик, в «Звезде» указывает на Маршака с его Бернсом как на предтечу стиха «Муравии» и других. Дело не только в том, что поближе с Бернсом я познакомился впервые в 1936 г. по переводам Щепкиной-Куперник (только что тогда вышла книжка), если не считать еще Гербелевской Антологии, и что Маршак начал печатать свои переводы из Бернса в 1937—1938 гг. (я помню даже, что хлопотал об издании его Бернса в «Советском писателе»), но я мог бы сказать и гораздо более этого, да уж ладно.

1.IX.

Вчера в «Правде» «Н. С. Хрущев в гостях у М. Шолохова». — За два-три дня звонит Лукин [2]: необычная просьба: не напишу ли я статью о Шолохове. — Написал бы, но такую, что вы не напечатаете. Ведь вы хвалить хотите еще и еще? — Да. — Не нужно этого, не на пользу это ни нашей литературе, ни самому Шолохову, пишущему все хуже и хуже, ни престижу «Правды». Если уж нельзя сказать правду, то хоть промолчать благородней будет. — Все это сказал одним духом, так, мол, и начальству передайте. А начальство-то было уже на пути в Вешенскую.

Возможно, что как-то отзовется еще мое заявление М. А. <Суслову> [3] (сперва Поликарпову) относительно бесперспективности изготовления нового гимна и необходимости восстановления «Интернационала» в качестве государственного гимна. М. А. согласился, что, не будь михалковского гимна [4], не будь этого прецедента, не встал бы и вопрос о замене «Интернационала». Сейчас все дело в трудности восстановления (из-за стран социализма, поющих другие гимны). Это тоже дело поправимое, думается. Пусть все поют «Интернационал». Но нам, нам-то зачем отказываться от святыни, закрепленной десятилетиями, от «Отче наш» революции. Буду очень серьезно обрадован, если бы дело повернулось разумно, а не по ближайшим преходящим соображениям.

11.IX.

Вчерашний ходок из дер. Устье Ярославского (сельского) р-на по вопросу об Указе о коровах [5] в действии. Персональный пенсионер, бывший фронтовик, 4 детей, пенсия 375 руб. [6]. Без коровы — не жизнь. — «А потом еще окажется, что этот закон — ошибка. Ошибка, скажете, была, — вот ведь что еще может быть. Загрязнение? Это, значит, в деревне жить, а в город срать ездить на бульвар. Не дело, братка». — Боек, речист, законы знает. К властям ни малейшего уважения, не то что трепета. — Мой теле-

---

[1] Впервые стихотворение опубликовано в газете «Правда» (1959, 29 августа) под заглавием «В тихом краю».

[2] Лукин Юрий Борнсович (р. 1907 г.), крнтик, многолетний сотрудник редакцни газеты «Правда».

[3] Суслов Михаил Андреевич (1902—1982). В 1952—1953 н 1955—1966 гг.— член Президиума ЦК КПСС. В 1966—1982 гг.— член Политбюро ЦК КПСС.

[4] Мнхалков Сергей Владимнрович (р. 1913), поэт, автор текста Гимна Советского Союза (совместно с Г. Эль-Регистаном).

[5] В правительственных постановлениях 50-х годов по сельскому хозяйству выразилась тенденция ускорить наступленне эры коммунизма посредством сокращення лнчного сектора сельской экономнки. Помимо увеличения налоговых обложенний были введены санитарные ограннчения: не разрешалось держать скот вблизн городов н тем более в самнх городах («Загрязнение»!).

[6] В старом денежном исчислении.

фонный разговор с зам. председателя облисполкома Кузьменко (чиновник, уверявший меня, что Устье в 4-х км от Ярославля (а даже по карте больше двадцати) и с Пелевиным — «перешлите в облисполком»). — Все сутки думаю, думаю — ничего не придумаю. Опять то же самое: экономически не можем, действуем административно, властью, принуждением.

— Паровое отопление в домах установить не можем, а печное запрещаем.

То же, что с садами, вырубленными на Украине и в других местах. Но то уж материал для драматургии и пр., а об этом ни звука.

Мера жестокая, грубая, кровавая.

17.IX. Внуково.

Набросал вчерне один очерк для «Дневника писателя» — писал эти дни по утрам, вчера даже днем, когда дождь помешал более приятным занятиям по «озеленению» участка путем выкорчевки осин и лишнего орешника на перешейке между средним и нижним садиком.

Утром сегодня — не то увидел во сне (кажется, именно во сне), не то так вдруг показалось, что все написанное архиплохо, натянуто и жалко. Прошелся по шоссе в своей новой куртке с «молнией», погода холодная и после ночного дождя совсем осенне-мокрая, — нет, ничего. И хорошо, что написанное, хоть и начерно, продолжает клубиться в голове, когда и не пишешь, выравниваться, выправляться, освобождаться от лишних слов и фраз и всяких «заусениц» первоначальной черновизны.

Между делом написал и стишок для «Правды» — этим, как говорится, все сказано на лунную тему.[1] Отдал третьего (или четвертого) дня, а по возвращении на дачу, по дороге еще, заныло — очень плохо. Хоть возвращаться в Москву, звонить, снимать, может быть, дорабатывать. Но потом решил — пусть. Столько в году и убытку. На «лунной» теме вообще не могу сосредоточиться, в частности, отвлекают очень земные ужасные дела — именно «коровий» вопрос — еще 30 писем (правда, переданных одним лицом — ходоком от рабочих и служащих селекционной станции). Но еще ранее уже как-то стучались какие-то строчки для «богатыря небалованного», который, мол, уже и луны достиг, но и на земле ему еще много хлопот.

Давнишняя выписка на листке из календаря (старого)

«В прежнее время у меня была привычка обдумывать каждую фразу, прежде чем записать ее, но вот уже несколько лет, как я пришел к заключению, что уходит меньше времени, если как можно скорее, самым ужасным почерком и наполовину сокращая слова, набросать целые страницы, а затем уже обдумывать и исправлять (написанное). Фразы, набросанные таким образом, часто оказываются лучше тех, которые я мог бы написать, предварительно обдумав их». — Ч. Дарвин. — Воспоминания.

Это очень верно и страшно важно для всякого писателя, особенно прозы (в стихах необходимо поначалу опереться на совершенно уверенные хотя бы две — четыре строки или строфы). Но и набрасывая таким образом в заведомой черновизне, нужно изо всех сил стремиться как бы к хоть некоторой окончательности, а не считать, что это черновизна — и валяй, что хочешь, — тогда одна ерунда попрет.

Еще и еще раз вижу, как важны, как за них потом держишься, расшифровывая, развивая и т. п., самые первые, по живой памяти, записи «с натуры» или вообще записи приходящих в голову — без всякого напряжения — фраз, оборотов, зачинов и т. п.

Что только записал как-никак в Восточной Сибири, то только и есть н, может быть, что-нибудь из этого получится. А Приморье — ничего почти

[1] Стихотворение «на лунную тему» — «О новом слове» («Правда», 1959, 15 сентября). Включалось в 4-томное Собр. соч., (т. 2, с. 227). Позже его вытеснили более совершенные произведення А. Т. на космические мотивы, такие, как «Космонавту», «Памяти Гагарина». (См. Собр. соч., в 6 томах, т. 3.)

нет, кроме памяти, путаной и изреженной, с плешинами целых дней и более. Иное название, имя, деталь какая-нибудь, малый факт так нужны — ан нет — нету их. — Но все же, пожалуй, Ефросинью Авдеевну я напишу с попутными добавлениями. А рудничного, производственного, морского и пограничного — ничего.

19.IX.

Вчера после работы с Ив. Петровичем собрался в город, захотелось все же посмотреть, что там отвечает «Литжизнь».[1] Приехал — партсобрание, пошел заплатить заодно взносы и повидаться с С. С. Смирновым[2]. «Ответ гнусненький в двух видах: подписанный авторами той статьи и читательский (весьма подозрительный <по> собственноручности этого «контролера банка»). В этом, последнем, только и содержится фраза об «апломбе, не делающем чести» мне; читателю, мол, можно. А там — ни звука ничего подобного. Отвечать, конечно, не буду.

Сел за «Братск»[3] без достаточного натяжения воли, с представлением о легкости и, как всегда в таких случаях, далеко не пошел. Для перемены взялся в сарае за насадку топоришка на топорище, которое решил (тоже быстро и легко) вытесать из отколотой части букового бруска. Отколол косо, вытесать тупым, зазубренным топором так и не удалось. Взялся за другой материал — кленовый обрезок с подходящим прогибом — нет, вижу, нужно оставить, пока не испортил болванку. В результате — хороший грудок сколков и щепочек для растопки печи — прибрал его к завтрашней печке, и то настроение улучшилось. Еще, пожалуй, вчерашнее чтение этих даже не раздражающих, а расслабляющих «Воспоминаний» Бунина[4], кое в чем, впрочем, выразительных, например об Алешке Т<олстом>, Блоке, отчасти Есенине.

20.IX.

С утра подтянул постромки, выскочил часам к трем на восьмую страничку. Кажется, нашел «слой», без чего невозможно. Слой — развитие некоторой мысли с последовательными ступеньками и естественными заворотами, позволяющими и отвлечься в сторонку не в ущерб главному, и, главное, по пути давать не только иллюстрирующие ту мысль детали, а то, что и само по себе интересно, но, если нет слоя, — не становится в ряд. Завтра надеюсь подвинуться не меньше сегодняшнего, а тогда еще утро, и очеркишко вчерне округлится. За ним уже так естественно может встать совсем необязательный кусок из моих не то что подневных, а и почасовых записей на пароходе «Ф. Энгельс». Три совсем бы хорошо.

1. За Иркутском — Братск (что пишу)
2. Утро над Ангарой — (что написано)
3. Вверх по Ангаре.

[1] 6 сентября 1959 г. в газете «Литература и жизнь» была напечатана статья В. Друзина и Б. Дьякова «Жить и работать для партии и народа», направленная против так называемой «бытовщины» в литературе. В ней подвергался огульной крнтике целый ряд произведений за отсутствие в них «пафоса оптнмизма» н утверждалось, что главное — не «уровень мастерства», а «правильная идейно-политическая позиция писателя». А. Твардовский выступил в «Литературной газете» (10 сентября 1959 г.) со статьей «Против серости и посредственности», в которой он развенчал попытки «противопоставить идейно-политнческую сторону литературы ее художественному качеству». В ответ 18 сентября 1959 г. «Литература и жизнь» опубликовала письмо В. Друзнна н Б. Дьякова «За горьковскне традицин!» и читательское письмо В. Андреева, инспектора Московской городской конторы Стройбанка «Думаю, что товарищ Твардовскнй не прав».

[2] С. С. Смнрнов в это время был главным редактором «Лнтературной газеты» (1959—1960).

[3] Очерк о поездке на восток страны. (См. следующне записи 20 и 21 сентября).

[4] «Воспоминання» И. Бунина. (Париж, 1950).

После этого, подбив кое-что, [...] напишу «Дневник» чисто литературный: Байкал, Ю. Тувим, Евтушенко, Бунин — всякое. («Письмо в Америку» и др.).

Может быть, тогда я составил бы книжечку своих статей, рецензий, выступлений, может быть, даже писем или рецензий (из моей папки редакционной).

Для «Совписа» — на 60 год — ко времени и, главное, это бы оправдывало в какой-то степени вторую половину IV тома, как «Родина и чужбина» должна оправдать первую.

Почитывал между делом и бездельем Бунина (прибирал многолетние журналы, с которыми Маша не может расстаться, на чердак, — надеюсь, что снимать их оттуда мне уже не придется; в случае, скажем, переезда с этой дачи насовсем можно их отлично забыть). Если там есть что стоящее, так разве «Вокруг света», — остальное макулатура.

«Воспоминания» и «Темные аллеи» Бунина

Нет слов, что в значительной части это писанье старческое, если не считать воспоминаний о Толстом и Чехове, которых не перечитывал, мельком увидев, что это старые, известные. Много брюзжанья, озлобленности и натяжек в этом духе, мелочного непрощения никому и ничему на свете того, что пережито им, Ив. Буниным, — лишения, унижения, забвение. Не говоря уже о непристойных и недостойных большого писателя высказываниях и замечаниях по адресу Советской власти, Ленина и др.

Но сколько верного по существу в характеристиках и оценках, например, Волошина, Блока («Двенадцать» и «Скифы»), А. Толстого (бытовой портрет, тип), Куприна и др. Даже в пасквильных нападках на Горького есть какие-то песчинки правды. Нельзя также забывать, как относился к нему лично Горький, как ценил его. Правда, Горькому он не мог простить его мировой славы, в сравнении с которой «нобелевские дни» самого Бунина — одна жалость.

В языке (воспоминаний) очень много особой приятности, естественности, незатрудненности уже почти что изустной, но при всем том — строгость и ясность, и выразительность — бунинские, нет, пожалуй, уже и не бунинские, а шире, свободнее.

«Темные аллеи» жалки во многом — не только старческий эротизм, доходящий до «разрезов в шагу», но и многое другое. Странно думать, что многие эти штучки писались во время войны — где же раздумья старого писателя о судьбах родины, России, человечества... Тут он — существователь — не более.

Но какая память всех так называемых внешних чувств — особенно обоняния (но и слуха, и вкуса, и осязания) в отношении предметов быта, но особенно погоды, природы, времен года в самом немыслимо тонком подразделении в городе и деревне. Какая память детства и юности. Всех этих степных усадебок, станций ж. д., саней, возков, одежды, жилья — всего! 40 лет человек — художник жил, глохнул вне любимейшего его мира, и все неутомимо ворочала эта память в себе: весны и зимы, леса и проселки, праздники и будни ушедшей, канувшей в вечность жизни, восстанавливала такие подробности, что, кажется, со вчерашнего дня не упомнить. А может быть, именно отъединение, изоляция способствовала развитию такой феноменальной памяти художника-реалиста — деталей, подробностей и мистики, и чего угодно в отношении идей, содержания, смысла в целом.

Желуди по железной крыше
Грохают, как из ружья.

Некуда деть эти строчки, особенно хороша первая, которая у меня здесь, во Внукове, уже сидит много лет.

21.IX.

Продолжая городить свое гидрогорождение, выбежал на 17-ю страничку, — послал на машинку, — завтра надеюсь вчерне догородить.

Остается о том, что меня там «смутно томило», и таким образом возвратиться к началу. — «За далью — даль»? За Иркутском — Братск?.. — быстро спросил он, наклонившись к ветровому боковому стеклу машины.

Может быть, о многом, что можно и должно было сказать в этих записях, здесь не сказано, но уж по крайней мере здесь нет или почти нет того, что не занимало бы меня по-настоящему там, а было бы только сейчас отмобилизовано памятью или сконструировано воображением в соответствии с заданной мне самим собой задачей. Никакой такой «задачи» у меня не было, кроме желания как-то подоткнуть хоть еще одну дыру бесследно пережитого времени, а точнее, дополнить «Родину и чужбину» хоть полутора листами взамен удаленных оттуда «очерков о героях».

17-я страница — закончить момент с «инженером» как-нибудь так, что и все мы, журналисты, были довольны самими собою, так что принимали свою способность потешаться над «переливом серебра» и «железобетонным телом плотины» за гарантию того, что уж с нами-то ничего подобного случиться не может (в наших писаниях).

Вставить во второй очерк (С горы Пурсей) что-то вроде такого отступления о пейзаже стройки.

Вид почти каждого строительства чаще всего представляется, как мы и пишем, «беспорядочным нагромождением» строений, складов, подъездных путей, ограждений, отвалов земли, лесов, подмостков, кранов и экскаваторов, как будто шедших куда-то, да так и не дошедших, неестественно приткнувшихся на каком-нибудь взгорке.

Все дело в характере незавершенности и временности большей части этого нагромождения. То постоянное, ради чего возводятся и нагромождаются эти леса и т. д., — оно до времени мало заметно — и все, как на столе, заваленном бумагами и пр., кажется, где тут быть чему-нибудь толковому, а между тем хозяин стола, у которого дело идет хорошо, не отягощен этой кажущейся другим захламленностью и беспорядочностью. И как раз тогда, когда дело не идет, начинается нервическая забота о приборке стола, о внешнем его благообразии, идеально-рабочем виде и т. п. Это, конечно, не значит, что захламленность помогает. Я как раз сторонник порядка и опрятности рабочего места, хотя знаю людей в этом отношении превосходящих меня с лихвой и однако не особо радующих плодами своего труда в условиях этой идеальной прибранности и аккуратности, но она мало мешает, когда дело на добром ходу.

На стройке (гидро) долго все остается временным: временные перемычки — они либо должны быть взорваны, либо затоплены впоследствии, временные эстакады, мосты и подмостки (этот мост — он уйдет под воду, когда над ним встанет стена стометровой плотины и начнется затопление). Временный — теремок (уж конечно), временные эти дороги, вырубленные полувыемкой в скале с немалым трудом и затратами. [...] Приборка начнется потом, и она-то, если не случается особых обстоятельств, затягивается особенно долго. Уж на что образцово ведется строительство жилого района Москвы «Юго-Запад», а и то обычное дело, что дом уже полностью заселен, а машина с вещами въезжающих жильцов добирается к нему с помощью тягачей или тракторов, принадлежащих строителям. Правда, вскоре все здесь прибирается и будет замощено, но следующий, выдвигающийся в открытое поле дом опять-таки переживет этот период недоступности, хотя бы и несколько сокращенной длительности.

Иркутскую ГЭС я увидел нынче в период последних внутренних отделочных работ; шли уже вовсю внешние отделки и наведение красоты. Участок земли, прилегающий к подножью плотины (в нижнем бьефе), застилался привозной землей поверх всяческой глинисто-гравийной и песчаной неродимой смеси, чтобы потом озеленить его, откос плотины обшивался (в нижнем ярусе) дерном. участок усадьбы станции обносился как раз в это время красивой металлической решеткой на металлических столбиках (трубах), впущенных в бетонный цоколь, с которого еще не была снята опалубка.

Хламу еще было довольно. Но уже вычерчивался на опрятном фоне главный корпус станции с окнами главного зала в восемь (?) метров вышины, с фронтоном, и уже очень красила всю местность подступающая в верхнем бьефе к плотине вода (еще неполного подъема!). [...]

По реке
1. Мальчик, заедаемый мошкой, и вокруг него.
2. Картины Братска в связи с картинами деревушек, пристаней по пути — отсутствие посадок и т. п. «Стена тайги» возле новых домов (о соснах и лиственницах, погибающих в разреженной тайге, березки терпеливее). Напрасно пишут: «стена сосен» — какая там стена, стена дальше.
3. Может быть, о Братске старом с башнями Аввакума.

24.IX. Внуково

Вчера с утра до 2 ч. вычитывал очерк, судорожно втискивал в него добавочные строчки и абзацы, кажется, получилось кое-что, но Б. Г. Закс, мнения коего я ждал, не уезжая из редакции до 7 почти, отозвался сдержанно, указал на излишнюю детальность «гидротехнических» описаний (мне-то это кажется схемой примерной) и подчеркнул много стилистического. Сегодня скажет свое слово А. Г. <Дементьев>.

Вычитывал «Автобиографию» (вторая верстка), вставляю-таки фразу: «Эта громкая «панская» фамилия дорого обошлась ему и всей семье позднее, в тридцатом году, только спустя много лет все это было по справедливости исправлено».

Между прочим, я так и не собрался до сих пор (со времени съезда писателей) побывать в РК, чтобы подписать мою новую, исправленную личную карточку. Поехать сегодня же.

В первом томе решаю поместить перевод «Гайдамаков» — для утолщения книги и потому, что это работа тех лет. Мысленно посвящаю ее памяти моего Сашеньки — по некоторым особым обстоятельствам.

Мог бы написать к 12 номеру продолжение своего «Дневника писателя», из двух же главок:

1) Вверх по Ангаре

2) На Байкале (или как еще), куда вошел бы мой давнишний (устный) разбор песни «Славное море» в обрамлении впечатлений от прогулки на катере по Байкалу с М. М. Кожовым, со включением эпизода о современном беглеце из «мест отдаленных», подобранном смотрителем маяка (с ним самим я не говорил — его не было дома) у самой воды, в бессознательном состоянии (шофер) и выхоженном им, он посоветовал ему вернуться по начальству, и тому все обошлось — сам вернулся спустя три месяца, и вскоре — амнистия, — он специально заезжал на маяк (это нелегко, нужен попутный катер и т. п.) благодарить своего спасителя за помощь и добрый совет — чудный, вообще говоря — новогодний, или, как говорили, святочный рассказ.

Сюда же — припомнить посещенный в 56 г. Александровский централ. Этак бы я коснулся однажды «каторжной» Сибири — былой и недавней.

Восхождение на маяк — махонькую площадку — крылечко на ветхих сошках — над скальным обрывом и камнями внизу.

Дорожка к маяку в тайге — выложенная бортиками из камней неким ссыльным поляком, смотрителем маяка (30 лет был ссыльным).

Вообще тянет к сладостной (не то слово, а вчера было слово!) плотности страниц прозы.

На очереди

1) Дом на полозьях.[1]

Из поэзии был бы счастлив написать одну хоть сталинскую главу «Далей» (и на том, может быть, покончить покамест с ними) и еще привести в полный вид, хотя бы для тетради, — «Теркина на том свете».

Вчерашняя посетительница (в редакции) якутка Н. А. Борисова, только что из тюрьмы (год) за «нарушение правил о прописке» — т. е. проживание без прописки. «Меня-то еще было за что — три года жила так. А там есть жены, не прописанные к мужьям, живущим в общежитии, и т. п. Оказывается, есть «Указ от 28 мая» (?) — после трех предупреждений тюрьма от 1—3 лет.

Столица обороняется всеми средствами от «нестолицы», также желающей жить с колбасой и булкой, с магазинами и т. п., с несравненно большей защищенностью и привилегиями частного быта, немыслимого в провинции.

Еще письмо о коровах — и уже не знаю, куда направлять их, если не формально.

27.IX. Внуково

Абзац насчет громкой фамилии, дорого обошедшейся, и т. д. Демент[2] отсоветовал вносить, и очень резонно: важно и больше достоинства в том, что я теперь ничего не изменяю в существенном изложении автобиографии, написанной более двенадцати лет назад. А все и так, кому нужно, — понятно, как и было понятно прежде.

Он одобрил вставленные полуфразы насчет «пришлости» отца с его шляпой в наших местах и «не без сентиментальности» — в отношении матери, — правда, без этого вполне уважительного, но существенного оттенка — там немножко сентиментально, хотя все правда.

Дементьев только намекнул мне, каким образом закончить автобиографию в ее же духе и стиле, и я, кажется, решительно вырвался сегодня утречком (еще среди ночи) из никчемных повторений и исправлений концовки в духе послужного списка, отбросив все это навсегда и охарактеризовав кратко и четко последний по времени период свой — так что критики и рецензенты должны только благодарить — цитируй, и все будет на месте.

Абзац о редакторстве решил опустить, хотя был соблазн щегольнуть благородным извитием фраз: «Работа в журнале для меня была и остается отнюдь не просто «должностью», лишь внешне соприкосновенной характеру моей собственной литературной работы. Это — наиболее пришедшаяся мне по душе (хотелось бы даже сказать — единственно мыслимая) форма литературно-общественной деятельности (было еще: освященная благородным примером многих русских писателей), которая, несмотря на все трудности и значительные затраты времени, способна приносить большое и радостное удовлетворение».

Но, во-первых, я затруднился выразить «перерыв» в этой моей благородной деятельности, начавшейся в 50 г., но прерванной в 54-м — до середины 58 г., а главное, не об этом сейчас речь, и читателю это, покамест, ни к чему, да и надолго ли опять эта «форма», трудно сказать.

29.IX. Внуково

Вчера сдал Крючковой оба тома — с дополненной «Автобио» и переверсткой — отнесение к «ранним» меньшего количества стихов (до «Гостя» — в соответствии с действительным «рубежом»). Сегодня укрепился в

---

[1] Замысел рассказа «Дом на полозьях» («Дом на буксире») — о сселении хуторов в поселки — Твардовский долго вынашивал, но не осуществил. Темы этой он коснулся в стихотворении «На старом дворище» (1939). (См. Собр. соч., т. I, с. 198.)

[2] А. Г. Дементьев.

намерении дополнить этот раздел другими ранними, в частности, дать хотя бы выборочно что-то из «Вступления».

Вспомнил стихи:

1) «Уборщица» — первое «городское»,
2) «Наш Василий» (московское).
3) «Выезжая на ночь в холодок» (из «антиотцовских»)
4) Найду ли стишок про сад — года около 33-го — «чтоб яблоки были — как раз в безъяблочный год»
5) Может быть, что-нибудь из «Лаптя» [1]

«Молодой лесник
Головой поник».

Встал сегодня в 4, [...], выпил чаю, и спать уже не хочется. Вчера так же встал, но доспал и проспал первый утренник — настоящий — уже солнышко угрело, и в полной тишине и недвижности деревьев — слышался один какой-то новый непривычный и сторонний шум какого-то шелушения или ворошения насекомых — шел лист с деревьев — оцепеневший ночью, а теперь подтаявший и пошедший, точно он на воске держался. Так его «тисканул» утренник. Начало настоящего листопада.

Георгины — точно изжеванные, канны — лопоухие цветы с листами слоновой толщины (слоновьих ушей) — на глазах еще были матово-зеленые и в полной форме, а через час-другой глянул, не узнал: почернели, свернулись, хотя внутри еще, как сверла, свежие витки, из которых должны были еще развиться цветы.

Желуди по железной крыше
Отгрюкали свой срок...

Искал, кидался в разные стороны — так можно судить по «ранним стихам», но что-то уже и там пробивалось неосознанное, но все более определенное, уже из «существенного» — деревенская новь, отголоски потрясений, ставших затем главным и надолго единственным миром поэтического осмысления и выражения (поэмы, включая «Муравию», стихи «Сельская хроника» — вплоть до войны). А там эта тема замирает и уже в духе прежнем («Сельская хроника») не возникает в дальнейшем.

Но и за той (гремящей) далью
В пути своем —
Я видел, помнил тетку Дарью
На приусадебном своем...

Вчера говорил по телефону с Ахматовой (о новых ее стихах для «Нового мира»), которую лет 30 назад, по Антологии Ежова и Шамшурина, может быть, считал покойницей, как Блока, Брюсова, Гумилева. Только потом уж узнал, что она жива, правда, знал уже задолго до ее стихов в «Правде» в войну и прочих.

Голос, после старушечьего, слабого, в коем я и предположил было ее, — голос, по которому можно было себе представить походку, какой она подошла к телефону, — сильный, уверенный, не старый — с готовностью в нем, исключающий разговор с ней, как со старушенцией. Назвался. — «Здравствуйте, тов. Твардовский». Мне показалось, что она не поняла, зачем мне ее стихи. Это — редактор «Нового мира». — «Ну, боже мой, Вы мне это сообщаете» [2].

2.X.

Волнения, сомнения и тревоги с первым томом, собственно, разделом «ранних» вещей. Включать — не включать — нет, все-таки включать (например «отрывок» из «Вступления», занимающего года два моей писа-

[1] Юмористический журнал «Лапоть» издавался в Москве (1924—1933). Твардовский напечатал здесь несколько юморесок (1929).

[2] Следствием разговора было появление в журнале цикла стихов Ахматовой: (Анна Ахматова. «Новые стихи», — «Новый мир», 1960, № 1).

тельской жизни до-муравского периода и означающего некий напряженный сознательный поиск). Выбрал из «Вступления» некоторый отрывок, где только «Петров» и «Федот» — середняк и бедняк — совершенно в духе тогдашней схемы, а что не схема — «Гордеич» и кузница как источник обогащения — это тогдашний собственный «навет» на себя. Нужны были года, чтобы та же кузница обернулась кузницей в «Далях».

Еще решил включить «Уборщицу» — первое мое «городское» стихотворение и «Матросу» (с урезкой конца) — отголосок моего «севастопольского периода».

Мелочные заботы в угоду будущим (если таковые будут) чиновникам-исследователям.

Слова А. Г. Дементьева: — Ведь это может оказаться вашим последним прижизненным изданием.

На днях вспомнил (вспоминал, наверное, и раньше, но не остановился на этом), как, с какого момента решил в 42 г. вновь писать «Теркина». Война сперва была для меня как бы даже освобождением от этого замысла (когда уже была вчерне «Переправа», «Про медаль», «Теркин ранен» (без такого названия), не говоря уже о «Гармони», даже напечатанной как стихотворение в «Звезде» — в 40—41 гг.[1]). К мысли о «Теркине» на войне я обращался только как возможности такой работы в газете — это было не принято Мышанским в «Красной Армии» [2] по обычным соображениям — зачем, мол, нам чужой герой, своего возьмем, и, помнится, он предложил героя с фамилией Богатырев, а потом как-то дело сошло на Гвоздева палийчуковского [3].

Отчисленный с ЮЗФ, я некоторое время был в Москве на положении ожидающего назначения, хоть и не в «резерве» до поры, и начал кое-что набрасывать, между прочим, вступление о воде развил из предшествовавшего стишка и, помню, прочел зачем-то Лифшицу, тот похвалил: вода, еда и т. д., все это первоначальные всеобщие вещи на войне.

Наконец я был назначен в «Красноармейскую правду», а не в «Красную звезду» — стараниями В. Кожевникова, метившего тогда уже в «Правду», где он «полюбился» П. Н. П.<оспелову> [4] своими фальшь-очерками-рассказами с указанием «Западный фронт», — и напечатал кое-что из своих запасов с Юго-Западного фронта — «Балладу об отречении», «Балладу о товарище».

Стояли мы со своим поездом где-то возле ст. Обнинской (в р-не Малоярославца) на ветке, выведенной в лесок неподалеку.

Там как-то разговаривали с М. Слободским [5], он рассказывал о своих планах (писал он тогда «Швейка») и сказал, что горячей его мечтой было бы написать нечто веселое (вроде Швейка) о своем человеке, бойце Красной Армии.

Я мгновенно отозвался на это всем существом своим: да ведь это я хочу, и давно уже, и начал уже такую вещь о своем бойце. И не помню, сказал ли ему тотчас это, но вскоре — месяца через два, — конечно, не только сказал, но и представил так называемые «первые главы», куда входили и те, что были у меня почти готовы до войны.

13.X. Коктебель.

Здесь с восьмого. На первый случай ужасный ушиб — скула, бровь; подтек жуткий, глаз левый, как у покойника. Вчера начал выходить на прогулки — на люди выходить (к табльдоту) еще нет отваги.

[1] В газете «Красная звезда» (1940, 6 ноября).

[2] На Юго-Западном фронте, где А. Т. провел первые восемь месяцев войны в редакции газеты «Красная Армия». Редактором ее был упомянутый Мышанский.

[3] Палийчук Борис Дмитриевич, корреспондент газеты «Красная Армия»: вместе с Твардовским вел в ней отдел юмора. Как свидетельствовал сам А. Т., совместно ими было написано несколько фельетонов о солдате Иване Гвоздеве.

[4] Поспелов Петр Николаевич (1898—1979). Уже упоминавшийся руководящий партийный работник. В 1940—1949 гг. редактировал газету «Правда».

[5] Слободской Морис Романович (1913), писатель, в годы войны корреспондент газеты «Красноармейская правда», в которой печатал «Новые похождения бравого солдата Швейка» (1942).

Сегодня ужасный сон около 3 часов ночи. Встал, курил (папиросу от папиросы, спичек нет, плитка не горит — погас свет), хотел постучать к своим, но удержался. Одумался, очухался, заснул, но сон по фабуле продолжался: я ехал в Смоленск, по пути были всякие живые и мертвые, и всякие подробности сборов. А в перерыве этого сна я обдумывал, как мне немедленно выехать в Смоленск — самолетом и т. д., и все с моей ужасной «зеленкой» на лице. Но все, слава богу, никакой мистики, однако сон концентрирует в хаотическом преломлении множества впечатлений, настроений и т. п. в совершенно реалистическом, закономерном плане.

Сегодня начинаю прибирать стол, располагаться, хоть на эти 2 недели, по-рабочему. Америка, предстоящая в ноябре, мне бы как раз ни к чему. Это все оттяжки приступа к настоящей работе.

Полоса в «Правде» с «отрывком», который больше половины целого и не очень круглый.[1]

20.X.

Встал в пять, допереживал вчерашнее и продолжил со строчки «Хозяин!» — до конца «Дорогу дорог». Пожалуй, все же не буду разбивать строчки, чтобы не напрашиваться на образец, хотя все это пустяки, а для III тома объем важен, хотя это тоже пустяки. Слабизна стихотворения в банальном уже переходе к «слову», которого будто бы так-так и нет до сих пор.

Нужно писать «Дневник», пока не застыло все — с ходу.

После обычного уныния (не долгого и не глубокого на этот раз) настроение доброе, живу всем телом и духом, все так хорошо, и немного доволен собой, что, как всегда, тревожно. А уж это значит хорошо, если только и остается, что всегдашняя мысль о смерти, — ведь эта мысль только и сопутствует состоянию внешнего удовлетворения и подъема, когда остается вспомнить, что и этому всему свой срок.

Читаю «Записки из мертвого дома» — одну из самых великих книг в мире. Прочел чудные «Автобиографические заметки» Сеченова[2] и посредственные, жалостливые и краснословные, хотя искренние, воспоминания Златовратского[3].

22.X.

Вчера перебелил на листах «Дорогу»[4], немного отошел от подступившего вдруг после первого подъема чувства (столь знакомого!) несвершенности, незадачи и т. п. Как важно бывает в такое время чье-нибудь слово, что, нет, хорошо, сильно, и как веришь этим словам, вернее, радуешься, хотя и не относишь их вполне к этому, уже написанному, а как бы думаешь: да, если и это хорошо, то погодите, что еще, может быть, и будет у меня.

Начал «расшифровывать» и переносить в отдельную тетрадку (22а) листки блокнота летней поездки. Начал с Ангары, написал первый кусочек о «черной воде», пристегнул к ней слышанное на Дальнем Востоке о наводнениях Уссури и Амура и вывел некоторое общее рассуждение о запретности в нашей печати «печальной» или «устрашающей» информации. Тут будет просто несколько таких кусочков — ужасный, неприютный вид пристаней-деревень (подлежащих в будущем затоплению), мальчик с голым пузом, отбивающийся от мошки (рубашонку то поднимет, распялив на локтях, то опять опустит), и лирика о том, что будет через 20 — 30 лет — постепенное приближение промышленных очагов — Ангарск (с еще одним земляком).

[1] «Правда» (1959, 11 октября) напечатала часть очерка «Земляк».

[2] Сеченов Иван Михайлович (1829—1905), русский ученый-физиолог.

[3] Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), русский писатель народнического направления.

[4] Стихотворение «Дорога дорог» было напечатано в «Правде» (1959, 7 ноября).

Может быть, еще Иркутская ГЭС — с оговоркой о неблагодарном труде описаний подобного рода сооружений и эпизодом, рассказанным Фр. Тауриным[1] (это нужно деликатно).

Вообще я должен уже писать только то, что думаю на самом деле (с необходимыми разумными приемами), а не что другое — мне некогда уже откладывать это «до другого раза», т. е. на будущие времена. Прав Хемингуэй, что уже неизвестно, сколько тебе отпущено еще времени (ему 60 лет), и реальная «опасность не успеть» (Т. Манн) вступает вполне в свои права.

Зачем я удивляюсь и с превосходством и даже раздражением высмеиваю страсти местных «каменщиков»[2], когда сам, едва досидев за столом до «приличных» перед самим собой 12 ч., уже спешу заняться высмотренными мною утром в саду обломанными сучьями, чтобы вырезать себе еще одну палку. И с истинным удовольствием сейчас же отправляюсь туда — от «службы» к «отдыху и забаве» (Фадеев — «Последний из Удэге»), окрашенным однако некоей деловитостью мании.

28.X. Коктебель. День отъезда.

Последние дни прогриппозал, отчасти не зная того, на ногах. Итоги здешнего пребывания скромные, но все же я остаюсь доволен собой. [...]

Вполне подошел в голове к «Дневнику» — «День на Байкале». Расшифровка записей на Ангаре не дала оснований делать из этого еще один очерк.

31.X. Москва

Перебелил еще раз «Дорогу».

Вчера прочел пьесу К. Воронкова[3], с которой он хотел лететь в Коктебель (самолет, на который не получил места, разбился). Вопреки почти безнадежным предположениям, мне показалось теперь, хотя очевидна вся черновизна и аляповатость, что спектакль действительно может получиться, его можно вообразить. Давай бог. Я высказал ему даже готовность помочь связками там, где разрывается стих, строфа, и где он, как все, кроме меня, беспомощны. А название спектакля, «созданного (?) по инсценировке Т. Лондона»[4], гремит уже по всему Союзу — разные театры объявляют его. А пьесы Т. Лондона нет как таковой. Как бы здесь мне не оказаться вмазанным в какую-то дерьмовую историю.

Тома печатаются, хотя еще не было последней окончательной сверки листов, где «Автобиография» и «Ранние».

«Родина и чужбина» в новой сверке передо мной на столе. Мудрил-мудрил с «от автора» и до того домудрился, что решил снять. Ибо единственная (из трех) существенная фраза о том, что «я не счел возможным вносить в журнальный текст какие-либо»... — она-то и неверна — счел-таки и внес. И стало легче на душе.

28.XI. М.

С Америкой все обернулось необходимостью не только ехать, но и «возглавлять» делегацию. Страшновато, угнетает и безъязыкость, и неясность задач (конкретных) поездки, и наличие в делегации Леонида Мак-

[1] Таурин Франц Николаевич (р. 1911), писатель. О встречах с Твардовским рассказал в воспоминаниях. (См. «Воспоминания об А. Твардовском», 1982.)

[2] «Каменщики» — собиратели красивых камешков, которыми была прежде богата Коктебельская бухта.

[3] Воронков Константин Васильевич (1911—1984). В 1958—1970 гг. — секретарь Правления СП СССР. Автор сценической композиции по поэме «Василий Теркин», поставленной в 1961 г. Театром имени Моссовета.

[4] Эта инсценировка поэмы «Василий Теркин» была сделана заслуженным артистом РСФСР Т. И. Лондоном. После знакомства А. Т. с инсценировкой и его обращения с протестом в Министерство культуры РСФСР была снята с постановки.

симовича[1], и природная нерасположенность к «представительству», и потеря двух месяцев (считая истекающий), которых я ждал более года для работы.

Долго воздерживался от записи о Фатьянове[2], смерть которого прошла у самого сердца (виделся и выпивал с ним за два-три дня до нее); долго физически, телом ощущал все это. И хотя это был [...], но и несчастный, давно уже обреченный, одурманенный, огрузший человек, припертый к стене отчаянным положением,— и сил уже у него не было, и другого конца нечего было ждать, и мне ли бросить камень в него.

III том мал, тонковат. Подключение «Гайдамаков» это уже от безвыхода (как раз в таком объеме «Теркин на том свете», но он лежит, распоротый в 56 г. и не собранный, не сшитый, не говоря уже о жупельном звучании одного названия вещи (чем я, в конце-концов, обязан Суркову).

29.XI.

Анекдот — смоленских времен — разговор двух мальчиков об Америке, когда один поясняет, что там все наоборот: у нас день — у них ночь, у нас ночь — у них день, а другой, соглашаясь, что это-таки плохо, заключает: — Так им и надо, буржуям.

Разговор с Иваном Петровичем о луннике (в те дни), вполне компетентные его суждения о блистательной победе и вдруг вопрос:
— А на чем все же она держится там?
— ?
— Ну должна же на чем-то быть?
— А мы на чем?
— Ну... на воде.— (Не на китах!).

Оля, сидящая сзади <в машине>, всхлипывает от смеха. И. П. заметно обижен. Я начинаю объяснять, между прочим говорю, что вот еду в Америку, буду там ходить вверх ногами. Да, впрочем, вечереет, мы и здесь едем уже почти по потолку (земля повернулась), он краснеет, полагая, что над ним смеются, да еще Оля, девчонка. А ведь огромное большинство человечества, пользуясь всевозможными достижениями науки и техники, как и этот мужик, управляющий быстроходной телегой без коня, живет в совершенном неведении относительно всякой небесной механики и пр. Я и сам едва умею различить лунные фазы и многое другое.

В письме к невесте Ив. П. Павлов пишет, что унылое нерабочее настроение не преодолеть в себе, не приступив к делу, а лишь размышляя о трудностях и пр. Все очень верно. Начни дело, пусть с ничтожными результатами, и все пойдет иначе. Много раз проверено.

А вот подучить несколько английских слов не соберусь начать, все представляю, что сроку мало, что ничего не успеть, что лучше быть без этих двух-трех уродливых фраз, какие, может быть, заучу, чем без необходимейших сведений о стране, о литературе и т. п.

3.XII. М.

Реальность Америки, Соединенных Штатов — не тех, что из литературы, не понаслышке, а натуральных, сегодняшних,— все ближе и порой объемлет душу порядочным трусом. Чувство такое, какое было в детстве перед своим «городом», а в самом раннем и перед «деревней» (как населенным пунктом, множеством изб в одном месте — по сравнению с «хуторком пустоши Столпово»), в ранней же юности перед Москвой, где по прибытии, кажется, в 27 г., буквально шагу не мог ступить один, боялся слово произнести — как будто там люди говорили на другом языке! А между прочим, «Москву» по литературе и понаслышке я уже знал, принимал. В натуре же все казалось в ней иное, чем мой мир, отчужденное и почти враждебное и почему-то такое, где мне должно быть страшно и стыдно. По литературе, по всем сложившимся, слава богу, к 50 г. представлениям, я ее знаю, Америку, и вполне принимаю с ее природой, погодой, временами года, небоскребами, подземками, конвейерами, «бизнесом» и т. п. В натуре же мне сейчас трудно представить, что там точно такой же снег, предзимняя городская слякоть, «крупа», секущая в лицо, и там среди того, действительно, отчужденного и особого, реального мира сегодняшней Америки, которой самой дела нет до того, как она выглядит в литературе, кино и т. п., иду я в этом новом моем пальто, кепке, жестковатых еще, но приятных на ноге ботинках, как хожу здесь, как пойду через полчаса в «Гастроном» на Смоленской площади за свежими булками и любительской колбасой.— И от того, что этот мир от моего нынешнего московского мира отделен не многими сутками пути и постепенностью приближения к нему, а лишь одними, может быть, сутками тяжелого полусна в комфортабельном сарае, летящем над океаном, где, что низ, что верх, уже почти одно и то же, ничуть не легче. Но это еще что. Об этом человеку свойственно думать, как о своих летних заплывах в море думается зимой (зачем, зачем я так далеко заплывал тогда), т. е. само по себе это не так страшно, как думать, вызывать в себе воображение об этом. Так, примерно, я ответил вчера и врачихе, которая, готовя мое зубное хозяйство в дорогу, спрашивала с игривостью, за которой чувствовался «страх представления»: — А не страшно это — над океаном... Я бы приняла снотворное — только так...— Ответил, что страшнее все же то, что ждет на суше в самой Америке. Но этот «страх» тоже в значительной степени «страх представления» — подобный тому, что бывает, когда ожидаешь выхода на большую трибуну и черт знает чего думаешь о возможной неудаче. Вообще говоря, страх стыда, боязнь быть смешным, жалким, непонятым, неумелым, незнающим, глупым (а готовность почесть себя таковым всегда есть), он поныне присущ моей натуре, только у себя, здесь, я уже порядочно пообтерся и «превзошел» все «трибуны» и т. п. А там все внове, и еще бог знает, что именно.

4.XII.

Америка ближе еще на одни сутки. Делаю все, что полагается в смысле подготовки, но это так ничтожно мало, чтобы чувствовать себя готовым. Правда, в не меньшей неготовности я выезжал, например, на Урал или Дальний Восток, но это не смущало и не заботило. Впрочем, внутренне я все же спокоен и наперед знаю, что как-нибудь она, Америка, все же пройдет, пусть без оваций и пр., но так, что в итоге можно будет сказать (и это будет говориться), что поездка была полезной и т. п.

Всякий отъезд, всякий подъем с места в дорогу обозначает «черту», подводимую под неким периодом жизни, и эта черта подчеркивает безвозвратность вчерашнего. В данном случае особенно, поскольку это все же Америка, другой мир, другой свет, другой снег. И еще, может быть, потому, что поездка предваряет недалекую уже дату моего полувека жизни. Я уже не могу, как в юные годы, представлять себе (это так облегчает задачу!), что это еще так, начерно, а потом, мол, будет иная поездка, и с той, иной, я могу связывать любые угодные мне представления. Нет уж, я знаю, что без особой надобности я уже не соберусь поехать в ту, иную, запасную поездку — не будет уже у меня на это времени, да не будет, знаю, и охоты. Дай бог со своим добром, т. е. с тем, что собрано, принакоплено так-сяк за такой срок, у себя дома, на родине.— День за днем, месяц за месяцем, глядишь, год за годом откладываю задуманное в ожидании «чистой воды», «запаса покоя» и т. п. приманок завтрашнего дня, который, наступив, чаще всего бывает похож на вчерашний.

Все ближе, все реальнее вижу, что нужно что-то кардинально менять в строе жизни, выгадывая время для писанья, для прозы, для всего заду-

---

[1] Л. М. Леонова.
[2] Фатьянов Алексей Иванович (1919—1959), поэт, песни которого не забыты и в наше время: «Соловьи», «Давно мы дома не были...», «Где же вы теперь, друзья-однополчане...» и др.

манного на ближайшие и дальнейшие сроки. Второй срок моего редакторства, наконец, избавляет от всяких иллюзий: немыслим, невозможен журнал в том виде, какой иногда мне грезился, — ему просто не дадут быть. А отдавать главную часть жизни для того, чтобы журнал был немного грамотнее, немного приличнее и совестливее других, — не стоит. Главную, потому что наполовину, с сохранением здоровья, с установкой на «пусть себе как-нибудь» — нельзя, невозможно. Хорошо вижу этих людей, блюдущих свою пользу под личиной общественной озабоченности и, в сущности, глубоко равнодушных, защищенных от мук внутренней ответственности (моих сосекретарей по Союзу, кроме, пожалуй, Федина). Среди таких был и из сил выбился Фадеев, знавший эти муки наравне с муками писанья. Ничего тут не придумаешь. Они, все эти человеки, считают, что их «творческая работа» оправдывает их на всякий случай во всем, но чаще всего это мнимое оправдание. А мы, люди вроде меня, да и Федина, и Фадеева (Федина меньше)[1], готовые в первую голову пренебречь своим «творчеством» из-за нужд «ответственности». Так не лучше ли, по крайней мере, было бы, чтоб они пренебрегли (они на это не пойдут никогда, они знают, какая это броня, «творческая работа», в чиновничьем, антитворческом обиходе). Нет, не пренебрегут, как не пренебрегут и удобствами, связанными с «ответственностью», носимой легко и привычно.

Дом на полозьях (на буксире)
Сталинская глава
Теркин на том свете
Пан Твардовский.

5.XII.

Вчера отправился в Союз на «вертушку»: договориться с Е. А. <Фурцевой> о приеме меня с Леонидом Максимовичем <Леоновым>; имелось в виду выговорить некоторые благоприятные условия поездки, прежде всего — деньги. Покамест она была занята, вызвал девушку из иностранной комиссии (Лурье Фрида Анатольевна) и узнаю о некоем звонке из Консульского Управления, и затем входит К. В. <Воронков> с телефонограммой: американское правительство считает нецелесообразным приезд делегации в период рождественских каникул. Слава тебе, господи, но ведь я и об этом говорил, когда речь шла об отсрочке, так тогда тот же Леонов возразил: ничего, мол, гусем поделятся. Нет, делиться не хотят, и я не преминул в разговоре (телефонном) с Е. А. на эту вновь возникшую тему высказаться в том духе, что ежели хозяева говорят гостям — не приезжайте завтра, а приезжайте уж послезавтра, то гости, при всем смирении и выдержке, должны, кажется, приехать все же не послезавтра, а уж денек-другой спустя. Так ли, сяк ли, отсрочка — хоть малая — есть, хоть месяц из моего отпуска пойдет в дело. И тут-то становится видно, как мало этого срока не только для дела, но и для элементарной подготовки к той же поездке. Но уж этот срок терять нельзя. Барвиха! Для начала написать, наконец, «День на Байкале» для «Дневника». А если еще и сталинскую главу — то за глаза!

17.XII. Малеевка

Вчера — как прибыл сюда и еще в дороге, и еще до выезда, еще когда шел утром в баню, кинулся весь в «Теркина». Вчера, прощаясь с Машей на Дорогомиловской, — был в точности, как в лучшем подпитии, когда

[1] Твардовский, поначалу очень отличавший К. Федина как писателя-профессионала и работника, профессионально добросовестного, не позволявшего себе необязательности, неряшливости, уже в то время все же ощущал разницу между К. А. Фединым и А. А. Фадеевым, разницу не только в силе личного обаяния, но прежде всего в мере гражданской ответственности за исполняемое дело. В конце 60-х гг. он на собственной судьбе познает, что К. А. Федин, санкционировавший вместе с другими секретарями Правления СП решение о ликвидации редколлегии «Нового мира», соблюдал «свою пользу под личиной общественной озабоченности».

сказал ей вдруг, целуя ее такие немолодые (и она их уже не красит), такие страдальческие губы: пожелай мне ни пуха — я сажусь за «Теркина».

Сегодня день работы такой, когда в чистоте как будто и нет ничего, но все клубится, набегает, сменяется, нащупывается, уходит, возвращается, сцепляется — без конца, но все же во всем этом месиве что-то, очевидно, живет, вырабатывается, очищаясь, освобождаясь от окостеневшего в «верстке», тронутой мною в это же примерно время в 56 г. в этом же доме, — только тогда все сошло на клин и было в полном почти забвении все эти три года. И, может быть, хорошо, что работа тогда не пошла — она не шла бы так, как сейчас. Главной помехой тогда была «Венгрия». И, может быть, хорошо, что между той <и этой> попыткой приняться за «верстку» лежит все, что я делал и думал за это время.

Сегодня еще за целый день, с малыми перерывами на две прогулки малых и завтрак-обед, не вышел на орбиту. Главное: то решение начала, что подсказалось мне при чтении Фоменкой[1] старого «Теркина на том свете» наизусть против моего чтения наброска начала от осени 56 г., еще не утвердилось. Если вести «широким» хореем нового вступления 56 г., то уже, можно сказать, все на мази. Но чувствуется, что лучше бы с «дела», а не с объяснений с критиком и читателем. (Завтра покажет.) До сих пор не остановился окончательно в последнем случае на первой строфе: «убыл» или «прибыл» — и так, и так потери. Но первая строка уже, пожалуй, готова: «...Вдруг случись — в расцвете лет» (с отточием, чего никогда, кажется, не допускал, но здесь хорошо, законно). Весь день был, как у художника, ловящего кистью одному ему видимый (и невидимый еще) образ, и этот день — который уже по счету!

Впечатления и отголоски «Малеевки», как при других повторных приездах, но, конечно, не так и в общем слабее. «Четверть века назад...» Чудный зимний воздух — даже по сравнению со Внуковом, где он, кажется, так хорош, когда наезжаешь из Москвы. «Психозия» проходит.

18.XII. Малеевка

По дороге сюда придумались строчки, кое-как округляю их, — ими хотел начать здешние записи.

Некогда мне над собой изголяться,
Праздно терзаться и даром страдать.
Делом давай-ка с бедой управляться,
Ждет сиротливо подруга-тетрадь.

Некогда. Времени жаль для мороки,
В самый обрез для работы оно.
Жесткие сроки — разумные сроки,
Если иных нам уже не дано.[2]

Делались еще попытки к «Теркину».
Загробный гараж.

В преисподней путь не дальний
Из конца пройти в конец.
Но машинной персональной
Похваляется мертвец.

Эти Волги, Чайки, ЗИЛы —
Повнимательней взгляни,
Всяких марок лимузины —
Нарисованы они.

Вечером. Можно сказать, что на орбиту вышел, но весьма условно: многовато того, что якобы «вкратце», много старого, готового, оно легко

[1] Фоменко Владимир Дмитриевич (р. 1911), писатель, один из новомирских авторов (роман «Память земли).

[2] В несколько иной редакции стихи печатаются в Собр. соч., (т. 3, с. 133): «Некогда мне над собой измываться...».

идет под руку, вяжется, а это еще не значит, что хорошо, ибо ясно, что нужно вещь писать вновь, забирая из старого варианта (верстки) все, что действительно нужно.

Заглянул в тетрадь 56 г., там порядочно напихано вчерне и все это идет врозь с «версткой» (после того, как Теркин проходит начальные этапы,— это-то все гладко, и эта гладкость меня покамест пугает — перебеление в тетрадь приостановил до завтра, — а куда идет — не очень ясно, однако отчетливее того, как представлялось в 56 г.). «Друг» — важнейшая фигура.

Как Теркину уйти с того света? Тут нужен какой-то фокус, простой и легкий. Вот почему в начале нельзя «дуба», т. е. прямо говорить, что умер. «Убыл-прибыл» — это другое. И оттуда он может «прибыть». Работать есть что, но тема столь трудная, поглощающая отдельные находки, требующая все новых и, главное, сведения к некоему единству всего (этого-то и нет в «верстке», которую, кстати, еще не читал вперед, что-то удерживало, может быть, стремление укорениться в нынешнем плане).

19.XII. Малеевка.

Нет-нет, и предаюсь тому разврату, который наиболее противопоказан нашему брату, а именно — строжайше воспрещенному в наставлениях Гете созерцанию того эффекта, который произойдет по свершении труда, и как возликуют все кругом, и Сатюков протянет губы для поцелуя и т. п. Особенно в минуты находок (часто мнимых) или обнаружения в забытых уже отвалах породы блестящих самородков. (Правду сказать, кое-что в набросках 56 г. есть, я и забыл, покамест не думал о вещи в непосредственно рабочем плане.)

20.XII. Малеевка.

Продолжаю работу почти неотрывно, даже читаю только немного перед сном да гуляю, — без этого нельзя — можно перекуриться, кроме того, прогулки в одиночестве дают какую-то хорошую, хоть и беспощадную, прозрачность видения того, над чем бьюсь.

Разделал еще раз вступление («в голосах»), оно сообщает всему делу, как кажется сейчас, какую-то обновленность и связь. После него стало ясней с «широкострочным» разговором с читателем — убирается оттуда весь прежний «яд» — вплоть до «духа» (это будет вложено в уста «редактора»), и нашлись слова связки — 3 строфы — для перехода от «почему же не» к «пушкам».

Само собой получилось воскресное утро, мой «выходной»: встал было в 4 ч. — рано и не было чаю (забыл), залег вновь, прикрыв форточку, проспал почти до 10. После завтрака пошел гулять «пришвинской» тропинкой — навстречу много людей из соседнего дома отдыха, задние меня спрашивают: вы вернулись, не пойдете к писателям? — А это то, о чем накануне говорил культурник (хоть сфотографируйтесь), но я отклонил это решительно и думать забыл об этом. Обойдя рузовскую школу по шоссе, поднимаюсь от моста на гору, — под колоннами подъезда митинг, доносятся слабые на воле аплодисменты. Взял влево, спустился в овраг по стежке, переждал и обратно — порядок. Выступали, говорят, Кобзев[1] и еще какой-то молодой.

22.XII.

Обежать все поле — определилась вчера главная общая задача сегодняшней работы. Обежать и увидеть его в целом, в своих, хотя бы примерных, границах, а потом уж исправлять их и делать иные перемещения, уточнения и т. п.

---

[1] Кобзев Игорь Иванович (1924—1986), поэт.

Вчера шел по наиболее торному следу первых этапов продвижения на том свете — «столы», но и там нашлось, что делать, эти главки (уже и тогда, в 54 г., выглядевшие стройнее и четче) не должны сильно затягиваться. Из «стола проверки» отнести к «столу учетному» — «легкий бюрократизм».

Дальше, Теркин. По пути
Только дух перевести.

(К читателю «Будь ты снизу или сверху»)

Я боюсь твоей догадки, —
Ты ведь дока, сам с усам, —
Будто в этой сказке-складке
Я твой город описал.

Твой медпункт, твой загс районный,
И, мол, весь ее секрет
В том, что свет потусторонний —
Все равно, что этот свет.

Нет, поверь, судья ехидный,
Если б только в том и суть,
Как ни горько, ни обидно,
Я признал бы, что, как видно,
Мне придется отдохнуть.

И цена бы всей затее —
С начисленьями — пятак.
Дело все же похитрее,
Посложней — сдается так.

Суть — она, быть может, рядом,
Только пальцем ткнуть нельзя.
Пушки к бою едут задом —
Это сказано не зря.

Нам одно пока известно:
Теркин тянется до места.

(«Устройство «на место», встреча с другом, главный мотив: «Значит, вот чем смерть страшна».)

Позвонила С. Х.[1] — билет на Пленум, который, кажется, уже начался. Ехать — не ехать — ехать.

27.XII. Малеевка

Приехал вчера к ужину. Погода плюсовая, сегодня гулял в курточке на молнии.

Самое главное (и, кажется, получается) — непрерывность продвижения рассказа. В «верстке» — после «Медсан» — шли уже разрозненно статичные «картины того света», — правда, была встреча с другом, «тревога» и посещение генерал-покойника (теперь его роль уговаривающего остаться перейдет «другу»), но все не так отчетливо и с явными натяжениями сюжета. Теперь — сразу после «мне бы хоть до места» — поиски места и тем самым «тот свет» в его новых «хозяйственных» чертах.

Пожалуй, удалось ритмически и по смыслу сделать «стыки» — перед отступлением о разном читателе и после.

28.XII. Малеевка

Продвинулся сильно, в сущности, весь «центральный» тот свет из «верстки» с добавлением 56 г. — страниц 6. Но уже кажется, что опять-таки здесь теряется нить непосредственного продвижения Теркина и об-

---

[1] Минц Софья Ханановна — секретарь редакции «Нового мира».

условлениости его поступков, сцепления их, а начинаются «картинки», которые и после подчистки и пр. остаются таковыми. Кроме, может быть, «редактора» — с подключением к нему старого («дал бы планчик» и т. д.). Может быть, я слишком заостряю это, но только тогда и можно делать, когда самому интересно и ново, а не просто подогретое и чем-то уже надоевшее тебе. Должно быть, придется сокращаться, по крайней мере «секция», «оратор» уже сейчас кажутся невозобновимыми — что-то отболевшее, да и никогда не бывшее самым ярким. Сегодня перебелять такую массу не хочется.

Неприятность: звонил Демент — Поликарпов умывает руки, посылает Дудинцева «наверх» с отрицательным сопровождением. Это архинехорошо. Вещь объявлена[1], непоявление ее хуже самого худшего появления. Как этого не понять! Да где нам — из Пастернака мы сделали «мученика» — лауреата Нобелевской премии, сами сделали, своею высокомудрой глупостью.

1960

10.I. Москва.

30.XII.59 — Приезд из Малеевки. «Родина и чужбина» (1 экз.)[2].
31.XII. — Вечер в Кремле.
1.1.60 — Чтение у Саца «Теркина на том свете».
3.I. — С утра у Поликарпова по вопросу о Дудинцеве, затем у Дементьева, снова у Поликарпова, вечером — кое-где.
[...]
8. — В редакции.
9. — У Фурцевой в 10 ч.
10. — Почта, уборка перед Барвихой.

Главнейшее из малого в 59 г.:
1) Речь на XXI съезде.
2) «Московское утро» в «Новом мире»[3].
3) Речь на III съезде писателей и ее некоторые (автобиографические) последствия.
4) Поездка в Братск и на Дальний Восток.
5) «Родина и чужбина» (верстка, пересмотр, изъятие «очерков о героях» и написание для пополнения «Записей с Ангары»).
6) Собрание сочинений (верстка 1-го тома, исключения, дополнения).
7) «Дорога дорог» (в Коктебеле — 1-й месяц «творческого отпуска»).
8) Сборы и хлопоты в связи с Америкой.
9) Малеевка — возобновление работы над «Теркиным на том свете».
10) Книги: «Родина и чужбина», 4-й том, «Дом у дороги» и др.

Главнейшие и неотложнейшие дела — с упованием на Барвиху (до Америки):
1) «Теркин на том свете» — сколько получится, но с установкой на завершение для III тома.
2) Сталинская глава — с установкой на «Правду» в день годовщины смерти И. В.
3) 3-й том. Все, наконец, распределил, разложил в таком порядке:
«Дом у дороги»
Послевоенная лирика

---

[1] Объявлена была в «Новом мире» повесть В. Дудинцева «Новогодняя сказка». Напечатана в № 1 за 1960 г.

[2] Отмечен выход первого издания книги «Родина и чужбина» (М., «Советский писатель», 1959. В 1960 г. в том же издательстве вышло второе издание этой книги, с незначительными изменениями содержания. Очерки «Родины и чужбины», опять же с некоторыми изменениями, были включены в 4-й том четырехтомника.

[3] Стихотворение «Московское утро», с авторской датировкой 1957 — 1959 гг., было опубликовано в «Новом мире» (1959, № 3).

«За далью — даль»
Стихи последних лет.

Есть нехватка, восполненная покамест в чаянии возможной замены «Теркина на том свете» «Гайдамаками» Шевченко. Очень не хотелось бы паразитировать за счет Шевченко и тем самым признаться, что кишка оказалась тонковата.

4) Обойтись «малой кровью» со «швами» на воронковской «композиции» «Теркина». Очень страшусь этого участия в разъятии и перешивке собственного детища на операционном столе драмодельства, но избежать уже нельзя — подперло.

5) (После Америки — в первую очередь):
1. «Дом на полозьях».
2. Может быть, очерки — записи об Америке.
3. Можно бы слепить и «День на Байкале».

12.I.

Новое прочтение «композиции» Воронкова и вчерашний (незаконченный) разговор с ним.

Он, бедняга, может быть, сам не заметил, что, сохраняя в своих ремарках почти без изменений строчки и даже строфы «Теркина», сообщал своей работе — при чтении коллективу театра — большую стройность, чем на самом деле («Снял перчатки — трет ладони»), — а на сцене остается только этот жест, а стих нарушается, и т. п.

Крошево из строк и строф («монтаж»), передающих подходящее данной сцене содержание — бессильная попытка построить некое подобие «сюжета». «Медсестра долго всматривается в Теркина», — смотри, сколько хочешь, но ведь это не психологическая драма, — стиха нет, слова нет.

Естественно, что лучшие места, куски, то, что действительно могло актеров воодушевить, вплоть до «качания» автора композиции, — увы! — принадлежит самому «Теркину», разбитому «на голоса»: боец первый, боец второй.

Отсюда мне и пришла продуктивная мысль, что если здесь что-нибудь возможно, так это «сцены (в стихах) «Теркина» на основе и в узле главных его глав. Их можно тогда и дополнить, приспособить, т. е. и моя помощь была бы реальна.

Принято решение употребить «Барвиху» в первую очередь для сталинской главы — не из охлаждения к начатой в Малеевке работе, — ее продолжать «до упора в стенку лбом». Но глава необходима к годовщине, когда ее всего возможнее (а может быть, и наименее) напечатать. И если даже «Теркин» будет окончен в этом, новом виде, то, может быть, придержать его до поры, так как он может решительно повредить тому «Теркину» на сцене (будут ждать иные, что тут будет тот свет — и вообще).

Вчера во время беседы с Воронковым в кабинет вошел Сурков (в валенках со спущенными на них брюками — по-дачному). Зачем-то полез в портфель, зачем-то показал первый том. Он говорит — не будет ли у меня мал 4-й том. — Нет, но третий, пожалуй, так как там не хватает «Теркина на том свете», за что я тебе до сих пор благодарен, говорю без язвительности, без сердца. — Не-ет, — это не я. И вообще, я его недавно перечитывал (что так?) — не то. Я сказал, что еще доработаю его — все, мол, дело, что он был недоработан, а тогда вещь и уязвима бывает.

15.I. Барвиха.

День приезда. Обошел два главных прогулочных круга; лес хорош — чудные ели, сбереженные в такой близости от столицы в бестревожной своей, почти таежной сутеми.

Спасибо этим дням...

Снег сверху и с веток течет потоком над дорожками, морозец малый, до слез хорошо, если отвлечься от всякой ерунды. От того, например, что и здесь вдруг — один, другой фрукт, с которыми нужно как-то держаться,

а не хотелось бы и лес этот делить с ними. Но это уже старая песня: нельзя не купаться в море из-за того, что там купаются и пошлые, нехорошие люди.

К. А. Федин. П. Ф. Юдин[1] («познакомьтесь с моей женой» — я думал его ведет под руку молоденькая медсестричка).

Две мои задачи передо мной, и со мной, и впереди. Глава «Далей» и «Теркин на том свете».

Еще раз в ямбе, еще раз в хорее — может быть, в последнюю меру моих возможностей, что, конечно, вздор.

Помимо этого — третий том взывает: хоть каких-нибудь стихов, вроде «Записных книжек».

Главу начать бы каким-то резким, решительным двустишием, а потом пойти плавнее — ветер века, — он в наши дует паруса, — что-то в этом роде.

16.I. Барвиха.

К итогам года и скудным итогам послевоенного пятнадцатилетия могу еще отнести «Родину и чужбину», возобновленную мною из более чем десятилетнего небытия, сверстанную и в значительной степени обработанную именно в этом году (при верстке).

Итоги 15-летия вообще можно будет подводить по написании сталинской главы и доработке «Теркина на том свете», т. е. желательном дополнении III тома. Тогда он, включающий «Дом у дороги», хотя и начатый еще во время войны, «Дали» и лирику, будет, пожалуй, не хуже второго.

Еще можно причислить ледащий сборничек статей, речей и заметок, сданный в том году «Советскому писателю». Вместе — 4-й том.

Еще (но это уже не мне считать) на том наберется с лихвой писем-рецензий (по копиям «Нового мира») на рукописи, принятые или отклоненные. Это уже, как говорится, том XVI.

Нет важнее задачи сейчас — сделать III том в этом минимуме. Все остальное приложится. Даже Америка, бог с ней.

«Теркин в Нью-Йорке» (по поводу «Теркина после войны», изданного там, но в разрезе темы «Родина и чужбина» — для «Дневника писателя»).

18.I. Барвиха

Двигаю сталинскую главу. Начал прямо с «Когда кремлевскими стенами» — подходы только ослабили бы — и с ходу подключил кое-что из «На мартовской неделе», а там же с ходу взял «тетку Дарью», хотя еще и не чисто.

Читал К. А. Федину и М. И. (последняя не выдержала — и, не дождавшись мнения гостя, заявила, сморкаясь, что здорово). Кажется, да, идет. Это покамест (вчера) была половина-середина, за ней может быть самое трудное, но видится, куда идти, — помогает форма, как бы «письма другу», выказавшему (предположительно, «в уме») какие-то сетования по поводу «забвения».

Хорошо, что кое-что из той главы годится, но не увлекаться, уже и лишку, пожалуй, взял, но «для дела» можно будет и лишку взять, чтоб уж ничего неясного не было. За общим — два поворота.

о посещении Александровского централа,
о посещении родных мест, тетки Дарьи.
«Запели!» —

Занятно, что ровно через год — новая тетрадь начнется опять перебелкой того же наброска.

---

[1] Юдин Павел Федорович (1899—1968), советский философ и общественный деятель.

27.I. Барвиха

Лучшая форма дневника — ежедневная успешная работа, писанье. Как эти дни — день за днем — с 15.1.60 — здесь. В иных же случаях действительно, надо записывать саму неуспешность, соображения, намерения и т. д.

Вчерне скруглил сегодня «Письмо с дороги»[1]. Кроме отрывка из тетради «Когда кремлевскими стенами» — кажется 55 г. — стало на место и кое-что из прежней сталинской главы.

Могу считать, что одна из главных и неотложных моих задач на ближайшее время одолена — хоть для себя (это-то главное).

Как всегда в работе, видишь уже не только то, что сейчас делаешь, но и то, что завтра пойдет, чего и не предполагал еще в такой определенности.

Сейчас как бы вижу заключительную главу «Далей» (До новых далей), в которой одним махом — до океана и обратно — и до свиданья. Собственно, нынешняя глава — главный узел. И, наконец, эта неопределенная, «аморфная» штука получит, по крайней мере, некоторую целостность и завершение без «конца».

Страшно подумать, что на нее, в сущности, ушло 10 лет. Я не могу уже бросаться такими кусками! Правда, было и кое-что другое в эти 10 лет, но все же — это главное, и этого мало.

До конца Барвихи буду перебелять и достругивать «Письмо» и собирать разные кроки для «Записных книжек».

30.I. Барвиха

Вчера закончил перебелку на розовой бумаге, сегодня подчищал, убрал строфы:

Чему учились свято верить
И унесли бы в гроб с собой,
С тем порешить — семь раз отмерить,
Все остается на восьмой.

И потому еще, что память
Не только прошлым занята,
Покамест четкими стопами
В иные следует лета.

А что и как такие бури
Судьбе одной могли послать, —
Во всей доподлинной натуре
Тебе об этом лучше знать.

Чтение в день рождения Маши и Оли Маршаку и Юдину. Юдину очень по душе, но он сказал (это не открытие для меня), что могут встретиться трудности при опубликовании. Маршак: — А вы бы напечатали? — Я бы напечатал. Вещь политически зрелая. Правда, в ней могут усмотреть намеки. («Найдись такой!»)

Любопытно, что Оля, никогда ни слова не проронившая о моих писаниях, написала из Внукова письмо Вале, в котором, как передала та матери, дает восторженную оценку папиной работе. Мне очень дорого, что и ее, ребенка относительно всех таких вещей, это могло как-то затронуть.

2.II. Барвиха

Вчера дал рукопись (машинную) Маршаку. Он уловил кое-что из мелочей (течет-бредет, та старушка — не Дарья ли?) и лишнюю строфу. —

---

[1] «Письмо с дороги» — так называлась новая редакция «сталинской главы», получившей окончательное название в новомирской публикации («Новый мир», 1960, № 5): «Так это было».

«Оно не вымысел». Вечером приезжали (по моему предложению) Дементьев с Заксом. Читал им в шоферской на въезде. Похвалили, но умеренно, как будто ожидали большего, может быть, потому, что здесь были ранее известные им строфы. Но сказали, что без этой главы «Дали» уже немыслимы. И что не миновать звонить наверх, но идти есть с чем. Сегодня звонил Поликарпову (в командировке) и В. С. Лебедеву [1].— «Сейчас это невозможно, совещание народных демократий по сельскому хозяйству (кажется), а там Индонезия». Все же обещал доложить о звонке и был подчеркнуто нежен.— Дементьев вчера сказал, что в Америке печатался и мой портрет вместе с Шолоховым как «сопровождающих лиц» в поездке Н.С.<Хрущева>. Об этом и была речь, когда я был на Дальнем Востоке и отнесся к этой «Америке» как к туристской. И сейчас отнюдь не жалею об этой упущенной поездке, разве что тогда бы мне не предстояла мука нынешней. Но мало ли что было бы. Когда дело на лад, всегда кажется, помилуй бог, поступал бы умно, удачно, но не так, как поступал и как пришел к нынешнему положению вещей. А нынче оно таково, что я впервые всерьез увидел завершение «Далей», и уже стучатся строчки, сползаясь отовсюду для заключительной главы. И все в этой более чем десятилетней работе — со всеми ее несовершенствами, упущениями, недотяжками и просчетами, но и с памятными порывами и рывками в деле — теперь становится чем-то целым и, в конце концов, единым. Вплоть до заготовленных когда-то слов к читателю: — Ну вот, а что я говорил? — Так, должно быть, и вся жизнь, — тогда еще не беда!

Мон герон все в дороге,
А сам я, что лн, домосед.

3.II. Барвиха

До новой дали!
(заключительная глава)

Может быть, для разгона взять:

Лиха беда — пути начало — и т. д.

В тетрадях где-то было:

Этой дали
Мы ждали — ждать уже устали.
(Не шутки тоже — десять лет!)

И десять лет — как десять дней.
И десять дней — как десять лет.

Такими крупными кусками
Мне впредь бросаться ие с рукн. (не могу)

Мон герои все в дороге,
А сам-то, что же — домосед?

И где какой прошел
По краю выемки отвесной
Тайги неровный гребешок.

Слагаю славу самолету —
Чудесный способ при нужде,
Но путешествовать в охоту —
Лишь по земле да по воде.

Как жизнь —
порывы, упущенья.
То вдруг зачин без продолженья,
А в целом все же...

---

[1] Лебедев Владимир Семенович, помощник Н. С. Хрущева.

С чем трудно мне, с чем горько было,
Что прибавляло новых снл,
Что новой радостью слепило —
Я все в нее н заносил. (в эту книгу)

При чтении «Далей» соображения:
О приращении к главе «Огни Сибири» стихотворения «Сибирь» [1].
О конструировании главы «Разговор с Падуном». (У Падуна).
О заключительной главе. Я начал, когда было особенно тревожно в мире и т. д., и завершаю этот дневник, когда «потеплело».
Сюда, может быть, «Полвека» — как отрывок, предназначавшийся именно для «Далей» и округленный на скорую руку для «Записных книжек».

4.II. Барвиха.

Трах-та-ра-рах! — хотя и жданный, но все же не в такой близости и несколько приглушенный надеждой на его несвершение: звонил Воронков — Америка не 19, а 15 февраля, на восьмое — сбор делегации, не позднее 10 отсюда — away! (прочь), навылет.

Ничего не придумать, хоть более, чем когда ранее, сознаю ненужность (вообще) этой поездки, особенно учитывая ее казенную программу. Может быть, это как-то в ходе дел удастся превозмочь, заменить реальным содержанием.

Работа, конечно, пойдет сейчас всякая на округление, на минимальное наведение порядка. «Письмо» — отчищать, готовить, пытаться напечатать до отъезда.

По «Теркину» добелить, что сделано в Малеевке, и положить.

Набрасывал с утра кроки заключительной главы. «Разговор с Падуном» — пусть будет отдельной вещью, — это решалось без практических попыток заведения его под крышу «Далей».

Я обращаюсь к Вам, Н. С., с этой поистине необычной, даже беспрецедентной и даже, может быть, нескромной просьбой послушать (прочесть) мои стихи (главу завершаемой мною книги — ключевую, решающую ее главу) не потому, что я хотел бы обезопасить себя от каких-либо невзгод, и даже не потому, что речь идет о судьбе моей книги — об итоге 10-летнего труда, в сущности, о деле моей жизни — но потому, в первую очередь, что я не считал себя вправе не посоветоваться именно с Вами перед тем, как сделать этот шаг — т. е. предложить эти стихи для печати, так как тема их не может быть для Вас хотя бы условно безразличной.

Если бы все, в чем нуждается душа человека, можно было бы сказать в докладах и решениях, не было бы необходимости искусства, поэзии.

Мне казалось все эти годы, что вопрос о так называемом культе личности, исчерпывающе решенный в плане политическом, оставляет еще возможность и даже необходимость какого-то слова, недвусмысленного, искреннего и нелукавого до конца, — слова, которое послужило бы еще большему воодушевлению народа и партии в решении стоящих перед ними задач и отринуло бы все недомолвки, умолчания и т. п., которые есть в этом вопросе и составляют некий осадок.

Мы знаем ужасное значение неполной ясности в существенных вопросах, несвободных суждений и т. п., что имело место в пору «культа личности» и чему не должно быть места теперь.

6.II.

Гоню, гоню — покамест гонится, набрасываю заключительную, чуя и не пуская в душу озноб ответственности таких признаний, какие нужно сделать, держась на полунедосказе. — Только бы не впасть в тон теркинского заключения, — уже почти есть («нет сюжета»). Но все другое.

---

[1] Имеется в виду стихотворение «Еще о Сибири». (См. Собр. соч., т. 3, с. 108).

Америки не избежать, и на том — конец. Важно только отбиться от эгиды «Комитета Совета» с его программой и графиком. Начнем с делегации — кто в силах выполнять такую программу, а нет, так разрешите мне действовать (если вообще нет «отводов»).

С Маршаком, приобщившим меня к таинствам первоначальным английского и изнурившим до чертиков своим нытьем и нудью, перейти решительно к затверженню нескольких необходимейших фраз, счет до 10, еще — чего успеется, оставив на пребудущие времена (не дай бог!) развернутое овладение изяществом произношения и т. п.

9.II. Барвиха.

СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС товарищу Е. А. ФУРЦЕВОЙ

Глубокоуважаемая Екатерина Алексеевна!

В связи с особыми обстоятельствами, определившимися в последнее время, я должен просить Вас освободить меня от предстоящей поездки в Америку.

Находясь уже в течение месяца в санатории Барвиха, я получил возможность без помех обратиться к работе над книгой «За далью — даль», являющейся главным делом моей творческой жизни уже целого десятилетия.

Сосредоточенная и, как мне кажется, небезуспешная работа в эти недели над книгой позволяет мне предполагать, что я уже близок к завершению моего произведения. Отрываться от стола в такой период и вновь откладывать на неопределенный срок эту работу, и без того уже затянувшуюся до крайности, скажу прямо, было бы для меня очень болезненным делом.

Ко всему этому могу добавить, что врачи мне (безотносительно к моим литературным делам) не только не рекомендуют предпринимать сейчас такое большое и нелегкое путешествие, но считают целесообразным продлить мое пребывание в санатории, чему я, конечно, был бы очень рад, в случае Вашего согласия удовлетворить мою просьбу, как возможности еще ближе продвинуть мою работу к завершению.

С уважением

А. Твардовский

10.II.Барвиха

Поездка в город, встреча с Поликарповым, обычное, известное наперед: «Не советую»... Однако потом: «Поговори». Письма[1] не взял в руки даже. Сегодня в час звоню ему, может быть, он, как обещал, скажет ей о моем желании аудиенции, а нет — тогда к ней, может быть, поеду вновь. Уже становится противно, что сам говорю с одним, с другим по необходимости о своем «творческом подъеме». Но если не говорить, то нужно молча подчиниться нелепой необходимости бросить работу и ехать «обедать» в Америку, куда ехать мне сейчас не хочется — из рук вон. Характернейший момент: в общих словах говорим о приоритете творчества, работы, «письменного стола» и т. п., а чуть в конкретном плане , предпочитаем решительно всякому творчеству «представительство». Надоело думать об этой ужасной нелепости, надоело заочно доказывать кому-то, что одно дело Хрущев для Америки, другое я: меня с успехом, в данном случае, может заменить Вас. Захарченко[2] или иное существо в узких брюках да еще со знанием языка. Гончар[3] не может ехать, так как 16.II. съезд

---

[1] Письмо от 9 февраля Е. А. Фурцевой.

[2] Захарченко Василий Дмитриевич (р. 1915), поэт, публицист. Продолжительное время редактировал журнал «Техника — молодежи».

[3] Украинский писатель О. Гончар вошел в состав делегации, выехавшей в Америку 16 февраля. Кроме него, членами делегации, возглавляемой председателем Правления Московской писательской организации С. Щипачевым, были Л. Леонов и М. Ауэзов.

КПУ, — это более понятно для Поликарпова, — там представительство против представительства, хотя, конечно же, съезд ни грана не потеряет, собравшись без Гончара. Жуть!

В начале 58 г. Хрущев говорил в публичной речи о «Далях». С тех пор я напечатал одну главу, написанную в Ялте, — «Фронт и тыл»[1]. Два года «творческого отпуска» от книги, которая уже одобрена, оценена, объявлена «шагом» и т. п.

По порядку:

1958 — После выступления Хрущева мне преподносят журнал, где я длительное время без зама, тяну изо всех сил, кои, может быть, на этот раз были мною переоценены.

1959 — Речь на съезде партии.

— Речь на съезде писателей.

— Поездка на Ангару и Дальний Восток.

— Отпуск — Коктебель. — 2—3 недели работы по мелочам. Работа в редакции.

Ноябрь — декабрь — «Америка»[2].

— Январь — Барвиха — работа — новая, узловая, важнейшая глава, предвидение заключительной главы, завершения книги и выпуска ее в нынешнем году.

— Имею ли я право пренебречь видимой, реальной возможностью завершения книги, которая уже «авансом» на большом счету нашей литературы — ради необходимости «представительства» в поездке, где меня так легко (и с пользой для дела) заменить.

— Я уверен, что Никита Сергеевич решительно предоставил бы мне здесь выбирать самому и, конечно же, сказал бы: пиши, все остальное приложится.

Если я-таки постановлю на этом, это будет тоже победа, хотя покоя это мне не сулит и обязательства, которые тем самым берешь на себя, тоже неприятны. Но лучше уж они, чем иное. — А потом выяснится, что печатать «Письмо» нельзя и т. п. — Пусть!

11.II. Барвиха

Поездка в Москву, встреча с Фурцевой (в присутствии Поликарпова) в 10 ч. утра. Получилось все так хорошо, как будто от меня ждали такой просьбы и с удовольствием ее удовлетворили. — Ваша работа должна быть на первом месте, мы считаем, что вы ставите вопрос, и поддерживаем, — примерно так, и т. д. — Как вы, Дмитрий Алексеевич? — Я думаю, что А. Т. прав, тем более, что он так хорошо понимает задачи, связанные с предстоящим 22-м съездом партии.

Кроме всего прочего, я доволен собой: не говорил жалостных слов, излагал суть дела ясно и основательно, раз только сославшись на отзыв Н. С. о «Далях» и на его слова о том, что «доколь же вы будете, писатели, начинать свои речи словами: «к сожалению»...

Отстранилась и еще (меньшая, конечно) тягота — с пьесой Воронкова — он увидел, что нечего и думать о моем «участии» в деле в ближайшее время.

Письмо от Кости[3]: принят в партию, получил кандидатскую карточку.

На том свете все так, даже хуже, чем на этом в смысле бюрократизма, формализма и т. п., но ничего нельзя сделать, — не в этом ли главный фокус вещи? — Вчера переписывал малеевскую главку, — там это в строчках:

Мол, не сразу и Москва —
Надо — так и сразу!

---

[1] Глава «Фронт и тыл» была впервые напечатана в «Правде» (1958, 23 февраля).

[2] А. Т. имеет в виду подготовку к поездке, выразившуюся главным образом в чтении книг по американской экономике, философии, литературе.

[3] От брата А. Т. — Константина Трифоновича.

14.II.

Все выстраивается, высвечивается, разбирается по местам,— записывать все ходы-переходы, мгновенные перемены и т. п. не имеет смысла. Главное:

1) Три новые главы
   а) Москва — Сибирь
   б) Письмо с дороги
   в) До новой дали

Соображения к IV тому:

1) Добавить к смоленским очеркам отрывок из «Дневника предколхоза», печатавшийся отдельно. Снабдить предисловием этот раздельчик — раз уж, мол, я решился ввести ранние стихи, то это еще правомернее — отражение реальной действительности, памятные заметки.

2) Пополнить «Родину и чужбину» «Комбатом Красниковым» и, может быть, еще чем из тетрадей, а также подборкой «Родина и чужбина» («Дневник писателя»), которую можно было бы начать с возражений критику Макарову[1]. А в подборке различные заметки к этой теме разных лет и путешествий. (Об Игнатьеве, Болгария, из норвежских впечатлений), сегодня заговорил Столетов В. Н.[2]: минуло 10 лет — молодое поколение не помнит немцев, ничего не знает — грустно.

3) Написать Дом на буксире. (Впервые подумал решительно о том, что рассказ о «перебуксировке» дома необходимо переплести с тем рассказом о любви, который мне там рассказывала председательша сельсовета).

Первый день без Маши и в другой комнате на третьем этаже. Прогулка: умытый оттепелью бор.— Снег, что ломал огромные сучья сосен и лепил всевозможную фигурную фантастику из малых елочек и кустов, последние дни висел уже только отдельными шапками, клочьями на голых почти сучках деревьев — вроде развешанных там зачем-то битых гусей и белых куропаток,— почти совсем обвалился. Утром — странные (слоновые и птичьи) следы под деревом и никуда не идут — охапки снега, нападавшего за ночь. Звук глухого шлепка на дорогу — удара.

15.II.

Обтекаю справа и слева главную главу, имея в виду три главы, обписываю ее с двух сторон; уже видно, что можно набрести на строфы, годящиеся для той и другой (и для главной). Это не беда. Есть соблазн сделать из двух этих набросков одну главу заключительную, но от этого нужно всячески удержаться не по соображениям только счета или объема, а по соображениям лучшей проходимости и веса всего в целом.

16.II. Барвиха

Да будет в силе правило ведения подневных записей в виде занесения в тетрадь новых строф и строк.

Сегодня смыкал на листах оба наброска Москвы — Сибири. Кажется, еще вчера учуял ход второй части главы к заключению, предваряющему «Письмо»:

— Братская ступень — дальше.
— Сколько далей, столько нас...
— Но (против) собственных мудрых всех напутствий.

---

[1] Макаров Александр Николаевич (1912—1967), критик, не раз писавший о поэзии А. Твардовского. А. Т. намеревался полемизировать с его статьей «Проза Твардовского» (О книге «Родина и чужбина»), только что напечатанной в «Литературной газете» (1960, 9 февраля).

[2] Столетов Всеволод Николаевич (р. 1906), ученый-генетик, в те годы министр высшего и среднего специального образования РСФСР.

Я время не терял.
Централ.
— О тебе и о другом (о чем-то)

Но я как будто
Еще чего-то не сказал.
Как будто из песни слово
Своею волей исключил.
И это слово, это имя
Не называю.
Почему?

Глава следующая

Когда...
Иных не знали мы имен.

Радуюсь, что здоров писать, что все, кажется, идет порядком (вчера было приуныл чуть, но прошло) и что мне ничего не нужно неотложно делать другого — даже учить английский с Маршаком, даже читать — не только унылые рукописи, но и хорошие книги (взял сегодня «Дон Кихота»). А потом думаю и так, что ведь это, собственно, мое нормальное положение, по крайней мере исполу с должностями и прочим.

19.II.

Напряженное продвижение вперед. Была уже «глава», где наполовину «сталь», наполовину «обзор» пути, но, читая Маше, почувствовал сам, что не то. В тот же вечер в голове откинул первую часть главы и, начиная с «обзора», со «способа», продвигаюсь, но по твердому—складывается глава совсем новая — дальнейший путь, но в большей экспрессии, Дальний Восток и т. д. Вчерне добежал до Владивостока.— все начерно, но и так, чтобы было не в лес по дрова, а как бы по порядку. «Сталь» и «Централ» пойдут на укрепление «Огней», а частично, может быть, и «Письмо» (это, конечно, уже не «Письмо» — нужно другое заглавие). Все как будто хорошо, но порой — перегрев — ах, как у меня это здорово, а потом охлаждение. Но дело не стоит, идет. Если я действительно вытяну план, то это будет самый большой мой рывок за многие годы.

23.II.

Вчера добежал (карандашом) до конца заключительной главки, и, может быть, в первый раз за время нынешнего рывка приуныл от неполноты, недостаточности, неглубокости подведения таких итогов. Может быть, этому способствовала гаденькая «сатира» в «Правде», которую Маша и не хотела мне читать по телефону, но я настоял сам, и было очень противно. Но продолжал «добежку». Приезд СССа[1], отъезд Маршака (Габбе[2] умирает).

Вчера первый раз за все время здесь вышел на утреннюю прогулку в 9 часов, когда уже можно было завтракать, как обычно после работы и прогулки. И было уже все как-то не так (досыпал из опасения, что очень рано, а сегодня встал так же — 5 ч. 30 м.).

Перепишу в тетрадь, как есть, хотя уже знаю, что кое-что мельчащее и растягивающее выпадет.

28.II. Барвиха. День отъезда

Полтора месяца работы изо дня в день и «научной» жизни. Итог: три новые (хоть и зияющие там-сям провалами) главы, одна из них — значи-

---

[1] ССС — Сергей Сергеевич Смирнов, приехавший на отдых.

[2] Габбе Тамара Григорьевна (1903—1960) — редактор детского сектора Ленинградского отделения Госиздата, а затем редактор Детгиза, близкий и многолетний друг С. Я. Маршака.

тельна и, может быть, непроходима, но в целом — завершение беспечно затянувшихся «Далей», — завершение — пусть на скорую руку, но по существу.

Несколько — 1—2 стих<отворения> для «Записных книжек». Может быть, туда же — отход из текущих набросков:

Едва Падунское суженье
Сомкнуло створы, как за ним
Был назван — ниже по теченью —
Еще безвестный Усть-Илим.

А там, гляди еще на север,—
Над плесом мощности двойной
Работы шли на Енисее,
Рубеж готовился иной.

И дальше виделись отметки,
Что семилетний делал век.
Он был в бою, он шел в разведке —
В ущельях гор, в долинах рек.

Но мне — куда ж до всех отметок.
Еще пути осталась треть.
До океана можно этак
В пути и вовсе постареть...

То отблеск мирной нашей стали,
Добытой нами на земле.
Недаром Ленин эти дали
Предвидел некогда в Кремле.

Просто отходы

Мы вышли в космос выше, дальше,
Чем вы, чем кто-нибудь другой.
На сотню лет, быть может, раньше,
Чем это смог бы род людской.

Чей только помысел доныне
Стремился в тот немой пустырь.
И нам по нраву наше имя:
Да, мы Москва. Да, мы — Сибирь.

Оно звучит достойно в мире,
Но славой этой смущены
Бренчите вы на старой лире
Иной мотив — что мы страшны.

Что мы сильнее вас, пожалуй,
И что немалый наш успех
Сулит всему земному шару
Сибирский атомный набег...

...Что там да сям — но своенравно
Еще в недавние года,
Дурные сны смыкая с явью,
Внушали: вот она беда.

Уже, казалось, нету сладу
С ее (десницей костяной),
Но минул час, и мир с отрадой
Вздохнул за некоей оградой,
Укрыт от стужи ледяной.

Мир не ошибся, чьей заслуге
И ныне был обязан он,
Его признательные руки
Простерши к нам со всех сторон.

Как на таком многострочье срабатывается (хоть и заостряется) язык, одолевают бесчисленные: «тот, та, иной, другой — ая — кое, ширь — Сибирь» и т. п.— Всячески уменьшать, гасить повторения в окончательном виде.

Юность нетерпелива при переездах, задолго до того, как сниматься с места, бурлит, кипит, но зрелость (и старость тем более) уже знают, что ничего особенно на новом месте не произойдет и что на старом нужно жить, сколько положено, день в день, делая свое дело — новее и главнее его ничего не будет.

Впервые был здесь без малого 10 лет назад. И тогда, и в последующие разы подробнее был в описаниях этого «коммунизма закрытого типа» и вообще чувствовал себя попавшим более или менее случайно. Что-то изменилось и во мне, и вовне. Все проще, и уже не занимает так, и не обязывает.

Эти 10 лет не обнимают даже всего третьего тома (без «Дома у дороги» и других вещей). Итоги так себе, если считать, что лучше этого возраста уже не будет. Впрочем, может быть, и будет — старея, все же умнею еще помаленьку.

Ближайшие задачи и планы.

1) Доведение до града и мира «Далей» в собранном виде и с главой, оправдывающей их растяжение и аморфность.

2) Третий том.

1. «Родина и чужбина»
2. «Записки писателя» для «Родины и чужбины».
3. Поездка в избирательный округ — на 2 недели.
4. В Смоленск — 1 неделя. Идеально: по очерку оттуда и оттуда.
5. Стихи из записной книжки. Теркин на том свете.
6. Весенне-дачные дела. Сибирь — Байкал. Пан Твардовский!

1.III. Москва

Вчера в «Новом мире» — чтение Заксу, Герасимову, Туркову. Грусть. Может быть, неудачная постановка вопроса о «проходимости» и толчея воды в ступе. Но впечатление — серьезное.

Уже вчера, когда в рань залег на кушетке, замелькали в голове убавки веса, добавки и уточнения. Сегодня сдал С. Х. <Минц> неглавную главу на машинку. Пробежал другие, — нет, хорошо. Внутренне уже решил, что печатать, может быть, сейчас нужно, начиная с главной главы, — тогда и Александровский централ лучше на месте.

План чтения на секретариате поддержан Поликарповым (с заметной радостью, что не ему начинать решать). Аминь!

21.III. Москва

Товарищи, я хочу ознакомить вас с тремя новыми главами моих «Далей», завершающими эту мою книгу, которая была главной моей работой последних 10 лет.

Само собой, я далек от такой юношеской самонадеянности и наивности, чтобы предполагать, что мною вполне выражено историческое содержание этих лет в жизни нашей родины, в сознании своего поколения.

Более того — даже в плане чисто литературном я не считаю предлагаемые вашему вниманию главы окончательно законченными, они еще не остыли для меня, и те товарищи, которые в целом или частично уже были знакомы с ними, смогут увидеть, что работа над ними продолжалась все время.

Это также относится, в известном смысле, и ко всему, написанному и опубликованному ранее.

Именно это побудило меня предложить секретариату устроить рабочее обсуждение этих глав в кругу крупнейших наших мастеров поэзии, критиков и моих товарищей по секретариату.

И хотя «Дали» являлись с самого начала некоей лирической летописью этих годов, я далек от мысли, что она удалась вполне: эта задача может быть вообще никому одному не под силу.[1]

27.III. Лондон. Kensigton Palace Hotel. 7.30 ч. утра.[2]

Три дня назад — тоскливые по преимуществу предчувствия здешнего пребывания, где, как иногда мне казалось, каждый час будет для меня мукой немоты, глухоты, связанности условностями и т. п.

Третий день здесь в отличнейших условиях «предварительного ознакомления» с городом, отдыха, отрешенности от вчерашних московских дел и неподверженности (до срока) испытаниям обусловленного гостевания.

Перед отъездом думал: большая часть мира для нас всегда существует лишь в представлении, т. е. из чтения и со слов других. И с годами (может быть, только для меня лично) все труднее переступать за грань «натурального», освоенного опытом каждодневным мира — в мир, который до сего часа был только в представлении. Здесь, по-видимому, и опасения известных «потерь», наряду с приобретениями. И в этом отношении Лондон, как и Сольвычегодск, должен уйти мыслимый и явиться действительный. Но с иллюзиями мы расстаемся все неохотнее. Однако надо, и, в конечном счете, мы бываем вознаграждены знанием.

Перед отъездом думал о фильме «Теркин» и впервые уловил некий узелок замысла, не связанного непосредственно с текстом книги, не иллюстративного: Теркин (в такой-то части), и все его называют Теркиным, а он, оказывается, вовсе и не Теркин, а какой-нибудь Калмыков или Лучко, или даже ...-ский. Может быть, его ищет журналист или в этом роде. Нет, это не он, а вот там-то — он настоящий (каков-то уж тот, когда и этот хорош жаль, что ненастоящий), но оказывается, и тот, не Теркин, одно прозвище. Среди них есть раненый, его находят в госпитале, он тяжелый, и ничего вдруг в нем «веселого», как предполагалось, одно страданье и печаль. И один убитый — где и как, даже неизвестно, может быть, это-то и был он, но неизвестно. А потом и в мирные годы он то там, то там — на целине, на Ангаре, в колхозе и т. п. А этот искатель все ищет, ищет не обязательно человека с таким именем, но того, который наверняка был прообразом. Нету![3]

А стих «Теркина» вовсю течет, разливается и голосом разных «ведущих», и в чтении на память, и по радио, и с пластинки, и с эстрады приезжей бригады артистов, и т. п.

Wednesday 30 March (среда)

Изучать язык «на месте» — все равно, что учиться плавать, очутившись в кипящих волнах открытого моря. Правда, известно, что плавать обучают таким способом, т. е. бросая в воду на глубоком месте, но все же где-нибудь недалеко от берега и на глазах у обучающего. Худо ли бедно, но необходимо что-то усвоить, зазубрить в «камерной» обстановке у себя дома, с помощью одноязычного с тобой человека, — тогда кое-как заговоришь и быстро наломаешь язык. Напрягая слух, с двух и трех повторений не могу не только запомнить, но на минуту схватить и сам произнести какое-нибудь словечко пустое, когда говорит наш «Петр Петрович» Норманн[1]. Маршак — иное дело. Подозреваю, что он не так уж свободно и красиво говорит на английский слух. Но дал бы мне бог в десять раз хуже говорить.

---

[1] Наметки выступления на заседании секретариата Правления СП 21 марта 1960 года, на котором А. Т. прочел последние главы поэмы «За далью — даль». В обсуждении приняли участие С. Маршак, К. Федин, А. Сурков, М. Исаковский, А. Салынский, С. Щипачев, Я. Смеляков, Г. Марков.

[2] Твардовский и Федин выезжали в Англию по приглашению Комитета по связям с СССР при Британском совете, пробыли в Лондоне с 25 марта по 10 апреля.

[3] Идея расщепления обобщенного образа на характеры, в основе которых — различные теркинские черты, была осуществлена позже (1972) театром им. Моссовета, где в спектакле появилось около десятка Теркиных. Спектакль был поставлен режиссером Б. Щедриным, оформлен художником А. Васильевым.

Солдатов Александр Алексеевич — новый посол наш в Великобритании, из вологодских мужичков, — сестры его и поныне колхозницы какого-то Верхне или Нижнеозерного(ского) района севернее Вологды (забыл название озера). Он был «готов нас принять» в день нашего прибытия, хотя это как раз был день вручения послом верительных грамот королеве. Мы под предлогом его «усталости» не захотели с дороги тотчас идти к нему и в таком духе отзвонились через сотрудника (секретаря), напросившись на завтра — субботу — часов в 11. Отвечено было: лучше бы в 10, потому что в 11 назначен прием профсоюзной делегации (летевшей с нами).

Когда вошли в кабинет, он как бы с трудом, но и с готовностью оторвался от бумаг и поднялся навстречу нам (я могу ручаться, что он не был так уж занят и ждал нас).

— Расскажу, расскажу. Обязательно расскажу, — радостно пообещал он нам, спросившим с первых слов о вчерашней церемонии.

Небольшого роста, лысый, курносый, свеженький щечками, в очках, улыбающийся. Пообещал как будто на потом, после необходимых предварительных деловых мотивов, но тут же и начал рассказывать, так как говорить о делах, в сущности, было нечего, да и человек он здесь новый, прибывший за три дня до нас в Лондон.

Начал рассказывать дельно и обстоятельно, вызвал секретаря с вырезками (две-три) из газет, где был он в цилиндре и фраке, вполоборота, с ногой на подножке кареты, улыбающийся и торжественный, но свободный, по-видимому, от излишнего волнения. «После великой державы сопровождает от его резиденции во дворец маршал двора» (?) и т. п. «Министр иностранных дел обычно не присутствует на церемонии, но когда грамоты вручает посол великой державы», и т. д. Право, молодец вологжанин.

Наверно, это все известно и переизвестно, но нам было очень интересно, как и самому ликующему рассказчику, что, например, на случай, что посол забыл бы свои пакеты (которые он везет, держа в руке, не в портфеле), то там есть всегда наготове такие же пакеты «игровые», которые он и вручит королеве, не нарушая церемонии, а потом уж поступят, куда следует, и подлинные.

В приемной дворца посла со всяческими извинениями просят все же прорепетировать его вход и подход к ее величеству («шаг с левой ноги — поклон, еще шаг — поклон» и т. д.). «А мне что — пожалуйста».

Ему, между прочим, очень хотелось хоть немного заставить подождать профсоюзников, он в этом смысле уже и сказал секретарю (Доильницын)[2], подкупая нас своим решительным предпочтением, но они, бродяги, как назло запоздали и явились, когда нам уже совсем пора было уходить, хоть бы никого не было и на очереди.

Sir Charles Snow[3] — большой, крупнолицый, лысый, очкастый мужчина, на вид лет 65 (ему 53, что ли). Лоб в сдвинутых кверху морщинах, подбородок, сливающийся с шеей (голова, кажется, укреплена на туловище неподвижно). Выражение лица застенчивое и даже страдальческое, но

---

[1] Питер Норманн, переводчик. Позже он приезжал в Москву, бывал у нас дома.

[2] Сын начальника политотдела дивизии, историю которой мы писали с В. С. Гроссманом в Риге по заданию Главпура зимой 1941 г. Фамилия отца казалась нам редкой и необычной среди русских фамилий. Он убит был на фронте в первые, кажется, дни. (*Примечание А. Т.*).

[3] С английским писателем лордом Чарлзом Сноу (1905—1980) у А. Т. завязались дружеские отношения на плодородной почве схожести характеров и врожденного чувства юмора. Наезжая изредка в Москву, Ч. Сноу почти всегда встречался с А. Т., однажды посетил его на даче в Пахре. После кончины А. Т. высказывался о нем тепло и уважительно. Говоря о своих дружеских связях в Советском Союзе, Сноу особо выделил двух, к этому времени уже ушедших из жизни, писателей: «Дорогой, уважаемый Александр Трифонович Твардовский один из наиболее остроумных и мудрых людей, каких когда-либо встречал; С. С. Смирнов, с которым я был близок на протяжении двадцати лет... Для меня эти двое были самыми настоящими русскими, они олицетворяли лучшие качества вашей страны...» («Известия», 1977, 18 октября).

смеется он с готовностью по ближайшему поводу громко, обнажая крупные зубы, простонародно как-то.

Lady Snow [1] — маленькая, темненькая (волосы), с маленьким носиком и ротиком (тонкогубым), малосимпатичная, хотя и вела себя в самом лучшем виде.

Ни мы о них (оба — писатели), ни они о нас (он знал «Санаторий «Арктур» Федина) ничегошеньки, в сущности, не знаем. Разговор (при убийственно невежественном переводчике — «французе») носил условный, «кодовый» характер. Все же все шло хорошо, вплоть до того, как я отважился предположить, что хозяева могут быть с нами согласны и в оценке абстракционистской живописи. Тут она зашикала и прервала меня (переводчика). Он же сказал, что в литературе ему ясны преимущества реализма и все его симпатии на стороне этого стиля, но в искусстве это ему не так ясно. (В молодости читал Белинского, Чернышевского, но вообще мало русских.)

Сколько еще может быть таких «контактов». Сегодня Стивен Спендер [2], по словам Федина, острослов и скептик, — что он и как, опять ничего нам неизвестно, хоть бы «досье» какие-нибудь.

Сегодня 30.III. — примерно $^1/_3$ уже отбыта. Дай бог силы дотянуть до конца без эксцессов.

1.V. Внуково

Ровно месяц со дня последней записи. Месяц, напряженный неусыпным ожиданием, сомнениями и т. п. в поездке и здесь. [...]

Видя, что дело (с главами, особенно с главной главой) висит и может обернуться бог весть какой волынкой по инстанциям, кинулся по совету добрых людей к Вл. Сем. Лебедеву: нельзя ли переслать Н. С. Хрущеву главы, так как и т. д.

— Позвольте, зачем ему все это читать (нараспев), мы это так как-нибудь. О чем у вас там? Какая идея?

— Да вот оно все при мне. Всего не читайте, только эту главу. — И сам вышел в коридор в вестибюле перед приемной Суслова, стал курить и готовиться к самому худшему и запасаться решимостью: «Нет, вы все же передайте это Н. С.». Прошло не менее 10, не более 15 минут.

— Александр Трифонович, где же вы тут? — И давай меня целовать. В точности сказать, он кинулся ко мне тут же, но я не ждал, не понял, и таким образом только уже в кабинете начались объятия и поцелуи слева направо. — Это то, чего все от вас ждали. Все так думали, я так думал.

Я показал проект моего письма Н. С., набросанный утром карандашом (накануне мы сговорились о встрече).

«Глубокоуважаемый
Никита Сергеевич!

Не имея возможности в дни Вашего отдыха просить Вас принять меня, если у Вас (найдется) свободная минута, <прошу> прочесть хотя бы о д н у из трех новых глав книги «За далью — даль», завершающих этот мой десятилетний труд.

Несмотря на весьма высокую оценку моими товарищами по перу этой работы, которой было посвящено специальное заседание Секретариата Союза писателей СССР, в отношении главы «Так это было на земле» я просто не считаю возможным пытаться опубликовать ее без Вашего одобрения, поскольку она касается имени И. В. Сталина и средствами поэтического выражения рисует один из сложнейших исторических моментов в жизни нашего общества, в жизни моего поколения и, в сущности, является ключевой, если можно так выразиться, частью всей книги в целом.

Ваше доброе отеческое внимание ко мне в труднейший период моей литературной и всяческой судьбы, давшее мне силы для завершения этой книги, позволяет мне надеяться, что и эту мою просьбу, дорогой Никита Сергеевич, Вы не оставите без внимания.

Ваш (А. Твардовский)».

[1] Памела Хансфорд Джонсон (1912—1981), английская писательница, жена Ч. Сноу, автор романов и публицистических работ.

[2] Стивен Спендер (р. 1909), английский поэт и литературный критик.

— Не-ет, это не то, не нужно все это писать. Вы, знаете, просто подарите ему эти главы ко дню рождения — 17 апреля. Если, конечно, это не противоречит Вашему внутреннему чувству (дважды).

— Да, но — удобно ли это? Все-таки, как-то оно... и т. п.

— Знаете, я вам скажу: он — человек. И ему будет просто приятно (мне незачем вам делать комплименты и т. п.), что великий поэт нашего времени... и т. д.

Условились, что я приготовлю чистый оттиск, напишу письмецо по-другому и в этот же день (15.IV) завезу сам.

Провожая меня на выход, — я было свернул к лестнице вниз, — он вызвал лифт (или постовой офицер вызвал, дававший мне перед тем спичку и сказавший мне, что я выгляжу лучше, чем год назад) и в который раз пожал руку:

— У меня сегодня праздник... — И не было сомнений, что он искренен, и я знал, что такие люди весьма сдержанны в выражении своих чувств, оценок, — все это было добрым знаком. И то, что он, после мгновенного раздумья, отказался ознакомиться со стенограммой обсуждения глав на секретариате, которую я, грешный человек, прихватил с собой в портфеле, также было добрым признаком. И, однако, я нервничал, и дергался, и вслух высказывался по-пустому в кругу своих (Дементьев, Закс, Марьямов [1]), минутами казалось, что я что-то не так понял, не то делаю. (После отправки письма и оттиска).

Один на один с задачей, составил другое письмецо:

«Дорогой Никита Сергеевич!

Мне очень хотелось сердечно поздравить Вас со днем Вашего рождения и принести Вам по этому случаю как памятный знак моего уважения и признательности самое дорогое сейчас для меня — заключительные главы моего десятилетнего труда — книги «За далью — даль», частично уже известной Вам и получившей бесценные для меня слова Вашего одобрения.

Среди этих новых, еще не вышедших в свет глав я позволю себе обратить Ваше внимание на главу «Так это было...», посвященную непосредственно сложнейшему историческому моменту в жизни нашей страны и партии, в частности, в духовной жизни моего поколения, — периоду, связанному с личностью И. В. Сталина.

Мне казалось, что средствами поэтического выражения я говорю о том, что уже неоднократно высказывалось Вами на языке политическом. Во всяком случае, я думаю, что эта глава является ключевой для всей книги в целом, и я буду счастлив, если она придется Вам по душе.

Желаю Вам, дорогой Никита Сергеевич, доброго здоровья, долгих лет деятельной жизни на благо и счастье родного народа и всех трудовых людей мира.

Ваш (А. Твардовский)

15.IV.60. Москва».

— По-моему — годится. Значит, сегодня (пятница) это ему будет отправлено, — там уже знают все, что надо, я говорил с Шуйским... Но завтра это не будет ему доложено, а только в воскресенье (17.IV), когда будет докладываться утренняя почта. Ну, ответ, я думаю, будет в понедельник...

В понедельник, днем, не выдержал, позвонил Лебедеву.

— Нет еще. Но он отложил это для себя, это он будет еще читать, и потом у него будут друзья, ну и пасха, знаете...

Но в субботу еще цензор (Виктор Сергеевич) дал разрешение печатать со странной оговоркой, что, может быть, через день-два он передумает или, так сказать, оставляет за собой право еще решить по-иному, «но чтобы не задерживать производственного процесса»... Вечером я, кажется, принял снотворное, уснул, около часу — звонок — Лебедев.

— Прочел с удовольствием. Ему понравилось, — поправился, — очень понравилось, благодарит за внимание, желает, — и что-то в этом роде. — Я, конечно, не сомневался, но вместе с вами еще раз переживаю радость...

[1] Марьямов Александр Моисеевич (1909—1972), писатель. В 1955—1970 гг. — член редколлегии «Нового мира».

Вторник — послал оттиск Михайлову[1], которому отказали, как всем, когда он просил во время моего отсутствия.

Отсюда — просьба Владыкина (через несколько дней) о рукописи для издания полной вещи «молнией».[2]

Но потом опять ощущение тревоги — молчание «Правды», накопление всяческих предположений, сомнений.

Звонок Дементьева в «Правду»: «Думаете что-нибудь или как?»

Звонок из «Правды» и т. д. до встречи у Сатюкова с редколлегией (не всей), чтения и закуски (машина на дачу, когда я уже спал) — смесь восторга и подавленности.

— Ну вот и все, Александр Трифонович.— Это когда принесли мне уже 25 авторских[3] (зачем-то!). Чуть не пошутил: да, мол, теперь уж только конфискация всего тиража, радио городам, получающим матрицы, и т. п., но удержался.

Пятница — чудный день на даче, работа в саду, чувство чего-то совершившегося бесповоротно хорошего. Но все еще отголоски миновавшей тревоги. За день, кажется, перед тем записал на листке:

«А может быть, это-то и были мои те самые чудесные дни, еще подаренные мне, подобные тем, что пережиты были уже в юности с «Муравией» и попозже с «Теркиным»: тревога, мука ожидания, горечь и оскорбленность, порой почти отчаяние и вместе — глубоко в душе — радостная уверенность в победе».

Оля, возвращаясь из города около 3 ч. дня:

— Заниматься не дали — телефон оборвали. Вот телеграммы... Вечером — Валя об институтских откликах. А мне уже, как Н. Ростову, было все «мало и мало» и хотелось еще. На другой день — в городе — и то, и то. Но в целом хорошо.

Собственно, за месяц, кроме этой исторической эпистолии, написал только (по совету Дементьева) вставку для первой (13) главы:

...На рубеже эпохи новой...

Я начал песнь моей дороги
С того, как душу мне томил
Бессоньем сдавленной тревоги
Огромный наш немирный мир.

И тем обязан ие Москве ли
И не Сибири ли опять
Весь белый свет, что в самом деле
Полегче стало в нем дышать.

Что неусыпной той угрозы
В нем поубавились права.
Да, это верные слова,
Что под оливы и березы
Желанный мир несет Москва...

Последняя строфа такой (+ «острова») и была по первому наброску, но потом (в редакции) свел ее к 4-стишью. Наутро кинулся исправлять (томило, что это же не мои слова), уже врубали это в матрицы, брали дополнительное разрешение цензора.

Ни Сатюкова, ни даже Лебедева не поздравил (в соответствии с моим письмом в Комитет из Барвихи) — как-то не мог.[4]

---

[1] Михайлов Николай Александрович, уже упоминавшийся министр культуры СССР (в 1955—1960 гг.).

[2] Владыкин Григорий Иванович,— в то время директор Гослитиздата. Поэма «За далью — даль» была издана «молнией» за три месяца в серии «Роман-газета» (1961).

[3] Глава «Так это было» впервые была опубликована в «Правде» 29 апреля 1960 г.

[4] С Ленинской премией по книге «Лицом к лицу <с Америкой>», выдвижение которой было мною в свое время опротестовано. **(Примечание А. Т.)**

5.VI. Внуково

Прошло более месяца со дня опубликования «глав». Получено около 150 писем и телеграмм, может быть, больше; появилось штучки три-четыре статейки.

До напечатания мне казалось, что самое главное и самое трудное с этими, вернее — с этой главой,— напечатать. Но потом оказалось все куда сложнее. Напечатала «Правда» — это и хорошо, и не очень, так как из некоторых писем видно, что это (появление в «Правде» этой главы) рассматривается как прямое выполнение некоего заказа, официально-поэтическая интерпретация вопроса (темы). Усмотрено и наклонение в сторону нового культа. Словом, хоть хороших писем больше и они как-то достовернее, а дурные, оскорбительные и чуть ли не угрожающие — главным образом анонимные, но дурные с непривычки как-то памятнее. Кроме того, всегдашняя моя готовность признать, по крайней мере в душе, что плохо, не получилось.

Дурные письма делятся на два взаимоисключающих ряда: 1) Как смеешь охаивать и 2) как смеешь восхвалять, оправдывать. Точно читают одним глазом: этот видит только это, тот только то.

Но в целом — это, конечно, новый этап моей литературной судьбы с новыми испытаниями и радостями (они как-то меньше, несмотря на количественный перевес хороших отзывов — устных и письменных).

Какое, однако, многослойное, разного уровня и характера это читательское море.

Подчас кажется, что на меня обрушивается то, что было бы направлено в другой совсем адрес (а может быть, и было направлено) после закрытого доклада о культе личности.

Я впервые испытываю воздействие незнакомой мне ранее волны — волны осуждения, негодования, презрения, обличения в продажности и т. п. Что ж, взялся за гуж...

Впервые, может быть, тронул в упор то, что выходит за пределы только литературы. Но, может быть, все же чего-то не дотянул, а дотянул бы, так и не вышел бы в свет, не тронул бы и того, что так или иначе тронул.

М. Лифшиц огорчил меня особо, но по размышлении здравом — не могу с ним согласиться. Для меня не было иного Сталина, кроме того, о каком речь идет, для моего поколения. Ни одного слова не написал я и здесь из соображений мелкой корысти. И чем-то чужд мне стал этот умник, опирающийся на особое, одному ему известное «общественное мнение». Но обо всем этом еще рано.

Всяческие воздействия этого периода — последние речи: Париж, Всесоюзное совещание, название которого никто не мог сказать без запинки и путаницы[1]; жалкая моя попытка под нажимом извне приготовить речь (почти приготовил и бросил, отказался); письма, Лифшиц, журнально-семейные тяготы — порождают много невеселых и безвыходных мыслей. Может быть, кстати здесь и приближающаяся дата — 21 июня. Уже пошли письма «и долгих лет жизни». Дело г<...>, если не оторваться от временных причалов, не оборвать чего-то.

23.VI. Внуково

На пороге старости нам подносят цветы, адреса в изящно оформленных папочках, статейки и портретики в газетах и журналах, авторучки, чернильницы, разнообразные дешевые игрушки,— заманивают: сюда, сюда, здесь вот как хорошо. Только уж, пожалуйста, оставьте там, за этим порогом, прежнее ваше ощущение неопределенно-значительного возраста, который позволяет то почувствовать себя стариком и даже пококетничать этим, а то вдруг и вполне еще подходящим мужчиной, гулякой-удальцом

---

[1] Всесоюзное совещание, которое упоминает А. Т.,—это проведенное секретариатом Правления СП двухдневное — 18 — 19 января — совещание Правления с писательским активом: «О состоянии литературной критики в писательских печатных органах». Были заслушаны сообщения о работе отделов критики «Литературной газеты», «Литературы и жизни», украинской «Литературной газеты», журналов «Новый мир», «Звезда», «Карогс» (Латвия).

и т. п., и уж привыкайте к нынешнему возрасту и соответствующему поведению. Нет, и не только это (пустяки) оставьте там, но и привычные мечтания, дерзновенные затеи, нежелание считаться с возрастом, замах на что-нибудь большое, требующее сил и времени, времени — его уж в обрез. Думайте о том, как отредактироваться, округлиться, по одежке протягивать ножки, — не принимаете же в самом деле всерьез слова вежливости о том, что вы «в расцвете сил» — это же так только говорится. — Гм... (как говаривали в старину).

Тургенев (в письме к Фету, кажется), говорит, что после 50 лет, в сущности, живешь уже в осажденной крепости, которая так или иначе должна быть не в далеком будущем сдана.

Но, во-первых, крепость нужно удерживать и при осаде сколько можно дольше (упорство обороны), а, во-вторых, его и нет, такого времени, когда крепость не осаждена. Правда, атаки идущих на приступ вражеских сил могут быть не столь решительными, но имеет значение и то, что еще не так следишь за противником, не ведешь разведки и пренебрегаешь признаками накапливания его сил невдалеке от стен крепости. А в-третьих — даже будучи осажденным, боеспособный гарнизон должен не только обороняться на самих стенах, но и делать вылазки, наносить противнику урон, не давать ему укрепляться на ближних подступах, урывать из его запасов кое-что для собственных нужд — вооружение, продовольствие и т. п. Однако же, внутри крепости соблюдать режим, экономить огневые средства, продовольствие, воду, а паче всего — держать гарнизон в дисциплине, не давать ему разлагаться.

29 июня, при явственных уже признаках «юбилея», действительно почувствовал, как меня точно снесло с места и я уже далеко-далеко где-то — на других делениях.

И хотя кое-что обманчивое и настоящее приобретаешь (вдруг оказывается, что ты действительно кое-что означаешь для людей, и они, пользуясь случаем даты, говорят об этом), но и утрачиваешь уже безвозвратно то, что так дорого и нужно для жизни, — хотя бы то, что в глазах своих «заочников» ты еще молодой, теркинского периода (они вдруг узнают, что ты уже 50-летний хрен, и что, например, влюбляться в тебя уже никак не стоит даже на расстоянии).

Дементьев заметил, что юбилей не без «перста» выносится на четвертую полосу. [...]

Внешняя неприятность — Ч. Сноу[1], который не только в интервью в «Литературной газете» помянул меня добрым словом, но и записочку оставил («Дорогой мой Твардовский»...) и телеграммой уже поздравил «с новостью». — Поправимо!

3.VII. Внуково

«Юбилей» позади и уже не так переживается. По прямой подсказке А. Г. <Дементьева> сделал в тексте (в первой половине книги)[2] хорошие перемещения, купюры, связки-дополнения. И хоть это будет заметно, пожалуй, лишь «работающим над текстом», но так жаль, что 150 тыс. (да они еще и не отпечатаны) пойдут в прежнем виде. А поднимать скандал, вносить эти поправки не годится в пределах одного издания. В 3-й том все уже внес, и он к тому же был набран по оригиналу, почему-то не выправленному по «молнийному» экземпляру «Далей», — едва сам разобрался.

Но еще эти необходимые заботы, а вечером приехал Воронков и от имени Поликарпова (а тот, мол, от имени секретарей) предлагал готовиться к речи на Всероссийском съезде учителей. Хорошо, почетно, но это еще один рубеж напряжения, а мне бы только дышать, ямки копать, косить, компост закладывать да собраться в Карачарово — отдохнуть по-стариковски с Иваном Сергеевичем[3].

[1] Речь идет о несостоявшейся (по вине А. Т.) встрече с Ч. Сноу перед его отъездом в Англию.

[2] В поэме «За далью — даль».

[3] И. С. Соколовым-Микитовым.

Очень стучится рассказ («Дом на полозьях»). Я загадал себе сработать его для 4-го тома, чтобы было посолиднее с «прозой», подобно тому, как для издания «Родины и чужбины» работал ангарский очерк. А то не вдруг соберешься, теперь уж я знаю, что времени будет всегда не хватать.

Настругал (вылущил из тетрадок) несколько миниатюр «Записных книжек» для 3-го тома и молодогвардейской книжечки[1]. В 3-м томе меньше страниц, чем даже в 1-м. Этого не хочется допустить.

Кабы не речь, к которой нужно готовиться, я бы в два-три дня мог подстругать их, как и делал обычно с этим циклом, еще несколько.

8.VII. Внуково

Речь сказал по «тезикам», внешне вполне удачно — на «продолжительные». Передавали мне и слова учителей о том, что на съезде могло бы не быть докладов Афанасенко[2] и Каирова[3], но не могло не быть этой речи.

Часа два или три, изнемогая от усталости, мук стыда и сожаления о плохо сказанном или совсем под конец речи упущенном (программа — учебник — учитель, ученик — свобода — доверие), правил вместе с А. Г. стенограмму, выводя ее как-нибудь из состояния безобразной импровизации в приличнообразное состояние. Правда, есть и чувство удовлетворения от самого факта этого, третьего моего выступления с трибуны Большого Кремлевского дворца. Это случай, которым я не имел права пренебречь, это было мое дело, никого, пожалуй, другого из писателей, кроме, конечно, Шолохова, который не способен был бы произнести дельную речь. Импровизация — хорошая штука, по-иному слушают, когда говоришь не с листа, но надо всегда до конца, пункт за пунктом прочертить для себя все. А я, отказавшись от первоначального намерения читать писаную речь, не имел уже достаточно времени и для конспекта.

Сегодня (я один на даче, немного сумный со вчерашнего, но в общем вполне) пришла вдруг мысль и уложилась в слова — мысль, которая решительно осветила мне изнутри давний мой замысел рассказа, который сегодня же решил назвать «Изба на буксире» — это куда лучше, чем «Дом на полозьях», говорящее и благозвучнее...

А мысль такая (по поводу сада и «парка» и «пруда» на хуторе Прокопа Федоровича):

— Собственность — это то, что можно купить и продать. А этого купить было бы нельзя, это можно было только сделать своими руками и влюбленной во все это душой, только самому сотворить. И продать этого нельзя было бы ни за какие деньги, — этого можно было только лишиться. И сегодня Прокоп Федорович всего этого лишался.

Как будто находится решительное и прямо к делу идущее начало рассказа.

— Я вам скажу как руководитель района и как местный уроженец, знающий здесь всех вдоль и поперек, что на таких людях держится все — весь план, все хозяйство. Любая кампания, мероприятие, любое задание — попробуйте провести без него в колхозе, — сунътесь. А тут просто: Прокоп Федорович, надо. Так он и в колхоз пришел: надо? Надо. Как бы там ни было — будет сделано. Они на него и накричат, и то, и се, но сделают так, как Прокоп Федорович скажет. Они не пойдут против него, потому что он для них — главный авторитет. Что такое наш актив? Вот это и есть безотказный актив, в огонь и в воду, если надо. Это не болтун, не крикун, не выскочка, это человек самостоятельный, основательный и серьезный. Это — Прокоп Федорович. Не гуляка, не пьяница, не лодырь — это все знают. И не на жалованьи, а так же, как все. И придите к нему домой, он вас встретит, приветит и угостит, если надо, но не потому, что случаю об-

[1] А. Твардовский. Стихи из записной книжки. М., «Молодая гвардия», 1961.

[2] Афанасенко Евгений Иванович (р. 1914). В 1956—1966 гг. — министр просвещения РСФСР.

[3] Каиров Иван Андреевич (1893—1978). В 1946—1967 гг. — Президент Академии педагогических наук.

радовался — самому выпить, а потому, что так полагается. А когда полагается, когда нет — он знает. И особая вещь — его уважают женщины, и хозяйку его уважают, ничего сказать не могут, — работящая, опрятная, строгая и, как у нас говорят, подельчивая, то есть поделиться готова всегда: чего нет — сейчас к ней, никогда не откажет — хлеба ли полбуханки, маслица постного, какую-нибудь посудину подчас, — Серафимушка, дай. На, если есть. И не ославит, не станет болтать, что, мол, хлебушка у меня перехватили, каким-нибудь корытом одолжилась. Отсюда у него и через жену авторитет. А в деревне — вы должны это сами знать, будь ты сам хоть какой отличный человек, а если жена у тебя дрянь, то полного авторитета у тебя не будет. Жалеть тебя будут, а чтобы слушаться — нет, извини. И кроме того для наших женщин Прокоп Федорович — это пример хорошего мужа своей жены, и этим примером они всегда могут попрекнуть своих мужей, — тот не обидит жену и любую, даже женскую работу за нее может сделать, хотя не она им командует. Кто в семье командир, это всегда все знают. И еще — простая вещь — он не ругается по-матерному. Может быть, конечно, и ругнется, когда надо, но чтобы при жене, при детях или на народе — никогда. И если он входит, скажем, в помещение или вообще, где люди сидят, — он поздоровается со всеми — и с женщинами обязательно, а у нас это не заведено. Мужик здоровается с мужиками, баб пропускает, как их нет вовсе. Пережиток. Да, вот на таких у нас держится все. Я уж ему прямо сказал: выручай, Прокоп Федорович. Еще раз поддержи. И теперь — с кого начать такое сложное дело — с него. Только! Так у нас и было решено.

Так говорил о Прокопе Федоровиче, к которому мы ехали в колхоз «Заря», секретарь райкома Матвей Ильич Абраменков, молодой, моложе меня годом или двумя, белобрысый, носатый, несколько угрюмоватого вида человек, полуобернувшись ко мне с переднего сиденья машины. Рядом со мной на заднем сиденье был еще фоторепортер из той же газеты Яша Гуревич, парень унылый, незадачливый, вечно недовольный делами, озабоченный своей семьей, у него уже было трое детей, никогда не интересовавшийся в наших совместных поездках ничем, кроме съемки, и всегда жаловавшийся, что снимать ему нечего. Он не слушал того, что говорил Абраменков, а тот, как-то с самого нашего приезда в район не принимавший Яшу во внимание, и теперь обращался только ко мне.

Из его слов я уже знал о Прокопе Федоровиче все, что надо для газетного очерка, кроме того, что я теперь должен был увидеть своими глазами.

21.VII.

Месяц, как я в шестом десятке. Месяц, как только отвечаю сперва на телеграммы, потом на письма, надписываю «Дали» и что попадется. Сперва шел юбилейный завал, а над ним — не меньший по заключительным главам, точнее, по сталинской главе. Сейчас разгребаю и это. Есть письма, на которые нельзя не отозваться в какой-нибудь форме. Жаль, что это приходится делать кое-как, по стандарту: «Взаимно желаю вам»... Жаль, что «Дали» рассылаю в том виде, как вышла книжка, т. е. без внесения тех изменений в первой части, которые сделаны уже по выходе книги.

Жаль, что речь на учительском съезде, уже дающая третий поток писем, не была вполне совершенной. Жаль, что сказал о «реформе» по-казенному, думая, что так оно и пройдет, — нет, для меня уже это не проходит **т а к** (письмо Михайловой, устные замечания, собственное чувство).

Водосвятие в Семеновском[1]. — «Надо поздороваться». — Бесстыдство

---

[1] «В воскресенье <17 июля 1960> в один из прекрасных подмосковных парков съехались на встречу с руководителями партии и правительства ученые, писатели, художники, композиторы, работники киноискусства и театра — деятели советской культуры, цвет интеллигенции многонационального Советского Союза», — так начинает «Литературная газета» (19 июля) описание встречи, которую Твардовский лаконично назвал «водосвятием в Семеновском». С докладом «За подлинно великое искусство коммунизма!» на встрече выступил М. А. Суслов. Выступал также Н. С. Хрущев.

Соболевых и т. п. — Шолохов, провозглашающий тост за руководителей партии и правительства. Речь Суслова «в части критики» («это не значит» как раз и значит), открывающая путь Панферову. Адрес — «Новый мир». Усталость. Или старость? Нет. Исаковский и тот говорит, что нужна непримиримость.

23.III. Внуково.

Истекший месяц в значительной части поглощен треволнениями в связи с болезнью и смертью тещи, двумя поездками в Смоленск. [...]

Заботы и некоторое напряжение последних дней — намерение и попытки высказаться напрямую по делам журнала с его «не снятой судимостью», позволяющей кочетовым и т. п. мазать ему дегтем ворота. Беседа с Поликарповым, предполагаемая беседа с Сусловым. Основной тезис: Если предположить, что по соображениям высшей политики нужен такой именно журнал с «не снятой судимостью», журнал как вместилище всяческой скверны («яд ревизионизма» и т. п.), то, во-первых, зачем для этого должен служить крупнейший и популярнейший из толстых журналов, а, во-вторых, почему именно я должен быть редактором этого журнала.

Это узловой момент сегодняшней литературно-политической жизни (групповщина, левачество, порождающие нездоровую популярность журнала за рубежом и внутри страны).

Практические последствия вымазывания дегтем ворот журнала усилиями группы, имеющей наглость действовать как бы от имени высшего суда, высшей ортодоксии, ЦК (и **л е в е е** его) — **б о я з н ь** писателей печататься на злополучных страницах «Нового мира» (автоматически — под огонь, тогда как с «Октябрем» и др. — другое дело, все можно); затухание активности журнала в борьбе за высокое качество литературы, опаска, сдавленность.

Необходимо снять «судимость» и сделать это **н а в и д н о м м е с т е**, отчетливо указав «Литжизни» и другим злопыхателям, что это один из лучших и крупнейших журналов, что имя его — не синоним чуть ли не антисоветщины («яд»), а синоним иного совсем значения.

8.IX. Нижняя Ореанда.

И море в молодости значит
Куда как больше, чем потом...

Восьмой день здесь, в корпусе «Люкс», поблизости от Ливадийского дворца и совсем рядом с дачами Н. С. и Кл. Ефр., расположенными ниже. Все получилось без всяких предположений и намерений. Часовая беседа с Михаилом Андреевичем закончилась, как я и ожидал, ничем в смысле конкретных результатов. «Мы вам доверяем целиком и полностью, чего же больше. Где собираетесь отдыхать? Нет, зачем же Ялта, там моря нет. И Коктебель нехорош, зелени мало. Тов. Поликарпов, устройте тов. Твардовского с женой и дочерью в Ореанду, пусть погуляет по царской тропе, где Толстой с Горьким прогуливались». И все завертелось. Пришлось отдать путевки в Ялту Литфонду, оформляться (не без комических затруднений) сюда. [...]

Сегодня сдал на почту третий том (2-я половина) с микропоправками в «Далях» и перемещениями однополосных стихов.

Накануне отъезда — розыски от Поликарпова: М. А. Суслов просил позвонить по поводу гимна. Ему понравилась последняя строфа, но он просил подумать над остальным текстом в целом. Я что-то пел ему о необходимости сохранить «печаль» и попросил предложить текст в таком виде Шостаковичу или Свиридову. Там видно будет. [...] Вряд ли соберусь здесь приняться за рассказ или что другое серьезное. Сколько раз собирался прекратить неделовые записи, но все тяну этот слабый, прерывистый след «дневника», всегда недовольный и его неполнотой, и его излишними мелочами, пустострочием. — 10 лет — «Дали» — впервые просмотрел

и чуть не вслух перечел все подряд в новом (последементьевском [1]) виде. Все же серьезно.

9.IX. Текст, переданный Поликарповым Мих<аилу> Андр<еевичу>.

Мы сталь куем и землю пашем,
Трудясь для счастья всех людей,
Верны сыновним сердцем нашим
Великой Родине своей.

Она — венец побед народных,
И песнь ее во всех краях
Звучит на всех ее свободных
Больших и малых языках.

Земли родной бескрайни дали,
Просторы мирного труда.
В дни торжества и в дни печали
Мы нераздельны с ней всегда.

Непобедима наша сила,
Недаром с доблестью она
И новый путь земле открыла,
И в звездный край устремлена.

Взвивайся, ленинское знамя,
Нам осеняя путь вперед.
Под ним идет полмира с нами,
Настанет день — весь мир пойдет.

Н. Ореанда. 11.IX.

(Неотправленное) [2]

Дорогая Вера Федоровна!

Прочел я Вашу пьесу одним духом, будем ее, конечно, печатать и все, что я скажу сейчас, Вы можете вовсе не принимать во внимание, но все же, поскольку Вы собираетесь кое-что изменять в вещи, как-то возвращаться к ней с авторскими распоряжениями, то и скажу.

Первое. Не нужна в жанровом обозначении добавка «диспут». Это от лукавого, очень наивного лукавого. Уж если обозначено «повесть-памфлет», например, то тут легко угадывается авторское опасение, как бы не было упущено из виду, что это не просто повесть, а повесть-памфлет, т. е. повесть специальная, а, следовательно, и менее состоятельная в смысле собственно повести. Вам нет необходимости упреждать читателя (зрителя) или рецензента в этом смысле. Ваша вещь — и не пьеса, и не сценарий, хоть и то, и то в ней есть, но и беды столько! Все, сколько-нибудь примечательное в искусстве, все идет в нарушение принятых до того представлений о той или иной форме. И, кроме того, «диспут» — просто лишнее слово, подсказка. Все на свете — диспут и «пря живота со смертью». Как хотите, а это не солидно.

Второе, более по существу. Эта Ваша вещь не обладает, в отличие от других Ваших вещей, тем многоголосьем, которое дает ощущение тесноты, переплетенности многих линий, судеб, так что затронуты разные стороны и, пусть не все и не полностью, но ко всему имеют отношение, от всего — зависимость. Тут «мальчики и девочки» даны в их одном горизонте, «взрослая» жизнь за его пределами, отголоски ее лишь «служебные», поясняющие («мать» Валерика, «отец» Тамары). Эта однолинейность заставляет Вас нажимать на «проблемную» сторону в духе фельетонов «Комсомольской правды».

[1] Имеются в виду внесенные по предложению А. Г. Дементьева поправки. (См. запись от 3.VII. 60 г.)

[2] Пометка А. Т. Письмо вклеено А. Т. в тетрадь. Адресовано В. Ф. Пановой. Ее пьеса «Проводы белых ночей» была напечатана в «Новом мире» (1961, № 2).

Отсюда некоторая обедненность и в решении «проблем». Любовь таких девушек, как Жанна и Нина, это не девичья, а девчоночья какая-то любовь, даже и не любовь, а влюбчивость, что ли. Глубины любовного чувства, осложненного какими-нибудь духовными проблесками личности, тут, простите, маловато. И, выходит, увидела смазливого мальчика в узких брючках, поддалась ему мгновенно, и, пожалуйста, на целину, на восток — с разбитой душой, как в иные времена иные поколения в сходных развязках любви искали спасения «за океаном». Вы на стороне влюбчивых милых глупеньких девочек, и я с Вами на их стороне, но, посмотрите, что происходит там, где девочки и мальчики «правильные» или «положительные». Костя, Зина, Кира — это же тоска и безлюдье. Как сразу видно, что Зина — это жесткая и скучная мещанка, будь она хоть бригадиром бригады раскоммунистического труда, что Костя славный, но морально павший перед этой мещанкой. А Кира с ее мужененавистничеством и мужеподобием? Ее же не спасают сентенции насчет восходов и закатов в степи и ощущения своего «места» и своей «нужности» на «земном шаре». Что же касается «положительного» Германа, то он фальшивоват, поскольку сахаринист с самого начала, да еще и заика (уже этот «прием индивидуализации» Вам, Вера Федоровна, можно было бы миновать).

Но возвращаюсь к «проблеме», кратко, грубо говоря: хорошие, но скучные, правильные, но лишенные даже девчоночьей влюбчивости остаются для счастливой жизни в Ленинграде, а надломленные, хоть и более симпатичные, должны ехать в некие красноярские «дали». Т. е. «дали» — как выход из беды, постигающей молодое существо в силу самой его молодости и бесхитростности.

Не слишком ли грустно все это? Это ли именно Вы хотели сказать, Вера Федоровна? Повторяю, можете ничего этого не принимать во внимание — пьесу мы будем печатать такою, какою Вы ее нам дадите (с Махровым и «12 тыс.» (!) действительно нужно что-то сделать). Но, может быть, подумаете и вообще.

Не гневайтесь на меня, все, что здесь сказано, — может быть, пустое — сказано от большой моей любви к Вашему таланту и уму и моего уважения.

Куда Вам прислать пьесу? (или не нужно?).

Ваш А. Твардовский

16.IX.

1
Отчизна-мать, страна родная,
От стен московского Кремля
Далеко вдаль и вширь без края
Твоя раскинулась земля.

2
Красуйся в мире светлой новью
И славься доблестью своей,
Недаром политая кровью
Твоих сынов и дочерей.

3
В суровый час лихой невзгоды
Ты не поникнешь головой:
Твои враги — враги свободы,
Ее друзья — всегда с тобой.

4
С тобой — любовь сердец несчетных,
И песнь твоя во всех краях
Звучит на всех твоих свободных
Больших и малых языках.

5
Мы сталь куем и землю пашем,
Трудясь для счастья всех людей,
Верны навеки сердцем нашим
Великой Родине своей.

6

Взвивайся, ленинское знамя,
Нам осеняя путь вперед.
Под ним идет полмира с нами,
Настанет день — весь мир пойдет.

1. Лучше бы — з е м л я, а не страна, иначе «красуйся — политая» не сцепляется.

Можно бы:

Отчизна-мать, земля родная,
От стен московского Кремля
Далеко вдаль и вширь без края
Твои раскинулись края,

но «Кремля — края» — для такого случая не годится, да и «без края — края» по стихотворному можно бы, а тут вряд ли.

2. Не хватает «земли», к которой это обращение.
3. «Ты не поникнешь головой» — слабо.
4. Опять «края». Да и после «друзей» во всем мире — внутренняя дружба народов.
5. «Сердцем» после «сердец».
6. «Нам осеняя путь» — не весьма.

Вчера звонил Черноуцан[1]. Мой вариант, по-видимому, выделился и становится зацепкой. Отдан Шостаковичу. 20 — совещание. Завтра передаю С. Х.[2] этот.

Было давно ясно, что нужна общекартинная строфа о стране с безусловными ее приметами — ширь, даль, простор, исторически-географическая конкретика.

Искал (еще два года назад).

Отчизна-мать, страна свободы
Необозримо широка.
Трех океанов бьются воды
В твои крутые берега.

Теперь:

Отчизна-мать, страна Советов,
От стен московского Кремля
И вдаль и вширь земли планеты
Твоя раскинулась земля.

Отчизна-мать, страна Советов,
От стен московского Кремля
И вдаль и вширь по белу свету
Твоя раскинулась земля.

Отправил остальную часть IV тома, подвел, в сущности, черту четырехтомному отчету о 50 годах жизни.[3]

Только «Теркин» да кое-что в «Далях» выходят за пределы литературы.

Думал эти дни о «Теркине на том свете» и «Пане Твардовском».

В «Ответе»[4] вставил к слову абзац о том, что история литературы знает примеры «использования готовых образцов» (Салтыков-Щедрин), имея в виду в каком-то смысле такую особую возможность — «Теркин на том свете».

---

[1] Черноуцан Игорь Сергеевич (р. 1918), критик, в 1951—1964 и 1967 — 1980 гг. — ответственный работник аппарата ЦК КПСС.
[2] Софье Ханановне Минц.
[3] Собрание сочинений А. Твардовского в 4 томах было издано в 1959—1960 гг.
[4] То есть в статье «Как был написан «Василий Теркин» (Ответ читателям)».

Вставка в «Ответ» (IV том)

Правда, история литературы знает примеры «использования готовых образов», как это мы встречаем, например, у Салтыкова-Щедрина, перенесшего грибоедовского Молчалина или гоголевского Ноздрева из первой во вторую половину XIX века. Но это оправдывалось особыми возможностями сатирико-публицистического жанра, не ставящего своей задачей, так сказать, вторичную полнокровную жизнь этих образов как таковых, а лишь использующего их характеристические, привычные для читателя черты в применении к иному материалу и в иных целях.

Единственное знакомство здесь и собеседничество В. С. Семенов[1], с которым когда-то встречался в Карлсхорсте в бытность его там владыкой полумира. Кое-что из его пафоса всемирной нашей роли как-то ко двору. Человек, может быть, не очень глубокий, но идейный и одержимый. Но и с «поликарповщиной». («Зачем смотреть назад, только вперед и шире, и выше») и т. п. Сталинист, но без противопоставления сегодняшнему дню. Немного смешной, как, впрочем, и бывает с хорошими людьми. В оценке литературы узок до крайности. А Баха может один слушать часами и чего-то понимает в музыке, в живописи, может быть.

17—18.IX.

День за днем, от строфы к строфе, от строчки к строчке, подвигаюсь в гимне к ясной и отчетливой форме выражения простейшей и главнейшей мысли. Уже настолько мысленно свыкся со своим возможным авторством этого произведения, что, забывшись, порой измышляю, какую бы мне дать за это дело награду, так как выдвижение на Ленинскую премию, как это объявлено в постановлении ЦК, в отношении моей кандидатуры было бы не совсем ловким, поскольку это исключало бы возможность присуждения мне премии за «Дали» (о чем я не преминул в утро отъезда сюда сказать К. В. Воронкову, что глупо и стыдно).

Вчера дочитал «Доктора Фаустуса»[2] — единственную прочитанную здесь книгу. Вместе с восхищением изумительным письмом и чудовищной образованностью автора не могу не отметить и чувства разочарования этой вещью. Она как бы и сама собой, своей тонкостностью и фиктивной пронзительностью драмы вымышленного гения являет образ «конца искусства». — В сущности — наиболее сильные страницы — отступления о времени, когда пишется эта история о конце нацистской Германии. В остальном — неизбежная мертвенность, умозрительность, холод.

Более всего, по чести признаться, думаю последние дни о возможной покупке дачи В. В. Виноградова (особенно после того, как поговорил с ним) в Пахре и разумном, в интересах дальнейшей моей литературной (какой еще?) жизни, устройстве в ней. Предположения эти не могут не иметь мечтательно непродуктивного характера, что правда — это то, что мне необходимо уйти от столичной жизни, как она у меня складывается все эти годы, т. е. целые месяцы почти полного неписанья (не говоря уж о вытекающих отсюда днях и неделях «заболевания», которое самим фактом своего возобновления делает меня всерьез больным, до отчаяния), с короткими рывками, вроде нынешней Барвихи или Ялты 58 г. Так нельзя, так дело худо во всей очевидности. — Укрепление и организация быта в этом пахринском варианте с максимальным физическим отключением от Москвы и редакции, с ликвидацией воздушных ям неписанья — так ли, сяк ли — дало бы надежду на продуктивность оставшегося у меня времени для работы. Пусть Пахра — это опять же писательский поселок, пусть

---

[1] Семенов Владимир Семенович (р. 1911), советский дипломат. В послевоенные годы — политсоветник Советской Военной администрации в Германии, Верховный комиссар СССР в Германии. Работал в Германии и в предвоенные годы и, будучи советником полпредства, пережил в Берлине начало войны.
[2] Роман Томаса Манна «Доктор Фаустус» (1947) вышел в переводе на русский язык в 1959 году.

и в 50 лет это не осуществление иных мечтаний, но так хоть материальные предпосылки налаживания рабочего серьезного быта, каждодневности, хоть помалу — работы, сосредоточения.

18.IX.

Память первого дня, первого часа... Сколько раз в годы самой войны — с первого ее дня и часа — обращались мы к ней, каждый к своей особой памяти — столичной, дачной, деревенской, пограничной, гражданской и военной, мужской и женской, а ныне более всего детской, пожалуй, потому что многих уже нет из тех, кого застал этот день и час в зрелом возрасте — уходят помалу, не считая уже тех, что ушли с этой памятью еще в войну, в первые ее дни и месяцы и в последний ее день и час.

Но вот память, которая для меня, по крайней мере, не открывалась ни в чьем изустном или тем более печатном изложении, а какая особая, не похожая ни на какой иной случай память! Память заграничная, да еще из какой заграницы — германской, берлинской, но память русская. Какая незаменимая страница мыслимой книги «День мира»[1] (о которой вновь идет речь к 25-летию первого ее, пригорьковского издания), если бы она вдруг была бы посвящена этому дню, хоть задним числом, — не такая пустая была бы затея: заставить мир оглянуться разом на этот день, вернее, эту ночь с 21-го на 22 июня 1941 г., оглянуться, содрогнуться и еще раз со всей глубиной решимости отрицания сказать свое н е т всякой возможности повторения этого.

Рассказ Евгении Николаевны, жены В. С. Семенова, больной (сердечная недостаточность), очень истощенной, худой, мечтающей здесь, среди людей, мечтающих по преимуществу о похудении, — о поправке на 2—3 килограмма, которые ей нужны, чтобы перенести какую-то сложную и опасную операцию на сердце или каких-то сосудах. И немножко странная, с тревожным и печальным взглядом, забывчивостью, беспокойством и напряженностью в речи.

— Вечером мы были в гостях (у одного, кажется, из советников посольства), засиделись долго, потом не могли достать такси, а всякий другой транспорт уже не работал. Мы пошли пешком, это было очень далеко, шли по этой, как ее, такой длинной штрассе, шли часа два, наконец, я совсем сморилась и, давай, говорю, отдохнем в скверике, хотя это уже было совсем близко от посольства, но я не могла идти, — это со мной бывает, что мне нужно уснуть хоть на три минуты, тогда я опять ничего. Я легла на скамью, голову положила Володе на колени и, не знаю, уснула ли, нет ли, но он поднял меня, когда внезапно среди полной тишины ночного города промчались какие-то машины, и он узнал — наши, посольские. Что-то серьезное, сказал, надо идти.

И как только свернули в наш переулок, увидели, что все здание освещено, во всех окнах огни, как будто там какой-нибудь прием в полном разгаре. (Не путает ли — ведь в Берлине, кажется, было уже затемнение?) Как только мы вошли к себе, зазвонил телефон, посол просил зайти к нему немедленно, но еще по телефону на вопрос Володи — не случилось ли чего — ответил вопросом же: «А вы удивлены?». Володя больше мне ничего не сказал, почему-то снял ботинки, может быть, ноги натер, а уже знал, что ему там придется задержаться, надел тапочки и в тапочках пошел через двор в главное здание.

Я, конечно, не могла ни уснуть, ни сидеть, бегала из комнаты в комнату, из угла в угол. Через час примерно Володя вернулся с огромной охапкой каких-то папок с бумагами, пакетов и тут только сказал мне тихо и быстро: война. Германия совершила нападение на нас. Быстренько сожги все это, закройся, забаррикадируйся — так он сказал, — никому не отпирай, хоть полиция, хоть кто, и жги все до листика. У нас, к счастью, было печное отопление, дом старинный. Но, боже мой, как их трудно жечь, бумаги, сшитые всякими скоросшивателями папки, пачки бумаг, они так плохо горят, я напустила дыму во всех комнатах, бегаю от печи к печи — их было три в квартире, ворошу, перекладываю эти бумаги, рву их,

[1] Сборник «День мира» был издан под редакцией А. Аджубея (М., Известия, 1961).

сил совсем нет от волнения, и тут Володя возвращается с новой охапкой. Я говорю: отдай еще кому-нибудь, не могу, не справлюсь. Но он говорит, что всем, у кого печи, уже роздано сверх возможности, но нужно все сжечь до утра. И еще с час или более я жгла эти бумаги и страшно боялась, просто холодела от страха, что дым из труб, наверно, уже замечен постовым и полицейскими, что ничего уже не успеть, а Володи опять нет, он только позвонил мне, что утром всем собраться на главной лестнице. Когда мы там стояли, рядом со мной оказался шофер посла, он дрожал весь и плакал, и все были бледны (все были там, в Германии, без детей и домашних).

Посол сказал с верхней площадки, сказал очень спокойно, что он был вызван Риббентропом в 4 ч. и ему была вручена нота о переходе немецкими войсками границы — вручена одновременно или получасом спустя после начала военных действий. Сказал, что он предупредил Риббентропа (это и без того само собой разумелось), что малейшие санкции к любому из сотрудников тотчас же отзовутся на положении сотрудников немецкого посольства в Москве. Что нужно быть всем готовым к аресту, Володя как раз писал инструкцию, как себя вести, что отвечать и т. п.

19.IX.

К «П а н у».

Он любил этот мир, будучи даже сам лишен в нем командных высот, — на худой конец, он готов был бы всю жизнь жить мечтой об удаче. [...]

В сущности, он разделял взгляды и понятия о мировом устройстве, самые распространенные в этом мире, хотя был убежден, что никто так хорошо не постиг законов этого устройства. Нельзя и ни к чему желать, чтобы в мире были равны в имуществе и власти, а следовательно, и в уме, — это все равно, что желать, чтобы зимой было лето и наоборот. А раз это так, то нужно быть богатым и знатным. Любая форма знатности, слава, за которыми само собой стояли деньги, была ему как нельзя более по душе. Он обожал Шаляпина, хоть никогда его не слыхал, борца Поддубного, Наполеона, из царей Петра, Пушкина, даже Горького, хотя считал, что, выйдя из среды босяков, незачем описывать эту среду — можно описывать приличных людей — купцов. И добрым богатому быть удобнее — есть, чем делать добро.

20.IX.

Покамест я затруднялся решением вопроса о том, как наиудобнейшим образом наградить автора гимна, полагая, особенно после звонка Черноуцана и Салынского[1], что там сидят и ждут моих вариантов и дополнений, С. Х. тщетно звонила, чтобы уведомить об имеющих быть от меня передачах по телефону. Позвонил сам — ни Черноуцана, ни Поликарпова: один в отпуске, другой — Черноуцан, — кажется, в командировке. Знакомый стиль! Но я не мог вполне искренне унывать по этому поводу. Я уже наладился ежедневно переписывать, перестраивая строфы и строчки, выискивая новые, более несомненные решения задачи, и постепенно привык к необходимости доведения дела до конца, и задача перестала мне казаться вовсе непродуктивной. На худой конец — будет хоть некий опус для праздничного номера «Правды». Но мне кажется почему-то, что объективные обстоятельства за то, чтобы именно я представил этот опус, а в таких случаях нет нужды сильно желать, беспокоиться и волноваться, а лишь направлять усилия к наилучшему (безотносительно к результату) решению самой задачи, чтобы не стыдно было перед самим собой. Кажется, дело все улучшается, все более приобретает соответствующий предмету тон серьезности и торжественности. Где-то за моими строчками слышатся «Интернационал», «Ермак» и т. п. Нельзя, конечно, обольщаться и забывать, что (по Т. Манну) для музыки самые хорошие стихи не нужны (хотя он оши-

[1] Салынский Афанасий Дмитриевич (р. 1920), драматург, в то время секретарь Правления СП СССР.

бается, но в данном случае скорее всего прав) и решать будет музыка. Но пусть ей, музыке, будет, на чем решать.

Всю неделю было дурное море, купанье затрудненное, и уже ждалось и хотелось, чтобы этот шум и хлобыстанье волн по купальным подмосткам, каменьям и берегу прекратились, наконец. Мне кажется, что, живи я у моря, такие дни выбивали бы меня из нормальной работы. Это вроде какого-то нездорового сна, который длится, томит, изнуряет обманчивым забытьем. Я бы, кажется, не мог в такие дни приняться за что-нибудь новое, что-нибудь начинать и выжидал бы, когда это утихомирится. — Сегодня уж можно было без напряженья купаться с пирса, — волна есть, но море уже близко к норме. — Вчера что-то такое клеилось на эту тему.

Грохочет море днем и ночью
Шестые сутки в тот же лад,
Гремит, беснуясь праздной мощью
В мильярды диких киловатт...

Чудно: под гром беспеременный
Стихии грозной белопенной
И я отвлечься не могу
От этой меры современной,
Что и она (стихия) у нас в долгу.

И пусть твой слог порою,
Как горный дуб, неровен, узловат.
Мелкослоист.
И на неровном срезе,
Как на железе,
И годовых не различить колец.
Долголетье. И трудный рост.
И прочность на века.

Участок неба в полгектара
Роится звездами.

Ты что — хотел бы,
Чтоб вечность у тебя в запасе
И вечность вечности вослед?

20.IX.

Чех Воцлав, председатель союза композиторов, белокурый, с волосами, настолько поредевшими, что и кожа на темени загорелая, говорун отчаянный, не смущающийся произношением и просто порой невнятностью речи, по-видимому, и выпивон. Вчера познакомились с ним у того же Семенова, где был чай с коврижками со столов участников, Бах, Бетховен. — Я настолько темен в музыке, что не без томления дослушиваю пластинку и не умею делать какие-либо замечания, хоть и прочел только что такую насквозь учено-музыкальную книгу.

Ездили вчера в Ялту (я — вторично, первый раз на базар и заездом к редактрисе Н. Д. Крючковой в «Россию») на концерт с участием Л. Когана, с которым, как он сказал, мы жили в одном подъезде (по ул. Горького). Впервые в жизни я сознательно и с напряжением и настороженностью, ввиду присутствия чеха и очень щеголяющего музыкальной образованностью Семенова, — слушал 7-ю симфонию Прокофьева и скрипичный концерт Шостаковича («Леонид Коган и оркестр»). Прокофьев все же мне доступнее. От Воцлава я узнал, что Прокофьев, Стравинский и Шостакович — музыкальные гении, каких в 20 веке не дали другие народы. Рахманинов? «Гениальный пьяница». Вспомнилась какая-то фотография Бунина с Рахманиновым, где они по-летнему или по-южному в короткорукавных рубашечках, заправленных в штаны, — и лица у обоих безбородые и безусые, но стариковские и запьянцовские: какие-то оплывшие, носатые, грустные в странном сочетании с этими юношески вольными рубашечками.

Чех, годом старше меня, узнав, что у меня уже внук пяти лет, схватился за виски: — Ох, боюсь внуков (у него старшему сыну 20), внук — значит все. Я смеялся, хотя, по правде, возраст свой переживаю не так легко. Все не могу себя заставить сжиться с благородным сознанием, что возраста у меня нет, что некий мой взгляд, как бы объективировавшийся от меня телесного, только наблюдает с профессиональным писательским интересом все, что со мной, бренным, происходит с годами. Нет, трудно отказаться начисто от претензий бренности, даже в союзе с самой высокой мыслимой степенью духовного творческого возмещения потерь. Вернее, остается присущая человеческой слабости соломинка надежды, что это еще не все. А скажи — все, и взамен такие-то достижения и постижения духа, нет, не хочу, хотя, может быть, фактически у тебя уже и нет ничего, кроме этой зыбкой компенсации духа. Должно быть и скорее всего, так, что «дух» сам любит «бренность» и без нее жить не может.

24.IX. Н. Ореанда, последний день, дождь, море дурное, но купался в «бухточке».

Еще раз:

Отчизна-мать, страна родная,
От стен московского Кремля
Далеко вдаль и вширь без края
Твоя раскинулась земля.

Недаром политая кровью
На подвиг призванных сынов,
Она сильна могучей новью
Своих полей и городов.

Мы сталь куем и землю пашем
Для светлой жизни всех людей.
Верны сыновним сердцем нашим
Великой Родине своей.

И наша песнь побед народных,
Что не забудутся в веках,
Звучит на всех ее свободных
Больших и малых языках.

Неодолима наша сила,
В суровый срок борьбы она
И новый путь Земле открыла.
И в звездный край устремлена.

Взвивайся, ленинское знамя,
Всегда зовущее вперед,
Под ним идет полмира с нами
Настанет день —
весь мир пойдет.[1]

---

[1] В окончательном виде под заглавием «На подвиг века» впервые было напечатано в «Известиях» (1961, 5 октября) и в «Новом мире» (1961, № 10), где стихотворением Твардовского открывался этот номер, посвященный предстоящему XXII съезду КПСС. Помещено в Собр. соч., (т. 3, с. 140). Положено на музыку композитором Л. Шульгиным и в другом варианте (с повтором припева) — на музыку В. Букина. Некоторое время над текстом работали Д. Шостакович и Г. Свиридов.

Попытка Твардовского создать текст гимна не увенчалась успехом. И не только потому, что не было приложено большей настойчивости и А. Т. продолжал агитировать за то, чтобы вернуть «Интернационалу» значение государственного, а не только партийного гимна. Главной причиной неуспеха мероприятия по созданию нового гимна были расхождения в понимании самой задачи. А. Т. полагал, что, если создавать новый гимн, в нем должна прозвучать судьба народа. И противился подчисткам и вычеркиваниям слов обычных, небравурных, которые он не боялся включать в свой текст. В гимне Советского Союза на слова С. Михалкова и Эль-Регистана ему претила помпезность (не путать с величавостью!). Да и многие мелочи, вроде рифмы Русь — Союз, коробили его слух.

29.IX. Коктебель.

Пятый день здесь в полном безделье, прогулках, купанье. [...] Полное ослабление пружин — ничего не варится в голове, кроме накипающего чувства недовольства собой и попусту уходящего времени. Так уж мне нужна была технология производства шампанского в Новом Свете (правда, там волшебное было купанье на выходе из грота под полуостровом) или общение с Евг. Поповкиным[1], но уж так складывалось, что вчера едва уберегся от продолжения.

Вчерашний звонок Аф. Дм. Салынского: о гимне. Похоже, что ничего более подходящего, чем у меня, у них нет, но они примазывают сюда «коллектив» (сказал ему о Б. Турганове по письму Исаковского). Путаются с припевом, увидели, что «непобедимая мать» нехорошо. И еще: «полмира» — мало, ведь через 5—10 лет, мол, будет больше. А тогда эта строфа летит. Пожалуй, это вздорное соображение, этак в запас все равно всего не охватишь, а «полмира» — это, покамест, с завышением, хотя здесь нельзя говорить применительно к территории и населению социалистических стран.

В. Панова. — «Т. Манн помог мне примириться со смертью вообще и смертью моей собственной». «Гриша» Свирский. — Новый роман, настырнейшим образом рвется рассказывать мне его содержание («общественная пассивность рабочего класса»), а сердце мое чует, что будет все не так.

Седьмые сутки бьется море,
Глубинных вод вздымая слой,
В ворота эти на запоре —
Бетон, сцепленный со скалой.

Волну винтом ведет на камень
И, тяжкий сброс опередив,
Крутыми завитками
— в прорыв...

Волну с волной жгутом свивая...
Винтом под белым гребешком...
Через двутавровые сваи. —

Это в Н. Ореанде, где только в последний день море утихло, и здесь со вчерашнего вечера опять пошло.

Читаю «Братьев Карамазовых».

Так плохо пишет подаренная Маршаком ручка, может быть, из-за чернил крымских.

30.IX. Коктебель.

Ровно месяц вне Москвы в наилучших, по существу, бытовых условиях (в Н. Ореанде огромный двухкомнатный номер со всеми надобностями вплоть до «гор» — «хола», здесь две отдельные комнаты — через площадку — две маленькие отдельные квартирки с главными надобностями и балконом по крайней мере с полкомнаты, а у меня еще и с нишкой на балконе, за счет лестничного проема второго этажа — очень экономно и остроумно), — словом, куда лучше, не считая моря и прогулочных возможностей, а итоги — кот наплакал. Собственно, вычитка двух томов Собрания сочинений, пристальная, особенно «Далей», да 1—2 строфы пресловутого гимна. Но бог с ним со всем, все же было знакомство с В. С. Семеновым, очень встряхнувшее меня и напружинившее мысли; многие славные утренние часы, когда ссыпался прямейшим спуском к морю по вихлястой тропе со врезанными там-сям лестничками, по которым через две ступеньки протрясал свои 90 килограммов (покамест не узнал от В. С., что кости у «эсквайров» (после 40) уже не те и можно преотлично сломать ногу); был Т. Манн, которого читал буквально недели две,

[1] Поповкин Евгений Ефимович (1907—1968), писатель. В 1957—1968 гг. — главный редактор журнала «Москва».

а теперь Достоевский, которого думаю успеть до отъезда; были разные хорошие помыслы, преодоление «трудного переживания старости», — коечего было, и на том спасибо.

Как нуждается человек для хорошего расположения духа и всякой деятельной настроенности в единообразии, в неуклонном выполнении принятых на себя хотя бы по условиям общежития обязательств вроде бритья, мытья и т. п. Но особенно, когда обязательства личные твои, не предписанные ничем извне: ранний подъем, определенной длительности прогулка, купанье и т. п., но еще более такие, как регулярность записей для лиц нашей профессии, хотя бы эти записи были только малой компенсацией нерегулярности писания. И многое — ответы на письма (существенные), чтение (серьезное), приведение в порядок накапливающихся бумаг. Дело, конечно, в могущественном воздействии на всякую, в том числе чисто психическую (и может быть более всего психическую) деятельность. Аритмия тотчас дает себя знать и ведет к еще большей аритмии, которая потом уже становится дурным ритмом, из которого опять-таки трудно выбиваться, гораздо труднее, чем сохранять хороший ритм. Нерегулярность, неполнота, несущественность и порой мелкотравчатость моих записей — давнишняя, многолетняя моя мука, от которой, кажется, радикальнейшим избавлением было бы прекращение всяких записей, но нет, боязно вовсе потерять этот мало-мальский организующий, стимулирующий к делу прием, — оторвешься, запустишь — и опять.

1.X. Коктебель.

В 6.30 вышел к морю, уже одевается на берегу Вера Захаровна Желло (?), местная спартанка, бухгалтер Дома, купающаяся до самой глубокой осени. Нынче я еще узнал от нее по пути в Феодосию, что и ест она 1 раз в день и очень мало — супчику тарелочку, и так живет уже 4 года и вылечилась начисто от туберкулеза и печени (или почек). Восторженна, умильна, говорлива и чем-то (худющая, сутулая) жалка, но у нее есть свой добрый ритм жизни, и она все хочет поспеть: третьего дня дает «на подпись» «Дали», достала в Феодосии, вчера, говорит, читала сама себе вслух. Надписал и подарил ей еще «Избранное» («Библиотека поэта»), что нашлось в магазине.

Последние дни хороши, вчера ходили двумя семьями (т. е. с Валей, Сашей и Андреем)[1] в Лягушачью бухту. Море успокоилось, но уже нет на нем шхуны с «алыми парусами», «бороздившей воды» этого залива по случаю съемок фильма по одноименной вещи А. Грина (не читал, но ясно по всему, что ерунда). Автор, может быть, и порадовался бы, что спустя столько лет произведение его грустной фантазии, убегавшей от излишней реальности советских лет, заставит работать целый коллектив, оснащенный громоздкой кинотехникой, вызовет огромные материальные затраты, одни эти паруса, говорят, стоят свыше 350 тысяч — они шелковые. А на пустынном коктебельском берегу в сторону «дачи Юнга» (?) возведены некие неопределенно заморские и приблизительно старинные сооружения вроде таверны на берегу, какой-то «хижины» и «ветряной мельницы», выглядящие с определенной точки вполне натурально, но на самом деле торчащие на берегу одной глупой стенкой, с тыла окаркасенной подтоварником еловых и березовых неокоренных бревен и неокоренными горбылями, а по металлической сетке наведена вся эта «древность» и «инոземность». Третьего дня, покамест я купался вечером там у «колонны», М. И. была вовлечена в беседу сторожем этих построек, тоскующим в темноте и заговаривающим, с кем возможно. Оказалось — опять земляк, прямо-таки из-под Починка. Уехал из родных мест в 27 г., говорит, — так чаще всего говорят, но мне кажется, уезжали больше в 29 и 30 годах. Жил под Свердловском, на реке Уда (?), но колхозы и туда пришли. Был 6 лет предколхоза на тех вольных землях, поднял 100 га «целины» по выжигам («палы»), давал на трудодень до 1 пуда зерна. Потом колхоз укрупнился и т. д. Двинулся было на родину (Смоленск), но потом

[1] Семья старшей дочери Твардовских.

оказалось (после войны), что здесь один сын устроился учителем, другой техником-нефтяником (?) у Керчи. Одному из них нужен был после ранения в легкие этот климат. Теперь у него (сторожа) здесь домишко, пенсия,— обрел свои «алые паруса».

5.X.

Вслед за ливадийско-ореандскими красотами прошли в глазах картины пустынного и великолепного побережья от Ялты до Коктебеля, прошла коктебельская неделя, в иной день до неприятного чувства напоминавшая прошлогодний Коктебель (особенно в холодные и ветреные, по-южному неуютные осенние вечера); прошла и дорога до Симферополя, а утром уже замелькали, пошли в окне вагона курские, орловские, тульские — все гуще и распространеннее — березки, елочки у полотна, лесозащитные полосы, лесочки и леса, Подмосковье. Второе утро здесь, в моем притихшем под новой осенней окраской Внукове, второе свежее по-осеннему, чуткое утро, какие бывают уже перед самыми заморозками. Лес и сад настороженно грустный, с обновленной невыразимостью своей прелести (кажется, что прежние все осени так или иначе были уже выражены и с тем отошли, а эта — нет, начинай все сначала). Со стариковской усладой, знакомой мне с детства, набираю корзину прошлогодних дровишек из моих расчисток — сучья осины, орешник, яблоневые сучья от прошлогодней обрезки, пеньки и прутики, топлю обе печки. Маленький домик пуст, Лена[1] в больнице, Валя Цв<еткова>[2] уехала сегодня в 7 часов.

Если правда, что темп жизни, перенапряженной, устремленной и т. п., не позволяет уже человеческой душе отмечать, впивать во всей медлительной, малоприметной и такой очевидной последовательности переходы времен года — из одного в другое — весен и осеней со всеми их еще и внутренними переходами, не различаемыми почти, но явственными пристальному взгляду в днях, вечерах, утречках, то пошел бы он, этот темп, к чертям собачьим. Нет, лишить всего этого душу нельзя, хотя жизнь лишает этого множество людей — в разной мере. Я-то здесь в некоем заповеднике подслушиваю у своих дубов и орешников отголоски детских впечатлений, испытывая тихую и сладкую грусть, без которой чувствовал бы себя несчастным.

Лес и сад уже много уронили зеленовато-рыжей, и бурой, и ржавой листвы, но еще не было того предвечернего или утреннего порыва ветра, когда говорят, что п о ш е л лист, листопад.

Дел — бездна. Дементьев уходит в отпуск, колготня встреч с читателями и всяческих выступлений наплывает, намечается, неизбежная и заранее томительная. Почта набралась бог весть какая, верстки свои и журнальные, о «приусадебном участке» на ближайшее время, по крайней мере,— забудь.

Хорошее состояние, живу всей скромной радостью дачного осеннего бытия в этом Внукове, хотя мыслью уже переселился в виноградовскую дачу на Пахре, где, как уже мне известно, начинать все сначала — в смысле расчистки участка, сада и т. п. Так — так так, а не так, так и не надо. Нужно быть свободным от планов в зависимости от мыслимой благоприятной или желательной обстановки и делать свое дело, сколько можешь и как можешь в любой обстановке.

6.X. Внуково.

Самое сильное литературное впечатление за, может быть, многие годы — на днях прочитанный роман (три папки, общий объем страниц 1000 с лишком) В. Гроссмана с его прежним глупым названием «Жизнь и судьба», с его прежней претенциознейшей манерой эпопеи, мазней на-

[1] Елена Илларионовна Горелова, свояченица А. Т., занимавшая на даче сторожку — «маленький домик».
[2] Цветкова Валентина Петровна, художница, подруга Е. И.

учно-философских отступлений, надменностью и беспомощностью описаний в части «топора и лопаты». При всем этом — вещь так значительна, что выходит далеко и решительно за рамки литературы, и эта ее «нелитературность», может быть, самое главное литературное ее достоинство. Прочел ее одним духом, отвлекаясь до последнего утра от темы «Есенин» и, пожалуй, по этой причине плохо справился с ней на секретариате[1].

Первое. В этих частях Гроссман вышел из своих зачинов и запевок первой книги, где цельным рассказом выглядела лишь битва за вокзал. Здесь он расписался, развернулся на базе многочисленных «начал», подготовительных моментов, предысторий, выглядевших особенно вяло и разбросанно. Здесь он вырвался на «оперативный простор», и за какую бы из набросанных ранее линий ни взялся, везде уже рассказ идет, как о старых знакомых, чья судьба нам так или иначе интересна. Правда, есть н новые «зачины», например по «магаданской линии», но их немного. И это сообщает всему повествованию неизмеримо больший вес, органичность и необходимость. На этот раз мне повезло: я имел возможность читать рукопись не как редактор, которому с первых страниц нужно решать — идет — не идет, что делать и т. п., а как просто некто Твардовский, о чем меня и просил автор, хотя, конечно, ни он, ни я не могли полностью отмыслить моей редакторской сущности. Все же я был куда свободнее, чем в прошлый раз, и мог позволить себе роскошь читать из одного интереса, и этого интереса было более чем достаточно. Это из тех книг, по прочтении которых чувствуешь день за днем, что что-то в тебе и с тобой совершилось серьезное, что это какой-то этап в развитии твоего сознания, что отдельно от этого ты уже не можешь думать (совсем отдельно) о чем-либо другом и о собственных своих делах в частности.

Впечатление и радостное, освобождающее, открывающее тебе какое-то новое (и вовсе не новое, но скрытное, условно-запретное) видение самых важных вещей в жизни, впечатление, как бы разом снимающее, сводящее к нулю удручавшее тебя однообразие и условность современных романов и прочего с их эфемерной «правильностью» и безжизненностью. Но и впечатление — странное, тяжелое, вызывающее противление духа и страх, что что-то тут не так.

Легко сказать, что автор поставил себе задачу в отношении сложнейших задач современного мира (в пределах, конечно, сталинской эпохи, п о в р е м е н и) писать «правду, только правду и всю правду». Вся вещь — она как бы вырвавшийся однажды, предельно доверительный разговор с близким тебе человеком, с которым говоришь начистоту и под большим влиянием минуты, ничего не прощая своему времени, ставя ему каждое лыко в строку,— разговор сладостный, но после которого бывает (на другой день) как-то неловко, и надо жить, и живешь, и поступаешь не по программе этого разговора, совершенно немыслимой в реальной жизни. А у автора на такой разговор ушло 15 лет напряженной писательской жизни, труда, и после всего этого он отнюдь, по-видимому, не испытывает смущения, кроме разве страха, какой испытывал бывало его Штрум после того, как что-нибудь «ляпал» в кругу своих друзей в Казани. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и автор тоже чует что-то. Дал бы бог.

Самое ужасное, что при такой «многопланности», когда действие переносится не только с фронта в тыл, из провинции в Москву, с севера на юг и обратно, но из стана в стан в отношении сражающихся сторон, из верховной ставки Сталина в верховную ставку Гитлера, из Магадана в Бухенвальд, из наших блиндажей в немецкие и т. д., и возникает неприкрытый параллелизм, сближение «двух миров» в их единой по существу «волкодавьей» сути. Там несвобода, и тут несвобода, там сажают и мучат, и тут не меньше, и, пожалуй, и похлеще, там взваливают на плечи народа — исполнителя — безмерный, бесчеловечный груз страданий, гибели, и тут то же самое. Все это вплоть до момента, когда наш и немец

[1] Выступая 2 ноября 1960 г. на секретариате Правления СП, Твардовский не только подверг критике статью К. Зелинского, предпосланную пятитомному Собранию сочинений С. Есенина, но и выразил свое отношение к поэзии Есенина, сопоставленной им с творчеством Маяковского, Блока, Исаковского. (См. Собр. соч., т. 5, с. 346 <«Об издании собрания сочинений С. Есенина»>.)

отсиживаются в одной воронке от огня, то ли немецкого, то ли нашего,— и тот, и тот хорош на этой линии сближения передовых окопов сталинградской «линии фронта» — и, пересидев огонь (держась рукой за руку!), расходятся по своим направлениям без малейшего намерения задержать, пленить, убить друг друга. И все это, может быть, правда, причудливый, но вполне реальный эпизод фронтовой особой обстановки, и сам по себе никакая не беда, но он явно, преднамеренно снабжен символическим смыслом, отягощен авторской тенденцией, подчеркнутой и вовсе не случайной.

Вторым тяжким моментом всей вещи является откровенно и до предела развитая тема «трагедии еврейского народа», антисемитизма (опять же — и там, и там), решения всех сложностей мирового побоища, схватки социализма с фашизмом в свете этой особой, определяющей проблемы. Здесь — главный пункт, и автор не притворяется объективным, он как бы уверен, что представление интересов трагического народа и есть высшая объективность. Не то чтобы он не любил русских людей — вовсе нет, среди них он находит прекрасных людей, воспевает их, но ни одному из них он не простил бы малейшей недооценки или несогласия с ним в этом вопросе. [...]

Но, кажется, я уже себя взъяриваю, вооружаюсь, «отмобилизовываюсь» против этого необычного по силе искренности и правдивости произведения. [...] (В сравнении с ней <этой книгой> «Живаго» или «Хлеб единый» — детские штучки).

Но мне нравится быть сейчас в состоянии необходимости самому, без предуказки и обязательств службы, решить этот вопрос, по крайней мере для себя. Нет, не только для себя, этого не только мало, но это и не решение вовсе. Напечатать эту вещь (если представить себе возможным снятие в ней явно неправильных мотивов) означало бы новый этап в литературе, возвращение ей подлинного значения правдивого свидетельства о жизни, — означало бы огромный поворот во всей нашей зашедшей бог весть в какие дебри лжи, условности и дубовой преднамеренности литературы. Но вряд ли это мыслимо. Прежде всего — автор не тот. Он знает, что делает. Тем хуже для него, но и для литературы.

23.X. Внуково

Л. Толстой — письмо к Ал. Андреевне [Толстой]

«Вечная тревога, труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выдти хоть на секунду ни один человек... Мне смешно вспомнить, как я думывал, и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя... Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

(Из статьи Б. Мейлаха «Уход и смерть Льва Толстого»).

Чудные, освобождающие душу строчки, ставящие в норму «беспокойство и раскаянье» и тем самым дающие вдруг в этом беспокойстве спокойствие, завет равновесия. Но это только передышка, и спасибо за нее! Как только записал себе это прекрасное изъяснение, простил себе свое «беспокойство» и всяческую круговерть души, обрел этот остров, так, гляди, это спокойствие благородное, что все, мол, идет, как надо, и будет душевной подлостью. И все же — передышка!

Уже попробуй с последней записи о настороженной тишине внуковского сада и леса перед тем, как листу пойти, восстановить все подневные и почасовые этапы перехода к сегодняшнему легко-зимнему утру с деревьями под снежком, который так и не отряхнулся полностью и не стаял после одной ночи с этих голых сучьев и желто-зеленой, пожухлой листвы жасмина. Попробуй — не сможешь фиксировать, отмечать — именно час за часом все это течение наглядного времени.

Вдруг открыл воспоминания Анненкова[1] и ахнул — еще одна, по-видимому, прекрасная книга, которой я так-таки и не прочел до 50 своих годов. Это из тех русских авторов, которые, о чем бы они ни толковали, хороши уже тем, что при бездне учености и ума не угнетают тебя, невежду, своим превосходством, но и не снисходят к тебе понарошке, а разговаривают на равных и дарят тебе неоценимое ощущение, что и ты умный и знающий человек, способный судить и рядить о многом, что одному самому тебе было бы просто даже не под силу. Место, предваряющее заметки о Гоголе, и мои размышления о Собрании сочинений Есенина и статье Зелинского.

7.XI. Утро праздника.

Мокрядь, на шоссе корка тающего льда, скользота, по краешкам обнажается мокрый асфальт.

Оказывается, это не была еще зима. Вчера — на осевшем и кой-где продырявленном, протаявшем снегу ложился слой листвы жасминов и некоторых яблонь. Эта желтозеленая или бурая («муругая» — Бунин; но это и наше, смоленское словечко), потиснутая морозцами и отпаренная мокрядью пошла вторым листопадом. Сегодня снег еще больше протаял и зарябил, листва падает на листву, ушедшую неделю назад под снег.

На праздники здесь с нами Оля и Андрей. Так мы и живем здесь с Машей после того. Болезнь Лены, невозможность подыскания человека, наличие здесь «животных»[2] исключает возможность нашего перебазирования на городскую квартиру. Поначалу, когда пошли холода, меня это приводило в большое смущение; день за днем втягиваюсь, и хоть все бытовые неудобства дают себя знать, нахожу уже, что есть и преимущества этого загородного быта: сбережение нервов от телефона и т. п. [...]

10.XI. Внуково.

Трава, вышедшая из-под снега, выглядывает из-под мокрой листвы такой свежей, нежно-зеленой, как будто она росла под этим глубоким, но легким временным снегом, павшим на мягкую, незамерзшую землю. Так оно, должно быть, и есть.

[...]

Задумал написать письмо в ЦК о необходимости издать хоть небольшие однотомники поэтов, вкупе не причинивших столько вреда, сколько один Есенин, но принадлежащих нашей поэзии, — Гумилева, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, может быть, Ходасевича.[3]

19.XI. Внуково.

Тот снег сошел весь, все очистилось, обмылось и было подсушено сперва легким морозцем, а потом ночью пошла крупа и выпал новый снег, потоньше слоем, но все вновь заваливший. Дрова опять — не взяться за них — перебиты снегом. Вчера-позавчера — мороз уже до 10—12 градусов. На утренней (и на вечерней, накануне) прогулке чуть порыв ветра — хруст и звон ледяной корки на сучьях, ломающейся и осыпающейся. Се-

---

[1] Анненков Павел Васильевич (1813—1887), литературный критик и мемуарист.

[2] Собака и кошка.

[3] Неизвестно, было ли письмо в ЦК, но официальная записка с предложениями издать в ближайшее время сочинения А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н. Гумилева, Б. Пастернака была направлена Твардовским в Гослитиздат (1960).

годня опять отпустило, гулял по своему кругу — до Лековой и обратно по оврагу. Меж голых кустов вдоль речки внизу — голубая курточка (или свитер) мальчишки на коньках. Летит с кривой палкой в руках, так и жжет по льду коньками, а повыше идет большой толстый дядька в синих китайских штанах поверх вязаных теплых, в пиджаке с серокаракулевым воротником и карманами на груди, с палкой под мышкой — тяжелый, старый, грузный и умиленный, — это я.

Десять дней настоящей муки непокоя в предвидении трех минут выхода на сцену навстречу полному залу — завершению вечера. Будьте вы неладны.

Что-то днями зацепилось за две строчки еще из Ореанды — пустяки.

Полночь в мое городское окно
Входит с ночными дарами:
Небо до края полыым-полно
Скученных звезд мирами.

Мне еще в детстве, бывало, в ночном,
Где-нибудь в стихнувшем поле
Скопища эти холодным огнем
Точно бы в темя кололи...[1]

11.XII. Внуково

С годами все болезненнее перерывы в работе (своей собственной), и это естественно: чувство ограниченности запасов времени. Собственно говоря, время ушло, осталось его чуть, и оно уже не может быть временем новых и новых подъемов и разворота, — оно сворачивается, оно окрашено в «сятый» (сят — 50 — 60-сят) цвет. Но еще верится порой, что и это остатнее время, при минимуме благоприятных условий, может явиться продолжением, а не дополнением, дописыванием, дожитием.

Хорошо, что в этом своем времени я лишен мелочной заботы о славе, о закреплении ее всеми подручными средствами. Мне, по чистой совести, ничего не нужно из этой тщеты, я знаю ей цену. И если хочу еще что-то обрести, так только сущего, такого, что необходимо безотносительно к меркам и оценкам, к «выдачам» тебе из фонда преходящести.

Ко всем формам современного мнимого литературного существования, представительства — отвращение, и оно, это чувство, уже лишено оттенка кокетства, который, может быть, был в иную пору. Отпустите меня, дайте мне собраться с мыслями, которые не живут в суете внешней повседневности, в «декадах и плеядах», в пленумах и секретариатах и т. п. Но уже знаю, что это не так просто — выломаться, вырваться из этого, что нужно дотерпеть до подходящего срока, чтобы из этой мерзлой проруби вырваться, не оставив в ней хвоста с мясом. — Задал себе срок — до трехлетия второго захода в «Новом мире», до июня примерно, а там — отпуск и решительное предупреждение: не ждите меня обратно. Но, может быть, это тем более решительное намерение, что его выполнять не сейчас, не тотчас, а где-то через полгода — как будто тогда это будет легче! Тем более, что внешние обязательства еще более осилят: будет, наконец, «улучшение жилищных условий», может быть, премия, которая сама по себе не трогает меня ни капли и ничего мне не прибавит, кроме внешнего закрепления «неподсудности», т. е. скорее убавит чего-то. Но так или иначе, найду или не найду зама или преемника — дальше шутки плохие, меня может безнадежно отнести от «своего» берега. — Сейчас, ведя речь с несчастным Поликарповым о новой истории с повестью Казакевича[2],

---

[1] Стихотворение было завершено в 1967 г. (См. Собр. соч., т. 3, с. 195.)

[2] Имеется в виду повесть «Синяя тетрадь», длительное время находившаяся в «Новом мире», который боролся за ограничение купюр и исправлений, истребованных цензурой. В конце концов автору надоело ждать появления своей вещи в печати; он забрал повесть из «Нового мира» и почти сразу опубликовал ее в «Октябре» (1961, № 4). «Несчастному Поликарпову» А. Т. не преминул высказать негодование по поводу правовых порядков, позволивших Ф. Панферову («Октябрь») сделать то, что не позволялось Твардовскому.

дал понять, что «довольно, больше не могу», но уже наверху сказано, что напрасно он, т. е. я, так этот случай воспринимает и истолковывает.

Недавний момент мгновенного ужаса, может быть, в полудремоте: вдруг, если это даже сон, то во сне — ужасная мысль, что все упущено, время ушло, я попался в свои 50 лет, назад нет ходу, — все как будто мне это подвалило где-то в 30 лет, когда еще так много, по видимости, было впереди.

Мокрядь. Второй снег сошел с земли и обнажил ее уже не такой светло-коричневой (листва, трава), как в первый раз, а более темной, совсем как весной, а зимы так-таки еще и не было.

Среди многих обуз и грозящего мне «общественного насилия» — постановка «Теркина». Третьего дня слушал музыку С.-Седого, ничего не понял. [...]

Дети-интернатовцы школы имени Макаренко пишут, что премированы поездкой в Москву на каникулы и просят принять их. Все как будто свято и хорошо, но я уверен, что такое же письмо от них получили и другие «знаменитости», по научению старших, руководителей, и ребята намерены гостевать у этих знаменитостей, т. е. то же самое, что привлечение к сотрудничеству в школьной «стенгазете нашей школы» «крупнейших» и т. п. А попробуй это так и сказать — мировой скандал. Иное дело — принять ребят, прослушать их чтение твоих стихов, сфотографироваться с ними, озаботившись и помещением снимка в «Литературной газете».

Давно уже не были так практически далеки от меня мои «ближайшие» замыслы и намерения — рассказ (Дом на буксире), «Теркин на том свете» и другие. Живу изо дня в день, изматываюсь днем в городе, приезжаю и ложусь спать в 8 — 9 часов, а там просыпаюсь ни свет ни заря, читаю, встаю и, что хуже, — курю ночью. [...]

Удивительное дело: у меня все «хозяйство» в таком запустении, едва успеваю отпихнуть самое неотложное, а мечтаю эти дни, как соберусь и порубаю хворост на дровосеке, и сложу эти дровишки опрятно «под стрехой» — как будто и дело. И странно, но знаю, как это сделаю, будет лучше настроение и в отношении к «хозяйству» на столе и в голове, хотя именно с него бы и начинать.

24.XII.

После «двух зим» была еще и легкая весенне-осенняя, подсушенная морозцем обнаженность земли, уже дважды побывавшей под снегом. Третья зима кончается сейчас, в канун Нового года. В Москве продаются мокрые елочки, как бы и никчемушные вовсе без мороза и снега. Все это затянулось и уже достаточно надоело, хотя для нашей дачной жизни благоприятно в смысле терпимой температуры при двух печах.

Такой же, без затруднений сравнимый непорядок, неясность и странность в моей теперешней жизни: усталость, раздражение, чуть не истерика, готовые хлынуть через край, журнальные радости, отголоски всяческих полуфольклорных мотивов, касающихся меня прямо и косвенно (чего стоит одна версия о моем «походе против Есенина»). [...] и самое главное — неписание, нарастание ощущения беды, вины, может быть, катастрофы: живу как-то не так — ни зима, ни весна. Журнал висит на душе, не давая даже обманчивого удовлетворения, замещаю своего зама, а вдруг бросить все, установить какой-то иной образ жизни в соответствии с возрастом и нуждами духа — не вижу возможности, не могу. Жаловаться некому. Вроде того, как живу на даче по необходимости сторожить ее, но тут хоть есть та выгода, что Маше здесь лучше, да и сам хоть отсыпаюсь от неприятностей. «Улучшение жилищных условий» затя-

гивается, осмотры «объектов» дают понять, что мое улучшение зависит от необходимости и первоочередного желания улучшить чьи-то другие условия. Уже не только я, но и Маша готова махнуть на все — пусть не будет ничего. Оля одна, даже соседства Вали лишена с переездом той на новую, вымененную квартиру, правда, Валя еще ночует у нее, но это факт ее, Вали, неустроенности (ремонт, детсад для Андрея). Но не будем, как говорится, приходить в отчаяние. Может быть, единственно, что есть у меня сейчас радостного, — это чтение (украдкой от дурных рукописей) печатных книг. 56-й том Л. Н. Толстого (чеховский)[1], сейчас в руках IX том Т. Манна со всем его очарованием ума и того здорового «педантизма», который мне как упрек.

Вчера или третьего дня на прогулке впервые за много недель (или месяцев) начало что-то проталкиваться в ритме каких-то «рубайя» на давнюю тему о том, что, заставив полюбить себя сегодня, ты уже связан этим в отношении своего завтра, ради которого ты уже должен огорчить читателя, который, как ребенок, хочет, чтобы ты рассказывал ему «такую» же сказку, как вчера.

Никто того (и) не имел в виду,
Что будешь ты такой,
Каким тебе, должно быть, на роду — написано.
Любимым и привычным. Не моги —
От этой, с этой соступать ноги.

Будь все таким. Но ты во имя той же любви, что так тебе дорога, должен отрываться от ее теплых объятий и идти дальше, хотя теряешь ее и, может быть, скорее всего, не вдруг обретешь в дальнейшем.

Итоги года подводить нечего — они жалкие. После «Далей» — ничего. Изо дня в день нескончаемые пустяки — рукописи, почта, всегда что-то «должен», множеству людей нужен по их житейским делам, и что хуже всего: не можешь объяснить всенародно, что ты, в сущности, ничего не можешь и что «з а ч а е м»[2] — это была шутка.

Подготовка текста, публикация
и примечания М. И. Т в а р д о в с к о й

---

[1] А. Т. называет т. 56 юбилейного издания Л. Н. Толстого «чеховским», вероятно, потому, что здесь среди дневниковых записей — восторженные отзывы Льва Николаевича о таких шедеврах А. П. Чехова, как «Попрыгунья», «Беглец», «Душечка», «Записки неизвестного человека», «Черный монах».

[2] Имеется в виду строка из поэмы «За далью — даль»: «За чаем как-нибудь с Хрущевым продвинуть некий твой вопрос». (См. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 354.)

Александр Шиндель

СВИДЕТЕЛЬ

(ЗАМЕТКИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЗЫ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА)

1.

Платонов ни на кого не похож. Каждый, кто впервые открывает его книги, сразу же вынужден отказаться от привычной беглости чтения: глаз готов скользить по знакомым очертаниям слов, но при этом разум отказывается поспевать за зрением. Привычные графические очертания слов почему-то не наполняются столь же привычным смыслом, и читатель останавливается, пораженный этой магией авторской речи. Еще трудно разобраться, в чем суть такого эффекта, но эффект налицо: текст Платонова «пробежать» невозможно. Какая-то сила задерживает восприятие читающего на каждом слове, каждом сочетании слов. Мы привыкли предложения схватывать сразу, целиком, постигая написанное автором. Так получается со всеми, даже с Л. Н. Толстым с его громоздкими периодами внутри отдельных фраз. Со всеми. С Платоновым не получается. И только на одном этом первом ощущении можно застрять на годы в попытке отгадать загадку фокуса, чтобы потерпеть поражение, потому что здесь нет механики и нет фокуса, а скорее есть мираж — оболочка глубоко упрятанной тайны. И сама тайна тоже не тайна мастерства, с чем обычно имеет дело склонный к холодному анализу исследователь, а **тайна человека**, разгадывание которой, по убеждению Достоевского, есть единственное дело, достойное того, чтобы посвятить ему жизнь.

Почему же то, что наработано поколениями ученых, — имеются в виду определенные принципы подхода, более-менее устойчивые и достаточно надежные концепции, наконец, методы постижения, — почему же все то, что позволяет успешно работать с произведениями разных и многих писателей, поначалу как бы кажется инструментом ненужным и бесполезным, когда открываешь, к примеру, «Чевенгур»? Почему красивые аналогии литературоведа, сравнивающего Копёнкина на его былинной Пролетарской Силе со странствующим рыцарем, одержимым одной испепеляющей душу благородной идеей, — почему такие аналогии воспринимаются с грустным сочувствием к исследователю?

Явление это имеет простое объяснение. Но простота объяснения не только не снимает напряжения, но, наоборот, сильно усложняет последующую работу.

Дело в том, что необычность образного мышления Платонова — первое, что беспощадно обрушивается на читательское восприятие (я бы даже сказал — оглушает, после чего читатель уже воспринимает все написанное, находясь как бы в состоянии легкой контузии), — вот эта самая «непохожесть» Платонова подсознательно заставляет выделять его «из ряда», рассматривать как некое крупное, но достаточно автономное в литературе явление. И тем самым Платонов как бы изначально задает исследователю программу: искать в его прозе отличия от прозы других крупных писателей, поскольку в существе этих отличий будто бы и заключается его авторская самобытность и ценность. И критики эти отличия находят с переменным успехом. Но странное дело! Чем больше отыскивается этих отличий, тем сложнее нам «вписать» Платонова в русскую классику. Вписать изнутри, а не декларативными рассуждениями о том, что перед нами — несомненный классик.

Нужно ли это делать вообще? Не выморочное ли, не схоластическое ли это занятие? Ни в коей мере.

Это нужно не Платонову. Это необходимо нам, чтобы не оказаться вне Платонова. Мы были вне Платонова многие десятилетия по чисто политическим мотивам. У нас просто не было доступа к нему. Теперь доступ есть. Поэтому есть потребность соотнести его творчество с определенной шкалой высших культурных ценностей. Прямых сопоставлений (по типу: странствующие рыцари, «маленькие люди» под прессом власти или на вершине власти и т. п.) тут быть не может. Надо попытаться определить взаимоотношения Платонова с чрезвычайно сложным временем нашей истории, может быть, самым сложным на протяжении многих веков. Если удастся это сделать — станет понятно, в ряду каких гениев он находится. А мы вряд ли сегодня возьмемся утверждать, что то трудное, одновременно романтическое и трагическое, а по мне так — таинственное время нам уже вполне удалось постичь.

Сегодня перед нами наконец открылся вход в фонд куда более ценный, чем

алмазный. Наконец вместо полуфабрикатов и эрзацев мы имеем литературу, не востребованную нами раньше по причине всеобщего многолетнего идеологического заточения. Свободными оставались лишь несколько отечественных гениев, поскольку от природы гений другой формы духовного бытия не ведает. Но мы слишком долго отсутствовали, им не хватило жизни пережить срок нашего заточения. Они оставили книги, достойные русской классики. Их искусство, как и положено искусству, пережило их. Переживет и нас, и следующие поколения. И не поспешно сфабрикованные бесчисленные документы и «дела», сфальсифицированные «исторические» труды, написанные на основе этих документов, будут источником знаний о нас, а эти книги, созданные немногими свободными людьми. Кто знает, может быть, и само наше более чем полувековое существование особой страницей войдет в мировую историю лишь только потому, что оно так засвидетельствовано.

Сейчас нам нет нужды оглядывать мировую классику в поисках соответствий. Да и вряд ли мы сумеем найти соответствия, поскольку имеем дело с явлением чисто национальным. Ну, а что касается необходимых критериев — так за спиной у нас золотой век русской литературы.

Гоголя беспокоила неподвижность России, которая уже грозила омертвением самому духу человека. Но если Гоголь вслушивался в каждый шорох, пытаясь уловить начало движения, то Достоевского уже тревожил угол наклона. У Достоевского не было никаких сомнений на тот счет, что «птица-тройка» пошла в разгон. Это в семидесятые годы прошлого века уже многим в России было понятно. Но Достоевский, вероятно, был первым, кто почувствовал, что у птицы-тройки в решающий момент может не оказаться тормозов. И недвусмысленно высказался об этом в «Бесах». Между «Бесами» и «Мертвыми душами», если считать по календарю,— короткая дистанция жизни одного поколения. Но по качественным характеристикам, по последствиям вряд ли отыщется в нашей многовековой истории подобный отрезок времени. Для такой огромной и инертной страны, какой веками была царская Россия, этот период — миг истории! — не что иное, как чудовищный, моментальный набор скорости. Последующие примерно четыре десятилетия (в политическом смысле) были потрачены людьми, в чьих руках было сосредоточено управление, на поиски способов торможения. Пустое дело!

Дальнейшее нам достаточно хорошо известно.

Уже основательно разогретую пореформенную Россию мировая война раскалила докрасна. Птица-тройка понесла... Оборваны были все постромки. Старинный российский кузовок, который Ленин без обиняков назвал романовской телегой, исчерпал запасы прочности пожалуй что еще при Гоголе. Развалился он легко и бесповоротно.

Это был момент духовного рождения второй волны свободных людей в России (первой — для многомиллионной крестьянской страны, какой была дореволюционная Россия,— надо считать освобождение крестьян). Уничтожение всех внутренних социальных, сословных и кастовых перегородок, конечно же, есть процесс демократизации общества в самом полном смысле слова. Но демократизация произошла путем взрыва, разлома. А вот это заставляет думать о том, можно ли считать демократизацией *гибель общества*? Каким бы — больным или здоровым — оно ни было в наших последующих выводах и оценках, но оно *не трансформировалось* в своем переходе в другое качество. Оно *просто погибло*.

Все поколения советских людей воспитаны в убеждении, что наше общество изначально более демократично, чем дореволюционная Россия. Нас все время подводили к мысли о сопоставлении эпох, не допуская понимания той истины, что после разлома мы никак и ни в чем не можем быть сопоставимы. Мы оказались новой и, как всякая новорожденная, достаточно примитивной цивилизацией, возникшей на месте погибшей старой. И наш взгляд туда — за черту разлома — ни в коей мере не мог объяснить нам, что же мы такое на самом деле. Нам нужно было хоть сколько-то времени пожить, накопить хоть чуть собственной истории и собственного опыта, поскольку только собственный опыт позволяет как-то корректировать настоящее и прогнозировать будущее. Семьдесят лет назад мы, образно говоря, остались без обратной связи с историей...

Именно этим можно объяснить тот феноменальный факт, что миллионы людей оказались не в состоянии отличить свободу от жесточайшей деспотии. У них не было исторического опыта.

При разломе — ни до него, ни после, а именно в самый момент разлома — родился человек. (Естественно, мы имеем в виду рождение духовное.) Можно предполагать, что птицы-тройки он уже не увидел: предоставленная самой себе, она скрылась за горизонтом в направлении, до поры до времени неизвестном. Но он увидел нагромождение обломков вокруг. И сама природа вокруг и эти обломки — все было для него первозданным материалом, из которого он принялся сооружать нечто для жизни.

Прошлого, как было замечено, для него не существовало. Поэтому ему не о чем было сожалеть. Будущего этот человек тоже не знал, потому что будущее прозревается из знаний и прошлого опыта, а у него не было ни того, ни другого. Будущее он создавал чистым воображением, а это безошибочный признак детства. Как каждый народившийся

на свет, он обладал только настоящим. Все, что видел, все, что понимал, все, о чем думал,— все было его настоящим. Ему выпало на долю постичь это настоящее и запечатлеть его на листах бумаги.

Конечно, и революцию, и гражданскую войну, и первые годы строительства отображали Серафимович, Федин, Фадеев, Алексей Толстой, Шолохов, Леонов, Всеволод Иванов — мы знаем десятки писателей и немало истинно талантливых книг.

Но большинство писателей, заложивших основы советской литературы, совершенно естественно пользовались языковыми формами, жанрами, методами художественного отображения — в общем всем многосторонним инструментарием, сложившимся еще в недрах дореволюционной русской словесности. Ведь критерии искусства, образные средства и методы воплощения, да и психология творца — это все категории долговременные, я бы сказал — консервативные. Поэтому они меньше подвержены политической и социальной конъюнктуре даже в периоды социальных потрясений и бурь. Требуется довольно много времени, например, чтобы стали очевидными изменения в лексическом составе языка или в формообразовании. Сначала должны произойти ощутимые изменения в мышлении, эти изменения должны существенно коснуться понятийного ряда, потом — еще глубже — логических связей, и отражением всех этих процессов в конечном счете будут изменения в языке. Но унаследованные советскими писателями художественные формы оказались оторванными от той исторической, мгновенно и навсегда отошедшей реальности, в которой они эволюционно возникали и которой соответствовали. Использованные для изображения начавшейся абсолютно новой эпохи, эти формы искусства, вызревавшие в старой России веками, поневоле облагораживали реальность, которая родилась в крови и, как скоро оказалось, продолжала кровоточить десятилетиями. Не только романтическое направление, но и хорошо усвоенный суровый в XIX веке традиционный русский реализм в новых условиях стал выполнять эту функцию облагораживания действительности.

Из крупных писателей только один человек этого избежал. Он сразу заговорил на том языке, который с предельной точностью соответствовал понятиям первозданного мира. Мы спотыкаемся о каждое его слово, которое, как материальная преграда, то и дело возникает по ходу нашего движения, заставляя нас ходить немыслимыми зигзагами. Мы спотыкаемся о мысли и поступки людей, которые ничего о себе не знают и на обломках погибшей жизни строят что-то свое, объединенные мечтательным состоянием, но мечтают все о разном. Мы быстро устаем от ощущения первобытного хаоса, в котором организованному мышлению человека конца XX века просто нет места. И после всего этого внутреннего отторжения и сопротивления мы внезапно останавливаемся как разбитые параличом: что-то подспудное, глухое, глубоко загнанное подсказывает, что от этого не отвертеться, не отвернуться. Что это — мы сами. Наше детство. Это в чистом виде машина времени, выскочить из которой невозможно. Писатель заставляет нас узнавать себя с той же безошибочностью, с какой узнает себя пожилой человек на пожелтевшей детской фотографии. Как летописец нашего детства он не имеет себе равных.

Он — это Андрей Платонов.

2.

Герои Платонова говорят о «пролетарском веществе». Сам Платонов (в статье «Великая Глухая») говорил о «социалистическом веществе». Из контекста платоновских произведений ясно, что в эти понятия он включает живых людей. Это любопытный момент. Представить себе дореволюционного русского писателя, который бы в одном слове объединил понятия «человек» и «вещество», невозможно.

В хрестоматийных произведениях советской литературы тех лет мы, собственно, рассмотреть «социалистическое вещество» не можем, поскольку писатели разворачивают перед нами динамику борьбы. Нас заставляют следить за ходом процесса. Даже в произведениях, посвященных ударному строительству, мы тоже не можем рассмотреть «социалистическое вещество» как таковое, потому что оно облагорожено идеей строительства до такой степени, что уже видно только идею, которая вобрала в себя строящее ее «вещество», лишив его каких бы то ни было индивидуальных примет.

Только у Платонова идея и человек не сливаются. Идея не закрывает человека наглухо. Поэтому в его произведениях отчетливо видны расхождения между идеей и реальностью. Платонов один из очень немногих советских писателей, в произведениях которого реальность ежеминутно контролирует идею.

В его произведениях мы видим именно «социалистическое вещество», которое стремится из себя самого построить полный, абсолютный, материализованный идеал. Философская абсурдность этой задачи, вполне серьезно поставленной в общегосударственном масштабе, Платонову не видна. Но именно эта грандиозность абсурда в первую очередь поражает нас, худо-бедно научившихся мыслить практическими категориями. Из кого же состоит живое «социалистическое вещество» у Платонова?

Романтики жизни — в самом полном смысле слова. Они мыслят масштабными общечеловеческими категориями и свободны от каких бы то ни было проявлений эгоизма. На первый взгляд может показаться, что это люди с асоци-

альным мышлением, поскольку их ум не ведает никаких социально-административных ограничений. Они непритязательны, неудобства быта переносят легко, как бы не замечая их вовсе или понимая временность неудобств. Откуда эти люди приходят, каково их биографическое прошлое — не всегда можно установить, поскольку для Платонова это, вероятно, не самое важное.

Все они — преобразователи мира. Гуманизм этих людей и вполне определенная социальная направленность их устремлений заключаются в поставленной цели подчинить силы природы человеку. Именно от них, судя по той надежде, с какой изображает их автор, надо ждать достижения мечты. Именно они когда-нибудь смогут обратить фантазию в реальность и сами не заметят этого. Этот тип людей представлен инженерами, механиками, изобретателями, философами, фантазерами — людьми раскрепощенной мысли.

Асоциальность их мышления — это видимость, потому что сама раскрепощенность их духа есть следствие победившей революции. Они-то и есть истинные дети революции, ее конечная цель.

С позиций научно-технической осведомленности нашего поколения они, конечно, выглядят чудаками. Могут разобрать телегу и из колес, оглобель и ремней соорудить машину, использующую силу ветра или солнечную энергию, потому что они знают: это *в принципе возможно*. Они думают, как построить машину, работающую на внутренней энергии ядра атома, потому что это тоже *в принципе возможно*. Они гениальны, как Леонардо да Винчи или Циолковский, но с одним существенным отличием: они часто не понимают, какая серьезная преграда лежит в виде *уровня технологии* между способностью человеческого разума постигать тайны природы и возможностью пользоваться таким знанием на практике. Они не понимают, что именно в этом звене — уровне технологии — до поры до времени скрыты те ограничения, которые не дают возможности обществу воплотить истину, открытую разумом, или вообще делают невыполнимыми ряд практических программ.

Мы сегодня прекрасно понимаем, что уровень технологии реализуется через социальную и внутриполитическую структуру общества, и если структура не позволяет развивать в необходимых обществу пределах технологический уровень, то тем самым она не в состоянии обеспечить ни социальный, ни нравственный прогресс. Но это уже политика, а герои-романтики Платонова политикой, как таковой, не занимаются. Почему?

Во-первых, по причине субъективной. Все эти изобретатели и фантазеры рассматривают свершившуюся революцию как *решенный политический вопрос*. Все, кто этого *не хотел*, потерпели поражение и сметены. Миллионы людей, населяющие Россию, пережившие борьбу за победу революции,— *это все свои*. Поэтому политическая реакция героев Платонова на происходящее в принципе однозначно проста: это — *доверие* ко всем своим, которых миллионы и которые легко узнаются в разоренной, опустошенной стране по своему тягостному, бедственному положению. Безграничное доверие к однородной коллективной и индивидуальной идеологии порождает у творцов и безграничную внутреннюю свободу духа. Им не надо уточнять свои мировоззренческие позиции, поскольку позиция только одна. Одна на всех: победа в гражданской войне как бы снимает для них этот вопрос.

Во-вторых, они не занимаются политикой по вполне объективной причине. В начале двадцатых годов (мы сейчас имеем в виду время действия в романе «Чевенгур») новое советское государство как четкая социально-политическая машина еще не сложилось. Сложилась *власть* и в какой-то мере — аппарат власти. Что же касается государственного механизма, то в этот период шел процесс, в котором только нащупывались конструктивные особенности новой государственной структуры. В первой половине двадцатых годов герои Платонова еще не могли ощущать безвыходного для каждого отдельного человека тотального давления государственной машины. Всякие «загибы» местных властей воспринимались именно как «загибы» и не могли еще восприниматься людьми как типичное проявление внутригосударственной политики. Потому что на местах власть была *персонифицирована* и те же платоновские герои (мы рассмотрим их в следующей группе персонажей) были ее носителями. Государственная машина, впоследствии оказавшаяся чудовищным саркофагом для миллионов людей, была возведена несколько позже, а в этот ранний период платоновские мыслители, искатели, изобретатели как бы оказались предоставленными самим себе и тягались с мирозданием один на один с целью построения счастливой жизни для бывших обездоленных и угнетенных.

О том, что такие люди не плод фантазии автора, говорит сама наша история. История существующих, возникших в те далекие уже годы и по сей день очень притягательных по своей духовной силе научных, инженерно-технических, промышленных, архитектурных и многих других, я бы сказал, художественных проектов. Расширяя этот круг людей, выводя их уже за рамки произведений Платонова, я бы включил сюда (по типу сознания) таких ученых, как Вернадский, Вавилов, Чижевский, и многих других, чья безграничная фантазия в сочетании с высочайшей культурой была озарена гениальными находками, имеющими значение для жизни всей мировой

цивилизации. У Платонова таких героев нет по одной, как я понимаю, причине: все его герои — люди новорожденные. Им недостает культуры, ибо культуру сохранили только представители погибшей формации.

Вторая группа персонажей — это *романтики битвы*, люди, сформировавшиеся на фронтах гражданской войны. Бойцы. Чрезвычайно органичные натуры, какие в массовом порядке обычно порождает эпоха битв. Бесстрашные, бескорыстные, честные, предельно откровенные. Все в них запрограммировано на действие. Созерцательное состояние им несвойственно. Оно им в принципе противопоказано, иначе они не могли бы воевать и побеждать. Способность к умозрительному постижению жизни вытеснена в них стремлением к действию, к *непосредственно ощущаемому движению*. В этой запрограммированности на действие — и только на действие! — их ограниченность.

В силу понятных причин именно они — профессиональные бойцы и защитники революции — пользовались в победившей республике безоговорочным доверием и моральным правом на руководящие посты.

Вернувшись с фронтов гражданской войны, они оседают в губкомах, уездкомах и прочих узловых точках молодой советской власти. Они приступают к делу с лучшими намерениями и с присущей им энергией, но вскоре обнаруживается, что большинство из них в новых условиях чисто автоматически пытаются пользоваться своим прошлым военным опытом, и руководят они так, как командовали полками и эскадронами на войне. А те немногие, которые задумываются, впадают в тягостное состояние растерянности: они просто не знают, что им делать.

Они сумели победить в кровопролитной борьбе за народную власть, и этим, в сущности, историческая роль многих из них была исчерпана. Получив ключевые посты в управлении, они не умели ими распорядиться. Во многих случаях они не видели, как от санкционированных ими мер страдают люди, ради которых они и бились в гражданскую войну. Непонимание происходящего рождало в них повышенную подозрительность. Потому-то впоследствии это поколение заслуженных людей и никчемных руководителей психологически с необыкновенной легкостью восприняло «научный» тезис Сталина о возрастающем сопротивлении классового врага по мере развития социалистического строительства. Простота этого тезиса однозначно диктовала и простоту конкретных мер, психологически во многом отвечающих навыкам людей, сформировавшихся в военные годы. Очевидное неблагополучие в стране, разоренной войной, заставляло бывших бойцов принимать жестокие и зачастую бессмысленные меры. Они запутались в отклонениях, перегибах, перекосах, уклонах и т. д. Безграмотность и нищета — в самом прямом смысле этого слова — были той почвой, на которой расцветало насилие.

В романе «Чевенгур» Андрей Платонов изобразил именно таких людей. Получив неограниченную власть над уездом, они в приказном порядке решили отменить труд. Рассуждали примерно так: труд — причина народных страданий, поскольку трудом создаются материальные ценности, которые приводят к имущественному неравенству, к зависимости людей друг от друга, и появляется буржуазия. Стало быть, надо ликвидировать первопричину неравенства: труд. Кормиться же следует тем, что сама природа рождает. Так, в полном соответствии со своим уровнем грамотности, приходят они к обоснованию теории первобытнообщинного коммунизма, конечно же, не отдавая себе в этом отчета.

Что это значит, если сие не плод фантазии автора, а воспроизведенная гениальным художником реальность в своем типическом проявлении? Ни больше, ни меньше — крах цивилизации. Падение с вершин тысячелетнего развития на самую примитивную ступень. И причина тому одна: на время нарушенная преемственность культуры.

Конечно, даже чисто технические реалии объективно существующего вокруг чевенгурцев мира делают такое падение — на всю глубину — невозможным. Но способность человеческого разума, потерявшего опору в культурных ценностях, накопленных всей цивилизацией, «проваливаться» до инстинктивного, пещерного мироощущения отнюдь не фантазия Андрея Платонова. Это жесточайшая и опаснейшая реальность, возможная на любом витке истории. Именно это (и ничто другое!) в нашем, отечественном, варианте и продемонстрировал вскоре утвердившийся сталинизм.

Трагедия, показанная Андреем Платоновым в «Чевенгуре», заключается еще и в том, что среди того типа героев, который определен тут как «романтики битв», еще нет жуликов, карьеристов, проходимцев. Бывшие бойцы, они не ищут для себя личной выгоды. Они действуют в полном соответствии со своим мировоззрением и уровнем культуры. Их нельзя обвинить в безнравственности: они прекрасны в своем бескорыстии, даже в своих трагических заблуждениях.

Если герои первой группы — творцы, пчелы, собирающие мед в улей, то герои второй группы (романтики битв) — конструкторы самого улья. Другими словами — профессиональные политики *по положению в обществе*.

Тут нельзя не сказать о чрезвычайно важном историческом и духовном процессе, впервые столь глубоко изображенном именно Платоновым.

Можно ли представить тысячелетнюю религиозную (по крайней мере набожную) страну, правительство которой в один прекрасный день декретивным по-

рядком объявляет беспощадный террор религии? Террор — идеологический, террор — физический: мгновенное (по историческим меркам) уничтожение сотен соборов, монастырей и церквей, олицетворявших собой вековую духовную историю нации, уничтожение тысяч и тысяч священнослужителей? Представить себе такое государство, в котором правительство одним махом ставит в положение политически неблагонадежных десятки миллионов верующих — подданных своих? Нет, невозможно такое представить! Потому что любое правительство, которое рискнуло бы пойти на столь опрометчивый шаг, моментально дискредитировало бы себя, потеряло бы доверие и лишилось бы власти...

Однако у нас дело обстояло именно таким образом. И при этом правительство не только не потеряло власть, наоборот, укрепило ее!

Этому есть лишь одно более-менее логичное объяснение. Революционная идея, в той вульгарно-материалистической, донельзя упрощенной форме, в какой она была усвоена миллионами людей в России, была воспринята *на веру* — именно как воспринимается идея религиозная. А само революционное учение точно так же было воспринято как *новая религия*, которая вытеснила старую, христианскую, благо обещала царство божие не на небесах, а на земле, да еще и при этой жизни. Вульгарное восприятие основных положений учения, которое не только разрешало, но и всячески стимулировало массовую социальную активность с целью перераспределения материальных благ, легло на неподготовленное общественное сознание вооруженной воюющей крестьянской страны, указывая, как казалось, кратчайший путь к избавлению от всяческих бед. Это была новая и очень жесткая вера, которая требовала от своих приверженцев такой фанатической преданности, какой не знала христианская религия за всю историю своего существования. Но жестокость новой веры обратной стороной имела, как оказалось, несоизмеримую с христианством историческую скоротечность. Уже мы — всего-навсего второе, третье поколение — сегодня возвращаемся в исходную позицию, рассматривая марксизм как учение, а не как свод религиозных догматов.

Но Андрей Платонов изобразил именно первое поколение бойцов, одержимых верой в торжество мировой революции. Когда читаешь «Чевенгур», не можешь отделаться от ощущения ирреальности происходящего: герои говорят вроде бы на одном языке, но каждый понимает смысл сказанного по-своему. И все мучаются от непосильности свалившейся на них задачи. Единственное, что возвращает их к пониманию и единению, — это близкое прошлое гражданской войны, когда все им было предельно ясно, каждый был на своем месте и знал, что ему делать. Точно так же во взглядах на будущее их объединяет надежда на победу мировой революции, которая вот-вот должна вспыхнуть на всех континентах. И тогда опять все будет ясно, опять они окажутся на своем месте. В этом ожидании грядущей всемирной революции и есть высший смысл их бытия.

И они — если говорить о сюжете романа «Чевенгур» — погибают. Погибают просветленные, представ перед нами во всей своей исполинской силе бойцов. Умирая, они возвращаются в свое прошлое, где они были на месте.

Но такой исход — частный случай на объективном фоне начавшегося в стране мирного строительства. Главное же в том, что уже в этот период видно, *какого характера драматизм* ожидает страну в недалеком будущем.

Еще одну группу персонажей можно отнести к условной категории *нарождающихся интеллигентов нового общества*.

Если бы меня попросили рассмотреть образы интеллигентов у Платонова (скажем, в романе «Чевенгур», повестях «Котлован» и «Ювенильное море»), я бы ответил, что таких образов у Платонова нет. Это с наших нынешних позиций. И добавил бы, что у Платонова интеллигентов нет не потому, что он их в принципе не выносит, а потому, что в том мире, который он изображает, их не было вообще. Говоря об интеллигентах, я имею в виду интеллигентов новой, советской формации, а не ту мизерную часть старой русской интеллигенции, которая не смогла отказаться от России, приняла ее новую судьбу, не подозревая в начале двадцатых годов, что тем самым обрывает судьбу свою собственную: ибо эта небольшая часть государства в конце тридцатых годов была истреблена Сталиным почти полностью. И в пояснение своей точки зрения сошлюсь на очерк Владимира Шубкина «Трудное прощание» («Новый мир» № 4, 1989 г.), в котором дана цифра потерь России с 1914 по 1920 год — 21 млн. человек (по оценке академика С. Г. Струмилина). Примерно 2 млн. человек из этого числа погибли во время первой мировой войны. Остальных унесли гражданская война и эмиграция. Это была почти вся российская интеллигенция. Не надо думать, что то были сплошь белогвардейские офицеры. Отнюдь! В массе своей то были такие люди, как киевский доктор Турбин или московский доктор Живаго, или авиаконструктор Сикорский, или композитор Рахманинов, или философ Бердяев, или крупнейший экономист XX века Леонтьев, или — если уж не трогать людей знаменитых — ничем не знаменитые чеховские три сестры и другие вполне благопристойные барышни, которые, надо полагать, насмотрелись по всей России на людей с маузерами и неограниченными полномочиями. Как жить в стране, в которой кто при маузере — тот при власти, и вместо того, чтобы разговари-

вать, все стреляют? Ревкомы, ревсуды, ревтрибуналы, чрезвычайные комиссии — и на все про все проблемы — одно лишь классовое чутье? Ясное дело, когда в вооруженной борьбе были разгромлены белогвардейцы, классовое чутье — этот универсальный орган самоистребления безошибочно нащупал следующую мишень: интеллигенцию. И тот факт, что в изображении крупнейшим писателем того времени образов интеллигентов нет, безошибочно указывает на «выработанный пласт». Как важнейшая функциональная часть общества интеллигенция надолго свое существование прекратила.

Но если интеллигенция была выдавлена и истреблена, то ее функции в жизни общества — любого! — ни одна власть отменить не в состоянии. Эти функциональные ячейки стали заполняться, и процесс поначалу шел стихийный. С этой точки зрения среди героев Платонова условно можно выделить тех, на кого легли функции интеллигенции. Я бы начал ряд персонажей с героя повести «Котлован» Вощева.

Вощев не признает труда только за материальное вознаграждение. Труда как условия выживания человека. Ему этого слишком мало. Для него не существует привычной, но слепой веры в труд, не подкрепленной умственной формулой, которая объяснила бы ему связь его личного трудового усилия со всем сущим. А без этой формулы труд, не облагороженный сознанием, низводится в его глазах до уровня инстинкта, а сам человек превращается в муравья, не ведающего начальных и конечных целей своего существования.

Задумавшись однажды над этим, он уже не мог выполнять свою работу как всегда. Она для него обессмыслилась, и потому ему стало необходимым найти соотношения между своими усилиями и общим итогом деятельности общества. Произошел разрыв с той социально-трудовой общностью людей, к которой он долгое время принадлежал. В начале произведения автор об этой метаморфозе с героем сообщает нам так: «В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда».

На будущее его жизнь непредсказуема, в ней большую роль играет элемент случайности, и человек существует одновременно как бы в двух разных жизнях. Одна — внешняя — видима со стороны. Это может быть жизнь сезонного рабочего, мелкого служащего, землекопа, бродяги — что угодно. Другая — внутренняя, очень напряженная, сжатая — и есть истинная жизнь этого героя. Жизнь мысли, которая вызревает тайно, в глубине не слишком развитого разума, постепенно превращая этот разум в интеллект. Это — может быть, во втором или третьем поколении — будущий интеллигент. А сейчас даже не прообраз интеллигента, а некая зародышевая клетка, стихийно «осознавшая» свои функции, — созерцание и осмысление накопленной информации.

Однако нормального созревания ее в существующих условиях быть не может.

«— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства,— сказали в завкоме.— О чем ты думал, товарищ Вощев?

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

— Ну и что ж ты бы мог сделать?

— Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс».

Вот такой разговор для начала. Разговор, который выбора герою не оставляет. Более пятидесяти лет прошло с тех пор, а все тут очень знакомо. Даже смысловые акценты не устарели.

Тут нет ни одного лишнего или неточного слова. Речь идет не только о путях нравственного развития человека в новом обществе, но и о том, что само понятие нравственного развития никак невозможно отделить от развития экономического. Все сходится в человеке, все проходит сквозь сознание человека (именно над этим, оглушенный грандиозностью открывшейся истины, и задумался Вощев), и потому во всем, что связано с жизнью общества, истины *вне человека быть не может*. Это первое. А второе состоит в том, что уже здесь мы видим столкновение диалектического мышления (Вощев) и догматического (его неназванный собеседник). Этот конфликт — один из главных во всем творчестве Платонова. Причем носителем гуманистического начала и подвижного мышления у Платонова, как правило, выступает отдельная личность. Что же касается любой структуры, в которой хотя бы намечается какая-то иерархия власти, то структура у Платонова олицетворяет мертвое, догматическое начало. Здесь в приведенном случае собеседник Вощева — завкомовец, т. е. представитель власти. И какова же его реакция? «Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный...» Власть еще не может включить в себя интеллект даже в самом простейшем его виде. Она либо сразу отчуждается от него, либо порабощает и размалывает.

О «Чевенгуре» трудно писать, поскольку этот удивительный роман как бы «плавает» в разных временных измерениях. С наших сегодняшних позиций, отнесенных от событий, происходящих

в «Чевенгуре», более чем на шестьдесят лет, все, что там происходит, воспринимается за гранью реального. Больше того: иначе как вакханалией слепоты, разгулом инстинктов это просто нельзя назвать; все это не поддается не только какой-то изощренной логике, но вообще не вмещается в рамки здравого смысла. Такое ощущение, что среди чевенгурцев нет ни одного человека, который бы обладал способностью элементарно понимать происходящее и соотносить свои действия с окружающей обстановкой. Из этого мира, показанного Платоновым, как бы извлечена способность человека мыслить.

Но это взгляд из нашего времени. Сами же чевенгурцы жестокой бессмыслицы устроенной ими жизни не видят. Да и как они могут видеть, если все постижение мира у них происходит только в эмоциональной сфере? Глава чевенгурского совета — Чепурный — прислушивается к своим ощущениям, которые он даже не в состоянии сформулировать. Это за него делает хитрый приспособленец Прохор Дванов — человек, который из любой ситуации извлекает для себя пользу. Сформулированный Прохором «тезис» является конкретной программой для штатного чевенгурского исполнителя товарища Пиюси. Бывший рабочий-каменщик товарищ Пиюся в годы гражданской войны сменил профессию и бесповоротно овладел навыками прирожденного карателя. Ему для исполнения любой программы нужен только один инструмент — заряженный наган в руке. Эти трое как бы образуют примитивную, но очень устойчивую модель власти, основанной на принуждении и только на принуждении. Схема простейшая: один, совершенно не ведающий, что делает, от невёдения берет на себя всю политическую ответственность за происходящее (это Чепурный). Другой — чистый мерзавец по натуре! — прикрытый этой не им взятой ответственностью, запускает в ход людоедские программы. Это Прохор Дванов. Третий, с которого двумя первыми снята не только всякая ответственность, но и сама обязанность человека отдавать себе отчет в своих поступках, становится бездумным исполнителем. Это Пиюся.

Наиболее цельной натурой в романе выглядит Степан Копёнкин. Ощущение цельности связано не столько с мистической преданностью Копёнкина образу Розы, сколько с тем, что Копёнкин не берет на себя несвойственных ему функций. Он боец — не политик, не администратор, не исполнитель чужой воли. Может быть, поэтому и разброс ощущений у Копёнкина гораздо меньший, чем у Чепурного. Копёнкин первый, кто, попав в Чевенгур, испытывает законные сомнения. Представший перед его глазами «чевенгурский социализм» плохо увязывается с революционной идеей всеобщего счастья. Счастливых людей в Чевенгуре нет. Это Степан Копёнкин видит. Как видит и то, что фактический правитель Чевенгура Прохор Дванов — обыкновенный проходимец. И первое побуждение Копёнкина — чисто функциональное, которому он, кстати, до этой ситуации никогда не изменял,— покончить разом с этой бандой. Но... эти бандиты называют себя ревкомом. Более того, и в губернском масштабе числятся как ревком — то есть пользуются той единственной опознавательной системой «я — свой», с которой Копёнкин не может не считаться. И он откладывает решение вопроса до приезда Саши Дванова.

Александра Дванова в чевенгурской среде можно считать интеллектуалом. Это человек, который с детства читал книги, ему не чужд созерцательный подход к действительности, и при этом от природы в душе его живет что-то каратаевское. Среди людей вооруженных, ожесточившихся от войн, голода и нищеты, вследствие ожесточенности или изможденности ставших почти нечувствительными к смерти, Саша Дванов выделяется своей неагрессивностью и полной отрешенностью относительно возможного исхода своей собственной жизни. Он, между прочим, тоже не в восторге от того, что видит в Чевенгуре, но тут-то и начинаются странные вещи. Он не только не делает попытки что-либо изменить, а вполне принимает уже сложившуюся структуру и легко вписывается в нее. Так же, правда, сохраняя некоторое недовольство, но уже не столько Чевенгуром, сколько Прохором, вписывается в ситуацию и усомнившийся поначалу Копёнкин. И что совсем уж странно — с такой же легкостью оседает тут столичный человек Симон Сербинов, приехавший в Чевенгур с ревизией, все моментально постигший и, несмотря на это, с каким-то даже облегченнем сделавший свой выбор. Почему?

Потому, что Чевенгур — безвариантная реальность. Та самая вполне наглядная модель, к которой все общество еще не пришло, но к которой оно безошибочно должно прийти. Ибо другой формы — более логичной и более наглядной — сознание, провалившееся до уровня инстинктивных реакций, представить себе не может. Уродство Чевенгура — это отражение идеи, искаженной неразвитым самосознанием только-только народившегося общества.

Потому сегодня все происходящее в романе нам кажется ирреальностью. Но самое интересное в том, что наш сегодняшний взгляд на Чевенгур в самом романе не только предусмотрен Платоновым, но и выражен. Правда, этот взгляд, брошенный как бы из будущего, в романе проскальзывает не часто, но действует как противостолбнячная инъекция.

Помните, председатель губисполкома Шумилин отправил Сашу Дванова, говоря нашим языком, в командировку по губернии с целью понаблюдать «намечающееся самозарождение социализма

среди масс»? Другими словами, Дванов получил довольно высокие в пределах губернии полномочия от высшего губернского представителя власти. Как он ими воспользовался?

Сам Шумилин итог этой «командировки» оценивает так: «Тебя послали, чудака, поглядеть просто — как и что. А то я все в документы смотрю — ни черта не видно,— у тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить Биттермановское лесничество, сукин ты сын! Набрал каких-то огарков и пошел бродить...» — и эта трезвая оценка, данная как бы человеком нашего времени с позиций элементарного здравого смысла, проливается как внезапный холодный душ на наше разогревшееся восприятие. Что же выходит? Саша Дванов, почти книжный человек, самая светлая голова и самая чистая чевенгурская душа — да он же абсолютно слеп, как и все они!

А вот другой трезвый голос (во время той «малой» одиссеи Саши Дванова): «Дванов также прямо попросил его сказать, чем он обижен на Советскую власть.

— Оттого вы и кончитесь, что сначала стреляете, а потом спрашиваете,— злобно ответил кузнец.— Мудреное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей! Мужику от земли один горизонт остается. Кого вы обманываете-то?

Дванов объяснил, что разверстка идет в кровь революции и на питание ее будущих сил.

— Это ты себе оставь! — знающе отвергнул кузнец.— Десятая часть народа — либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски, за кем хошь пойдут. Был бы царь — и для него нашлась бы ячейка у нас. И в партии у вас такие же негодящие люди... Ты говоришь — хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает — кому ж твоя революция останется? А война, говорят, вся прошла...»

Пожалуй, больше в романе и нет других эпизодов, в которых бы здравый смысл прозвучал столь беспощадно. Но идет этот голос как бы из тех пределов, которые еще не до конца завоеваны Чевенгуром. Пройдет время, и эти голоса умолкнут.

Но поскольку природа «сама» рождает не только материальную пищу (это базисная теория чевенгурцев), но и здравомыслие как таковое, то, очевидно, Платонов почувствовал, что в борьбе с этим здравомыслием даже фанатическая, слепая преданность идее может не выдержать, если не будет иметь ощутимой поддержки. На протяжении всего романа Платонов старается выдерживать этот конфликт — борьбу здравого смысла со слепотой фанатизма — в рамках, очерченных сюжетом. То есть в рамках истории Чевенгура. Вся чевенгурская власть строго персонифицирована. Но вот на очередном своем заседании чевенгурская верхушка принимает решение очистить город от остатков мелкобуржуазного элемента, под которым понимается практически все население города. И эта карательная акция свершается: город в прямом смысле становится пустым. Так было задумано для того, чтобы «пролетарское вещество», которое бесприютно бродит по окрестностям уезда, вошло в подготовленный для его жизни город, заполнило его и было от этого счастливо. Становится ясно, что при описании акции возникает «несостыковка» определенного рода, так как один товарищ Пиюся расстрелять из своего нагана тысячи согнанных на площадь жителей не может. Как образ воплощенной карательной идеи — может. Но в конкретно задуманной сцене описания расстрела нужен уже не образ карательной идеи, а образ натурального карателя, и в этом своем овеществленном качестве товарищ Пиюся как единственный исполнитель акции нереален. И Платонов, у которого все образы — это образы-идеи, единственный раз во всем романе нарушает избранный им принцип художественного воплощения. Реалистичность задуманной сцены расстрела требует от автора обоснования уже по суровым законам реализма. И в Чевенгуре, в первый и в последний раз, откуда ни возьмись, внезапно появляются солдаты. «В ночь на четверг соборную площадь заняла чевенгурская буржуазия, пришедшая еще с вечера. Пиюся оцепил район площади красноармейцами, а внутрь буржуазной публики ввел худых чекистов». Больше в романе никаких красноармейцев в чевенгурском мире и «худых чекистов» нет. Даже тогда, когда чевенгурцы принимают бой с кавалерийской бандой, товарищ Пиюся сражается без поддержки чекистов и красноармейцев. Потому что образы чевенгурцев — это образы-идеи, я бы даже сказал: некие фантомы, вписанные в жесточайшую реалистическую обстановку того времени.

Есть в произведениях Платонова и другие группы героев. Большинство из них — жертвы переломной эпохи. Это дети, женщины, старики, отдельные семьи и целые социальные пласты. Они мелькают бесплотными тенями, подобно душам умерших на дне Тартара, в центре которого бешеными темпами сооружается гигантский некрополь — Чевенгур.

3.

Старая русская интеллигенция была не только выразителем культуры, но и, что очень важно, носителем этических принципов и *этического мышления*. Как определенная функциональная часть общества, складывающаяся веками, именно интеллигенция препятствовала проникновению в высшие сферы

управления носителей мышления уголовного. Уголовное мышление я рассматриваю в этой статье не в прямом нашем (бытовом) понимании, а несколько шире — как свойство сознания совершенно определенного типа. Если в цивилизованном мире общественное сознание пользуется такими понятиями, как «мораль», «конституционное право», «духовный мир личности» и т. д., то речь идет о сознании этическом. Уголовное же мышление свойственно, скажем так, «доцивилизованному» периоду, полупервобытному, когда мышление еще не слишком поднимается над инстинктом, когда родовые или племенные общественные связи до предела просты и единственную и главную ценность для индивида составляет физическое ощущение жизни. Для носителя уголовного мышления не может быть борьбы только в сфере идей. Для него сама победа в духовной сфере означает физическое уничтожение противника. Потому и духовной сферы как таковой для него не существует.

Истребление старой интеллигенции было катастрофическим по своим последствиям именно потому, что, устранив физически носителей этического мышления, эту важнейшую функциональную часть общества заполнили носители мышления уголовного. Сталин уголовник не потому, что уничтожил миллионы людей: он уничтожил миллионы людей потому, что был носителем уголовного мышления. А его единомышленники и подручные? Ворошилов, Каганович, Молотов, Жданов, Берия, Мехлис и другие? Это была чистейшая селекция по типу уголовного мышления. И они победили, потому что им никто не противостоял. Некому было. А победив, возвели террор в норму внутриполитической жизни.

Ныне в нашей прессе приводятся страшные цифры. Покуда официальная статистика молчит, исследователи всех рангов и направлений пытаются доискаться до истины самостоятельно. Разброс большой, но один вывод можно сделать безошибочно: количество людей, пострадавших от внутриполитического террора, превышает потери от внешнего врага.

Любопытно, что масса людей, несмотря на то, что от хлынувшей информации просто некуда деться, предпочитает оставаться при прежнем заблуждении. Иллюзия им по-прежнему дороже знания. Почему? Дело в том, что сознание многих честных людей, проживших объективно адски трудную жизнь, как правило, бывает возмущено чудовищным обманом, который для миллионов и миллионов обернулся трагедией слепой веры. Перед примитивной ловушкой — одной на всех! — которую построил Сталин, разум советского человека немеет. Ибо, когда советский человек начинает понимать, что его святая вера и стала тем катком, которым его же и раздавили, его разум просто отключается. Такова расплата за слепоту.

У героев Платонова не было знаний и не было прошлого, поэтому им все заменяла вера. У нас уже есть и знания, и прошлое. Так какой же социализм мы построили?

На этот вопрос, который сегодня часто мелькает на страницах газет и журналов, Андрей Платонов дал исчерпывающий ответ еще в двадцатые годы.

Мы построили Чевенгур. Это не образ, это констатация факта.

Мы дожили до обессмысливания труда — это Чевенгур.

Мы кормились тем, что сама земля рождала. Она долго рождала, потому что мы владеем почти половиной всех черноземных земель мира. Но мы ее обесценили, привели в запустение. Даже в таком виде она еще продолжает нас кормить, однако мы каждый год сеем столько, сколько не в силах собрать и сохранить. Вместо того, чтобы однажды, увидев это, построить столько элеваторов и хранилищ, сколько нам требуется под урожай, мы продолжали десятилетиями производить, чтобы терять, а потом у чужих хозяев покупать на золото столько, сколько сгноили. Это — Чевенгур.

Мы сейчас ставим вопрос о создании правового государства, потому что семьдесят лет жили в неправовом обществе и уже устали от угрозы самоистребления. И мы делаем первую попытку защитить себя от себя. Это — тоже Чевенгур.

Мы только рассматриваем такие понятия, как «хозрасчет», «самоокупаемость», «аренда», «прибыль», «рынок», «гласность», «конституционное право», «демократия»... Они еще не стали нормой нашей жизни, мы только пробуем их на звучание. Мы еще и живем-то постарому, неловко примериваясь, с какой ноги шагнуть... Но уже — поляризация эмоций, неспособность формулировать эмоции в виде рассуждения и чрезмерное напряжение на полюсах.

Это — тоже Чевенгур. Мы еще никуда от него не ушли, и крепенький пенсионер товарищ Пиюся вечерами, возможно, прочищает свой старенький, но безотказный наган.

Чевенгур был порождением определенной структуры власти. Сложившись для того, чтобы стать рычагом строительства нового государства, сталинский аппарат власти в основном работал на обеспечение собственного воспроизводства. Не будь это в такой огромной и такой богатейшей стране, как наша, подобная модель политической деспотии, предоставленная самой себе, очень быстро бы исчерпала себя. Именно поэтому возникла необходимость политической реформы. Когда сегодня вопросы, требующие четкого политического и правового обоснования, переводят в сферу рассуждений о нравственности общества — мне становится не по себе. Накал

эмоций, ожесточенность, вспышки насилия, отчуждение людей друг от друга внутри общества — все это многим представляется неожиданным провалом в безнравственность, заставляет взывать к милосердию. Ближайшие и очевидные причины для обеспокоенности — а они есть! — закрывают главное: раньше само государство десятилетиями проводило самую безнравственную внутреннюю политику — политику обмана и насилия. Сегодня носителями безнравственности выступают отдельные люди и отдельные группы. Их много, но они трагическое следствие многолетней безнравственности тоталитарного государства. Оно было жестоким — и они жестокие. Оно признавало только культ силы и приоритет силы над разумом — и они признают только культ силы. Оно никогда не выбирало средств в отношениях со своими гражданами — и они не выбирают средств. Они его законные дети, внуки чевенгурцев. Но они не были так видны, потому что совмещались с той нормой, которая им самим государством и навязывалась. Сейчас норма чуть-чуть изменилась, чуть-чуть сдвинулась в сторону нравственного развития, и на этом контрасте воспитанники Чевенгура сразу стали видны.

Что же касается призывов к построению нравственного общества, то это, на мой взгляд, самое сложное из всего, что доступно пониманию человека. Это, может быть, конечная эволюционная цель любой общественной системы. Венец ее развития, потому что других целей сознание человека не знает. Призывы начинать именно с этого — утопия, повторение ошибки чевенгурцев. Но у них есть историческое оправдание: они были новорожденными. У нас такого оправдания уже не будет. Поэтому нам надо создавать такие общественные, политические и государственные структуры, которые бы надежно блокировали негативные тенденции и всякий крен в сторону самоистребительного прошлого.

Сейчас об Андрее Платонове много пишут. В частности, пишут и о «Чевенгуре». Попадаются определения типа «роман-предвидение», «роман-антиутопия». Все это не кажется мне удачным. Какое, простите, предвидение, если роман в двадцатые годы был написан, фактически написан с натуры? И почему антиутопия? Если это антиутопия по отношению к реальной жизни, то вся наша сталинская, по меньшей мере, историческая действительность — утопия? В том то и дело, что все это — и натура, и ее изображение — реальность. И форма мышления — реальность, и азбука символов, к которой мы готовы причислить уникальный язык произведений Платонова, — историческая реальность. Он и велик потому, что ему единственному из той эпохи удалось найти для отображения реальности адекватную ей языковую и понятийную систему. Потому-то и судьба у него своя. И если бы в словосочетании «социалистический реализм» определение «социалистический» имело не идеологическую начинку, а просто-напросто указывало на связь писателя с временным периодом, начавшимся после октября 1917 года, то я бы сказал об Андрее Платонове, что это жесточайший социалистический реалист. Или: жесточайший реалист начального периода эпохи социализма. Можно и так.

Сам Андрей Платонов как представитель своего поколения, судя по всему, полагал, что он участвует в созидательной работе невиданного масштаба и это созидание отображает. Если что иногда вызывало его протест, то это очевидные для него «технологические» ошибки, допускаемые при строительстве нового общества. Конкретно — недостаточное умение правильно распорядиться «социалистическим веществом». Он и писателям-то доказывал в статьях, что быть просто профессиональным писателем в таком деле нельзя. Надо быть непосредственным участником строительства — частью социалистического вещества, — тогда только увидишь и прочувствуешь, а стало быть, и напишешь без вранья. Он отрицал умозрительное постижение реальности. Он сам был ее частью.

Мы спустя почти семьдесят лет приступаем сегодня к тому же. Потому что создать нечто новое, более совершенное, чем предыдущее, и при этом не опираться на прошлый опыт — невозможно.

Судя по тем задачам, которые наше общество ставит перед собой сегодня, прошедшие семьдесят лет надо считать подготовкой, минимально необходимым (по историческим меркам) периодом для осмысленного подхода к задуманному.

У поколения Платонова были идея, вера и духовная энергия.

Идею мы сохранили, энергия у нас теперь промышленная, и ее гораздо больше, а веру мы слегка потеснили знанием, которое досталось страшно даже сказать какой ценой. Мы идем сейчас в нужном направлении: от ортодоксального восприятия марксистской идеи к научному. Но идем очень медленно вследствие огромной инерционности, заложенной в административно-командную систему, и непривычности нового маршрута, который и привлекает и смущает отсутствием привычных ориентиров одновременно.

Так что же тогда такое изображенный Платоновым Чевенгур?

Черная дыра. Чудом дошедшее до нас через десятилетия эхо погибшей цивилизации. Самый надежный ориентир, от которого надо уйти как можно дальше, чтобы больше никогда не попадать в губительное поле притяжения.

Как удержать лицо?

Конечно, это можно счесть комплиментом, но в данном случае, я думаю, это урон и размен на меньшее: читая Кураева, ловишь себя на том, что любуешься текстом. Мастерство письма. Ирония. «Внутреннее пространство» прозы. То есть перспектива «внутрь», фантастическое преображение объемов, извлечение миров из пылинки, стирание миров в пыль... Дьявольские контрасты. Под пение соловья в колдовском декоре питерской белой ночи вохровец-вертухай-расстрельщик рассказывает о том, как вот под это пение в благословенные прошлые годы он тут «брал», «сопровождал», «ликвидировал» — обыскивал, допрашивал, конвоировал, обеспечивал ликвидацию, докладывал об исполнении. Даже не в контрасте дело — соловьиного пения и того, как каркает этот деятель от «воронка», а в том, что соловьиное пение каким-то запредельным образом проникает в карканье, сплетается, сливается с ним. Уже все вам ясно, уже контраст сработал, и следить дальше не за чем,— однако Кураев мотает и мотает вам душу этой своей «чисто-грязной» мелодией, арабеской безумия и расчета, поюще-каркающим дуэтом. Ночная песня — ноктюрн — «Ночной дозор» — узор превращений и подмен. Узор запертой клетки. И не улетишь, и дышать нечем.

Уже в «Капитане Дикштейне» все это было нащупано и разработано — в первой повести Кураева, десять лет пролежавшей в столе (а может, десять лет писавшейся?) и в 1987 году со страниц «Нового мира» шагнувшей сразу в первый ряд русской мастеровитой словесности. И тоже морок, и тоже дьявольское смешение узоров: один — близкий, прямо у глаз, мелкий, бытовой: хождение гатчинского пенсионера Игоря Ивановича Дикштейна за три улицы в магазин; другой узор — далекий, где-то за пределами яви, хотя столь же филигранно-четкий: корабли Кронштадта, орудийные погреба, заряды, полузаряды, лотки, пояски, ролики, дьявольская пристальность к мелочам и дьявольская же «неразличимость» целого. И тоже любуешься — читательски — тонкой двойной арабеской и не понимаешь до поры до времени, как же тонколицый капитан Дикштейн из команды линкора «Севастополь» перейдет в состояние гатчинского пенсионера сорок с лишним лет спустя,— пока простейшим сюжетным ударом Кураев не вышибает тебя из эйфории «эстетического чтения» в простой читательский шок — так вдруг проваливаешься из сна в явь и трезвеешь от мгновенной догадки: о, как все просто!

Просто. После подавления Кронштадтского мятежа в 1921 году капитана Дикштейна расстреляли без суда и следствия — как офицера, захваченного с поличным, и какой-то кочегар взял себе его имя. Я не берусь взвешивать сейчас степень фактической вероятности такого сюжета; в конце концов в революционную эпоху «все возможно». Кочегара в числе других пролетариев мятежного флота сразу к стенке не ставят, а предварительно выясняют личность. Ему нужно любым путем выпрыгнуть из ловушки, то есть из своей конкретной котельной, из своего трюма на мятежном линкоре. И поскольку капитана Дикштейна он издалека знает, а также знает, что того уже пустили в расход без суда и следствия, сиречь без бумаг, и, значит, претензий к нему у Советской власти как бы нет,— то вся разворачивающаяся подмена получает фактическое обоснование... но я о другом: сильнее обоснования — читательский шок.

То, что кочегар на допросе назвался чужим именем — вполне в духе той полной магических переименований эпохи, когда Гатчина становится Троцком, Сашка Смоляничиков перекрещивается в Фердинанда Лассаля, а Костя Ведерников записывается Кларацеткиным. Стал человек Игорем Ивановичем Дикштейном — что такого? Однако в общем контексте кураевской прозы это переименование ставит всю четко прописанную картину как бы на край бездны. Вдруг понимаешь, что у кочегара раньше не было имени: Чубатый и Чубатый. Какая-то леденящая закономерность проступает в сцене, когда тройка следователей, небрежно поспрошав представшего ей арестанта, отпускает его, наскоро проштемпелевав имя и лицо.

Михаил Кураев. Капитан Дикштейн. Новый мир, № 9, 1987; Ночной дозор. Новый мир, № 12, 1988.

Нет, не Савл с Павлом вспоминаются при этом, хотя эрудированный автор предусмотрительно подсказывает нам библейскую аналогию. И даже не Шарик булгаковский, становящийся гражданином Шариковым,— хотя мотив кровавой операции, хирургической пересадки звучит в кураевской философеме. Нет, мне Гроссман вспоминается: его страшная метафора — когда сталинская империя сдирает кожу с ленинской республики и натягивает на себя, похищает слова, перехватывает фразеологию, овладевает именем, крадет лицо. Гроссмановская метафора помогает понять глубинный смысл кураевских узоров, хотя ткань тут другая, у Гроссмана вообще никакого узорочья нет, там — толстовская истовость и серьезность, а Кураев — весь из Гоголя, с чертовщинкой, с ухмылкой...

Вот послушайте:

«Что за чудо эта светлая необъятная тишина, утопившая в бездонной своей глубине грохот, звон, клекот, скрипы, лязги и натужный гул неугомонного города; тишина затопила все улицы, дворы, разлилась по пустынным площадям, обнаженным проспектам, затаилась в полумраке подворотен... Не будь этих подмигивающих друг дружке желтым глазом светофоров, не прошуми липким шелестом по умытому асфальту редкая машина, не рассыпься скрипучим стоном стая чаек над неподвижной водой, и город будет казаться уже не затаившимся, не спящим, а мертвым...»

Для наглядности я взял фрагмент, где Кураев почти калькирует гоголевский синтаксис, но дело ведь не в этих открытых и намеренных перекличках, иногда на грани шутливого полуцитирования,— дело в мироконцепции, извлекаемой Кураевым из Гоголя. Дело — в поведении рассказчика, который делает вид, что морочит читателю голову, а сам — исповедуется. Дело в том дрожащем просвете между повествователем и реальностью, в каком-нибудь одном лукавом словечке вроде «даже», или «в общем-то», или «отчасти» — когда возникает ощущение тайны и непредсказуемости, которую автор прячет за строем вещей, описанных с инвентарной дотошностью, с перечнями и описями. Но чем подробнее и пластичнее прописан «верх» бытия, тем потаеннее бездна, из которой являются и в которую уплывают картины «верха». Это не столько Гоголь «Миргорода» и «Диканьки», «Тараса Бульбы» или «Мертвых душ» (хотя стилистически легче оживить именно этого Гоголя), скорее уж это «Портрет», «Записки сумасшедшего» (да еще и пропущенные через «Записки из подполья», как засекли критики, и через «Двойник»). П е р е с а д к а л и ц а, в которой откликнулось отделение «носа»,— лишь внешний, сюжетно выставленный у Кураева стык миров,— в глубине превращение пострашнее.

Но о глубине как скажешь? «С Марсельезой Никифоровной мы сейчас знакомиться не будем,— улыбается Кураев,— о Марсельезе Никифоровие речь впереди...» Никакой речи и впереди не будет. А будет — вот эта лукавая улыбка рассказчика, который делает вид, что у него все действующие лица дергаются на ниточках, но как бы страшится открыть нам и себе ту бездну, н а д к о т о р о й они так послушно и даже весело дергаются. Когда-то В. Розанов передал впечатление от прихода Гоголя в странной метафоре: был Пушкин, была ночь, мороз, звезды, потом дьявол помешал палочкой, муть со дна поднялась — Гоголь.

Сверху резкая четкость, снизу муть — вариация Кураева.

Идет за пивом пунктуальнейший Игорь Иванович Дикштейн, гривеннички все пересчитаны, в очереди — порядок, в мыслях — тоже; снег, по которому он идет,— утоптан... а все же ощущение такое, что идет он по зыбучему песку или по облаку, и создает это ощущение Кураев всем строем своего повествования, сплетением узоров, когда из-под асфальта гатчинской улицы проступают могилы моряков, расстрелянных весной 1921 года, а из-под них — могилы тех безвестных архангельских, вологодских, ярославских мужиков, которые проложили на качающемся болоте эти линии и квадраты, возвели эти каменные ансамбли, дворцы, мосты, обелиски, скверы, набережные, крепости, форты... Это мираж? Реальность?

— Да была ли история у Гатчины?

— Что хотел сказать затерявшийся в бездне времен тот первый человек... кто назвал озерцо почему-то Хотчино?!

— Возможно ли устроить на этой неверной земле гнездо прочное и основательное, в «немецком вкусе»?

«Немецкий мотив» питерской симфонии откликается у Кураева поразительным эпизодом, когда оккупанты, уходя, предупреждают, что сейчас будут поджигать, и предлагают жителям приготовиться тушить, а сами, для очистки совести перед великой Германией плеснув все-таки на угол керосином и ткнув для проформы факелом, не оглядываясь, уходят...

«Немецкий вариант»: хаос, организованный д л я п р о ф о р м ы.

«Русский вариант»...

Но я не хочу искать формул. Формул нет — ни у Кураева, ни у меня, его читателя. Кураев дает не формулы, он дает напряжение реальности, ее дробление как бы в зеркалах, ее дрожание в неверном фокусе.

«Колеблющаяся стихия Кронштадтского мятежа»... Вы слышите? Трагические события марта 1921 года: восстание флота, штурм мятежной крепости, делегаты X съезда партии, идущие с винтовками по льду,— все это описано у Кураева со скрупулезной дотошностью «читателя исторических журналов» и опять-таки с чисто гоголевской страстью к реестрам и регламентам, под которыми — гоголевское же! — качание стихии. Правые? Ле-

вые? Не имеет значения. Оказался капитан Дикштейн на корабле — и пошел в мятежники, а мог оказаться в береговой артиллерии. Оказался в Кронштадте Чубатый — попал в восставшие матросы, а окажись в Питере — и попал бы в штурмующие цепи. Статистической волной смывает людей и в бунт, и в подавление бунта; все лозунги идут в котел, перемешиваясь, перевариваясь; матросы — вчера еще «краса и гордость революции», «надежда свободы», сегодня уже — «клешники», «жоржики», «иванморы», обезоруженные, поставленные к стенке... но приходит час, и к стенке становятся герои штурма: Тухачевский, Путна, Дыбенко, Рухимович, Бубнов, и сами имена их выскабливаются из истории. Да есть ли имя у кого бы то ни было в этой карусели? Есть ли лицо? Как удержать **лицо** в безликом потоке сменяющих друг друга, сминающих друг друга масс?

Удержать лицо — значит быть готовым встать к стенке: вот коллизия повести «Капитан Дикштейн». Спасти шкуру — значит потерять лицо. Слиться, смыться, влиться. Весь путь Чубатому — в массовую лаву — с его происхождением, с его татуировками и с этой песенкой, вынесенной то ли из Сергиева Посада, где вырос, то ли из «третьей котельной», куда загнала служба: «Среди поля ржаного родился от рабыни тиранов-господ, много-много для сердца младого уготовано было невзгод...»

Не те невзгоды выпали: нанесло на другой край. Назвался Дикштейном...

Один любопытный силуэт мельком проходит в «Капитане Дикштейне»: Гришка Бушуев, который во время оно «был опером и ходил на реквизиции», а ближе к войне, «став начальником тринадцатого отделения», выселил Игоря Ивановича Дикштейна из «прекрасной квартиры на Старопетергофском близ Обводного канала» и, «покончив с эксплуататором», вселился туда сам.

Воистину Игорь Иванович (переселившийся по той же логике в заштатную Гатчину) **мог бы** и сам оказаться в роли Гришки Бушуева, включая, конечно, и «реквизиции» во время оно. Иначе повернула все «колеблющаяся стихия» истории. Но Гришка, безвестный и безотказный винтик карающей машины,— засел в сознании Кураева.

В «Ночном дозоре» Кураев вытащил этого героя на авансцену. Под пение соловьев тов. Полуболотов поведал нам, как вел, как сдавал, как в засаде сидел, как акт составлял...

Самый страшный, самый главный, самый последний вопрос: откуда же все-таки взялись миллионы исполнителей? Кто «отдавал приказы» — это мы, с помощью историков, кое-как выяснили после XX съезда. Еще полдюжины съездов потребовалось, чтобы треть века спустя добраться до вершины пирамиды. После XXVII съезда мы одолели последнюю инстанцию: мы выяснили, что виноват Сталин. Все, выше нету. И, соответственно, дальше некуда. Дальше — вопрос о тех, **кому** можно было отдавать приказы. Не только в смысле социально-психологическом. Шире. Можно со всей скрупулезностью проработать карту «укладов», можно до процента вычислить состав «ленинского призыва», каковой и лег в основу сталинской силовой структуры,— но почему эта структура одолела и подчинила огромную страну, какой подпочвенный слой выдержал и принял на себя ее тяжесть, какой высший смысл в том, что вся эта ситуация вообще осуществилась на земле,— эти вопросы все-таки остаются.

Их и ставит сейчас новая проза, свободная от инерции прежних поколений. Об этом они думают: Пьецух, Толстая, Ерофеев, Попов, Кураев... На каком основании **все это** выстроилось? Где первоэлемент? Какая нравственная катастрофа вызвала на свет саму ситуацию, в которой гражданин Полуболотов получил возможность конвоировать других граждан? Откуда он взялся?

Михаил Кураев дает на этот вопрос, в частности, сугубо практический ответ, социально четкий: гражданин Полуболотов — из лавочников. С детства к крестьянскому обиходу сердце не лежало, а другого обихода не было. Кроме — «лакейского». Догадка существенная: не из неимущих составилась армия, не из пролетариев, которым, кроме цепей, нечего терять. А из тех, **близких** к пролетариату по степени моральной униженности, коим, однако, было что терять. И кои успели попробовать вкус того, что теряли. Будь то деревенская чайная, плохонькая и тесная, или городская парикмахерская «у Обводного канала», унаследуй ты ее от родителей или прихвати, женившись на наследнице владельца... **бывшего** владельца, которого мог бы повести, куда следует, Гришка Бушуев, а мог бы — и сам Чубатый... Но так вышло, что Чубатый на дочке бывшего женился. И водить бывших, куда следует, довелось вохровцу Полуболотову. Который «чуть» не унаследовал чайную.

Однако все эти социальные истоки не только не исчерпывают главного вопроса, а лишь обнажают его. Да и как исчерпаешь бездну? Кураев в «Ночном дозоре» только и передает — **оцепенение** (наше, общее) перед бездной. Расчет шагов возможного побега конвоируемого под пение соловьев. Отсюда — некоторое однообразие тона и ощущение тупика в этой щегольски написанной повести. Черт свое, поп свое — дуэт расписан, и не за чем следить, только терзаться на этом месте. «Ночной дозор» и есть такое терзание, кошмар, фиксированный эстетически.

Прорыв был все-таки — в «Капитане Дикштейне». Именно в той точке, вокруг которой мир поворачивается: в подмене имени. Чубатый, спасая шкуру, взял имя капитана Дикштейна, но спас не шкуру. Лицо, взятое напрокат, стало

прорастать в душу. Это таинство — открытие Кураева: прорастание духа жертвы в «шкуру» потенциального палача. Я не знаю, можно ли это назвать просветлением. Это что-то другое: зараженность, что ли. Пунктуальность, дух которой убит в капитане, очкарике, гардемарине, инженере,— вдруг пробуждается, прорастает в чубатом кочегаре, которому не к чему приложить этот дух в его «валкой» жизни... И он всю жизнь несет в себе этот перекос. Он наводит порядок в очереди за пивом, старается помнить, в каком кармане какой куртки какая лежит авоська... а очередь орет, а карманы перепутаны, и жизнь прожита тускло, жалко, по-чужому.

И все-таки — это просвет. Надежда. Надежда обрести лицо. Удержать лицо, подхваченное у другого,— жизнью расплатившись за подлог, ставший реальностью.

«Ах, Игорь Иванович... бездна моя... мой омут!» — вздыхает Кураев, глядя вслед герою, бредущему с авоськами,— за секунду до того, как тот, пораженный инфарктом, упадет на снег, и сорок пять лет спустя после того, как так же, «уже мертвым», упал на снег капитан Дикштейн,— тихий инженер, отдавший лицо и имя этому омуту, этой бездне, из которой — все мы и в которой для нас — все.

Л. Аннинский

Опознаванье Родины своей...

Лучшее, может быть, стихотворение в книге Нонны Слепаковой «Петроградская сторона» начинается по нынешним временам почти вызывающе: «День счастья, день Седьмого ноября...» Нынче ведь не принято воспевать всяческие празднества: литература занята критическим осмыслением пройденного пути и его итогов — до ликований ли тут, тем паче календарных! Между тем стихотворение, о котором идет речь, еще и называется «Праздничный путь» и заканчивается той же самой начальной строкой, лишь чуточку измененной. И немалая дистанция между этими строчками-близнецами — двадцать восемь пронумерованных девятистрочных строф. В старых учебниках поэтики такие девятистишия назывались **нонами**. Можно допустить, что обращение к этой форме (она используется еще в одном большом стихотворении — «Утренний путь») отчасти продиктовано и созвучием старинного термина с именем автора: своего рода зашифрованное авторское клеймо. Ибо «нонами», насколько мне известно, никто больше в наше время не пишет, да и о самом существовании такой формы мало кто помнит. С чьей-то легкой — или нелегкой? — руки подобного рода знания долгими десятилетиями считались у нас излишними, мне случалось видеть на одном семинаре, как молодые поэтессы краснели и потупляли глаза при упоминании о **мужских и женских** рифмах. Н. Слепаковой все эти знания лишними не кажутся, она поэт высокой профессиональной культуры, продолжающей в этом смысле лучшие традиции ленинградской поэтической школы.

Двадцать восемь раз по девять — это более двухсот пятидесяти строк — в сущности, поэма, а не стихотворение.

Нонна Слепакова. Петроградская сторона. Стихи Л., Советский писатель. 1985; Стихи. Л., «День поэзии», 1988 и 1989.

С младых ногтей нас учат: умейте писать кратко. Между тем писать **длинно** — и так, чтобы при этом не было водянисто и скучно,— тоже надо **уметь**. Н. Слепакова умеет писать длинно, потому что она умеет писать кратко. Ее стих энергичен и сжат:

Жди меня, Московский!
Жди меня, Финляндский!
Белым паром порскай,
Поездами лязгай!
Там березы статные
Скачут по России,
Все черноиспятнаны,
Словно псы борзые!

Ее художнический глаз приметлив и памятлив:

В зоопарке слоны и цапли,
Обезьяны и бегемот.
И обманчивые вафли
Продаются возле ворот:
С двух концов понемножку
крема,
А средина трубки — пуста.
Ни к чему штудировать Брема!
Посетите эти места!

Ее формулировки непредсказуемы и точны. В самом деле, почему большинство из нас так рассеянно и равнодушно пробегает ту эрмитажную галерею, где шеренгой развешены дивные тканые шпалеры французской работы,— ведь столько вложено в них труда, так изысканны переходы блеклых тонов! Только ли в том дело, что это искусство далеко от нас, от нашей жизни и быта, только ли в нашей невольной слепоте и глухоте?

Вот птица, готовая клюнуть.
Умчаться готовая лань.
Во всем повторить-переплюнуть
Картину старается ткань!
Но в этой кичливой работе
Таился предательский слом:
Искусство сникало в дремоте,
Себя усыпив ремеслом...

Кто-то, может быть, скажет: а не грозит ли подобная беда самой Н. Слепаковой с ее «ленинградской школой», с ее пристальным вниманием к форме, к профессиональной, «ремесленной», если хотите, стороне стиха? Нет, не грозит. Потому что мастерство здесь, как и полагается,— лишь слуга поэтической мысли и чувства. Вот стихи о юности, о первых поцелуях у ворот, о первых друзьях-мальчишках:

От них запомнилось немного:
Под вечер — полы пиджака,
Да чуть заметная тревога,
Да щеки вроде наждака...
И было небо голубое,
Была зеленая вода...

И хорошо, что мы с тобою
Еще не встретились тогда.

Точно, неотразимо и неожиданно: ведь обычно жалеют о том, что любимый, суженый не встретился раньше, все годы, прожитые до «главной встречи», кажутся потерянными, пустыми. А тут опыт умудренного сердца: для настоящей встречи душа должна созреть, случись та встреча раньше, до срока,— глядишь, и остался бы твой единственный человек одним из тех, от кого «запомнилось немного»... Впрочем, неблагодарная задача — объяснять и комментировать стихи. Поэтому просто без комментариев — три строфы из остросочеловечного стихотворения «Старухи»:

Я жалею старух бестолковых,
Я их бережно к дому веду,
Плоскостопых и разночулковых,
На разлапом утином ходу...
А ведь как же они раздражали
По отдельности и сообща!
И какими я их виражами
Обегала, подолом плеща!
Наступает жалеющий возраст,—
Словно платья изношена ткань
И щемящий, предчувственный воздух
Холодит через первую рвань.

И еще стихотворение о старухе. О той, что в краснокосыночной юности своей «вопросы решала с размаха и трудности хрумкала с хрустом», а заодно от всей души клеймила, когда надо, всевозможных «гадов ползучих, матерых». Нет, не о себе только думала, не для своей корысти старалась — она ведь и «себя не щадила, не только других не жалела», вроде бы в лад с эпохой жила:

За что же тогда ей досталось —
Была, значит, в чем-то промашка!—
Подробная, долгая старость.
Ее разрушавшая тяжко?
Она дотлевала огарком,
Иссохшая, вся в метастазах.
Совала рубли санитаркам,
Чтоб вовремя подали тазик...

Это не просто стихи о старческом одиночестве. Как и во многих стихах Н. Слепаковой последнего времени, здесь отчетливо звучит социальный мотив, беспокойная мысль о человеческой жизни, человеческом предназначении. Впрочем, социальные мотивы звучали в ее поэзии и раньше. В том же стихотворении «Праздничный путь». Нет, это не дежурная календарная ода, хотя в стихах воспроизводится хроника праздничного дня с утра до поздней ночи. Здесь и обязательная демонстрация, и восторг девочки, которой доверили нести двуручный транспарант — «с бухгалтером — и не простым, а старшим». И смятение директора, когда в ходе шествия какой-то неглавный портрет оказался впереди главного (дело-то происходит — не шуточки!— в сорок седьмом году). И торжественный — «височному внимая перестуку» — проход перед трибуной. И вечерний, еще не приевшийся салют, и гостеванье в семье дяди, и скудная роскошь праздничного стола, и концерт, который устроили для взрослых дети («старались мы, а вышло, что мешали»). И обо всем этом — с очень точным чувством: грусти, юмора, а главное, любви и нежности к людям, сумевшим и в труднейшие годы наполнить живым человеческим теплом казенный ритуал. Так было, тем во многом и жили в ту пору суровых будней и редких праздников, и все это вместе становилось «опознаваньем родины своей», как сказано в стихотворении Н. Слепаковой «Утренний путь», где с такой же тщательностью воспроизводится ежедневная дорога из дома в школу.

Когда-то Владислав Ходасевич открещивался в стихах от «грубой славы». В самом деле, разве ради известности пишет поэт, ради того, чтобы на него на улице пальцем показывали? Но порой бывает действительно непонятно: почему одни имена каждый день на языке у критики, а другие пребывают в тени? Далеко не всегда это определяется качеством работы. С Нонной Слепаковой тот самый случай. Она давно работает интересно и самобытно, ее книга «Петроградская сторона», на мой взгляд, одна из самых ярких в нашей поэзии за последние годы, ее стихи, публикуемые в сборниках и периодике, добавляют новые черты к облику поэта. А написано о ней, о ее книгах пока еще мало, статьи о проблемах современной поэзии обходятся большей частью без ее имени. Хотелось бы, пусть отчасти, восполнить этот пробел. Не столько в судьбе поэта, сколько в нашей критике, имеющей немало заслуг, но по-прежнему в чем-то ленивой и нелюбопытной.

Илья Фоняков

Нестареющие уроки

Многие идеи, еще вчера и позавчера почитавшиеся бесспорными, ныне сильно обесценены. Руководители разных рангов с конца 20-х по 80-е часто приводили в своих выступлениях подобранные к случаю цитаты из Ленина и Маркса, но практическими делами их не подтверждали. Преодоление дурной тенденции, которая вела к девальвации великих идей, требует марксистской просвещенности от всех причастных к трактовке и практическому воплощению теории научного социализма. Речь идет, разумеется, не о простом возвращении забытых цитат в руководящие речи и текущую публицистику, а о глубоком постижении классических истин, их «биографии», жизненного и научного контекста, взаимосвязей, конкретно-исторического содержания, их реального и возможного воздействия на теорию и практику обновляемого социализма. Надо ли специально оговаривать, что свою роль эти истины могут сыграть только в их изначальной, диалектической сути, не замутненные ложным истолкованием или элементарным непониманием.

Умным помощником в изучении марксизма, новейшего развития его философии и эстетики может стать для всех, кто к такому изучению склонен, трехтомное собрание сочинений Михаила Александровича Лифшица.

Вспоминаю «ифлийские» годы, когда лекции по эстетике нам читал автор рецензируемого трехтомника. К его приходу мы уже поднаторели в знаниях. В памяти у каждого из нас были накоплены к экзаменам цитаты или привычно составленные из них обобщения. В первый же час первой своей лекции Михаил Александрович начал сталкивать нас с накатанной колеи школярства, обогащая накопленные знания размышлением и пониманием. И тогда гегелевская «ирония истории» становилась многослойной и многоцветной. Марксовы истины начинали шуметь ветвями вечнозеленого древа жизни. Ленинская полемика обретала глубокий смысл, в котором теория неразделимо переплеталась с конкретной историей. Суждения классиков научного социализма об искусстве складывались в стройную науку.

И вот теперь трехтомник. Последовательность ученого остается нерушимой и в разделах об эстетических взглядах Маркса, и в литературно-философских очерках о Бальзаке и Вольтере, как и в работах о русских критиках, мифологии древних... И даже в дискуссионных выступлениях об упадке буржуазной культуры, о понимании модернизма, где Лифшиц имел особенно много оппонентов.

Научные интересы М. А. Лифшица необычайно разнообразны. Многие из его журнальных и газетных статей, в том числе очень весомо прозвучавших при появлении в «Новом мире», «Литературной газете», «Литературном критике», в трехтомник не вошли. Его содержание — при всех многостраничных экскурсах в историю философии — тяготеет к эстетике (не случайно Михаил Александрович был первым из советских ученых, собравшим столь полные и осмысленно скомпонованные сборники «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» и «В. И. Ленин о культуре и искусстве», переведенные на десятки языков и ныне изданные практически на всех континентах Земли). Свое тяготение к эстетике Лифшиц обосновывает и теоретически: эстетическая точка зрения, считает он, является в известном смысле точкой зрения марксизма, социалистический строй в своем реальном, неискаженном осуществлении глубоко эстетичен. Ведь это строй разумных кооператоров, товарищеской (не казарменной!) дисциплины, высокой производительности труда.

На основе внимательнейшего изучения истории искусства, эстетической, философской и общественной мысли М. А. Лифшиц приходит к принципиально важному выводу, определяющему направление его работы по эстетике: «Вся история общественной мысли показывает, что идейное содержание и общественная ценность эстетической теории всегда возрастали по мере того, как она выходила из узкого круга специальных интересов и обнаруживала скрытые в ней элементы социальной критики».

Опираясь на этот вывод, М. А. Лифшиц анализирует творчество Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, особенности «реальной критики», убедительно показывая, что русская художественная критика XIX века представляет собой явление по-своему уникальное. В силу особенностей общественного развития России Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов должны были стать и стали духовными наставниками своего народа, политиками, философами, идеологами, что не мешало, а помогало углублению их эстетических суждений, проницательности художественных оценок. На такую роль не могли претендовать ни Сент-Бёв, ни Ипполит Тэн, ни другие выдающиеся европейские критики, хотя каждый из них и оставил нам ценнейшее литературное наследие.

В 30-е годы М. А. Лифшиц был лидером борьбы против вульгарной социологии в литературоведении и критике, искажавшей, упрощавшей марксистское понимание классового подхода к литера-

---

Мих. Лифшиц. Собрание сочинений в трех томах. М., Изобразительное искусство, 1984—1989.

туре. Обращаясь к проблемам художественного освоения мира, вульгарная социология оставалась на позициях полного релятивизма. Что хорошо для крупного капиталиста, плохо для мелкого, еще хуже для крестьянина и т. д. Мир переменчив. Все течет, все изменяется. Следовательно, в искусстве и литературе все имеет относительную ценность только с точки зрения данного общества или класса, а то и какой-то социальной прослойки.

Естественно, сам М. А. Лифшиц, считавший релятивизм диалектикой дураков, как и все наши истинные критики, высоко ценил искусство в его глубинно социальном, нравственном содержании и художественных тонкостях. Дающийся в трехтомнике анализ произведений литературы и искусства сам по себе является существенным дополнением к его прямой полемике с вульгарной социологией.

М. А. Лифшиц рассматривает реализм как качество, извечно присущее истинному искусству (хотя во время — теперь уже давней — дискуссии о реализме многие литературоведы склонны были рассматривать реализм лишь как конкретно-историческое свойство искусства Возрождения и XIX века).

«В сущности говоря,— пишет М. А. Лифшиц,— вся история искусства была победой реализма над узкими классовыми воззрениями определенной эпохи, над утешительной ложью религиозной нравственности, над ограниченной программой свободы, выдвинутой в свое время тем или другим авангардом исторического движения—афинской демократией, средневековым рыцарством, городской буржуазией эпохи Возрождения. В этой победе реализма кроется удивительная тайна старого искусства. Его высокие образы, точнее — его изображения, родственны идеям современной демократии и социализма, хотя люди, создавшие их, были далеки от этих идей или понимали их совсем иначе».

Автор трехтомника убедительно раскрывает современность, злободневность идей и концепций классиков, рожденных потребностями дня, однако же сохранивших свое живое значение на многие десятилетия. Так в статье «Философские взгляды Чернышевского» он подчеркивает: «Ленинизм унаследовал трезвую наблюдательность старых материалистов от Эпикура до Чернышевского. В годы величайшего напряжения сил Ленин никогда не забывал о необходимости наглядно показывать народу выгодность каждого нового шага политики большевиков. Он преследовал всякое верхоглядство, всякую попытку отвлечься от элементарных потребностей масс. Нужно построить коммунизм руками обыкновенных людей, вышедших из недр старого общества, а не дожидаться, пока неизвестно откуда появятся чистенькие идеальные коммунисты. Нужно уметь торговать, пользоваться таким прозаическим рычагом, как деньги, хозяйственно рассчитывать, умело применять материальное поощрение. Так неустанно повторял величайший мыслитель-материалист нашего времени, отвергая сверхрадикальные фразы, административное хвастовство и всякое прожектерство — «сладенькое комвранье».

Если бы на статье, из которой взят этот отрывок, не стояли даты 1939—1943, можно было подумать, что она «перестроечная». Но автор трехтомника не притягивал старые истины к текущему моменту — просто он писал «по Ленину», опираясь на букву и дух ленинской концепции социализма.

Следуя этой концепции, М. А. Лифшиц резонно подчеркивает, что при всех недостатках, ошибках, просчетах практического строительства социализма одна из всемирных побед нашей революции состоит в том, что она заставила капиталистов пойти на уступки народным массам у себя дома и в колониях. Будучи вынужденными, эти уступки дали неслыханный толчок внутреннему рынку и позволили капиталистической промышленности нащупать золотоносную жилу.

Глубоко чувствуя потребности своего времени, М. А. Лифшиц в одной из центральных работ трехтомника особо сосредоточивается на ранних статьях Маркса о свободе печати. Он напоминает, что цензура прусского правительства требует от автора формы подобающей и скромной, хотя готова простить любую шероховатость, если тенденция автора нравится правительству. Цензура чрезвычайно придирчива к форме там, где тенденция автора не имеет предписанного законом характера. Эстетика цензурного законодательства навязывает писателю принципиальную посредственность. Истина всеобща. «Мое достояние — это **форма**, составляющая мою духовную индивидуальность. «Стиль — это человек» И что же! Закон разрешает мне писать, но я должен писать не **в своем собственном** стиле, а в каком-то другом». Стиль, который королевская цензурная инструкция считает законным, это стиль **неопределенного** однообразия, казенный серый стиль. «Если Вольтер говорит: «все жанры хороши, кроме скучного», то здесь скучный жанр исключает всякий иной».

Особое место в работах М. А. Лифшица занимают судьбы буржуазной культуры XX века, вернее ее упадка. В XX веке, подчеркивает М. А. Лифшиц, мы окружены различными видами духовной бутафории. Имитируют все — наивность революционного догматизма, детскую болезнь «левизны», которая становится чем-то вроде отдушины или разрядки, сопровождаемой кровавыми жертвами. Современный капитализм враждебен искусству не в том только смысле, что он по-вчерашнему душит истинное искусство. Отнюдь. Он обрушивает на массы, лишенные в прошлом веке широкого доступа к культуре, великое разнообразие имитаций и суррогатов «массовой культуры».

Именно в таком контексте ставил

М. А. Лифшиц вопрос о модернизме, в оценке которого он разошелся со значительной частью нашей и западной интеллигенции. Думаю, что этот «конфликт» далеко еще не исчерпан. Скажем, Лифшиц приводит слова известного критика, ветерана модернизма в Англии Роджера Фрая: «Мы испробовали на практике все возможные пути, мы отрицали все принципы, господствовавшие в искусстве прошлого, и этот процесс оставил нас совершенно парализованными, без веры и без всякого сколько-нибудь определенного понятия о том, как создается произведение искусства». Как их оценить «с позиций современности»? М. А. Лифшиц в своих оценках определенен: после второй мировой войны все эволюции новых течений стали еще более однообразны, лишены внутреннего огня, рассчитаны только на успех у буржуазной публики, которую так презирали модернисты первого призыва. Все это теперь — лишь бесконечное повторение пройденного, большей частью — сомнительная литературщина, крикливо злободневная, готовая на все ради внешнего эффекта.

В этих комментариях есть моменты действительно спорные, с жизнью не соединяющиеся. К примеру: только ли на успех у буржуазной публики рассчитаны все «эволюции новых течений»?..

Если бы попробовать вычертить кривую роста и падения популярности классиков и модернистов в той же музыке хотя бы за 60—70 лет нашего века, напоминает Лифшиц, наверняка получилась бы прелюбопытнейшая картина: ничто так скоротечно не проходит, как мода, и нет ничего более устойчивого в искусстве, нежели классика. Разумеется, эта кривая понадобилась бы нам не для уничтожения или осуждения моды, а просто для реального взгляда на историю, для выяснения истины, имеющей отношение к фундаментальным ценностям художественного развития общества и эстетического сознания народа.

М. А. Лифшиц в своих работах не однажды полемизирует с марксистами — философами и эстетиками старших поколений. Но делает это с глубочайшим к ним уважением, полным пониманием их значительности. «Такие фигуры, как Лафарг, Меринг, Плеханов, Луначарский,— подчеркивает он,— выходят далеко за пределы всякой школьной мерки. Если хотите узнать, в чем заблуждались они, сделать это легко. Но большинство людей понимает, что с такой легкостью вопрос не решается. Если перед нами действительно выдающийся деятель марксистского направления, как же он мог совершить столь детские ошибки, понятные даже тем авторам, которые читают ему нотации? И почему эти авторы, зная марксизм гораздо лучше Луначарского, не пишут более интересно и умно, чем он? Талант, конечно, дело великое, но странно было бы думать, что талант ведет к ошибкам, а правильная точка зрения — к бездарности».

Стиль, культура, интеллектуальная насыщенность полемики объединенных в трехтомнике работ М. А. Лифшица многое позволяют понять тому, кто к ним обратится в заботах о современном развитии нестареющих и ныне философских и эстетических идей марксизма.

А. Караганов

Из почты «Знамени»

Счета войны

«И все же, если бы я мог, из этих строк, во мне звучащих, зовущих ближнего любить, один костыль, но настоящий в опору раненому сбить». Так писал поэт Николай Доризо в 1943 году.

Чтобы сделать в 1989 году нормальные протезы молодому парню, которого привезли из Афганистана, сердобольные и энергичные люди из соцобеспечения (и то потому, что дело происходит в столице) добились отправки его в ЧССР.

А вот чтобы старика-ветерана той, Великой Отечественной войны везли за границу — о таком я что-то не слышал.

До сих пор мы не можем сделать настоящего костыля. Да что говорить, если, к примеру, протезному производству Российской Федерации ежегодно требуется 6400 кубометров липы, а в позапрошлом году ее поставили 3659 кубометров, из них пригодной оказалось лишь десять процентов. Только каждый двадцатый инвалид смог получить свою пудовую липовую ногу. И то, получил ли...

Это все счета войны. Военные счета — самые недостоверные.

Как ни старайся, не узнать точно, сколько людей прошло через войну, сколько погибло на фронтах, оказалось в плену, вернулось. Говорят, что это вина канувших в прошлое безжалостных времен. Но то, что мы не хотим знать сегодняшнего,— позор только наш.

Никто не знает числа ветеранов войны. Даже бесконечно уважаемые председатель Всесоюзного совета ветеранов войны и труда Кирилл Трофимович Мазуров и первый заместитель председателя Советского комитета ветеранов войны Алексей Петрович Маресьев число это лишь предполагают.

Когда решили к сорокалетию Победы наградить людей орденами Отечественной войны, не знали точно, сколько цветного металла выделять Монетному двору. Из тех орденов, что изготовлены, сколько вручено,— никто не скажет.

Тираж книжечек в зеленом ледерине, удостоверяющих участие человека в войне и право на льготы, определился тоже далеко не сразу. Назвать даже теперь истинное число выданных удостоверений некому.

Никто не сосчитал, сколько у нас всего инвалидов Отечественной.

Государственная статистика даже не выделяет их в отдельную группу, а содержит в общем числе инвалидов — детей-инвалидов, инвалидов с детства, инвалидов от общих заболеваний, инвалидов-военнослужащих от общих заболеваний, полученных во время службы, инвалидов-военнослужащих с правами на льготы (травмы, увечья, полученные во время службы в мирное время) и других.

Любой инвалид заслуживает сострадания, но речь идет о людях, кому мы обязаны всем, что имеем, о людях, с п а с ш и х с т р а н у.

Не хочу ручаться за результаты собственных подсчетов — опять же приблизительных,— могу только сказать: число инвалидов той войны составляет среди нас уже не проценты, а промилле — тысячные доли.

С каждым 9 Мая этих людей все меньше. Многих из них мы и так уже давно не видим — они живут, замкнутые в четырех стенах квартир и богаделен. Не всех интересует, как инвалиды войны доживают свой век. Более всего отвратительно то, что некоторых здоровых пожилых, относительно молодых и совсем молодых людей — и далеко не единицы — они раздражают.

Раздражают тем, что они есть — старые, немощные, больные, еще чего-то требующие или просящие. Или просто тревожащие нашу совесть.

Тем, что они все еще живы.

Неужели они не заслужили хотя бы уважительного к себе отношения?

— Я инвалид 1-й группы, на войне потерял руку и ногу, да и вторая рука не действует. Так что держаться за что-либо в городском транспорте нечем. Во время движения меня, естественно, бросает на других пассажиров. Нередко слышу: «Напился, так сидел бы дома». Обидно, но выгляжу я как здоровый — не будешь же демонстрировать свои недуги.

Это один пример нашего отношения к людям, которые уже почти пятьдесят лет мучаются тем, что они и не мертвы, и не целы.

Накануне объявили: в магазине «Свет» для инвалидов будет производиться запись на стиральные машины. Уже в пять часов возле магазина стала выстраиваться очередь. А чтобы в очереди был порядок, завели «черный список».

В девять утра, как только магазин открылся, в кабинет директора вошел (?) человек без ног.

— Плохо мне, не могу больше, запишите без очереди.

Директор, зная силу «черного списка», решила посоветоваться с очередью:

— Товарищи, давайте пропустим... он же без ног...

— Все без ног! — дружно зарычала очередь.

Да что ж это такое?! Или мы совсем с ума посходили?

Пожилые люди легко ранимы. В отличие от тех, кто моложе, они перенесли побольше, а у них на пиджаках не пришиты ленточки тяжелых, средних и легких ранений, по которым любой мог бы понять, чего стоит человеку продолжать жить. Конфликты очевидны. Но во все времена и во всех странах любой пожилой человек пользуется уважением.

К. Т. Мазуров на первом Съезде народных депутатов СССР не мог не сказать «об одном дефиците, о котором никто не говорил: о дефиците благодарности ветеранам, которые обеспечили победу в Великой Отечественной войне, обеспечили всем нам и нашим детям мирную жизнь. А живут они, извините меня, в очень тяжелых условиях».

Люди войны уходят от нас, стареют физически быстрее нас, не воевавших по-настоящему. Не зря число инвалидов войны последние пять лет держится на одном уровне — взамен уходящих в мир иной приходят люди, у кого только сейчас начинают давать знать о себе ранения, на которые они почти пятьдесят лет не обращали (или делали вид перед окружающими) внимания. За почти пятьдесят лет не у всех сохранились справки о ранениях, переписка с Военно-медицинским архивом доступна только хорошо грамотным людям, а воевали люди и не очень грамотные, но умевшие владеть оружием и переносить все то, что связано с окопами, наступлениями и окружениями. Все это истина. Число инвалидов Отечественной войны еще лет пять будет держаться на том же уровне — за счет пополнения.

Хорошо, что рядом мы и можем помочь составить заявление, просьбу, часто почти униженную, в Совет, на телефонную станцию...

Филипп Иванович Лопухов зимой сорок второго года от цинги в окопах потерял зубы. После контузии, случившейся при минометном обстреле в сорок третьем, потерял начисто слух. Служил он в колхозе пастухом. Часто плакал, пьяный, в траве: «Рокоссовский!» Так и жил без малого сорок лет, не зная даже, что ему положено. Считал: слава богу, живой.

А было ему положено довольно многое.

Как следует из Советской военной энциклопедии, изобилующей портретами псевдовоинов в осьмушку страницы, в полстраницы, он должен был бы знать, что «положение инвалидов войны из числа трудящихся в эксплуататорском обществе является крайне бедственным». А у нас положение иное: «инвалидам войны 1-й и 2-й групп предоставлена 50-процентная скидка в оплате жилой площади и коммунальных услуг (за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией)». Без малого сорок лет Филипп Иванович не то что меньше платил за водопровод — он этого водопровода так и не увидел.

«Для трудоустройства инвалидов войны устанавливается бронь (в пределах до 2% общей численности рабочих и служащих для каждой отрасли народного хозяйства). Их принимают на работу с неполным рабочим днем, с оплатой труда по фактической выработке или соразмерно проработанному времени». Наверное,

Филипп Иванович случайно не попал в эти два процента, и потому день рабочий у него был раза в полтора-два длиннее полного, а оплата труда шла далеко не соразмерно проработанному времени.

«Всем инвалидам войны предоставлено право бесплатного проезда на всех видах городского транспорта (за исключением такси), городских речных переправах, судах внутригородских и пригородных линий, а также на автомобильном транспорте общего пользования (за исключением такси) в сельской местности в пределах административного района по месту жительства». Я не представляю себе Филиппа Лопухова ни на одном из видов транспорта... А ведь у него был орден Александра Невского, у капитана Лопухова.

Кому теперь нужны эти два процента и проезд не на такси? Завтра для многих может не наступить, это же просто. Ну, Лопухов жил в деревне, куда добираться собесу трудно.

«Всех нас, инвалидов 1-й группы, объединяет одно несчастье: невозможность передвигаться на своих ногах. Мы вынуждены проводить долгие дни и годы часто в одиночестве, вдали от общества и происходящих событий. Единственное, что дает нам возможность связаться между собой, с внешним миром,— это телефон. Он «заменяет» ноги. В 1989 году в Воронеже внедряется система повременного учета стоимости телефонного разговора. Придется расплачиваться последним куском хлеба».

Вообще, когда нормальные люди принимают нововведения, они прежде всего думают о тех, кто менее всего социально защищен, даже социально беспомощен. Маркс, с беспощадной резкостью критикуя лассальянцев за идею «неурезанного трудового дохода», распределения поровну, предполагал «фонды для нетрудоспособных и пр., короче то, что теперь относится к так называемому официальному призрению бедных» [1].

А вот чиновники из Минсвязи не думали о людях, существующих на социальные гроши.

Список неблагодарностей можно продолжать до бесконечности.

Смоленская область, Ельня. Зима. Может быть, хорошие люди, но недалекие объявили по местному радио, что из-за нехватки гречки, вареной колбасы, конфет и пылесосов (товаров народного потребления повышенного спроса) инвалиды войны будут «отовариваться» по месту жительства, для чего следует явиться за талонами в собесовское учреждение. Я приблизительно знаю, сколько инвалидов в Ельне и ельнинских деревнях. За талонами явилось всего девять человек. Многие не имеют радио, многим не добраться до Ельни, а некоторые просто выругались да не поехали.

Неужели не нашлось райкомовской машины, которая объехала бы стариков и «отоварила» их? Ведь среди них и такие, кто открывает замок зубами, потому что руки не работают, и зубами же выносят ведро-парашу в тридцатиградусный мороз на улицу? Те, кто продолжает жить в подобии жилища рядом с особняком райкомовского работника?

Удобнее, неизмеримо проще в праздник над братскими могилами восклицать: «Никто не забыт!» Труднее действительно помнить, жалеть несчастных живых людей, которые нуждаются и в той же гречке, и в простом добром слове.

Они воевали, были ранены — пулей, осколком снаряда, мины, взрывной волной, засыпаны землей... Кто так, что сразу был изуродован, кто не сразу.

Кто не сразу... Недомогания приходят к каждому старому человеку, но к фронтовику они приходят значительно быстрее: с годами дают себя знать старые раны, контузии, о которых в горячке боя, в медсанбате стеснялся сказать молодой парень, теперь ставший никому не нужным стариком.

Кажется, первый из русских, кто обратился к инвалидной теме, был Сумароков в «Безногом солдате»:

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 19, стр. 12.

Солдат, которому в войне отшибли ноги,
Был отдан в монастырь, чтоб там кормить его.
А служки были строги
Для бедного сего.
Не мог там пищею несчастливый ласкаться
И жизни был не рад,
Оставил монастырь безногий сей солдат.
Ног нет; пополз и стал он по миру таскаться.

Наверняка мало кто знает, что престарелые инвалиды у нас, в СССР, содержатся в бывших монастырях. Из 250 тысяч содержащихся в богадельнях России немощных людей, причем половина их тяжелые, лежачие больные, только 78 тысяч живут в приспособленных зданиях. 13 тысяч располагаются в ветхих помещениях, 15 тысяч обходятся без водопровода. До положенных на душу квадратных метров дело долго еще не дойдет — пока что каждая «душа», попавшая в богадельню, имеет на два метра меньше. Речь идет о двух квадратных метрах на несчастную душу. Именно о двух квадратных метрах, как на могилу!

В 1988 году на строительство домов-интернатов для инвалидов и престарелых Госплан РСФСР выделил 226 миллионов рублей. На самом деле 163 миллиона из них направлены на другие цели. А капитальные вложения в лучшем случае осваиваются, как известно, лишь на 50 процентов.

Очередь в дома-интернаты, куда человек идет, потому что ему больше идти некуда, не уменьшается, а в ближайшие годы даже станет расти. В 1975 году домов-интернатов для престарелых и инвалидов-взрослых было 1215, в 1987 году — 1192. Знающие люди понимают, что закрылись дома эти из-за крайней ветхости и невозможности жить там. А в то же время, по официальным данным Госкомстата СССР, число мест в этих домах увеличилось с 283 тысяч до 330 тысяч. Как же так? Пристройки, что ли, сделали? Нет, в комнаты добавили еще по одной койке, вот и все.

Выплаты и льготы, полученные населением страны из общественных фондов потребления, в 1987 году составили 162,8 миллиарда рублей. На что они пошли конкретно? Вам скажут: на просвещение — 41 миллиард, на здравоохранение и физкультуру — 22,2 миллиарда, на пенсии — на 51,7 миллиарда, на пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на рождение ребенка и по уходу за ребенком до одного года, на детей малообеспеченным семьям — 15,2 миллиарда, расходы государства на содержание жилого фонда (в части, не покрываемой низкой квартирной платой) — 10,4 миллиарда рублей. Сколько же досталось инвалидам Великой Отечественной войны, неизвестно.

Давайте задумаемся над числами.

Выплаты и льготы в расчете на душу населения у нас, к примеру, в 1987 году составили 576 рублей, то есть рубль и пятьдесят семь копеек в день.

Расходы государства на одного учащегося в расчете на год в общеобразовательных школах — свыше 280 рублей, в средних учебных заведениях — 876 рублей, в вузах — свыше 1300 рублей. На содержание одного ребенка в дошкольных учреждениях в год расходуется 544 рубля, при этом более 80 процентов этой суммы оплачивает государство. На содержание одного больного в стационаре государство выделяет ежедневно 12 рублей. А сколько государство расходует на содержание инвалида Отечественной войны в бывшем монастыре?

Американские ветераны вьетнамской и других войн получают в среднем в год 3—4 тысячи долларов. Если у них есть иждивенцы, то до 5 тысячи долларов. Предоставлением тех или иных льгот ведает Управление по делам ветеранов, находящееся в Вашингтоне. А ветеранов в США сейчас свыше 27 миллионов, из них инвалидов войны — 2 миллиона. На нужды ветеранов в 1989 году выделено 29,6 миллиарда долларов.

В ФРГ жертвам войны, как их там именуют, ежегодно выделяется более 10 миллиардов марок.

У нас делами инвалидов войны занимается много ведомств, но именно инва-

лидами ни одно из них. Пенсии бывшим офицерам платит Министерство обороны через военкоматы, а бывшим солдатам, сержантам, старшинам — учреждения собесовские; у МВД своя система, у КГБ своя. Здравоохранением занимаются тоже все — и военные ведомства, и Минздрав, а хороших слуховых аппаратов и источников питания к ним ни у тех, ни у других нет. Качество зубного протезирования, мягко говоря, слабое. Протезированием конечностей занимаются республиканские Минсобесы, а почему-то не органы здравоохранения. Так необходимые инвалидные коляски в России, например, делает Ставровский автотракторный завод во Владимирской области. Но так как он все-таки автотракторный, даже попытка переоборудования и расширения отдельных участков для выпуска колясок по лицензиям всемирно известной западногерманской фирмы «Майра» не удалась по-настоящему.

Сегодня в западном мире существует более 2000 видов колясок и различных приспособлений для инвалидов. В нашей стране — 24.

Конечно, мы не так богаты, как США или ФРГ, но и не так бедны, как Россия времен Сумарокова.

При чем здесь богатство или бедность, если, скажем, в Москве на 12 000 беспомощных, одиноких, не встающих с постели пенсионеров всего 200 патронажных медсестер?

Нынче в ходу слова «остаточный принцип», «приоритеты». Но какими словами можно назвать то, что в Садовском доме-интернате (Аннинский район Воронежской области) нет врача, нет автотранспорта, не хватает — из-за низких ставок — кухонных работников, бездействуют лифты, стариков задавили бомжи, а сам этот дом в шести километрах от ближайшего села?

Вспомоществование государства — не милостыня на паперти, а положенное по закону. Почему же инвалид не требует, а часто умоляет снизойти до его бед? Ущемляют людей, о которых, кроме государственной, никакой другой заботы нет. Нельзя забывать об одной особенности психологии одиноких пожилых людей: им не так страшно жить в одиночестве, как страшно в одиночестве умереть,— потому они так стремятся попасть в дом для престарелых. Государство гарантирует уход за брошенными стариками, но соблюдается ли гарантия? Если нет какого-то единого ведомства по делам беспомощных людей, разве могут эти люди юридически себя защитить?

Кажется, уже лет восемнадцать строится комплекс зданий Восстановительного центра в Москве, и конца строительству не видно.

Социальный работник, помогающий десяти инвалидам на дому, получает разве что не пенсию — 90 рублей; если же у него хватает энергии обслужить лишь пятерых,— то 45 рублей.

В столице и крупных городах есть хоть что-то, а на селе вообще ничего нет: ни патронажа, ни распределения дефицита, ни продуктовых подачек к праздникам...

Но почему же районному и партийному, и советскому, и медицинскому аппарату, пусть раз в полгода, не объехать стариков, чтобы выяснить, в чем они нуждаются, какие у них заботы! Ведь заботы удивительно просты, а для помощи не требуется капиталовложений из госбюджета.

Многим инвалидам войны показаны (я пользуюсь собесовской и медицинской терминологией) автомобили. Конечно, мы не принадлежим к числу шести стран мира, где на тысячу жителей (включая стариков и детей) приходится от 600 до 400 автомобилей. Среднестатистически это означает, что машина есть в каждой семье. В СССР — менее пятидесяти машин на тысячу жителей. Но можем ли мы сказать, что каждый инвалид Великой Отечественной наделен «Запорожцем» или ущербной мотоколяской?

Пока нет ни «Оки», ни «Таврии», которые более всего были бы удобны инвалидам. У них возникают трудности, о которых здоровый и среднеобеспеченный человек никогда и не догадается. Человек получает небольшую пенсию, на которую с каждым годом в условиях инфляции жить все труднее. Ему выделили автомобиль, с помощью которого он просто продолжает жить. Автомобиль, так как он принципиально не совершенен, ломается. За какие копейки доставить ему «Запорожец» на станцию техобслуживания? Нет у него этих копеек...

Конечно, у других, а не у себя, все лучше. Но присмотримся все-таки к действительно лучшему.

В Польше, как и у нас, в метро инвалиду на коляске не попасть: турникеты, эскалаторы... Но нашлись люди, которые начали проектировать специальные лифты для инвалидов.

В Чехословакии созданный более сорока лет назад Союз инвалидов — единая добровольная организация, входящая в состав Национального фронта ЧССР,— добился, что без его согласия государственная комиссия не примет у строителей ни одно здание культурно-массового назначения, если в нем нет специальных мест для инвалидов. Союз инвалидов распоряжается предоставлением инвалидам льготных путевок в центры реабилитации и дома отдыха. В его ведении четыре специальные автошколы для людей с физическими недостатками. В Чехословакии уже есть дома, где в отдельных квартирах нет дверных порожков, а в ванных комнатах, на кухнях и в туалетах сделаны специальные приспособления, облегчающие быт инвалида. Принято решение строить на каждую тысячу квартир таких пять, и это получило силу закона для проектных и строительных организаций.

В ГДР необычайно хорошо поставлена патронажная служба. В электричках там есть вагоны, оборудованные так, что инвалид на своей коляске может и подняться, минуя ступеньки, и выехать. Не говорю о пандусах в подъездах домов — это вещь обязательная.

Мы же лишь рисуем в метро трафареты: «Места для инвалидов и пассажиров с детьми». На большее просто не достало ума и совести. И сами же, здоровые и без детей, сидим на этих местах.

Конечно, люди озлоблены неурядицами, бестолковостью... Чем только не издерганы! У окошечка в сберкассе инвалида, кстати имеющего право на обслуживание без очереди, оскорбят так, что он, добравшись до дому, вызывает «скорую». А юнцы из ПТУ и техникумов, которым стипендию платят через сберкассу (чтобы в выплатные дни их не обирали мастера), выдадут инвалиду такое...

С трибуны XIX партконференции прозвучали справедливые слова: «Прежде всего о социальных правах личности. У нас сложилась разветвленная система заботы общества о человеке, но на нынешнем этапе развития мы видим ее слабости и недостатки». Кто же превратил эту систему в недостойное собрание ни за что не отвечающих ведомств?

Мы настолько привыкли к безответственности, что она уже становится самой яркой нашей чертой.

Не надо обманывать никого и прежде всего самих себя. Тем более в ходе истинной перестройки. Выплаты и льготы из общественных фондов увеличились в 1986 году — в начале нового курса партии — по сравнению с 1985 годом на 1,04 процента. В 1987 году по сравнению с предыдущим, 1986-м,— на 1,03 процента. В 1988 и 1989-м эта тенденция, очевидно, сохранилась, но официальных данных Госкомстата мне получить не удалось: они медленно обрабатываются и медленно издаются, но ведомство, конечно, в этом менее всего виновато.

Экономисты спорят о количественных показателях роста инфляции в стране, но само наличие ее наконец-то признано. А началась она достаточно давно. Весь цивилизованный мир вводит коэффициенты, увеличивающие заработную плату в соответствии с темпами инфляции. Только не мы, а ведь у нас человек среднего достатка уже ощутимо испытывает на себе, без помощи спорящих экономистов, ее груз. Инвалиды же с позорными для нашей страны-победительницы пенсиями это ощущают как следует.

Конечно, критиковать легче всего. Легче хаять бездарность и возмущаться несправедливостью, чем выдвигать конструктивные предложения, просто что-то делать, пусть и малое.

Но речь о другом: как пробудить у людей совесть?

Первый в России инвалидный дом — так называлось то, что сейчас именуется домом-интернатом для престарелых и инвалидов-взрослых,— был учреж-

деи при Екатерине II — Каменноостровский. При Николае I появились значительные по числу призреваемых инвалидные дома, названные военными богадельнями: близ Санкт-Петербурга — Чесменская, близ Москвы — Измайловская.

К 1900 году только в одной Москве было 628 благотворительных заведений (427 для взрослых и 201 для детей), а Измайловская военная богадельня за Семеновской заставой принимала на полное содержание отставных военных — увечных, признанных неспособными к добыванию пропитания трудом и не имеющих средств к существованию. В богадельне было 437 мест: 15 — для офицеров и 422 — для нижних чинов. Преимущество отдавалось раненым, Георгиевским кавалерам и награжденным крестом ордена святой Анны. При богадельне был семейный инвалидный дом для бесплатного призрения пяти офицеров и сорока двух нижних чинов с женами и детьми, приют для семейных вдов инвалидов из нижних воинских чинов и школа для детей инвалидов и вольнонаемной прислуги богадельни.

Позже появились Лопухинский дом призрения инвалидов в Порховском уезде Псковской губернии, домик для двух инвалидов при памятнике на Бородинском поле, караульные домики при памятниках в Красном Смоленской губернии и в Класницах Витебской губернии, караульный домик для одного инвалида при памятнике над прахом погибшего в 1812 году генерал-майора Кульнева в деревне Сивошино Витебской губернии, инвалидные приюты (хутора) для инвалидов Черноморского флота — 21 возле Николаева и 7 возле Севастополя...

За счет каких средств существовали приюты, богадельни?

Огромные средства добыл родившийся в Вольмаре, окончивший курс Иенского университета евангелист П. П. Пезаровиус. Он основал Инвалидный капитал — то, что мы теперь называем фондами,— детским, культуры, здоровья и милосердия и т. д. Павел Павлович, как его звали в России, Пезаровиус служил в комиссии составления законов и в юстиц-коллегии. Кстати, он участвовал в составлении Устава об общественном призрении, более чем на столетие законодательно утвердившем и право людей на благотворительность, и обязанности перед призреваемыми. Конечно, мы сейчас еще строим правовое государство, потому ничьи обязанности и ничьи права в отношении теперешних призреваемых даже Конституцией не обозначены. Но это можно исправить, взяв за основу первую книгу тринадцатого тома Свода законов издания 1892 года.

Пезаровиус решил помочь жертвам Отечественной войны 1812 года — больным и раненым, возвращающимся в Санкт-Петербург. Не располагая средствами и не имея определенного плана, он задумал издавать газету «Русский Инвалид», с тем чтобы весь доход от нее, за вычетом издержек, «употребить на вспоможение инвалидам, солдатским вдовам и сиротам».

Мы с товарищем, у которого тоже погиб отец на фронте, были ошеломлены, когда в Госкомиздате СССР разговаривали с одним из заместителей председателя этого комитета. Мы говорили, что необходимо издавать периодический бюллетень «Поиск», с помощью которого фронтовики могли бы найти друг друга, а мы, сыновья погибших, найти могилы своих отцов, а также их друзей и товарищей. Он ответил, что это никому не нужно, бесполезно, «стрельба по пяткам», «ветераны мрут, потому затея неперспективна». А ведь перед нами сидел ветеран войны и даже инвалид!

Но нам-то дорога память об отцах. Нам! И, надеемся, нашим детям, внукам. И мы хотели бы делом помочь тем, кто остался жив и нуждается в помощи.

А Пезаровиус так устроил, что газета «Русский Инвалид», первый номер которой вышел 1 февраля 1813 года, стала самой популярной в стране. Через год неприкосновенный капитал составил 395 000 рублей. К 1821 году Пезаровиус передал комитету вспомоществования инвалидам войны 1 032 424 рубля.

Прибыток благодаря добросердечию жертвователей и чиновничьему уму рос потрясающе. Жертвовали многие, а государство определило, за счет чего увеличивать капитал из казны. К примеру, кроме пожертвований и процентов с капитала, в инвалидный капитал шли вычеты, отчисления: «10% от всякого рода единовременных денежных выдач с дополнительного вознаграждения, назначаемого в пользу акцизных чиновников, с сумм, происшедших от конфискации и денежных пеней по таможенной части, с присвоенных некоторым должностям, сверх содержания от казны, особых доходов — от городов, от приходящих к портам кораблей и проч., и с единовременных пособий, жалуемых вместо пенсий чиновникам и семействам их, когда пособие превышает 142 рубля 95 копеек». Всех статей поступлений в инвалидный капитал здесь и не перечислить.

А куда поступают у нас конфискованные средства, к примеру? В том числе и по таможенной части? Опять в общий котел, вокруг которого инвалиды стоять, а тем более протолкнуться к нему, не в силах.

Долгое время к понятию, да и к самому слову «филантропия» (человеколюбие) мы относились крайне отрицательно.

Тон был задан, как ни странно, коммунистами марксовых времен. Поль Лафарг, блестящий писатель и полемист, один «из самых талантливых и глубоких распространителей идей марксизма», по оценке Ленина[1], назвал в своем памфлете «Благотворительность» филантропию позорной: «У буржуазии частная благотворительность вновь в чести. Одни занимаются ею для того, чтобы эксплуатировать жертвователей, чтобы делать филантропические гешефты с жилищами для рабочих из 6 процентов, чтобы устраивать общественные подписки, доход с которых достается им самим; другие — ради развлечения. Благотворительность служит буржуазным дамам предлогом для сплетен и интриг в комитетах, устраивающих благотворительные празднества, и для танцев, флирта, поглощения конфект и шампанского на благотворительных балах и базарах».

Филантропия существовала с очень давних времен и существует во всем мире поныне.

Эндрю Карнеги, один из крупнейших американских капиталистов конца прошлого века, основал филантропический фонд «Карнеги корпорейшн оф Нью-Йорк». Семья его, обеднев, эмигрировала из Шотландии в Соединенные Штаты перед Гражданской войной. Карнеги тогда было 25 лет. В США Карнеги, в прошлом мальчик-разносчик шпуль на хлопчатобумажной фабрике, к 33 годам контролировал несколько крупных компаний. Однако его занимали не только бизнес и жажда наживы. В молодости он записал для себя, как явствует из бумаг, найденных после его смерти: «...Сверх этого никогда не зарабатывай, не делай усилий увеличить состояние, а... трать излишки на благотворительные цели».

Эндрю Карнеги, сделавший колоссальный бизнес на стали и угле, хитрый финансист и откровенный эксплуататор, все свое состояние отдал на благотворительные цели.

За эксплуатацию трудящихся мы не можем не осуждать его. Но ведь все нажитое, пусть хищнически, он отдал людям.

Конечно, можно, как Чернышевский, объяснять любую добродетель эгоизмом или рассуждать, как Джон Стейнбек: «...жертвование может дать то же чувство превосходства, что и получение, и филантропия может быть одной из форм скупости».

Для того, кому жертвуют, наверное, все-таки важнее само пожертвование, чем его мотивы.

Любопытно, что Российский Устав об общественном призрении законодательно запрещал принимать пожертвования от лиц, скомпрометировавших себя тем или иным образом...

У меня есть братья — Александр Удодов, живущий в Запорожье, и Петр Гериев, живущий в городе Орджоникидзе: наши отцы вместе воевали в 175-й танковой бригаде 25-го танкового корпуса и погибли. Что же мы, три брата, можем сделать для живых товарищей наших отцов, искалеченных войной?

У нас есть давняя российская традиция — опыт милосердия. Грех не возродить эту традицию, не воспользоваться накопленным опытом. Надо создать фонд конкретной помощи инвалидам Отечественной, и, думаю, заняться этим должны по всей стране мы, дети и внуки солдат войны.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., том 20, стр. 387.

Такой фонд прежде всего объединил бы людей, стремящихся помочь инвалидам. Уверен, что таких людей немало,— почти каждая наша семья потеряла кого-то на войне.

Нужно изыскать средства, чтобы одна патронажная сестра приходилась не на 200 человек, нуждающихся в помощи. Сейчас в огромном доме с тысячным населением живет, как я подсчитал, всего один инвалид войны: о нем просто не знают. Неужели из тысячи человек не найдется несколько добросердечных женщин, готовых взять на себя роль патронажной сестры?

Думаю, не останется в стороне и церковь. В наши дни церковь в милосердии — самая конкретная организация: на свои деньги, своими рабочими, из своих строительных материалов помогает ремонтировать старые богадельни и строить новые. Иначе, как утверждает митрополит Мефодий, помогающий немощным Воронежской области, денежные взносы церкви в какой-либо фонд, на какой-нибудь счет безлики, это «холодная, черствая форма милосердия».

А пожертвования... Жертвователями станут и отдельные люди, и общественные организации.

Если фондом будут ведать толковые, предприимчивые специалисты, они сумеют организовать и благотворительные аукционы, лотереи, концерты, выставки.

Может быть, прибылью от издания популярной газеты «Ветеран» тоже можно поделиться с инвалидами войны?

Фонд необходим. Он защитит инвалидов войны социально и юридически, поможет им в меньшей степени ощущать себя покинутыми, хоть как-то скрасит самые тяжелые — последние годы жизни. Может, хоть на старости лет инвалид получит наконец-то нормальный протез и хороший слуховой аппарат.

Помощь ближнему во все времена считалась одной из главных добродетелей — и в самые суровые дни, и в дни процветания. Неужели мы не соберемся вместе, чтобы помогать инвалидам Великой Отечественной войны?

Валерий Куплевахский,
подполковник запаса

Печатая это письмо, редакция надеется, что читатели поделится с нами размышлениями по проблемам, затронутым в нем, пришлют свои предложения.

Уважаемая редакция!

Согласен со сказанным Татьяной Ивановой в статье «Наша бедная трудная литература» («Знамя», 1989, № 4). В сущности, ужасающие учебники по литературе уже как минимум лет шестьдесят буквально парализуют возможность нормального, здорового развития духовных, нравственных начал и художественного вкуса десятков и десятков миллионов юных граждан, входящих во взрослую жизнь. Хорошо, если после окончания школы удается хоть в малой степени компенсировать утраченное в те бесконечно многое определяющие годы!

И все же — может быть, я ошибаюсь,— мне кажется, что в деле создания хороших учебников по литературе положение не столь сложно и трагично, как в области изучения истории.

С учебниками же истории (особенно советского периода) дела обстоят далеко не столь однозначно... Историческое образование, как никакое другое, оказалось под особенно разрушительным «прессом». Причем далеко не только в ходе почти фатальных по своим последствиям репрессий 30-х — начала 50-х годов. Так сказать, отрицательная кадровая селекция по инерции продолжала срабатывать с огромной силой (по меньшей мере до апреля 1985 года), затрудняя формирование подлинно принципиальных и квалифицированных кадров. Быть может, как ни в какой другой сфере. Нет кадров, оптимальных по творческой дееспособности, не было и нет пока еще и подлинно научной концепции, особенно, повторяю, по истории нашей страны (да и всех других стран в XX веке).

Сказывалось это, естественно, самым нездоровым образом и на школьном деле. О некоторых аномалиях такого рода вспоминает на страницах «Учительской газеты» (18.04.1989 г.) преподаватель истории В. Зеленцова, говоря о том, что в студенческие годы мы, «...как бы горячо ни спорили — в одном были единодушны: только правда может спасти нас. И когда сами пришли в классы, старались не отступать от этого принципа. Один наш выпускник был изгнан из школы за то, что назвал Сталина узурпатором. Другой сказал правду о сталинской коллективизации. А по программе Сталину полагались отдельные ошибки, и коллективизация называлась великим завоеванием социализма».

На всех уровнях — от школьных классов до Академии наук — срабатывала отрицательная кадровая «селекция». А одновременно обнаруживалась нехватка тех, кто мог сотворить в школьных условиях нечто действительно дельное.

Именно таков один из решающих истоков многих наших (отнюдь не только сугубо профессиональных) невзгод и деформаций. Как ни грустно, но нельзя не признать, что в течение как минимум более полувека делалось практически все, чтобы извращающе влиять на мировоззрение одного за другим поколений школьников и их наставников. В том числе с помощью не только лживых, но и «упрощающих» мысли и чувства, сравнительно легко запоминающихся «учебных» текстов, не выходящих по смыслу и форме за пределы сталинистской «жвачки».

Почему-то по сей день сохраняется острый дефицит понимания, пожалуй, одной из самых зловещих реальностей: именно сочетание заведомой неправды с оглупляющей примитивностью учебных текстов, предназначенных главным образом для формального заучивания, крайне разрушительно воздействовало на духовное и гражданское становление колоссального числа наших сограждан. Человек, воспитанный на таком суррогате духовной пищи, будет в дальнейшем равнодушен (а то и злобно их отторгать) к любым неординарным, ярким научным идеям и концепциям, практическим предложениям по переустройству нашей жизни; как «враждебные происки» воспримет любое переосмысление устоявшихся стереотипов и ценностей и в политической, и в социальной сфере. В справедливости этих прогнозов мы ныне убеждаемся на каждом шагу, когда в активизировавшуюся общественную жизнь широко вовлекаются люди, воспитанные, по существу, на сталинистских учебниках.

Что, к примеру, нужно, чтобы молодежь не оказывалась то в одном, то в другом регионе в сфере влияния носителей экстремистски-разрушительных, нередко откровенно зловещих, позаимствованных из ницшеанско-фашистского арсенала идей и лозунгов? Прежде всего кардинальное обновление идейно-нравственных основ всей системы гуманитарного образования. А это, в свою очередь, невозможно, пока не появятся учебники качественно нового типа, пока мы, учителя, не окажемся в состоянии на неизмеримо более высоком уровне, чем сейчас, вести наших питомцев к действительно глубокому познанию идейных, интеллектуальных и нравственных вершин духа человеческого. Иначе беда!

Не было предела моей радости, когда стало ясно, что близится срок решительной перестройки не просто неэффективной, а во многом пагубно влияющей на юные души системы нашего исторического образования. Вот та самая «первая ласточка»: Ю. С. Борисов. «История СССР. Материалы к учебнику для девятого класса средней школы» (1989 г.). О многом хотелось бы поспорить с автором, но в целом сделанное им заслуживает положительной оценки.

Из урока в урок с грустью смотрю на «девятиклашек», в массе своей милых и совестливых, да к тому же вовсе не обделенных от природы духовными ресурсами, с которыми мне суждено было начать в нынешнем году работу над курсом истории. Почему с грустью? В том числе и потому, что их реакция на «Материалы...» Ю. С. Борисова во многом диаметрально противоположна моей. Причем она показательна: в этом коллективе объединились выходцы из разных школ. И это придает ребячьей реакции характер типичности...

С первых дней приобщения к непривычному учебному материалу слышались горькие стенания по поводу прямо-таки непосильных трудностей в работе над ним. Стенания сопровождались просьбами разрешить пользоваться переизданным в 1988 году «толстым» учебником (где полным-полно «родимых пятен» приснопамятного «Краткого курса»!). Мало того: кое-кто чуть ли не умолял не рассказывать ничего сверх того, что содержится в учебнике, не читать на уроке и самых интересных фрагментов из современной периодики и даже, к примеру, стихов Маяковского,— лучше поподробнее продиктовать то, что непосредственно «пригодится» на следующем уроке, на будущем экзамене... Как это страшно слышать!

Ведь сформированная в школьные годы жажда превратить продиктованное на уроках в легализованные «шпаргалки» означает во многих случаях необратимый по своим духовным и иным последствиям отказ от любой информации, расширяющей кругозор, активизирующей познавательную активность, углубляющей мышление. А это означает формирование личности в лучшем случае «просто» обывательски ограниченной и вульгарно-потребительски сориентированной, в худшем — агрессивно реакционной, легко «отзывчивой» на антигуманные призывы разного рода, включая откровенно шовинистические.

Потому-то я и готов «лечь костьми», чтобы пробудить в душах старшеклассников интерес к не столь уж давнему прошлому и к первой почти за 60 лет попытке подготовить для них прогрессивный и честный материал по истории.

Но все же грешно было бы в данной связи не признать, что в немалой степени текст Ю. С. Борисова напоминает квалифицированный, интеллектуально весьма серьезный, но все же конспект вполне добротного вузовского учебника. Многое оказывается как бы зашифрованным для ученического восприятия. Конечно, очень хорошо, что здесь мало что, если можно так выразиться, поддается бездумному запоминанию — для последующей формальной «выдачи» учителю подчас совершенно неосмысленной информации, зафиксировавшейся в памяти ученика. Однако те непривычные трудности, с которыми сталкиваются, к сожалению, многие нынешние старшеклассники, нельзя не учитывать. При последующем переиздании во многом мог бы помочь Ю. С. Борисову дельный методист.

В ходе дальнейшей работы исключительно важно раскрыть генезис и сущность сталинской концепции псевдосоциализма (включая опаснейшие криминальные ее компоненты) в сочетании с обстоятельной «расшифровкой» всего прогрессивного и умного, характерного для «Материалов...» в целом. Не менее важно как можно скорее изъять из школ многие миллионы экземпляров прежнего учебника для 9-го класса по истории СССР, поразительно сильно тяготеющего к логике и фактуре «Краткого курса истории ВКП(б)». Ведь именно по этому глубоко порочному учебному тексту и сегодня «познают» историю и немалая часть старшеклассников, и кое-кто из их наставников. Остается только догадываться, кому и зачем потребовалось открывать в 1986 году «зеленую улицу» самому реакционному, вероятно, за последние лет тридцать учебнику, да еще и переиздав его в 1988 году огромным тиражом — всего более 5,5 миллиона экземпляров! Выделить бы хоть часть столь бездарно угробленных (во вред интересам нашего дела) колоссальных финансовых, сырьевых и иных народу принадлежащих ресурсов на параллельное издание пробными тиражами качественно иных учебников! Куда там!.. И ведь речь идет пока только об учебниках, изданных на русском языке, а сколько таких же переводится и издается на языках других народов нашей страны, причем, возможно, с еще более печальными последствиями!..

Г. Никаноров,
Москва, учитель истории

Советуем прочитать

О. Н. Знаменский. Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль — октябрь 1917 г.). Л., Наука, 1988.

В условиях нынешнего подъема общественно-политической жизни исследование О. Знаменского является чрезвычайно своевременным.

Рассмотрена деятельность русской непролетарской интеллигенции в процессе перерастания буржуазной революции в социалистическую — перед свержением царизма, в послефевральской политической борьбе. Социальная неоднородность привела ее от активного сочувствия Февральской революции к весьма неоднозначной реакции на революцию социалистическую. В. И. Ленин писал, что мы получили «отчаявшуюся интеллигенцию». Здесь причины еще большего ее расслоения после Октябрьской революции: от активного сотрудничества с Советской властью до аполитичности и открытого сопротивления.

Автор опирается на богатейший фактический материал. Это статьи Ал. Блока и А. Белого о революции и культуре, письма М. Горького и художника Нестерова, воспоминания ученых К. И. Скрябина и И. Х. Озерова, наркома А. В. Луначарского, учителей С. П. Каблукова и О. В. Синакевич, директора императорских театров В. А. Теляковского и многих других. Практически все художественные и общественно-политические журналы того времени тщательно изучены. все слои интеллигенции представлены в процессе исканий истины. К сожалению, материал этот не всегда находит осмысление в свете новых подходов к роли и месту интеллигенции в истории нашей страны; многие из цитируемых автором прогнозов не соотнесены с дальнейшим развитием событий.

М. И. Буянов. Ребенок из неблагополучной семьи. Записки детского психиатра. Книга для учителей и родителей. М., Просвещение, 1988.

Уже само название показывает, что речь пойдет о вопросах остросоциальных, больных, порою трудноразрешимых. Положение ребенка в неблагополучной семье — сегодня проблема не только государственная, проблема педагогики, медицины, правоохранительных органов. Множество повестей, рассказов, фильмов посвящено судьбе детей, воспитывающихся в семьях, где они чувствуют себя словно чужие, не получая ни любви, ни ласки от матери и отца.

«Книга эта — не справочник или учебник,— пишет М. Буянов,— это скорее размышления о судьбах некоторых моих пациентов, это скорее публицистика, чем сухое, бесстрастное изложение, так свойственное научным работникам! В книге нет готовых рецептов (да они и невозможны)». И тем не менее труд Буянова заставляет о многом серьезно задуматься, ведь дети — это не только будущее мира и государства, это наиболее беззащитные наши сограждане, которых мы обязаны всеми силами оградить от нравственных и физических бед, безнравственности и зла.

В. Кантор. Средь бурь гражданских и тревоги... Борьба идей в русской литературе 40—70-х годов XIX века. М., Художественная литература, 1988.

Многие главы книги Владимира Кантора печатались в периодике середины 80-х годов. Автор говорит о главном — о тех принципах построения свободной России, которые в спорах и конфликтах искали русские мыслители прошлого века. Он исследует духовные явления кризисного (до- и пореформенного) периода в развитии русского общества, когда была предпринята попытка осуществить социокультурную перестройку страны, равную по масштабам, быть может, только петровским преобразованиям.

Автор привлекает внимание к таким именам русских мыслителей и литераторов XIX века, как К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, А. М. Скабичевский, П. П. Цитович и др. Это позволило ему ввести нетрадиционные понятия («профессорская культура», «безыдеальная эстетика» и др.), не тривиально увидеть многие явления русской литературы и действительности. В книге предложена новая трактовка основного тезиса эстетики Чернышевского «прекрасное есть жизнь», как относящегося к полноценной жизни независимой личности, которая стремится к самоосуществлению во имя общего блага. Такое понимание центральной категории эстетики Чернышевского подтверждается критическим пафосом великой русской литературы, осознавшей безобразное как смерть, смерть свободного ума, духа, воли и деятельности независимой личности.

Книга В. Кантора созвучна сегодняшнему времени поисков неординарных решений развития общества, невозможных без учета еще не освоенного вполне опыта нашего духовного прошлого.

В. В. Розанов. Сахарна. Вступительная статья, публикация и примечания В. Сукача. Литературная учеба, № 2, 1989.

Фрагменты неизвестной прежде книги выдающегося русского мыслителя, философа и писателя (названной «Сахарна» в честь имения Е. И. Апостолопуло в Бессарабии, где автор и создал ее летом 1913 года), несомненно, обрадуют подлинных любителей российской словесности. Сегодня мы вполне можем оценить проницательность Розанова: «Суть, однако, в том, суть «времени» нашего, что к республике и «равенству» никто не стремится: и хулиган вовсе не хочет «освободиться от опорков» и «быть

равным Олсуфьеву». Это его нисколько не занимает. Он хочет, чтобы Олсуфьев побегал ему за табачком в лавочку, и если купил не такого — засветить ему в морду. Вот что занимает и жжет душу». Писатель размышляет: «История не есть ли борьба, игра и вообще соотношение могущественных эгоизмов? Нескольких, не очень многих, десятков, сотен и не доходя до тысячи?» Можно сказать, «Сахарна» и предшествовавшие ей книги — «Уединенное», «Смертное» и «Опавшие листья», составляющие с ней несомненное единство, создают новый жанр прозы, бессюжетной, глубоко ассоциативной, в чем-то предвосхитившей литературу «потока сознания», и в то же время — ярко поэтической и философской. Будем надеяться, что вскоре прочтем «Сахарну» целиком, равно как и другие розановские произведения, как известные, так и ранее не публиковавшиеся.

Борис Хотимский. Поляне. Роман-легенда. М., Советский писатель. 1989. Повествования разных времен. Повести и рассказы. М. Современник. 1989.

Давняя, не раз проявленная в предшествующих книгах приверженность Бориса Хотимского к художественному осмыслению отечественной истории сказалась и на сей раз. И определена эта приверженность не праздным любопытством, не желанием развлечь читателя, не стремлением к благородному просветительству, но — прежде всего — убежденностью в том, что, познавая и воссоздавая образ жизни, психологию, деяния далеких предков, можно точнее и вернее находить решения нынешних непростых задач, стоящих перед нашим обществом, перед каждым из нас. Этой убежденностью проникнуты образы композитора Бородина и молодого генерала Тучкова, не случайно показанные также через восприятие современника («Повествования разных лет»). Чередуются эпизоды давних и недавних времен в повести о старинной казачьей реке... Рядом — повесть о современных журналистах. Теснейшая диалектическая взаимосвязь между историческими явлениями и проблематикой наших дней — одна из основных тенденций прозы Б. Хотимского.

Гайто Газданов. Счастье. Рассказ. Родник, № 2. 1989.

«Гайто Газданов — превосходный соперник Набокова».— Так назывался доклад Ласло Финеша, американского слависта, биографа, тонкого интерпретатора творчества писателя, прочитанный им в 1976 году в Нью-Йорке. Позднее доклад лег в основу диссертации, вышедшей отдельной книгой в Мюнхене. Но все это случилось уже после смерти (1971) того, кому она была посвящена,— после ухода в мир иной автора известного, особенно среди русских эмигрантов, романа «Вечер у Клер», явившегося поворотным событием в литературной жизни писателя.

Уроженец Петербурга, осетин по происхождению, Г. Газданов перед революцией учился в харьковской гимназии, потом в Полтавском кадетском корпусе. В 1919-м завербовался в Добровольческую армию Врангеля, с которой после ее поражения попал в Константинополь.

Судьба писателя на чужбине легла в основу драматического сюжета романа «Ночные дороги», где было, пожалуй, все, как в его жизни: тяжелая работа ради куска хлеба, бездомное существование, служба в парижском ночном такси, соприкосновение с низами общества...

Война застала писателя в Париже. Вместе с женой он участвовал в движении Сопротивления в составе советского партизанского отряда. В 1945-м написал книгу о советских партизанах — «На французской земле».

Годы изгнания не охладили стремления увидеть родину. «Желанию Вашему возвратиться в Россию сочувствую,— отвечая на письмо, писал ему в свое время Горький,— и готов помочь Вам, чем смогу. Человек Вы даровитый и здесь найдете работу по душе, а в этом и скрыта радость жизни».

Горькому к тому времени оставалось жить менее года, и мечте Газданова не суждено было сбыться. И как знать, может быть, к лучшему: кто мог предугадать, какие новые испытания ждали бы писателя в те времена на земле его родины.

Запечатленное время Андрея Тарковского. Искусство кино, № 2, 1989.

«Мне кажется, что если человек говорит правду, внутреннюю какую-то правду, то он всегда будет понят. Как бы ни были сложны проблемы, как бы ни был сложен образный строй, как бы ни была сложна формальная структура...». В правоте этих слов Андрея Тарковского, сказанных по поводу одного из самых «сложных» его фильмов — «Зеркало», мы убеждаемся по мере того, как возвращается к нам во всей полноте творческое наследие режиссера.

Но для того чтобы в должной мере понять и почувствовать искусство А. Тарковского, о нем надо многое знать. Мы же слишком мало знаем даже о самом режиссере, о том, как он жил и работал. Этот пробел отчасти восполняют материалы, опубликованные в февральском номере журнала «Искусство кино».

Возможность услышать его размышления о жизни, о природе искусства, о современном кинематографе и о собственном творчестве — особенно о его итоговых фильмах, сделанных уже за рубежом,— предоставляют интервью последних лет, данные различным западным корреспондентам.

Сестра А. Тарковского, Марина, возвращает нас в мир его детства и юности, дневник шведского фотографа Лотваса воскрешает неповторимую атмосферу, царившую на съемках «Жертвоприношения». Воспоминания польского режиссера К. Занусси — о последних годах жизни Тарковского за рубежом.

В конце 1989 и 1990 гг.
в журнале «Знамя» будут среди других произведений опубликованы:

Романы, повести, рассказы

А. АЗОЛЬСКОГО, А. АНФИНОГЕНОВА, А. БИТОВА, В. БОГОМОЛОВА, Д. ВИТКОВСКОГО, И. ДРУЦЭ, О. ЕРМАКОВА, С. ЕСИНА, Ф. ИСКАНДЕРА, В. КОНДРАТЬЕВА, Ю. КУРАНОВА, А. КУРЧАТКИНА, Б. МОЖАЕВА, В. МАКАНИНА, Г. МАТЕВОСЯНА, Б. ОКУДЖАВЫ, А. ПРИСТАВКИНА, М. РОЩИНА, В. ФОМЕНКО, Н. ШМЕЛЕВА, М. ШАТРОВА

Стихи

Б. АХМАДУЛИНОЙ, Т. БЕК, И. БРОДСКОГО, А. ВОЗНЕСЕНСКОГО, Е. ЕВТУШЕНКО, А. ЖИГУЛИНА, Б. КЕНЖЕЕВА, В. КОРНИЛОВА, М. КУДИМОВОЙ, Ю. КУБЛАНОВСКОГО, Ю. ЛЕВИТАНСКОГО, И. ЛИСНЯНСКОЙ, М. МАТУСОВСКОГО, А. МЕЖИРОВА, Б. ОЛЕЙНИКА, О. ПОСТНИКОВОЙ, Д. САМОЙЛОВА, Т. СМЕРТИНОЙ, А. ЦВЕТКОВА, О. ЧУХОНЦЕВА, И. ШКЛЯРЕВСКОГО

Из литературного наследия

Г. АДАМОВИЧ. **Комментарии** (О литературе, о современниках и о себе)
Р. ГУЛЬ. **Азеф.** Роман
Г. БЁЛЛЬ. **Рассказы, эссе**
Б. ЗАЙЦЕВ. **Литературные портреты**
Г. КУЗНЕЦОВА. **Грасский дневник** (Воспоминания о Бунине)
В. НЕКРАСОВ. **Из неопубликованного**
В. ТЕНДРЯКОВ. **Рассказы**

Документальная проза.
Дневники.
Воспоминания

Б. ВИКТОРОВ. **Записки военного прокурора**
Виктория ГАМАРНИК. **Об отце**
В. КАРПОВ. **Маршал Жуков**
Е. КЕРСНОВСКАЯ. **Скальная живопись**
В. ЛАКШИН. **«Новый мир» во времена Хрущева**
А. ТВАРДОВСКИЙ. **Из рабочих тетрадей (1953—1960)**
В. УБОРЕВИЧ. **Письма к Е. С. Булгаковой**
Н. С. ХРУЩЕВ. **Мемуары**
Д. ШЕПИЛОВ. **На трудном пути.** Воспоминания
М. ШРЕЙДЕР. **Записки чекиста-оперативника**

Публицистика

И. АРШАВСКИЙ. **Наука и нравственность** (Судьба академика А. А. Ухтомского)
П. ВОЙЦЕХОВСКИЙ. **Размышления на Валааме**

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Адрес редакцни: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместнтелн главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критнки и бнблиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-48.

Технический редактор Л. С. А л е к с е е в а.

Сдано в набор 07.07.89. Подпнсано к печати 03.08.89. А 04253. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21, 00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 980 000 экз. (1-й завод: 1—830 008 экз.). Заказ № 950. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

